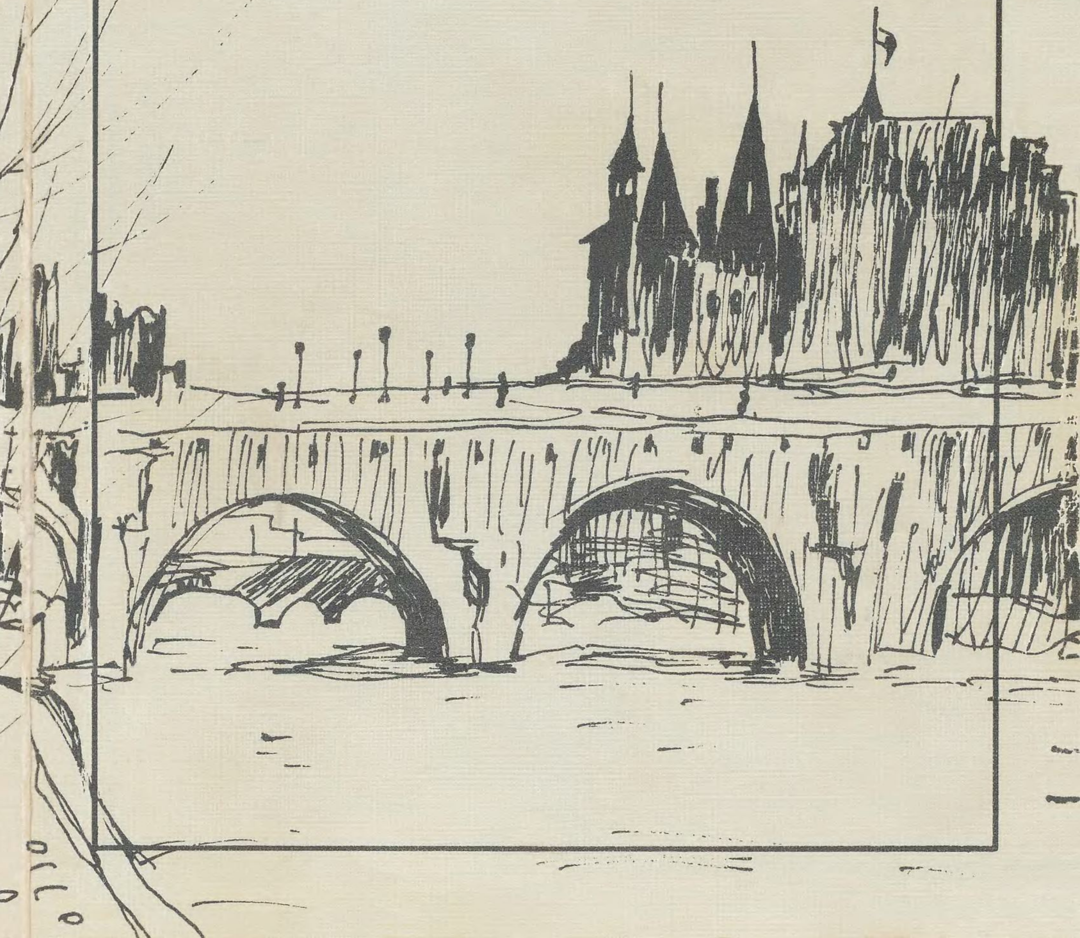
Ирина Одоевцева

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

На берегах Сены



ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

На берегах Сены



Москва
«Художественная литература»
1989

ББК 84Р7
О-44

Оформление художника
К. ОСТРОВСКОЙ

О $\frac{4702010201-377}{028(01)-89}$ без объявл.

ISBN 5-280-01310-2

На берегах Сены

ЛЮБОВЬ ДВИЖЕТ СОЛНЦЕ И ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ.

Данте

ОТ АВТОРА

Мои воспоминания — «На берегах Невы» и «На берегах Сены» — своим появлением на свет обязаны исключительно Юрию Константиновичу Терапиано, памяти которого я и посвящаю эту книгу. Он был ее первым читателем, первым судьей. Конечно, глава о самом Юрии Константиновиче написана мною уже после того, как смерть безжалостно похитила его у нас. Он не дождался выхода книги в свет. Но то, о чем он мечтал, то, во что заставил поверить и меня, сбывается: моя книга, которая за рубежом дошла всего до нескольких тысяч читателей — плачевно малы стали тиражи наших эмигрантских изданий! — теперь отправляется к сотням тысяч читателей на нашей родине. Я счастлива, что могу донести до вас, мои дорогие читатели, дыхание и чувства тех, кто так долго жил без родины, счастлива, что могу их сегодня для вас воскресить.

В предисловии к книге «На берегах Невы» я просила у читателя любви к тем, о ком пишу, потому что, как сказал Габриэль Марсель, «любовь дарует временное бессмертие». Каждый раз, когда произносишь «я тебя люблю»,— это значит, что ты не умрешь, не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить.

И читатели в своем сердце и памяти откликнулись на мою просьбу. За это я им глубоко благодарна.

Теперь я обращаюсь к вам с той же просьбой о любви к людям, о которых я пишу в этой книге. Все они нуждаются в еще большей любви не только потому, что «горек хлеб и круты ступени земли чужой», но и потому, что еще более, чем хлеба, им не хватало любви читателя, и они задыхались в вольном воздухе чужих стран. Ведь всем поэтам больше всего нужна любовь. Петрарка писал: «Я не хочу, чтобы меня через триста лет читали. Я хочу, чтобы меня любили».

Нет другой страны, где так любят и ценят писателей, а особенно поэтов, как в России. Здесь считают, что поэты мыслят стихами.

Я согласна с Мариной Цветаевой, говорившей в 1923 году, что из страны, в которой стихи ее были нужны, как хлеб,

она попала в страну, где ни ее, ни чьи-либо стихи никому не нужны. Даже русские люди в эмиграции перестали в них нуждаться. И это делало поэтов, пишущих на русском языке, несчастными.

И если вы, мои читатели, исполните мою просьбу и полюбите тех, о ком я сейчас пишу,— вы обязательно подарите им временное бессмертие, а мне сознание, что я не напрасно жила на этом свете.

О, любите их, любите, удержите их на земле!

1983—1989
Париж — Москва

Ирина Одоевцева

Светлой памяти
Юрия Терапиано

Вот уже три месяца, как я — навсегда, о чем я еще и не подозреваю,— покинула Петербург. Первый месяц я прожила в Риге, где обосновался мой отец, а оттуда перебралась в Берлин.

Нравится мне здесь, за границей? Нет, совсем не нравится. Всё тут «не то и не так». Не об этом я мечтала в Петербурге, не так я себе представляла заграничную жизнь.

Мне часто хочется вернуться домой, но об этом я и заикнуться не смею — мой отец упал бы в обморок, услышав, что я хотела бы вернуться в Петербург.

Я никому не признаюсь в том, что я разочарована. Большинство бежавших из России в восторге от берлинской жизни и наслаждается ею. Подумать только — сплошной праздник — магазины, где можно все что угодно купить, рестораны, кафе, такси. Чего же еще желать?

О стихах здесь как будто все забыли. Трудно поверить, что эти самые люди еще совсем недавно шли по неосвещенным, страшным ночным улицам, усталые, голодные и озябшие, шли в мороз, под дождем, часто через весь Петербург, только для того, чтобы в Доме искусств или в Доме литераторов послушать стихи.

В Берлине я живу одна, на положении «соломенной вдовы». Георгий Иванов вот уже неделя, как уехал в Париж, повидать свою маленькую дочку Леночку, ну и конечно, свою первую жену. Уехал с моего позволения и даже благословения — я, слава Богу, не ревнива. На время его отсутствия я устроилась вполне комфортабельно — у меня спальня и приемная в немецком пансионе и меня, «соломенную вдову», постоянно навещают друзья и знакомые, заботящиеся, по его просьбе, обо мне.

Я, как полагается, с утра бегаю по магазинам, обедаю в ресторанах «Медведь» или «Ферстер», а по вечерам бываю в разных кафе, сборных пунктах беженцев.

Словом, по Оцупу:

Я время дельно провожу,
Я изучаю модный танец,
В кинематограф я хожу —
Это ведь тоже полагается [1].

Модные танцы мы все в Берлине усердно изучаем. Ими увлекается и седоволосый Андрей Белый, связывающий, как это делал и Ницше, танец с философией. Для него теперь день без танцев — пропавший день. Он в одной из «танцевальных академий» часами проделывает с вдохновенным видом особую «кнохен гимнастик» и пляшет как фавн, окруженный нимфами.

Зрелище довольно жуткое, особенно когда эти пляски происходят в каком-нибудь берлинском «диле»-кафе, где танцуют. Там Андрей Белый, пройдя со своей партнершей в фокстроте несколько шагов, вдруг оставляет ее одну и начинает «шире, все шире, кругами, кругами» ритмически скакать вокруг нее, извиваясь вакхически и гримасничая. Бедная его партнерша, явно готовая провалиться сквозь пол от стыда, беспомощно смотрит на него, не решаясь тронуться с места. А благодушные немцы, попивая пиво, качают головами, посмеиваясь над verriicktem Herr Professor'ом [2], и даже иногда поощрительно аплодируют ему.

Сегодня — совсем особенный день. Сегодня мой первый бал. Первый настоящий бал, на который я поеду.

Ведь в Петербурге я ходила пешком на балы — в валенках, проваливаясь по колени в снежных сугробах, держа в руках мешок с моими летними туфлями — бальных у меня там, конечно, не было, как и собственного бального платья — я ограничивалась платьями моей покойной матери, правда парижскими, наскоро подшитыми и неумело суженными мною самой. А тут я впервые еду на бал — в специально сшитом для этого случая белом шелковом платье с большим вырезом, широченной юбкой и туго-натуго перехваченной талией, причесанная парикмахером по-бальному, с тюлевым бантом в волосах, в парчевых бальных туфельках. Еду, правда, не в карете, а в такси, на котором заедут за мной Николай Оцуп и мой петербургский знакомый Борис Башкиров, «полупоэт», как мы называем «пишущих стихи без достаточных на то оснований».

Еду, тоже как полагается, слегка взволнованная, в самом праздничном настроении — ведь первый бал своего рода событие в молодой жизни, и, хотя я уже два года жена Георгия Иванова, я чувствую себя почти дебютанткой.

И вот я на балу. И меня тут сразу охватывает разочарование. Нет, опять «все не то и не так». Наши балы в Петер-

---

[1] Издательство не уточняет поэтические тексты, цитируемые Ириной Одоевцевой, сохраняя стиль и своеобразие авторского восприятия и дух того времени.
[2] сумасшедшим профессором *(нем.)*.

бурге были совсем другие — в них было что-то великодержавное, какое-то трагическое величие и великолепие.

В огромных колонных залах черно-мраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов, зимой 1920 года, кто-то из присутствующих долго добивался у всех — где здесь можно раздобыть вино? И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел руками, указывая на меня:

— А где же тогда эта девушка клюкнула? Ведь без вина такой веселой не будешь!

А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотравчатости. Все очень прилично и чинно, и должно, казалось бы, нравиться — и оркестр, и сияющие люстры, как в зеркале отражающиеся в навощенном паркете, и кусты цветов в кадках, и буфет в глубине зала с батареей бутылок, тортами, пирожными и сандвичами. А вот мне не нравится, совсем не нравится. Я, оглядевшись, даже начинаю испытывать мне мало знакомую скуку.

Но, хотя бал и не оправдал моих надежд, чувство разочарования и скуки растаяло, как только я начала танцевать, и мне снова стало весело. Не так, как там, но все же весело. Я даже нахожу, что здесь забавно. Конечно, хуже, чем в Петербурге, но по-своему, по-берлински,— хорошо.

А меня, я это сознаю, просто грызет тоска по родине. Отсюда и мое недовольство всем и вся.

Здесь много знакомых петербуржцев, много писателей и поэтов, мне известных только по именам. Оцуп, приехавший в Германию раньше меня, знакомит меня с ними — с А. Толстым, с Минским, с Эренбургом.

В перерыве между двумя танцами ко мне подходит Башкиров.

— Здесь Игорь Северянин. Хотите познакомиться с ним?

— Игорь Северянин? Хочу! Очень хочу! Покажите, где он. Я его никогда не видала. Даже на фотографии. Где он?

— Вон там, в углу за третьим столиком,— указывает мне Башкиров,— со своей женой-принцессой, как он ее называет, хотя эта чухоночка совсем и не похожа на принцессу. Видите?

За третьим столиком действительно сидит скромная молодая женщина, вовсе не похожая на принцессу, в темном платье с длинными рукавами, просто, по-домашнему причесанная и даже не напудренная — нос ее предательски поблескивает. Рядом с ней долговязый брюнет в длиннополом старомодном сюртуке. Черты его большого лица так неподвижны, что кажутся вырезанными из дерева. Он держится прямо, высокомерно закинув голову. Весь он какой-то чопорный, накрахмаленный, как его непомерно высокий, подпирающий подбородок воротник. Таких не только в Берлине, но и в Петербурге уже не носят.

Он сидит молча, с напряженно-беспокойным видом путешественника, ждущего на вокзале пересадки, и явно чувствует себя здесь совсем не на своем месте. Никто не обращает на него внимания. Никто как будто не знает, кто он.

Неужели это на самом деле Игорь Северянин? Тот самый «гений Игорь Северянин», гордо провозгласивший о себе:

Я покорил литературу,
Взорлил гремящий
на престол?

Нет, совсем не таким я представляла себе «принца фиалок».

— Я пойду, скажу ему. Подождите тут. Я сейчас приведу его.

Башкиров отправляется за Северяниным, а я стою у стены и жду.

Я вижу, как Башкиров, подойдя к Северянину, что-то говорит ему и тот отрицательно качает головой, не двигаясь с места.

Башкиров возвращается ко мне, смущенный и растерянный.

— Представьте себе, он заявил, что привык, чтобы женщины сами представлялись ему, а он ходить знакомиться с женщинами не согласен. Ни в коем случае!

— Вот какой важный! Ну и Бог с ним. Обойдусь без знакомства с гением Игорем Северяниным.

И я, даже не взглянув в его сторону, иду танцевать с пригласившем меня очередным партнером. Я танцую и больше не думаю о Северянине до самого конца бала, когда передо мной, уже уезжающей, в холле неожиданно появляется он сам в сопровождении Башкирова.

Я хочу пройти мимо, но он загораживает мне дорогу.

Башкиров торжественно представляет его мне. Северянин кланяется, и я подаю ему руку. Он целует ее с таким видом, будто этим оказывает мне величайшую милость. Должно быть, по его понятиям, не он женщине, а она ему должна целовать руку.

— Вы уже уезжаете? А мне хотелось бы поговорить с вами. Не согласитесь ли вы, повременив с отъездом, посидеть со мной за моим столиком,— и подчеркнуто добавляет,— очень прошу!

— Нет, спасибо,— говорю я.— Мне пора домой — я устала.

Мой отказ, видимо, удивляет его, тень недовольства ложится на его лицо.

— Не желаете? А я хотел поговорить, познакомиться с вами по-настоящему,— и уже с обидой,— впрочем, не в моих правилах навязываться женщинам — уезжайте себе с Богом!

— Нет, нет,— вмешивается Башкиров,— этого так никак нельзя оставить. Можно организовать встречу,— он просительно оборачивается ко мне,— у вас. Завтра или послезавтра? Чудесно получится!

— Ничего против такого проекта не имею,— важно заявляет Северянин.

— Вот и отлично,— обрадованно вскрикивает Башкиров.

Мне ничего не остается, как согласиться:

— Если вы свободны, Игорь Васильевич, приходите ко мне послезавтра, во вторник, чай пить — со своей женой, в четыре часа.

Лицо его светлеет — ему, по-видимому, приятно и мое приглашение, и то, что мне известно его имя, отчество.

— Почту за честь...

Он снова величаво целует мою руку.

— Я заеду за вами,— обещает ему Башкиров,— отвезу вас! Ждите!

И я, кивнув Северянину на прощание: «Так до вторника, Игорь Васильевич!» — спускаюсь по лестнице к выходу.

Во вторник я, накупив печений и пирожных к чаю, жду с четырех часов Игоря Северянина и его жену. Жду с нетерпением.

Я сегодня иду обедать к немецким друзьям моего отца. Мне надо успеть переодеться перед тем, как ехать к ним.

Но вот уже шесть часов, а их все нет. Я начинаю нервничать. Если они опоздают еще на полчаса, я не смогу их принять. Опаздывать на немецкий званый, чинный обед совершенно невозможно. Меня больше никогда не пригласят и сочтут варваркой, с которой надо раззнакомиться.

В четверть седьмого они, наконец, появляются. Северянин входит с папиросой в зубах, за ним перекошенный от волнения Башкиров и не менее взволнованная «принцесса».

Я, скрывая свое недовольство, любезно здороваюсь с ними и, не дожидаясь объяснений, отчего они так опоздали, предупреждаю их, что, к моему большому сожалению, мне самой придется уехать через полчаса. Но чай мы все же успеем выпить.

— Садитесь, пожалуйста!

«Принцесса» робко садится на край стула. Северянин, продолжая стоять, скептически осматривает стол.

— А вино? Вино у вас есть? — резко спрашивает он.

— Вина у меня нет,— говорю я.

— Чая не пью,— отчеканивает он.— Пошлите за вином! На мой счет!

Я удивленно оборачиваюсь к растерянному Башкирову. Он торопливо и сбивчиво объясняет, что Северянин по дороге ко мне заходил в разные кафе и бары подкрепиться — для храбрости, для вдохновения.

— И вот... Ради Бога не сердитесь. Простите. Поймите...

Нет, я не сержусь. Я пододвигаю пирожные «принцессе», и она испуганно кладет одно из них на свою тарелку, но прикоснуться к нему или к чаю, принесенному ей горничной, не решается.

— Едем в ресторан! — требует Северянин.— Едем! Что тут сидеть и киснуть? Скучища!

Тут сидеть ему действительно ни к чему. Я шепчу Башкирову:

— Уведите его скорее!

Башкиров берет его под руку.

— Правильно, едем в ресторан! Едем! — и ведет его к двери.

«Принцесса», красная от стыда, встает, протягивает мне руку лодочкой и шепчет:

— Простите, ах, пожалуйста, простите!

Северянин останавливается на пороге и поворачивается ко мне.

— А вы? Одевайтесь скорее! Я без вас не уйду. Без Одо-евце-вой не уйду! Живо! Не копайтесь!

Башкиров тащит его.

— Одоевцева придет прямо в ресторан. Честное слово, придет! Через пять минут придет,— уверяет Башкиров.

— Только не копайтесь,— снова повелительно кидает мне Северянин.— Без проволочек! Терпеть не могу ждать! — и наконец дает себя увести.

«Принцесса» чуть ли не плача уходит с ними.

— Простите. Ради Бога простите! — все повторяет она.

Я запираю за ними входную дверь и облегченно вздыхаю. Слава Богу, ушел! Ведь он мог начать бить посуду, скандалить. А так все обошлось благополучно.

Впрочем, не совсем. Спускаясь по лестнице, он звонил во все квартиры.

«С ним все навсегда кончено! Больше я никогда не встречусь с ним, никогда!» — решаю я и бегу переодеваться.

На следующее утро ко мне является Башкиров с просьбой понять — простить: «Северянин в отчаянии. Всю ночь не спал. Он мечтал очаровать вас, как своих бесчисленных поклонниц когда-то, и, для вдохновения, по дороге к вам...»

— Я совсем не сержусь,— прерываю я его.— Передайте ему — понимаю и прощаю. Но видеть его больше не хочу. Никогда!

Башкиров театральным жестом хватается за голову.

— Это кошмар! Катастрофа! Ведь он хочет прийти сегодня же к вам. Вы не можете быть такой жестокой.

— Перестаньте. Никакого кошмара, никакой катастрофы. Скажите ему, что я желаю ему и его эстоночке всего хорошего и кланяюсь ему. Пусть не огорчается. А вы перестаньте приставать ко мне, не то я действительно рассержусь, и не только на него, но и на вас, и вас тоже не пожелаю видеть.

Прошло несколько дней, полных разнообразных впечатлений — ведь тут, в Берлине, «ощущения бытия» не похожи на прежние, петербургские. Занятая этими, новыми для меня «ощущениями», я совсем не думала о Северянине, Башкиров тоже остерегался напоминать мне о нем.

Я сижу у себя и читаю, когда горничная в белом передничке — здесь они еще не перевелись — докладывает мне, что меня спрашивает какой-то господин. Нет, фамилии своей он не назвал.

Я удивлена. Я никого не жду. Мои друзья и знакомые просто — без доклада — проходят прямо ко мне. Кто бы это мог быть?

Я выхожу в прихожую. У окна стоит Северянин в пальто, со шляпой в руке. Увидя меня, он весь дернулся и ринулся ко мне так стремительно, что я отступаю на шаг.

— Вы не выгоните меня? Я уезжаю завтра, но я не могу уехать, если вы не простите меня. Не могу...— он очень бледен, голос его дрожит: — Поймите, как для меня это ужасно. Дожить еще и до того, что женщина отказалась меня принять!

Я протягиваю ему руку.

— Успокойтесь, и раз вы пришли — оставайтесь. Пойдем ко мне.

— Не выгоните? Правда?..

Я иду по коридору, он за мной. У себя я сажусь на диван и указываю ему место рядом с собой, но он остается стоять, даже не сняв пальто.

— Снимите пальто и садитесь,— говорю я.

Он стоит передо мной, долговязый, застенчивый, в полной растерянности.

— Я только на минутку, не задержу вас. Но если позволите...— и он, сняв пальто, садится не рядом со мной и не в кресло, а на стул. Так робко, что я не узнаю в нем того «бального», надутого, высокомерного, накрахмаленного Северянина.

— Мне было необходимо видеть вас, я бы просто не мог...

Не мог? Чего бы он не мог? Но я не спрашиваю.

А он, будто убедившись, что теперь я пойму его, продолжает торопливо:

— Я очень, я страшно несчастен. Вы себе и представить не можете, до чего! И вот то, что со мной, которому женщины поклонялись как Богу, могло случиться такое, меня просто доконало, помните рассказ Чехова? Бедная девушка, совсем бедная, полуголодная, целый день бегала по объявлениям в поисках работы, изнемогая от усталости, и вот вечером в какой-то конторе швейцар не впустил ее и, так как она все же хотела войти, толкнул ее в грудь: «Место уже занято! Говорят вам, занято!» Не грубо, совсем легко толкнул, а она повернулась, добежала до моста и бросилась с него в Неву! Все могла перенести, а это ее доконало. Как ваш отказ принять меня.

— Но ведь я ничем не обидела вас,— протестую я, краснея,— право, ничем. Я боюсь пьяных. Я боялась скандала.

— Да, да. Вы не могли иначе поступить. А обо мне вы не подумали. До меня вам никакого дела не было.

Я сознаю, что он прав. Мне действительно не было дела до него. А сейчас... Сейчас есть. И еще какое! Мне его очень жаль. Мне хочется утешить его. Но чем?

И я говорю наобум первое, что мне приходит в голову:

— Я никогда не была на ваших поэзовечерах, но знаю, что у вас был невероятный, небывалый успех, и я...

Он не дает мне закончить:

— Да, да. Небывалый, громокипящий успех. Уличное движение останавливали, когда я выступал в зале под Думской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора! Страшно вспомнить, какое великолепие! Купчихи бросали к моим ногам на эстраду бриллиантовые браслеты, серьги, брошки...

Он весь преображается, голос его звенит.

— До чего чудесно было! Сказка из «Тысячи и одной ночи». Даже еще чудесней! Сологуб возил меня по всей России, и всюду вечный праздник, беззакатное торжество! На меня, как из рога изобилия, сыпались цветы, слава, влюбленные женщины... И деньги! Сколько денег! Просто золотой дождь!

Он мечтательно закрывает глаза и улыбается. Я впервые вижу его улыбку — и на балу, и в злосчастный вечер его прихода ко мне у него было самоуверенное, злое, почти наглое лицо, а теперь его улыбка придает ему что-то беззащитное, наивное, почти детское.

— Если бы я тогда копил деньги, я бы и сейчас был богатым человеком. Но я деньги безрассудно отдавал другим, себе брал только славу. Но и она оказалась, как все в моей жизни, чертовыми черепками. Все обмануло, все погибло — все!..

Он тяжело вздыхает.

За окном ранние зимние сумерки. В комнате полутемно. Я протягиваю руку к выключателю.

— Нет, нет — не надо. Не зажигайте,— просит он,— так мне легче говорить. Сумерки создают особое настроение.

Да, настроение действительно особенное. Совсем не то, что я ждала, когда почти против собственной воли впускала его к себе.

Мне вдруг начинает казаться, что время покатилось назад, мы с ним сидим не в берлинском пансионе, а у меня, на Бассейной, 60, в Петербурге, и я с жадной, молодой любознательностью слушаю его, как когда-то слушала Гумилева, стараясь запомнить каждое его слово.

А он говорит:

— Подумать страшно,— я живу нахлебником у простого эстонца-мыйжника. Только оттого, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям — ненюфарам. Больше ведь некому. Кругом глушь, мужичье. Ночью я часто

сажусь в лодку и выезжаю на середину реки. Звезды отражаются в воде, камыши так ритмично, так мелодично шуршат, как аккомпанемент моим стихам. Я читаю и сам слушаю свой голос и плачу. Мне начинает казаться, что я не читаю, а только слушаю то, что поют «хоры стройные светил». И тогда почти смиряется души моей тревога...

Он неожиданно обрывает и будто спохватившись:

— Простите. Я как лягушка бесстыдно расквакался. Я, должно быть, кажусь вам жалким презренным паяцем. Но если бы вы знали, как я измолчался, как мне необходимо говорить... Вам правда не надоело меня слушать? Мне сейчас хочется говорить. Говорить без конца. Я изголодался по слушателю. До чего изголодался! Вам не скучно?.. Действительно не скучно?..

— Нет, нет. Напротив,— уверяю я его,— продолжайте, пожалуйста.

— А о детстве можно? — робко осведомляется он.

— О чем хотите. Мне все интересно.

И это правда.

— Раз уж вы согласны слушать, то и пеняйте сами на себя.

И он начинает рассказ о своем детстве. Очень счастливом, «золотом детстве» — зимой в Петербурге, летом в имении, и о катастрофе, завершившей его. В катастрофе я не совсем разобралась, не все в ней поняла, но переспрашивать его я не решаюсь. Не ручаюсь, что это все так именно и было. По его словам, его мать, молодая жена старого генерала, очень рано овдовела. Генерал — ревнивый старик — оставил завещание, по которому все его большое состояние, в случае, если его вдова снова выйдет замуж, переходит их маленькой дочери, а в случае ее смерти — родственникам генерала.

— Что же, погоревала она немного, как полагается, но, конечно, захотелось ей любви. Вот и решила она выйти замуж за поручика, давнишнего ее молодого поклонника, постоянно бывавшего еще при муже-генерале в их доме. Девочка была к нему сильно привязана, и он к ней. Все было как нельзя лучше. Все любили друг друга и были счастливы. О завещании и не вспомнили — дочка обожала мать и считала ее, а не себя хозяйкой петербургского дома, имения и денег. Так прошло несколько счастливых лет, во время которых, к общей радости, и я успел родиться. Девочка была уже подростком. И вдруг она заболевает менингитом и умирает в три дня. Мать чуть не помешалась от горя. Но тут на нас обрушился новый удар — нотариус объявил ей, что она должна покинуть свою квартиру, так как и дом, и имение, и капитал принадлежали дочери и переходят к родственникам генерала. Так моя мать все сразу и потеряла, и настало бедственное существование на жалкие гроши жалованья поручика Лотарева. Родственники покойного генерала обобрали ее до ниточки.

Северянин тяжело вздыхает.

— Да, много горя мы тогда с мамашей хлебнули. Пожалуй, не меньше, чем я теперь. Постыдное, тяжелое начало жизни. Постыдный, тяжелый конец. Сколько страданий и унижений. От них вся душа в ссадинах, синяках и кровоподтеках. Судьба тогда била и теперь бьет меня в морду, как в бубен, и не только в морду, но и в душу. А ведь душа у меня гордячка, неженка, небожительница. Каково ей? Понимаете ли вы?

Да, понимаю. Понимаю и сочувствую. Молча. Что уж тут скажешь? И он, не дождавшись моего ответа, продолжает:

— Я приехал сюда в надежде переиздать мои книги. Но куда там! И слышать не хотят, а всякую бездарь и шваль печатают. Объяснили: вы больше никому не нужны и не интересны. В альманах «Окно» меня не пустили. Устроить мой вечер и то не удалось — Союз писателей отказал наотрез. При встречах притворяются, что не узнают меня. А мерзавец Толстой в ресторане «Медведь», хлопнув меня по плечу, заголосил, передразнивая меня: «Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин!» — расхохотался идиотски во всю глотку и гаркнул на весь ресторан:

— Молодец вы, Северянин! Не обманули! Сдержали слово — привели нас, как обещали, в Берлин. Спасибо вам, наш нежный, наш единственный! Спасибо!

И низко, в пояс поклонился. Это случилось в тот самый день, когда я к вам пришел пьяный. С горя напился. С горя пью. Вам этого, конечно, не понять.

Не понять? Нет, я прекрасно понимаю. Мне его страшно, до боли жаль. Не надо, чтобы он говорил об этом, и я перебиваю его:

— Игорь Васильевич, я никогда не слышала, как вы читаете свои стихи. Если вы не торопитесь, почитайте мне, пожалуйста.

Он поспешно встает со стула.

— Неужели не слыхали?.. С огромной радостью... Сколько хотите... Сколько хотите!

В комнате почти темно, но ведь он просил не зажигать. Я вижу, как блестят его глаза. Теперь он кажется почти красивым. И какое у него вдохновенное лицо.

— Что вам прочесть? — спрашивает он взволнованно.

Мне совершенно безразлично чтó, и мне совсем не хочется слушать его поэзы, но я говорю: «Это было у моря».

И он, скрестив по-наполеоновски руки на груди и закинув голову, уже начинает запевать на знакомый мне мотив — Георгий Иванов отлично имитировал его пение-декламацию, уверяя, что оно как гипноз действует на слушательниц и доводит их до беспамятства:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж.
Королева играла в башне замка Шопена
И, внимая Шопену, полюбил ее паж...

Закончив, он без паузы переходит ко второму стихотворению, уже не спрашивая, что я предпочитаю, потом к третьему, к четвертому и так далее и так далее. Я теряю счет им. Тут и

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной вы проходите морево...

и

...Когда вуалится фиоль,
Офлеря ручеек,
Берет Грасильза канифоль
И скрипку и смычок...

и

О милая, как я печалюсь, о милая, как я тоскую.
Мне хочется тебя увидеть печальную и голубую...

и

Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки вроде кроля...

Нашей дочурки? Разве у него была дочь? Мне хочется его спросить, но я не решаюсь прервать его. Он с таким упоением, так самозабвенно распевает. Он как будто впал в транс. Прервать его — все равно что разбудить лунатика. Я продолжаю слушать эти знакомые мне с детства поэзы, над «фантастической безвкусицей, безграничной пошлостью и лакейски-приказчичьими изысками и новаторством» которых Гумилев и все мы привыкли издеваться. Но сейчас они кажутся мне совсем иными. Я как будто впервые слышу их, и они очаровывают меня. Пошлость, вульгарность, изыски? Да, конечно. Но это все наносное, несущественное. В этих, пусть смехотворных, стихах явно слышатся, несмотря ни на что, «вздохи муз, и звоны лиры, и отголоски ангельского пения». В них высокая, подлинная поэзия. И сейчас я в этом не сомневаюсь — Северянин настоящий поэт. Прав был Сологуб, прославлявший его, «большого русского поэта». Да, я сейчас впервые понимаю это.

Я все сильнее подпадаю под власть его необычайного чтения — пения, «гипнотически» действующего и на меня. Я закрываю глаза, я тону, я иду на дно этого искрометного громокипящего водоворота поэзии.

О, только бы слушать его, только бы он не замолкал.

Я смутно сознаю, что завтра «в трезвом, беспощадном свете дня» я с удивлением вспомню то, что чувствую сейчас, и мне снова будет ясно, что Гумилев был прав в своем строгом суде над Северяниным. Но сегодня я покорена, я очарована, я «осеверянина». О, только бы слушать его еще и еще.

Стук в дверь.

— Вас просят к телефону!

Я вскакиваю с дивана, мигая от вдруг вспыхнувшего элект-

рического света,— кто зажег его, я или он? — и бегу в прихожую.

Когда я возвращаюсь, он уже в пальто и встречает меня с озабоченным видом.

— Простите, я безбожно заболтался и задержал вас. Ведь уже семь часов.

— Да, а в половине седьмого я должна была быть у моих друзей. Они ждут меня. Но я не жалею. Напротив. Я очень рада, что...

Он перебивает меня.

— Вы тем, что приняли и выслушали меня, сделали мне неоценимый подарок. Я никогда не забуду. Теперь я могу почти спокойно уехать.

— Приезжайте снова в Берлин поскорее.

Он качает головой.

— Вряд ли я еще раз выберусь из своей дыры. Наверно, так и умру в ней. Это была моя последняя попытка выкарабкаться из нее. И как она скверно обернулась. Вы единственное светлое пятно в ней.

Я иду в прихожую провожать его. Мне хотелось бы сказать ему так много, но я не нахожу нужных слов.

— Счастливого пути,— говорю только.— И будьте счастливы, Игорь Васильевич.

Он пожимает плечами.

— Ну нет, желать мне счастливого пути все равно что желать счастливого пути тому, кого ведут вешать. А вот вам можно пожелать счастья — оно вам к лицу, как ваш бабочка-бант,— и прибавляет деловито: — писем вам писать не буду. Не ждите. И мне не пишите. Ни к чему это — раз больше мы никогда не встретимся.

— Кто знает. А мне кажется, непременно встретимся.

Но он качает головой.

— Nevermore! [1] как говорил ворон По. Nevermore! — грустно повторяет он, целуя мою руку на прощанье.

И вот он уходит. Дверь медленно и бесшумно закрывается за ним.

Я стою одна в прихожей, не двигаясь с места, забыв, что мне надо торопиться — ведь меня ждут, но вместо того чтобы надеть пальто, я снимаю телефонную трубку и вызываю нужный мне номер.

— Не ждите меня,— говорю я,— у меня вдруг заболела голова и горло. Боюсь, что я простудилась. Нет, нет, ничего серьезного. Приезжать не надо. К утру все пройдет. Отправляйтесь без меня в «Аллаверды». И веселитесь. А я сейчас лягу. Завтра позвоню.

Я иду к себе, чувствуя непонятную тревогу и тоску. Что это со мной? Неужели я действительно расхвораюсь? Ведь у

---

[1] Никогда! (*англ.*)

меня ничего не болит, и ничего скверного со мной не случилось. Так отчего мне так тяжело? Так грустно?

Я ложусь не раздеваясь на постель, прислушиваясь к тишине, стараюсь успокоиться. И вдруг начинаю плакать. О чем? Ведь у меня нет никакого горя. Все хорошо. Все очень хорошо. Но слезы все сильнее текут по моим щекам, и я не могу их удержать.

О Господи. До чего мне грустно! Как жестока жизнь! Как несчастны люди! Особенно поэты.

Бедный, бедный Игорь Северянин!

— Nevermore! Мы никогда больше не увидимся,— сказал мне, прощаясь со мной в январе 1923 года в Берлине, Игорь Северянин.

И мы действительно никогда больше не увиделись. Но слышать о нем мне все же еще пришлось.

Однажды в гостеприимном доме Мильруда, редактора рижской газеты «Сегодня», за литературным завтраком, что не мешало ему быть очень вкусным, на нем присутствовал, как всегда, кроме нескольких членов редакции, и Петр Пильский,— я выразила удивление, что никогда не вижу в «Сегодня» стихов Северянина.

— Разве он перестал писать стихи?

Мильруд с притворным отчаянием схватился за голову.

— Ах, не вспоминайте о нем! Какое там перестал — просто закидывает меня стихами и требованиями, чтобы они безотлагательно появлялись. Много он мне крови испортил, пока меня не осенило чисто соломоново решение — платить ему ежемесячно пенсию за молчание. С предупреждением — пришлите хоть одно стихотворение — тут и каюк! Конец пенсии. И он, слава Богу, внял голосу благоразумия.

Меня это ошарашило, я просто задыхалась от возмущения.

— Но ведь это бесчеловечно, чудовищно! Как вы, такой добрый, могли быть таким зверски жестоким?

Мильруд пожимает плечами.

— Посидели бы вы в моей шкуре директора — иначе заговорили бы. Не только не бесчеловечно и жестоко, а гуманно и доброжелательно. Так у него и правда, не на ананасы и шампанское, а на табачок и водочку хватает. Чего ему еще? Ведь он живет даром у своего тестя — мыйжника. Конечно, ему было бы лучше не задерживаться на земле и на крылатой яхте пристать к ледяной луне...

— Где,— прерывает его Георгий Иванов и поет (подражая Северянину) — «на луне все любезны оттого, что все немы». Вот вы и стараетесь помочь ему онеметь и стать любезным. Дело доброе!

Все, кроме меня, смеются.

— Да, страшное дело для поэта пережить себя, умереть при жизни,— провозглашает Пильский.

Георгий Иванов насмешливо щурится:

— А по моему скромному мнению, и в обыкновенной смерти мало приятного. Я бы, пожалуй, согласился умереть как поэт, чтобы продолжать как человек жить до ста лет — с табачком и водочкой, разумеется.

— Ну, вам-то, Георгий Владимирович, трудно судить, как чувствует себя поэт, которого перестали печатать,— вы во всех редакциях желаннейший гость. Каждому воздается по делам его,— сентенциозно заявляет Пильский.— Если бы Северянин так пошло, безвкусно не кривлялся в своих поэзах, и его бы печатали. А то у него нет ни одного сносного стихотворения — сплошное оголтелое издевательство над русским языком, паясничество и непонятность.

Но тут уж я не выдерживаю и протестую.

— Нет, у него много прелестных, совсем простых стихов. Хотя бы вот это:

— Все по-старому...— сказала нежно —
Все по-старому...—
Но смотрел я в очи безнадежно —
Все по-старому...

Улыбалась, мягко целовала —
Все по-старому...
Но чего-то все недоставало —
Все по-старому!..

Или еще более очаровательное и грациозное:

Она на пальчиках привстала
И подарила губы мне.
Я целовал ее устало
В сырой осенней тишине.

И слезы капали беззвучно
В сырой осенней тишине.
Гас скучный день, и было скучно
Как все, что только не во сне.

Мне очень нравится, а вам? Так просто, так все ясно. Ну что, скажите, здесь непонятного?

Пильский кивает.

— Недурно, хотя мне не очень нравится. Но тут все понятно. Только нельзя рифмовать «беззвучно» и «скучно». Ведь надо произносить «скушно». Это всем известно,— безапелляционно заявляет Пильский.

Но Георгий Иванов не согласен.

— Нет, простите, это в Москве говорили «скушно», а у нас в Петербурге — «скучно». Тогда следует говорить и «я скуша́ю» вместо «я скуча́ю». Где это видано, чтобы «ч» переходило в «ш»?

И вот уже готов загореться один из обычных эмигрантских споров о том, как надо говорить, и о произношении. Но я стараюсь не дать ему разгореться. Я говорю Мильруду:

— Я не могу успокоиться. Вы не только обидели бедного Северянина вашей «пенсией за молчание», вы его прямо зарезали. Подумайте, как вы его унизили, его, «победившего» — по его мнению — литературу. Его, которому поклонялись и кому не только грубого слова, но даже косого взгляда не приходилось...

Но тут меня неожиданно и решительно перебивает один из «первоприющей тройки», как мы с Георгием Ивановым прозвали трех немолодых «молчальников», неизменно присутствующих на завтраках у Мильруда. Я с ними, конечно, знакома и даже знаю, что они занимают какие-то немаловажные должности в редакции. Но за столом они никак не проявляют себя, никогда не вступают в разговоры и присутствуют здесь скорее как античный хор, правда, молчаливый.

Выступление одного из них удивляет всех, даже неизменно равнодушно-любезно улыбающаяся хозяйка дома с любопытством и выжидательно смотрит на него.

А он, не смущаясь вызванным им общим интересом, говорит:

— Ну уж позвольте, позвольте! Это не совсем верно. Не совсем так. Даже совсем не так.

Я нетерпеливо пожимаю плечами. Сейчас он начнет методично доказывать, что квалифицированная критика не признавала Северянина, что славу ему создали истерички — курсистки и восторженные юнцы, а серьезные читатели издевались над ним и его поэзами.

Да, да. Конечно. Петр Пильский мог бы изложить эти общеизвестные истины гораздо лучше, чем совсем не кстати заговоривший «молчальник». Заведет он теперь шарманку на битый час, а я слушай. Хотя это мне и очень скучно в квадрате — с московским и с петербургским произношением.

Но услышать мне пришлось совсем не то, что я ожидала...

Поклон в мою сторону, и он говорит:

— Нет, позвольте, насчет того, что никто так уж не смел косо взглянуть, не совсем правильно. Даже очень смел, и грубых слов «принцу фиалок» пришлось немало наслушаться. Я это достоверно знаю от моего приятеля, капитана полка, в который был направлен Северянин, с хохотом рассказывавшего мне о новобранце Лотареве-Северянине, бывшем посмешищем полка. Не поддавался никакой муштровке. Фельдфебель из сил выбивался, никак не мог заставить его не поворачиваться налево при команде направо, до хрипоты орал на него, разбивавшего весь строй: «Эй ты, деревня! Куда гнешь опять? Сено-солому тебе, что ли, к сапогам привязать надо? А еще образованный!» Целый месяц с ним возился безуспешно. В конце концов определили его в санитары на самую черную работу — по уборке и мытью

полов — на другую у него способностей и смекалки не хватало. Я специально ездил к моему приятелю в полк полюбоваться на «принца фиалок» с ночной посудиной в руках. Презанимательное было зрелище, смею вас уверить!

Все, исключая меня, смеются. Пильский от смеха чуть даже не поперхнулся. Но громче всех смеется Мильруд:

— «Эй ты, деревня! А еще образованный!» Я даже не знал, что его призывали.

— Нет, Михаил Семенович, я знал, но о его блестящей военной карьере мне ничего не было известно, кроме того, что он обещал «тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». Он считал, должно быть, что у него для похода на Берлин вполне достаточная военная подготовка,— спокойно замечает Георгий Иванов.

Новый взрыв смеха. Смеются все. Но мне совсем не смешно. Мне больно, мне обидно за бедного Северянина.

Но тут «молчальник», явно ободренный шумным успехом своего выступления, обращается уже не ко мне, а к Георгию Иванову:

— Если не ошибаюсь, вы изволили начинать свою поэтическую карьеру эгофутуристом? С Северяниным?

Георгий Иванов кивает:

— Как же. Даже в директорате эгофутуристов состоял вместе с сыном Фофанова Константином Олимповым и Граалем Арельским при самом Северянине. Мы действовали решительно, выпустили манифест эгофутуризма и подготовляли эгофутуристическую революцию. Но все это длилось недолго. Меня сразу же после выхода моего «Отплытия на остров Цитеру» приняли в Цех. И я покинул Северянина. С большим сожалением. Я во что бы то ни стало хотел, чтобы и Северянин стал членом Цеха. И даже уговорил Гумилева позволить мне привести Северянина на заседание Цеха и баллотироваться.

И вот уже Георгий Иванов рассказывает так, как кроме него никто рассказывать не умеет, о единственном посещении Северяниным Цеха поэтов. И все с интересом слушают. По дороге в Цех Северянин, свежевыбритый, напудренный, тщательно причесанный, в лучшем своем костюме и новом галстуке, сильно волновался и все повторял, что едет в Цех только для того, чтобы увидеть эту бездарь in corpore [1] и показать им себя — настоящего гения.

Гумилев, синдик Цеха поэтов, принял его со свойственным ему высокомерием и важной снисходительностью и слушал его стихи холодно и строго. Северянин начал читать их преувеличенно распевно, но под холодным, строгим взглядом Гумилева все больше терял самоуверенность. И вдруг Гумилев оживился:

— Как? Как? Повторите!

---

[1] вместе (*лат.*).

Северянин повторил:

И, пожалуйста, в соус
Положите анчоус.

— А где, скажите, вы такой удивительный соус ели?

Северянин совершенно растерялся и покраснел:

— В буфете Царскосельского вокзала.

— Неужели? А мы там часто под утро, возвращаясь домой в Царское, едим яичницу из обрезков — коронное их блюдо. Я и не предполагал, что там готовят такие гастрономические изыски. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще что-нибудь!

Но от дальнейшего чтения стихов Северянин резко отказался и, не дожидаясь ни ужина, ни баллотировки, ушел.

— Ушел в ярости на Гумилева. И, конечно, на меня. Впрочем, его все равно «прокатили бы на вороных». Цеху он совсем не подходил, только мне по молодости лет могла прийти в голову такая нелепая мысль. Но я был очень привязан к нему и очень огорчен.

— Разве он был симпатичный? — спрашивает хозяйка дома.— А правда, что в него женщины влюблялись дюжинами?

— Дюжинами, сотнями, тысячами, куда ни приедет,— вместо Георгия Иванова отвечает Пильский.— Хвостом за ним ходили. Ночевали под окнами его дома.

— А правда, что он бессребреник? Что он не считая раздавал деньги направо и налево? — спрашивает «молчальник».

— А правда, что у него был сумасшедший успех? Что распрягали лошадей?.. Что его забрасывали цветами?

Вопросы сыплются один за другим.

Я с удивлением слушаю. Неужели здесь, за этим столом только что так зло издевались над бедным Северяниным, а теперь с таким интересом расспрашивают о нем, о его внешности, о его романах, о его характере, вкусах и настроениях.

Георгий Иванов отвечает на все вопросы.

— А правда, что Северянина прославил Толстой? — спрашивает принимающая деятельное участие в расспросах хозяйка дома.

Георгий Иванов пожимает плечами:

— «Прославил» тут не то слово. Но славу он Северянину действительно подарил. Правда, против воли, желая его уничтожить, с позором выгнать из русской поэзии. Вот как это было. Толстой, допустив — после долгих просьб — пред свои очи «представителя прессы», с возмущением и гадливостью процитировал прочитанные им в каком-то журнале строки Северянина:

Воткните штопор
в упругость пробки,
И взоры женщин не будут
робки...

и

Ананасы в шампанском,
ананасы в шампанском...
Весь я в чем-то норвежском,
весь я в чем-то испанском...

«И такую гнусность смеют считать за стихи! — захлебывался от негодования Толстой.— До какого падения дошла русская поэзия!»

И так как он отнюдь не запретил распространять его мнение о Северянине, представитель прессы на следующий же день тиснул слова Толстого в «Новом времени», ошибочно полагая, что Толстой уничтожил Северянина, раздавил его как клопа. А на самом деле Толстой подарил Северянину славу — северянинские строки, процитированные «самим» Толстым, прогремели на всю Россию, ударили по сердцам тысяч читателей. Никакая восторженная статья не могла бы так вознести Северянина. С этого момента и пошла его всероссийская фантастическая слава.

— Впрочем,— заканчивает Георгий Иванов,— я не уверен, что это не апокриф. Я тогда еще не был знаком с Северяниным. При мне он никогда не вспоминал об этом. Он считал, что своей славой он обязан исключительно себе самому и с полной самоуверенностью заявил:

Я год тому сказал: я буду.
Год отсверкал. И вот
я есть!..

— Я — гений Игорь Северянин, своей победой упоен,— подхватывает Пильский и поднимает стакан.— Выпьем за Игоря Северянина! Может быть, еще и настанет его час. Как знать, кто в будущем станет знаменитым, а кто исчезнет без следа. Ведь современники Пушкина считали Бенедиктова равным ему...

— И,— перебивает Пильского Георгий Иванов,— кто мог думать, что Гумилев так посмертно прославится?

Пильский кивает.

— Давайте пошлем ему коллективное письмо с дружеским приветом.

— Что вы, что вы, Петр Моисеевич! — хватаясь за голову, вскрикивает Мильруд.— Угробить меня хотите? Ведь Северянин в ответ начнет забрасывать меня ворохами своих стихов, и тогда уже его никакими силами не уймешь.

Все, в том числе и я, смеются.

Пильский притворно-горестно вздыхает:

— Раз в жизни хотел доброе дело сделать — и то не удалось! Но вы, Михаил Семенович, пожалуй, правы, со своей точки зрения. Аннулирую свое предложение. Точка!

— А я,— торжественно провозглашает Георгий Иванов,— предлагаю тост за посмертную славу Игоря Северянина. Ведь, несмотря ни на что, он все-таки настоящий поэт, и будущие читатели, возможно, поймут это.

И все чокаются и пьют за Северянина, как на поминках.

* * *

Я заканчиваю укладку чемоданов. Завтра утром я уезжаю в санаторию в Браунлаге, в Гарце.

Я уже провела в ней две недели перед Рождеством, бегала на лыжах, съезжала с гор на санках и даже побывала на Брокене, где чувствовала себя почти ведьмой.

В санатории жить приятно и весело. Я очень рада, что еду на целый месяц и хорошенько отдохну от беспрерывных берлинских развлечений.

Телефон на моем ночном столике звонит. Это Оцуп. Он зовет меня обедать. А после обеда танцевать.

Мы все очень часто танцуем во всяких «дилях» и дансингах. Оцуп даже возил меня в «Академию современного танца», где седовласый Андрей Белый, сосредоточенно нахмурив лоб и скосив глаза, старательно изучал шимми и тустеп, находя в этом, казалось бы, легкомысленном времяпрепровождении ему одному открывающиеся поля метафизики.

— Я уж собираюсь ложиться,— говорю я в телефонную трубку.— Я ведь завтра утром...

Но он перебивает меня.

— Знаю, знаю. А пообедать все же совершенно необходимо. И проститься тоже необходимо, ведь — «Кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит?» Танцы — те действительно лучше отложить до вашего возвращения. Я буду у вас через десять минут. Согласны?

И я соглашаюсь.

Оцуп появляется у меня ровно через десять минут — он, как всегда, удивительно точен.

Это совсем не тот Оцуп, что в Петербурге — в высоких ярко-желтых сапогах, с всегдашним большим портфелем под мышкой. От комиссарского вида и помина не осталось.

В Берлине он превратился в элегантного, преуспевающего в делах «шибера» [1]. Хотя у него с «шибером», как и с комиссаром, ничего общего нет. Он похож на картинку модного журнала в своем коротком пальто, в костюме оливкового цвета и остроносых, плоских башмаках. Даже голос и манеры у него изменились. Только самодовольство все то же.

В Берлине ему живется «вольготно и привольно». Его брат, тот самый, что работал в Шведском Красном Кресте, и здесь отлично устроился и широко помогает ему.

---

[1] спекулянт (от *нем.* Schieber).

— Такси ждет внизу,— сообщает он, наскоро поздоровавшись со мной.

И вот мы у Ферстера, в знаменитом русском ресторане тех баснословных лет,— месте встреч всех эмигрантов.

Тут, как всегда, шумно и многолюдно. Метрдотель ведет нас к свободному столику. Но мы не успеваем дойти до него.

От длинного стола, уставленного никелированными ведрами и бутылками,— за ним явно «кутит», а не обедает голосистая компания,— вдруг, с треском отбросив и уронив стул, вскакивает светловолосый молодой человек, стриженный под скобку.

Он бросается к нам, хватает руку Оцупа и трясет ее.

— Оцуп! И вы тут! Вот здорово! — звонко приветствует он его.— Идем, идем скорей к нам. С девушкой вашей, идем!

Оцуп, несмотря на всю свою самоуверенность, совершенно теряется под этим бурным натиском.

— Здравствуйте, Сергей Александрович. Э... Э... Э...— тянет он, как всегда, в минуты сомнения и нерешительности.— Мы, собственно, хотели ...э ...э ...э... пообедать.— И уже овладев собой, более уверенно: — Рад вас видеть, Есенин!

Так вот это кто,— вот он какой, неистовый скандалист Есенин. И правда, какой он напористый, налетающий, как вихрь, как смерч. Попадись такому,— голову оторвет!

Рука Есенина, выпустив руку Оцупа, описывает полукруг и властно берет меня за локоть:

— Идем!

И он, завладев моим локтем, уже ведет меня к своему столу. Оцуп идет за нами, невнятно бормоча не то протест, не то согласие.

Сидящие за столом с любопытством уставляются на нас с Оцупом.

— Будьте знакомы! — звонко выкрикивает Есенин: — Это Оцуп! Николай Оцуп, цеховщик и стихотворных дел мастер.— А эта девушка,— кивок светловолосой головы в мою сторону,— не знаю кто такая. Впервые вижу.

— Ирина Одоевцева! — вместо меня громко отвечает Оцуп.

Есенин широким взмахом руки указывает на всех сидящих за столом.

— А это моя кувырк-коллегия. Nomina sunt odiosa [1]. Да настоящих имен среди них еще и нет. Но со временем, как нас учили, все они — так или иначе — прославятся. В разных областях, конечно, кто в литературной, а кто в уголовной.

Он садится на кем-то услужливо пододвинутый ему стул и приказывает своему соседу:

— Сократись! Уступи место Ирине Одоевцевой! А вы, Оцуп, не девушка — сами устраивайтесь и заказывайте все что хотите,— бросает он Оцупу.

---

[1] Имена ненавистные, одиозные (*лат.*).

Я сижу рядом с Есениным. Все это произошло так быстро, что я не успела произнести ни одного слова.

— Вот вы какая,— говорит Есенин, в упор, внимательно разглядывая меня, как предмет, выставленный напоказ в витрине магазина.

— Не думал, что вы такая.

Меня раздражает его бесцеремонное обращение со мной.

— Мне очень жаль, что я «не такая»,— насмешливо говорю я.— Но ничего не поделаешь! Такая, как есть, а не другая.

Он добродушно смеется.

— Ну, жалеть-то тут не приходится. Скорее наоборот. Вы все об извозчиках и солдатах пишете. Я и полагал: мужеподобная, грубоватая. А на вас я как посмотрел, так и вспомнил свою же строчку: «О верю, верю, счастье есть».

Я смущаюсь, я чувствую себя обезоруженной. Я очень люблю комплименты. Все же я не сразу сдаюсь.

— Вы цитируете самого себя. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même? [1] Так ведь?

Он как будто не замечает моего язвительного тона.

— Вы знаете,— доверчиво продолжает он,— мне кажется, мы с вами давным-давно знакомы.

— Конечно,— я киваю,— мы с вами встречались на углу Хеопсовой пирамиды. Отлично помню.

Он морщится.

— Бросьте, бросьте. Оставьте эти петербургские штучки вашим кислым эстеткам. Вам они совсем не к лицу. Так выражалась Ахматова, а злая оса Гиппиус, та еще больнее жалила. Сколько они мне крови испортили! Потом, конечно, тоже были готовы хвостиками вилять, когда я прославился. А сначала все, кроме Блока и Городецкого, меня в штыки приняли. Особенно это воронье пугало, Гумилев. Холодом обдавали. Заморозить хотели.

Да, я знаю. В 1912 году Есенина действительно приняли более чем холодно, а ведь он — крестьянский самородок — приехал покорить Петербург! Как-то на каком-то чопорном приеме Гиппиус, наставив лорнет на его валенки, громко одобрила их: «Какие на вас интересные гетры!» Все присутствующие покатились со смеха.

Такие обиды не прощаются. И не забываются.

— Очень мне обидно было и горько,— говорит он.— Ведь я был доверчив, наивен...

И он действительно смотрит на меня своими васильковыми глазами — доверчиво и наивно. В нем — что-то очень не по годам молодое, даже мальчишеское, совсем не вяжущееся с его репутацией.

Лакей уставляет стол передо мной всевозможными закус-

---

[1] Никто о тебе не позаботится так же хорошо, как ты сам (*фр.*).

ками. Но у меня пропал аппетит. Как всегда, когда мне очень интересно, мне есть не хочется.

Есенин наливает мне рюмку водки.

Я качаю головой.

— Не пью.

— Напрасно! Вам необходимо научиться. Водка помогает.

— От чего помогает?..— спрашиваю я.

— От тоски. От скуки. Если бы не водка и вино, я уже давно смылся бы с этого света! Еще девушки, конечно. Влюбишься, и море по колено! Зато потом, как после пьянки, даже еще хуже. До ужаса отвратительно.

Он на минуту замолкает.

— Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства, дружил. Вы хорошо сделали, что ввели свою обмызганную лошадь в рай. Крестьяне животных совсем не понимают. Как они грубы и жестоки с ними. Ужас! А я их всегда любил и жалел. В десять лет я еще ни с одной девушкой не целовался, не знал, что такое любовь, а целуя коров в морду, просто дрожал от нежности и волнения. Ноздри мягкие и губы такие влажные, теплые, и глаза у них до чего красивые! И сейчас еще, когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры. А шампанею,— перебивает он себя,— вы непременно должны выпить. За нашу встречу! Хоть один бокал.

И я чокаюсь с ним и пью.

Кругом шумят, но я слышу только то, что говорит Есенин. Я гляжу на него. Нет, я не могу поверить, что это тот самый хулиган-скандалист. Он так трогательно нежен. Он нежный, нежный, «нежности нежней!». Просто, по Маяковскому, «не мужчина, а облако в штанах». И до чего очарователен.

Ресторан совсем опустел. Пора уходить. Лакеи подают ему на тарелке сложенный счет с отогнутым уголком, в нем вписано многозначное число. Есенин обрывает на полуслове начатую фразу и, совершенно переменившись, деловито и сосредоточенно начинает проверять счет.

— Э, нет, врешь! Не проведешь! Никакого омара никто не требовал. Не было омара! — заявляет он лакею.

— Извиняюсь. В конце стола тот господин, кажется, заказали-с,— оправдывается неуверенно лакей.

— Врешь! Шашлык они заказали-с,— отчеканивает Есенин,— шашлык-с! И он тут помечен.— Он достает из кармана карандаш и вычеркивает омара.— И шампаней не семь, а шесть бутылок.— Он снова вычеркивает что-то, затем усердно подсчитывает и, вынув из кармана пиджака толстую пачку кредиток, рассчитывается. Должно быть, он хорошо, даже очень хорошо, оставил на чай. И метрдотель и лакеи провожают нас с поклонами.

Швейцар подает ему пальто необычайного фасона. Таких в Берлине никто не носит. Где только он раздобыл его? Он почему-то называет его «пальмерстон».

Он ухарски надевает шляпу набекрень. На его пушистой, светловолосой голове шляпа, криво посаженная, кажется до смешного неуместной.

Он говорит:

— Айда! Едем в Аделон, к Айседоре! Она рада будет — заждалась меня. Едем! Не все, конечно.— И он начинает отбирать тех членов кувырк-коллегии, которых он удостоит чести взять с собой сегодня в Аделон, к Айседоре.

Мы едем в такси втроем. Я посередине, слева Оцуп, справа Есенин.

Они переговариваются через меня.

Есенин говорит:

— Как хорошо, что вы сегодня пришли к Ферстеру, ловко вышло. Я ведь и сам не собирался туда, хотел с Айседорой в какой-нибудь шикарный немецкий Weinstube [1] — она это любит — пообедать, да перед самым выходом поругался с ней. Часто мы с ней ругаемся. Вздорная баба, к тому же иностранная — не понимает меня, ни в грош не ставит.

— Может быть, тогда нам лучше к ней не ехать? Неудобно, раз она сердится,— начинает тянуть Оцуп.

— Вздор,— перебивает его Есенин.— Я вас только предупреждаю. Если она будет ерепениться и морду воротить, не обращайте внимания, а вклейте ей какой-нибудь комплимент позабористее по женской части. Сразу растает. Она ведь, в сущности, неплохая и даже очень милая иногда.

У меня слегка шумит в голове от непривычного шампанского. Я смотрю, прищурившись, в окно такси на пустые унылые ночные улицы Берлина. От фонарей тянутся длинные, острые лучи, совсем как когда-то в детстве от лампадки.

— А ведь могли и не встретиться,— продолжает Есенин.— Теперь давайте каждый день видеться. Завтра с утра, то есть в час, приходите туда же к Ферстеру завтракать, а потом закатимся куда-нибудь за город, в «зеленое», как немцы говорят. Согласны? Идет?..

Это уже ко мне.

— Нет,— отвечаю я,— нет. Не идет. Завтра в девять часов утра я уезжаю в Браунлаге, в санаторию.

Он быстро наклоняется ко мне:

— То есть вы хотели ехать, но не поедете. Побоку поездку в санаторию. К черту ее. Отложите недели на две, пока я буду в Берлине.

Я качаю головой:

— Невозможно. Меня ждут. Я уже списалась, и комната мне оставлена.

Он пожимает плечами.

---

[1] ресторан, винный погребок (*нем.*).

— Велика важность, подумаешь! Пошлем телеграмму с отказом и все тут. Вот и Оцуп такого же мнения.

— Не совсем... э-э-э,— тянет Оцуп,— все же неудобно, раз решено. И Георгий Иванов...

— Ну, кто о муже думает, когда он в Париже.— Есенин берет меня за локоть.— Вы не можете уехать, раз я не хочу.

В темноте его светлые голубые глаза кажутся прозрачными. Я смотрю в них, как сквозь стекло, и мне кажется, что я действительно вижу — ему очень хочется, чтобы я осталась.

— Нет,— я вздыхаю,— к сожалению, не могу.

— Не можете? Правда? — переспрашивает он, растягивая слова.— А что вы скажете, если я сам приеду к вам, в вашу санаторию? Махну туда?

Я не могу скрыть своей радости!

— Я буду вас ждать! Приезжайте! Непременно приезжайте!

Он откидывает голову.

— Так,— произносит он, будто ставит точку, и, помолчав: — Только я не приеду. Не ждите. И даже письма вам не напишу. Скатертью дорога! Но вы когда-нибудь пожалеете. Да поздно будет.

Автомобиль останавливается.

Оцуп помогает мне выйти из него, Есенин расплачивается с шофером.

Мы входим в Аделон. Остальные члены кувырк-коллегии уже тут и ждут в холле, не решаясь без Есенина подняться к Айседоре.

Есенин окидывает их взглядом:

— Все тут? Ну, пошли,— командует он.

Он первый входит в широкий лифт, остальные за ним. Потом, под его же предводительством, по обитому бобриком коридору все чинно, попарно следуют за ним.

Он останавливается перед одной из дверей и, не постучав, открывает ее и входит через прихожую в нарядную гостиную с большим роялем в углу.

— Вот и мы! — провозглашает он.— Принимай гостей, Айседора.

Айседора Дункан — я узнаю ее по портретам — сидит в глубоком кресле, обитом розовым шелком. На ней похожее на хитон сиреневое платье без рукавов. Светлые волосы уложены «улитками» на ушах. На плечах длинный шарф.

У нее бледное, ничего не выражающее, слегка опухшее лицо и какой-то неподвижный, отсутствующий взгляд.

— Эсенин,— не то с упреком, не то радостно вскрикивает она и сразу встает с кресла, разогнувшись как спираль.

Есенин бросает прямо на ковер свой пальмерстон и садится в ее кресло, далеко протянув перед собой ноги в модных плоских ботинках «шимми».

Она с полуулыбкой поднимает его шляпу и пальто, вешает их в прихожей и любезно здоровается с Оцупом и со

мной. Есенин не нашел нужным нас с ней познакомить, но это, по-видимому, ее не удивляет.

Я смотрю на нее. Нет, она не такая, как ее описывали еще в Петербурге,— грузная, дряблая. Напротив, она стройна и похожа на статую. Не только телом, но и лицом. Кажется, что она, как статуя, смотрит — по Гегелю — не глазами, а всем телом.

Члены кувырк-коллегии, успевшие снять свои пальто в прихожей, скромно рассаживаются поодаль.

— Шампанею,— приказывает Есенин.— И чаю, кофе, конфет, фруктов. Живо. Ванька, тащи тальянку. Я буду частушки петь.

Лакей разносит чай, кофе, печенье, шампанское. Гости, присмиревшие было, снова начинают шуметь.

Есенин, подыгрывая себе на гармонике, залихватски и ритмично выкрикивает слова частушек.

Ему бурно хлопают:

— Еще, Сережа, еще. Жарь! Жарь!

Весело? Нет, здесь совсем не весело. Не только не весело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из завешанных розовыми бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически ярко среди дыма от папирос.

Есенин здесь совсем другой, чем там, в ресторане, в такси. В нем какое-то озорство и удаль, похожие на хулиганство. Ничего не осталось от его райской нежности и наивной доверчивости.

Айседора садится на диван, рядом со мной, и заводит разговор — о себе и обо мне. Очень женский, очень интимный разговор.

— Как хорошо, что с вами можно говорить по-английски. Ведь друзья Есенина ни слова, кроме как на своем языке, не знают. Это страшно тяжело. И надоело. Ах, до чего надоело! Он самовлюбленный эгоист, ревнивый, злой. Никогда не выходите замуж за поэта,— неожиданно советует она мне.

Я смеюсь:

— Я уже жена поэта.

Она неодобрительно качает головой:

— Пожалеете, и как еще, об этом! Вот увидите. Поэты отвратительные мужья и плохие любовники. Уж поверьте мне. Хуже даже, чем актеры, профессора, цирковые борцы и спортсмены. Недурны — военные и нотариусы. Но лучше всех — коммивояжеры. Вот это действительно любовники.— И она начинает восхвалять качества и достоинства коммивояжеров.— А поэты,— продолжает она,— о них и говорить не стоит — хлам! Одни словесные достижения. И большинство из них к тому же пьяницы, а алкоголь, как известно, враг любовных утех.

Есенин подходит к дивану, неуверенно ставя ноги, будто идет по скользкому льду. Пьян он или только притворяется? Его

васильковые глаза неестественно блестят, точно стеклянные. Он тяжело садится рядом с Айседорой.

— Ну что, как у вас тут? Вздоры да уморы — бабьи разговоры? — насмешливо спрашивает он меня.— Жалуется на меня? А вы уши развесили? Так! Так! А лучше бы она сплясала. Любопытно, занятно она пляшет. Спляши, Айседора! — обращается он уже не ко мне, а к ней.— Спляши, слышь! — Он резким движением сдергивает с ее плеч длинный шарф и протягивает его ей.— Ну, allez! go on! [1] Валяй!

Она, вся по-птичьи встрепенувшись, растерянно смотрит на него.

— Пляши! — Уже не просит, а приказывает он.— Айда! Живо! Allez! — и он начинает наяривать на гармонике.

Она встает. Неужели она будет танцевать перед этой полупьяной кувырк-коллегией? И разве она может танцевать под эти ухарские, кабацкие раскаты?

Она прислушивается к ним, будто соображая что-то, потом, кивнув Есенину, выходит на середину комнаты какой-то развязной походкой.

Нет, это уже не статуя. Она преобразилась. Теперь она похожа на одну из тех уличных женщин, что «любовь продают за деньги». Она медленно движется по кругу, перебирая бедрами, подбоченясь левой рукой, а в правой держа свой длинный шарф, ритмически вздрагивающий под музыку, будто и он участвует в ее танце.

В каждом ее движении и в ней самой какая-то тяжелая, чувственная, вульгарная грация, какая-то бьющая через край, неудержимо влекущая к себе пьянящая женственность.

Темп все ускоряется. Шарф извивается и колышется. И вот я вижу — да, ясно вижу, как он оживает, как шарф оживает и постепенно превращается в апаша. И вот она уже танцует не с шарфом, а с апашем.

Апаш, как и полагается, сильный, ловкий, грубый хулиган, хозяин и господин этой уличной женщины. Он, а не она, ведет этот кабацкий, акробатический танец, властно, с грубой животной требовательной страстью подчиняя ее себе, то сгибает ее до земли, то грубо прижимает к груди, и она всецело покоряется ему. Он ее господин, она его раба. Они кружатся все быстрей и быстрей...

Но вот его движения становятся менее грубыми. Он уже не сгибает ее до земли и как будто начинает терять власть над ней. Он уже не тот, что в начале танца.

Теперь уже не он, а она ведет танец, все более и более подчиняя его себе, заставляя его следовать за ней. Выпрямившись, она кружит его, ослабевшего и покорного, так, как она хочет. И вдруг резким и властным движением бросает апаша, сразу превратившегося снова в шарф, на пол и топчет его ногами.

---

[1] давай (*фр.*), продолжай (*англ.*).

Музыка сразу обрывается.

И вот женщина стоит, вся вытянувшись и высоко подняв голову, застыв в торжествующей победоносной позе.

Гром и грохот восторженных криков и аплодисментов. Один из членов кувырк-коллегии кидается перед ней на колени:

— Божественная, дивная Айседора! Мы, все мы недостойны даже ножку вашу целовать.— И он в каком-то пьяном упоении действительно целует ковер под ее ногами.

Но она как будто даже не замечает его. Есенин смотрит на нее. По его исказившемуся лицу пробегает судорога.

— Стерва! Это она меня!..— Громко отчеканивает он.

Он подходит к столу, уставленному стаканами и никелированными ведрами с шампанским. Трясущейся рукой наливает себе шампанское, глотает его залпом и вдруг с перекосившимся, восторженно-яростным лицом бросает со всего размаха стакан о стену.

Звон разбитого стекла. Айседора по-детски хлопает в ладоши и смеется:

— It's for good luck! [1]

Есенин вторит ей лающим смехом:

— Правильно! В рот тебе гудлака с горохом! Что же вы, черти, не пьете, не поете: многая лета многолетней Айседоре, тудыть ее в качель! Пляшите, пейте, пойте, черти! — кричит он хрипло и надрывно, наполняя стаканы.— И чтобы дым коромыслом, чтобы все ходуном ходило! Смотрите у меня!

Оцуп берет меня за локоть:

— Пора. Ведь вам завтра рано вставать. И вообще пора. Дальнейшего вам видеть не полагается.

Я согласна.

— Да, пора. Надо только проститься с ними.

— Нет, не надо, незачем,— решает Оцуп.— Начнут уговаривать, не пускать. Просто улизнем. Они и не заметят.

И они действительно не замечают.

Мы осторожно пробираемся в прихожую, находим свои пальто и шляпы и, стараясь не шуметь, закрываем за собой дверь, спускаемся в лифте.

Полутемный холл пуст.

На улице дождь. Швейцар с огромным красным зонтиком провожает нас до такси.

Я снова смотрю в окно такси на спящий ночной тоскливый Берлин. Мне начинает казаться, что я плачу, что не капли дождя стекают по стеклу окна такси, а слезы по моим щекам.

— Досадно, что Жоржа не было с нами,— говорит Оцуп,— удивительно забавный вечер. Просто необычайно удачный. А вы капризничали, не хотели ехать обедать.

— Я лучше бы не ездила,— быстро говорю я.— Я радовалась, что завтра вечером буду в санатории, а теперь мне так

---

[1] Это на счастье! (*англ.*)

грустно. И все отвратительно. Господи, до чего грустно и отвратительно!

— Что с вами? — удивленно спрашивает Оцуп.— Совсем на вас не похоже. С чего это вы раскисли? С одного стакана шампанского. Ведь я видел — вы только один стакан...

Неужели он не понимает? Не чувствует? Я вздыхаю:

— Бедный Есенин! Мне так жаль, так жаль его.

— Жаль его? — возмущенно переспрашивает он.— Жаль Есенина? Ну, это вы бросьте! Жалеть его абсолютно не за что. Редко кому, как ему, в жизни везет. Не по заслугам везет. Дарованьице у него маленькое, на грош, на полушку, а он всероссийскую славу, как жар-птицу, за хвост поймал, женился, пусть на старой, но все-таки мировой знаменитости и отправился в турне по Европе и Америкам. Лучше уж, раз у вас такие большие запасы жалости, пожалейте всех бедных, бездомных эмигрантов, да и тех, кто в России мучаются, а не счастливчика Есенина,— уже с раздражением запальчиво заканчивает он.

Он ждет, что я начну с ним спорить.

Но я не спорю.

— Вы правы. Мне всех жалко. Господи, как жестока жизнь, как несчастны люди! Все без исключения. Особенно Есенин и она, Айседора. Ведь и ей очень тяжело...

Когда я вернулась из санатории, Есенин уже уехал в Америку.

Письма от него я так и не получила. Ведь он сказал мне, что не напишет. Но я почему-то все же думала, что он вспомнит обо мне, вспомнит и напишет.

Мне почему-то казалось, что мы еще непременно встретимся. Не сейчас, так когда-нибудь потом. Но встретимся непременно.

И только когда до Парижа дошло известие о самоубийстве Есенина и мне стало ясно, что другой встречи с ним у меня никогда не будет, я заплакала, будто потеряла близкого друга.

* * *

Мы приехали в Париж в самое неудачное время — в августе месяце. Почти все магазины были закрыты. В то время каникул для рабочих еще не существовало и толпа на улицах была серая. Все элегантные люди уезжали в отпуск, отдыхать на курорты в горы. С прелестью и очарованием Парижа я познакомилась позже. Я целыми днями бегала по музеям до тошноты, до головной боли. Я побывала в Лувре и Люксембургском дворце, ездила в Версаль и Мальмезон. Но толком ничего не видела. Но на Эйфелеву башню я поехала только тогда, когда мои знакомые «американцы русского происхождения» приехали осматривать Париж. Эйфелева башня меня не удивила, и я не понимаю до сих пор их восторга этой эмблемой Парижа. С целой толпой туристов мы поднимались на нее. Впечатление было слабое. Но мне тогда вспомнилась история, рассказанная Адамовичем. Он во

время революции возвращался из Старой Руссы. Вагон был набит — как сельди в бочке! В публике, сидевшей в вагоне, находилась старушка, из бывших, как говорится, буржуев. Она вдруг забеспокоилась и стала ерзать на месте: «Товарищи, пропустите,— взмолилась она.— У меня разболелся живот, мне надо выйти»... Но в ответ раздался хохот. «Где же тут выйдешь? Придумала тоже, по головам, что ли?» Но она не унималась и умоляла ее пропустить. Любезные красноармейцы предложили ей: «А мы тебя, бабушка, возьмем за ноги и за руки и вывесим в окно». Она пришла в ужас, но делать нечего, согласилась. Под общий гогот и отпускаемые шуточки. Потом, когда ее снова посадили на место, она, сидя красная, как вареный рак, закрывала лицо руками. И вдруг воскликнула: «Господи, и это со мной, какой позор. И это со мной, которая видела Эйфелеву башню».

Мы приехали с отцом и поселились очень неудачно, в огромном мрачном отеле без лифта. Знакомая моего отца говорила, что это один из лучших отелей. Но мне, привыкшей к берлинским элегантным пансионам, такая жизнь показалась совсем невозможной. Обедать мы ходили в огромный ресторан, неуютный и тусклый. Я обычно обедала в лучших ресторанах. Мы гуляли по бульварам. В 11 часов все уже было закрыто. На улицах было темно. Открыто было только небольшое казино. Все театры закрыты. Работал лишь маленький «Пти-казино», в котором когда-то подвизался Майоль. Но больших звезд не было, пойти было некуда, смотреть и слушать было некого.

К тому же в первую нашу ночь после приезда треснуло большое каминное зеркало и хозяин хотел предъявить нам иск. Мы его убеждали, что так сверху донизу оно по нашей вине треснуть не могло, и он наконец с нами согласился. Но впечатление все это на меня произвело тяжелое и угнетающее, как предчувствие будущей жизни. А суеверный Георгий Иванов был попросту потрясен. Шум на улицах не давал нам спать. Все было не так, как мы ожидали.

Ту зиму, зиму 1925—1926 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце.

Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои «воскресенья», игравшие немалую роль в дореволюционной литературной жизни.

Я еще в детстве увлекалась трилогией Мережковского — «Петром и Алексеем», «Юлианом Отступником» и особенно «Леонардо да Винчи». Читала я и «Александр Первый», «Гоголь и черт», «Толстой и Достоевский». Видела на сцене и «Павла I», до революции находившегося под запретом.

Знала я, конечно, и стихи Зинаиды Гиппиус. Они мне не очень нравились своей рассудочностью и, главное, тем, что она писала о себе в мужском, а не в женском роде.

Все же я знала наизусть два ее стихотворения. Первое очень любил Блок:

Окно мое высоко над землей,
Высоко над землей.
Я вижу только небо с вечернею зарей,
С вечернею зарей —

с его качающимся ритмом, с его редко свойственной Гиппиус музыкальностью и неожиданно прелестным концом, таким характерным для всегда и всем недовольной Гиппиус:

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

И второе:

Единый раз вскипает пена
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет — любовь одна...

Читала я, конечно, и Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус), беспощадного критика, ведущего суд и расправу над современной прозой и поэзией.

Антона Крайнего боялись не меньше, чем самого Брюсова. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде: «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин» и тому подобными вежливыми характеристиками писателей.

На похвалы Антон Крайний был чрезвычайно скуп. Даже о «Стихах о Прекрасной Даме» Блока он отозвался более чем сдержанно.

О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды, как, впрочем, обо всех знаменитых писателях и писательницах.

Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:

Я сам себя люблю, как Бога.

Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовье ее кровати.

Видела я и прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным.

Мне не раз в Петербурге приходилось слышать во время

моих чтений стихов восхищенные восклицания пожилых представительниц художественной богемы:

— Совсем наша Зина!

Хотя, судя по ее портрету, я ничем не была похожа на нее.

О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в ночных туфлях с помпонами, пишет четыре часа в день, каждый день, что бы ни случилось, а остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное — с Философовым и Зинаидой Гиппиус.

Адамович писал нам, что З. Н. Гиппиус выразила желание познакомиться с Георгием Ивановым и мной, и мы, не долго думая, собрались и приехали в Париж.

И вот мы на 11-бис, рю Колонель Боннэ, у Мережковских.

Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и безвкусно обставленная квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось — «Ведь это так неудобно» — жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Чаепитие почему-то происходит в это воскресенье не в столовой, а в смежной с нею гостиной, за небольшим столом. Гости сидят вокруг него двойным кольцом.

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него — попеременно — то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом — очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль jeune fille de la maison [1], находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопросу-допросу: «что, как и зачем, а если нет — то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается — интересуется. Если не всем, то все же главнейшим — спасением России и поэзией.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что

---

[1] девушка в доме *(фр.)*.

она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается.

Нет, она совсем не похожа ни на портрет Бакста, ни на воображаемый портрет, созданный мною по рассказам о ней. И она ничем не похожа на меня. Абсолютно ничем. И слава Богу!

Впрочем, одним она все же схожа со своим воображаемым портретом — страстным желанием нравиться, «будить повсюду восхищение», сквозящим в каждом ее жесте, в каждом слове, лениво и капризно произносимом ею.

Да, она могла снимать с рук своих поклонников обручальные кольца.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой». «Женщина — безумная горячка» — еще и сейчас правильно сказано о ней. Но «зеленоглазая наяда»... Как он мог?..

У нее мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы... Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, старомодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть, большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все ее собственные. Она до последних дней сохранила длинные, густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими.

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на груди большая ярко-зеленая роза и кораллово-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то — не знаю чем — о, только не красотой — смутно напоминает мне Панночку Вия.

Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга?

У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности и лорнету? Может быть, она действительно могла казаться когда-то «зеленоглазой наядой»?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила — ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус.

Но смягчающее мою вину обстоятельство — ни у кого «внеш-

нее» и «внутреннее» так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом.

Я видела всегда только ее внешнее. О ее внутреннем я ничего не знала и даже не догадывалась, какое оно...

Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то по крайней мере совсем, точь-в-точь, как мне его описывали — маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновеньем. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и импровизировать.

Никого, за исключением Андрея Белого, тоже рассыпавшегося блестками, искрами и брызгами в яростном водовороте слов и образов,— он, как на качелях взлетавший на доказательствах, рушившийся в бездну отрицания и закруживающий, как на карусели, слушателя, до отупения, до головокружения, до невозможности спорить, до безоговорочного принятия всего и согласия со всем, что с неистовым красноречием утверждает Андрей Белый.

Впрочем, у Мережковского была черта, отсутствовавшая у Андрея Белого,— умение концентрироваться и постоянное, никогда не ослабевающее устремление всех мыслей и воли к одной цели: к созданию Царства Духа, к преображению души.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худощавым брюнетом — с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает устроившийся во втором круге за моей спиной очень длинный и длинноволосый, седеющий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками.

Здесь, за исключением Адамовича и Оцупа, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты». Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.

Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, перескакивая с одного незнакомого лица на другое, запоминая лишь какую-нибудь деталь — серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина.

Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходят в эмиграции,— «воскресенье» на рю Колонель Боннэ.

Зинаида Николаевна уже перестала наводить на меня лорнет. Она подносит чашку кофе к губам, прислушиваясь к тому, что говорит Мережковский.

Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от их вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем.

— Нет, Димитрий. Я не согласна! — вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского.

«Я не согласна» — фраза, наиболее часто — кстати или не совсем кстати — произносимая ею. Утилитарная, ширпотребная фраза, паспарту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее:

— Я не согласна с Эйнштейном! или — с Бергсоном! или — с Алдановым! или — со Степуном!

Иногда, по глухоте — она из кокетства старается скрывать ее — не расслышав, о чем спрашивают, отвечает: — А я не согласна!..

И чаще всего ее ответ производит магическое действие.

Так, например, молодой поэт, робея и смущаясь, задает ей вопрос:

— Зинаида Николаевна, вы читали мои стихи в «Звене»?

И она роняет капризно-кокетливо:

— Нет. Я не согласна.

Спрашивающий в смущении замолкает. Стихи его, должно быть, не понравились Зинаиде Николаевне, неизвестно почему. Но не стоит настаивать. Ведь она любит повторять афоризм: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». И он не решается требовать объяснений.

Сейчас я впервые слышу от нее ее знаменитый протест, о котором мне когда-то рассказывал еще Гумилев в Петербурге.

Я вся превращаюсь в слух. Я хочу знать, с чем она, собственно, не согласна, мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего, острого, неженского ума.

Нет, все-таки женского — ведь ведьма — женщина. Троцкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы (цитирую по памяти). Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю,— вспомнил Зинаиду Гиппиус». И тут же отдает дань ее исключительному уму.

Но послушать Зинаиду Николаевну мне в тот день не удается.

Ко мне близко наклоняется сидящий за мной Антонин Ладинский и шепчет мне в самое ухо:

— Какой ваш любимый цветок?

Я поворачиваюсь и чуть не стукаюсь лбом о его лоб.

— Что?

— Какой ваш любимый цветок? — повторяет он.— Я уверен, что роза. Правда? Я угадал?

Переход от рассуждениий об Атлантиде к любимому цветку так неожиданно фантастичен, что я с трудом удерживаю смех.

А он, наклонившись ко мне, ждет моего ответа.

Верно, он, глядя на меня, подумал: «Бедненькая, сидит, молчит и скучает, слушая непонятное. Надо ее занять подходящим разговором»,— и, как телеграфист, гуляющий по железнодорожной платформе со станционной барышней, задал мне галантный, доступный моему пониманию вопрос.

Я киваю.

— Вы правильно угадали — роза!

Он широко улыбается, прикрывая рот характерным жестом, и произносит:

— Я был уверен. Вы сами похожи на белую розу!

Я не успеваю поблагодарить его за такой оригинальный комплимент.

Зинаида Николаевна встает, и все за ней. Прием окончен. Шум отодвигающихся стульев. Все подходят прощаться с Зинаидой Николаевной. Подхожу и я.

— Надеюсь, вы будете постоянно бывать у нас. Каждое воскресенье,— любезно и капризно тянет она.— С вашим мужем мы уже сговорились. Он обещал. А вы?

И я, краснея от удовольствия:

— Обещаю, Зинаида Николаевна.

Да, я тогда, в то первое «воскресенье» у Мережковских, еще не могла правильно судить о Зинаиде Гиппиус.

Я многое в ней не разглядела и не поняла. Я не разглядела даже, что у ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло, что это не лорнетка, а единственный в своем роде предмет — монокль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу.

В те далекие годы монокли еще были в ходу — их носили изящные старики и снобистские молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима.

Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем как надеть перчатки.

Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище.

Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой — тогда такие китайцы еще встречались,— на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих.

Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед.

Я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом.

Они шли под руку — вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона — тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей,— с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому — орденом Саввы II степени.

Король Александр Сербский пожаловал Гиппиус Савву II степени, а Мережковскому того же Савву, но I степени, что ею было принято не без некоторой обиды. Мережковский, впрочем, никогда о своем Савве I степени не вспоминал и никогда не надевал его, не в пример Зинаиде Николаевне, не расстававшейся со своим орденом, как с любимой игрушкой.

Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Мюэтт, а потом, тоже по раз навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.

В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это deux grands écrivains russes [1], и к ним относились с должным уважением.

И во время прогулки, и в кафе они говорили не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участвовали в их беседах.

— Нет-нет,— повторяла Зинаида Николаевна,— я не согласна с Яковом Петровичем. Ему кажется, что он всегда прав и что он пишет хорошо. А по-моему —

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа —

просто плохо. Почему писатель должен быть нервом народа? И какой-такой «нерв народа»? Один нерв?.. И дальше: что это значит? —

Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

---

[1] два больших русских писателя *(фр.)*.

Поражен — удивлен? Или поражен — от поражения — то есть не понести поражения? — И, пожимая капризно плечами: — Не понимаю. И понимать не хочу. А Яков Петрович спорит. Он ведь всегда доволен собой, «своим обедом и женой».

Она говорит «спорит», а не «спорил». Спорил больше чем тридцать лет тому назад. Но для Зинаиды Николаевны Полонский не умирал, он по-прежнему ее собеседник. И с ним, как и с другими, игравшими какую-нибудь роль в ее жизни, встреченными ею на длинном жизненном пути, она продолжает споры-разговоры.

С того первого нашего «воскресенья» я бывала на 11-бис Колонель Боннэ почти каждое воскресенье. Зинаида Николаевна очень подружилась с Георгием Ивановым. Она часто приглашала его к себе вечером и просиживала с ним до «глубины ночи», с глазу на глаз, и он ни разу не отказался навестить ее. Даже когда я бывала больна и он никуда из дома не выходил, для Зинаиды Николаевны он делал исключение.

Правда, мне и в голову не приходило попросить его не ходить к ней. Я знала, что эти вечерние посещения доставляют ему большое удовольствие.

Мережковские вели размеренную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проведя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала очень поздно. Ее утро было занято «обрядностями туалета». К ним она относилась крайне серьезно и добросовестно, никогда не забывая произвести над своим лицом все то, что могло «réparer de l'âge l'irréparable outrage» [1].

Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая.

Мережковский ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака.

После завтрака они шли гулять в любую погоду — в холод и дождь, считая прогулку не менее необходимой, чем сон и пищу.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака. О лечении и гигиене у них были свои особые, довольно странные понятия.

Так, например, на мой совет поехать летом в Виттель или в Виши Мережковский в ужасе замахал на меня руками:

— Бога побойтесь. Смерти вы нашей хотите, что ли? Минеральная вода — яд!

И Зинаида Николаевна поддержала его:

— Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев.— И тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот.— Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала: —

---

[1] «обратить вспять необратимое время» *(фр.)*.

Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась, не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось...

Ларошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских, и особенно в художественных и литературных кругах.

Тэффи, «великая умница-остроумница», как ее называл Бунин, со свойственным ей юмором прерывала надоевшие ей политические споры, без которых не обходился ни один эмигрантский обед:

— Довольно! Теперь займемся очередными литературными делами, поговорим о романах, о том, кто с кем разводится, кто на ком собирается жениться и кто кому с кем изменяет.

И действительно, среди писателей почти не существовало ни одной супружеской пары, не разводившейся, не вступавшей по нескольку раз в новый брак. Даже Михаил Осоргин, героически решившийся перейти, для женитьбы на Рахили Григорьевне, в еврейство, и тот не выдержал, не избежал общей участи — развода.

Но брак Гиппиус — Мережковский опровергает утверждение Ларошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений», делясь своими «итальянскими впечатлениями», рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том, как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это, только приехав уже не помню в какой город:

— Так досадно и глупо. Так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег стоило. Туда и обратно два билета в спальном вагоне.

— Но почему же не поехал Димитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? — недоумевали слушатели.

Она только плечами пожимала.

— Ну нет! Совершенно невозможно. Немыслимо! Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе? Этого за всю нашу жизнь не было. И надеюсь, никогда не будет.

Они так до самой смерти Димитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей обо всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе

они как будто переменились ролями — Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский — женским. В ней было много М — по Вейнингеру, а в нем доминировало Ж. Она представляла собой логику, он — интуицию.

Они вели беспрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях «Зеленой лампы».

Зинаида Николаевна, всегда усаживавшаяся на эстраду рядом с выступавшим Мережковским, чтобы чего-нибудь не пропустить, не недослышать, вдруг прерывала его речь капризами:

— Нет, я не согласна, Димитрий. Ты ошибаешься. Это совсем не так! — После чего сразу же закипала яростная словесная дуэль, оба противника скрещивали шпаги и наносили друг другу искусные и жестокие удары.

Слушатели замирали от изумления. Некоторые из них даже считали, что это подстроено, что это «трюк» для придачи занимательности выступлениям Мережковского. Разве можно поверить, что Мережковский публично ссорился с Гиппиус? И чем же это кончится, если это не подстроено? Чем?..

А кончалось это обычно так же неожиданно, как и начиналось. Высказав с предельной резкостью все свои доводы, Мережковский сразу превращался в любящего мужа, нежно и заботливо брал Гиппиус под руку, помогая ей сойти с эстрады:

— Осторожно, Зина, ступенька. Не оступись! — подводил ее к месту в первом ряду, усаживал ее и бережно поправлял лисицу, спустившуюся с ее плеча, осведомляясь: — Тебе не холодно? Не дует, Зина? Не принести ли тебе шубку? Не простудись.

И она, улыбаясь, благодарила его.

— Нет, хорошо. Спасибо, Димитрий,— и приготовлялась слушать следующего оратора.

Заседания «Зеленой лампы»...

«Зеленая лампа», безусловно, одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции.

Она была задумана на «воскресеньях» на 11-бис, Колонель Боннэ, с каждой неделей становившихся все более интересными и многолюдными. Теперь на «воскресеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Шестов, и Бердяев... Кто только не посещал «воскресений»? Всех не перечесть.

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы, чаще всего под свойственным Мережковскому «метафизическим углом зрения».

Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом,— о здоровье, о погоде и тому подобном, и немедленно пресекал их возмущенным возгласом:

— Обывательщина!

Вскоре выяснилось, что «воскресенья» становятся чем-то вроде «инкубатора идей», каким-то тайным обществом или заговором. И Мережковский, и Гиппиус, одержимые страстью «глаголом жечь сердца людей» и владеть их умами, решили расширить поле своей деятельности, перенести дебаты-дискуссии, в которых из столкновений мнений должна была рождаться истина, из их столовой на «общественную арену». Расширить круг «тайных заговорщиков», перебросить мост в толщу аморфной эмиграции и заставить ее приобщиться к истине.

Название «Зеленая лампа» напоминало о тайном кружке Всеволожского. В нем участвовал и Пушкин.

Теперь, через столько лет, мне кажется, что Мережковские мечтали создать что-то вроде Pugwash [1], о котором столько пишут и говорят сейчас. Не интернациональный и не научный, а эмигрантский писательско-философско-религиозный. Как и нынешний Pugwash, являющийся некоей доброй, оккультной силой, «Зеленая лампа» должна была спасать если не весь мир, то по крайней мере Россию и ее филиал — эмиграцию.

Что эмиграцию надо спасать не только от «обывательщины», но и от гордыни и самоунижения, от отчаяния и потери веры в будущее, что надо ей помочь организоваться духовно и управлять ею, было для Мережковского несомненным. Всем этим с помощью «заговорщиков воскресников» и должна была заняться «Зеленая лампа».

«Зеленая лампа» начала свое существование 5 февраля 1927 года.

В день открытия В. Ф. Ходасевич объяснил собравшимся, чем была «Зеленая лампа» во времена Пушкина. После чего был прочитан первый доклад, сопровождавшийся прениями, сразу, как и доклад, произведшими на слушателей сильное впечатление отсутствием академичности и необычной страстностью, горячностью и парадоксальными мыслями, высказываемыми не только Мережковским, но и большинством «заговорщиков».

Так, во время одного из первых заседаний молодой поэт Довид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж, чем, конечно, вызвал бурные дебаты и реплики с места.

Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорила о «Русской литературе в изгнании», Фондаминский-Бунаков — о «Русской интеллигенции как о духовном ордене», Адамович — о том, «есть ли цель у поэзии», и так далее, и так далее.

«Зеленой лампой» заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания.

---

[1] Пагуошское движение за мир, разоружение и международную безопасность.

Для этого требовалось письменное приглашение. Правда, дававшееся без особых затруднений.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была повышенно нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест — криком и топотом ног.

Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы и даже магии. Да, именно магии, не нахожу другого слова.

Казалось, что он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям.

Тогда он действительно казался пророком, и слушатели свято верили, что он «носитель мысли великой».

«Зеленая лампа» заставила многих слушателей (слушателей действительно бывало много, особенно когда заседания происходили в зале «Плейель») серьезнее и лучше понять происходящее и — что не менее важно — самих себя.

«Воскресенья» и «Зеленая лампа» воспитали ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но и ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных «заговорщиков» выступали с докладами, предварительно обсуждавшимися на 11-бис, рю Колонель Боннэ, и принимали участие в прениях.

Из всех посетителей «воскресений», кажется, только я одна ни разу не прочла в «Зеленой лампе» доклада, никогда не участвовала в прениях и даже с места не подавала реплик. Все же я, по настойчивому требованию Мережковского, выступила один раз на большом вечере «О любви», двойном вечере в зале «Плейель».

Слушателей собралось на такую интересную для всех тему видимо-невидимо.

Не скрою, что я, как, впрочем, большинство французских ораторов, написала свою речь и выучила ее наизусть, не раз старательно прорепетировала перед зеркалом жесты и мимику. И неожиданно «блеснула красноречием» — ко всеобщему удивлению.

Мережковский даже заявил на последовавшем после вечера «О любви» «воскресеньи», что «речь Одоевцевой была лучше всех». Что, конечно, никак не соответствовало истине. Просто он был удивлен, что и я могу что-то сказать, что-то соображаю. Моя внешность и мой тогдашний легкомысленный вид как будто противоречили этому.

Сам Мережковский произнес на первом вечере блестящую речь:

— Миром правят Нейкос и Филотес, Распря и Дружество — учит Эмпедокл. Или — противоположное, созвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства — война; язва рождения — Содом. Пол с войной пересекается... Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне...

— Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил. В этой, несколько странной для непосвященных молитве, русский ученик Платона, Вл. Соловьев, соединяет эти две язвы в одну...

— И я поэтому с Соловьевым! — воскликнул Мережковский, ударяя себя в грудь.

Не обошлось и без курьеза. На втором из этих вечеров выступила Тэффи — ведь это был полный парад-алле и смотр всех, посещавших «воскресенья».

Тэффи, должно быть сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад — об аскезе.

Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались — наконец-то можно будет посмеяться!

И действительно, с первой фразы Тэффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться.

Тэффи, разложив перед собой большие листы, исписанные ее крупным, неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский монакизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат.

Она, наконец, после подробного описания жизни св. Антония, сделанного Апаназом (в ней должное место было отведено и свинье св. Антония), перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам. О том, как львы похоронили св. Павла в пустыне, о том, как лев — должно быть, уже другой, не из компании тех львов-могильщиков — уступил св. Мальку свою пещеру, о крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустынника через Нил, о картине Веласкеса, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди молитв и споров о Боге подкрепиться монастырской трапезой, хлеб. Теперь хохотал уже весь зал.

Бедная Тэффи все же мужественно дочитала свой ученый доклад. Дочитала до самой последней точки, не пропустив ни одной цитаты.

И слушатели устроили ей грандиозную овацию.

— Ах, уж эта Надежда Александровна! Ну кто, кроме нее, может придумать такое смешное? — восторженно повторяла седая дама меценатской внешности, отбивая свои пухлые,

украшенные бриллиантами руки.— Ах, до чего, до чего смешно! Даст же Бог такой талант человеку!

Тэффи вошла в артистическую красная, краснее своего красного платья, и, остановившись на пороге, развела руками:

— Слышали? Я когда-то, еще до революции, написала рассказ об аптекарском ученике Котомко, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хохочут. «Покажи им Венеру Милосскую, так они, наверное, лопнут от смеха»,— рассуждает он про себя. Вот и я сейчас моего Котомку разыграла.— Она швырнула рассыпавшиеся листы на пол.— А сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила! Нет, в первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду. Даже горло пересохло.

В антрактах Гиппиус, улыбаясь, объясняла подходившим к ней, что ей доклад Тэффи многое открыл.

— Я благодарна Надежде Александровне. Очень благодарна. Я поняла то, чего раньше не понимала, не хотела понять.— И, понизив голос, полушепотом: — Не об аскезе, нет. Я впервые из-за Тэффи оценила здравый смысл дедушки Крылова, поняла, что и он бывает прав. Да еще и как:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Гиппиус и Тэффи не очень симпатизировали и охотно критиковали друг друга, конечно, за глаза.

Но Тэффи все любили. И читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо. Тогда как Гиппиус многие терпеть не могли. Ее не мог терпеть, прямо ненавидел даже очаровательный Андрей Седых, один из самых милых и добрых людей эмиграции. Правда, она действительно скверно поступила по отношению к нему.

В 30-х годах «Зеленая лампа» уже не горела ослепительно и не проливала яркого света на эмиграцию, освещая ее совесть, душу, ум. Все, не исключая Мережковского и Гиппиус, чувствовали, что «заговор» не удался, хотя они и не сознавались в этом не только публично, но даже самим себе.

Некоторые участники «Зеленой лампы» покинули ее. Так, ушел Ходасевич. Уход Ходасевича был воспринят очень болезненно — Ходасевич был одним из ярких лучей «Лампы». Уход его стал считаться «изменой», и отношения между ним и Гиппиус—Мережковским охладились навсегда.

Все же «Лампа», все более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны. Роль ее была значительно большей, чем принято считать. Конечно, она не достигла цели, к которой стремились Мережковский и Гиппиус. Все же она оставила по себе светлую память и сформировала умы целого

ряда молодых поэтов. Кроме всего прочего, «воскресенья» и «Зеленая лампа» являлись настоящей школой красноречия.

Когда-то, еще на берегах Невы, в «Живом слове» я слушала лекции Кони по ораторскому искусству и принимала участие в практических занятиях, руководимых Кони. Но обмен мыслей и мнений на «воскресеньях» и в «Лампе», хотя там и не преподавались правила красноречия, достигал несравненно больших результатов, чем лекции и практические занятия Кони.

Общепризнанный лучший оратор эмиграции Георгий Адамович многому научился в «Лампе» и в бесконечных дискуссиях с Мережковским. «Зеленая лампа» всячески старалась привлечь к себе внимание, в особенности в последние годы своего существования. Так, уже в 1936 году «Зеленая лампа», «Возрождение» и варшавская газета «Меч» — в обеих газетах сотрудничали Мережковский и Гиппиус — устроили «всезарубежный конкурс» на историческое драматическое произведение. Премированное драматическое произведение обещали поставить в варшавском театре и напечатать в газете «Возрождение». Кроме того, автор должен был получить диплом.

Но с этим конкурсом получился «скверный анекдот»: первый приз, после многих месяцев, был присужден драме «Государь»,— из эпохи итальянского Ренессанса, о чем сообщалось в газете «Меч». Написала ее шестнадцатилетняя эмигрантка, жившая в Сирии. Она, как она потом сама мне рассказывала, находилась только под большим влиянием Мережковского и Макиавелли и написала свою драму, помня о них.

Когда до нее дошла ошеломившая ее весть о том, что ей присужден первый приз, она, как древняя Рахиль, села на песок пустыни, благословила облака и поблагодарила Бога за ниспосланную ей славу.

Но время шло — день за днем, неделя за неделей. Ее лично никто ни о чем не осведомлял. Тогда она наконец решилась написать в варшавский «Меч», ответивший ей более чем необычайно: «Вас действительно премировали. Но Вашу драму поставить невозможно из-за множества костюмов. Поэтому высылаем Вам, в виде премии, том Фонвизина и диплом с печатью».

Том Фонвизина и похвальный лист — как в школе при переходе из класса в класс — вот и все, что получил молодой автор, думавший, что уже завоевал славу.

Драма «Государь» не была напечатана в газете «Возрождение» — неизвестно почему. Ведь «обилие костюмов» не могло помешать напечатать ее.

Результатом этого конкурса было только то, что русская эмиграция лишилась замечательно талантливой писательницы. Она после такой обиды стала писать не только по-русски, но и по-французски. Теперь она один из лучших — если не лучший — автор «научной фантастики»,— Наталия Энненберг.

Все же через много лет как утешение она узнала от Цурикова, что Мережковский как-то сказал ему: «Моя лучшая

ученица — маленькая девочка из Сирии». При мне однажды Мережковский, жалуясь, что у него нет последователей, поправил самого себя:

— Кроме одной, до чего одаренной, прелестной, большеглазой девочки. Я ее фотографию видел. Но ведь она живет в Сирийской пустыне. Вот бы ее к нам выписать!

Уже после войны, в Париже, Наталия Энненберг услышала чрезвычайно фантастическое объяснение этого дела. Якобы жюри, так как пьесы были подписаны не именами авторов, а их девизами, решило, что она принадлежит перу... самого Мережковского! Но, вскрыв конверт с девизом и убедившись в своей ошибке, жюри решило, что ни ставить драму никому не известного подростка, ни публиковать ее в «Возрождении» нет никакой надобности. Довольно девочке и тома Фонвизина.

Не думаю все же, что жюри могло быть настолько наивным и считать возможным, чтобы Мережковский посылал свои произведения на конкурс. Должно быть, существует другое объяснение. Но факт остается фактом — из-за этого конкурса еще одна замечательная писательница не стала украшением русской литературы.

Георгий Иванов был бессменный председатель собраний «Зеленой лампы», Гиппиус и Мережковский тогда уже, после выхода его сборника стихов «Розы», провозгласили его первым русским поэтом. Мережковский даже сделал ему надпись на «Атлантиде» — «Лучшему поэту современности». Да, Георгий Иванов был очень близок с ними, особенно с Гиппиус. Я же никогда ни с Гиппиус, ни с Мережковским не сближалась, хотя всегда оставалась с ними в самых лучших отношениях и усердно посещала «воскресенья» и собрания «Зеленой лампы».

Меня не так интересовали идеи, высказываемые на 11-бис, рю Колонель Боннэ, как сами Гиппиус и Мережковский. Я не переставала удивляться им обоим. Вид Мережковского, в особенности в дни, когда ему нездоровилось и он казался особенно бледным, изможденным и тщедушным, всегда заставлял меня вспоминать чье-то определение Жозефа Жубера: «Он был только душой, встретившей хилое тело, душой, сумевшей подчинить себе это хилое тело...» Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его не только светилась в его глазах, но как будто просвечивала через всю его телесную оболочку.

У Зинаиды Николаевны, напротив, душа как будто пряталась где-то глубоко в теле и никогда не выглядывала из тусклых, затуманенных глаз.

Она была чрезвычайно (некоторые даже находили — чрезмерно) умна. Хотя я никогда не понимала, как можно быть «чрезмерно умной». По всей вероятности, она была гораздо умнее Мережковского (как многие утверждали). Но и тут я не берусь

судить — ведь ум состоит из стольких разнообразных и часто противоречивых элементов, что суждение об уме не может не быть субъективным. Все зависит от того, что считаешь главным в уме.

Зинаида Николаевна была совершенно лишена энтузиазма, вдохновения и способности восхищаться чужими мыслями. У Мережковского же страсть к восхищению выражалась иногда даже комично.

Так, например, ведя как-то беседу с молодым поэтом Заковичем, он вдруг весь насторожился, встрепенулся, протянул к нему руку и воскликнул:

— Совсем как Тертуллиан! Будто не Закович, а Тертуллиан говорит! Зина, нет, ты только послушай! Послушай!

Но Закович, недавно лишь приведенный Поплавским на «воскресенья», скромный и застенчивый молодой поэт, так смутился, что не мог больше связать и двух слов, и только испуганно оглядывался на Поплавского.

После этого случая Мережковский долгое время называл Заковича Тертуллианом.

— Придет сегодня Тертуллиан? — спрашивал он, выходя из своего кабинета к уже собравшимся в столовой гостям. Он всегда выходил с опозданием, тогда как Зинаида Николаевна с самого начала приема, то есть с четырех часов, уже занимала свое место за чайным столом.

Мережковский был очень, даже чересчур снисходительным к своим собеседникам, преувеличивал их ум и знания и часто находил особую значительность и глубину в самых обыкновенных мыслях и словах, если только они, по Мережковскому, касались метафизики, и он мог оттолкнуться от них, как от трамплина, перелететь в четвертое или в энное измерение, рассыпаясь фейерверком идей.

Глубину, мудрость, мистику он видел часто там, где их вовсе не было,— так он однажды неожиданно обнаружил их и во мне. В то воскресенье почему-то решили читать стихи, что не было принято. Стихи читали и о стихах говорили с Зинаидой Николаевной группировавшиеся около нее и не принимавшие участия в дебатах с Мережковским.

Но тут устроили «всеобщий день поэзии», и все присутствующие, не исключая и самого Мережковского, должны были участвовать в нем.

День поэзии происходит в гостиной, поэты выходят на середину комнаты и читают стоя. Я сижу на диване рядом с Зинаидой Николаевной в ожидании своей очереди.

— Вы не застали,— говорит она,— эпохи, когда Димитрий Сергеевич гремел как поэт. Всякие «Сакья Муни», «Песни шута» и тому подобное. Гремел, но гром-то был бутафорский. И до чего он иногда громыхал. О какой-то своей изменнице, еще до меня. Я до слез смеялась. Вот послушайте... И она скандирует с комическим пафосом:

Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих, когда со мной шутя
Играла ты в любовь и все потом разбила.
Не я, а ты в отчаянье немом
Рыдала бы теперь горючими слезами.

— А публике, представьте, нравилось, и критике тоже. И его переводы, Бодлера, например, были под стать:

Голубка моя, умчимся в края,
Где все, как и ты — совершенство! —

Он приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту «Голубку» играли. Мне было стыдно за него.

Она прижимает палец к губам.

— Сейчас Димитрий Сергеевич. Давайте слушать.

Мережковский, держа тетрадку в руке, быстро семеня ногами в синих войлочных туфлях, становится спиной к окну — маленький, сутулый.

Я мысленно переношу его в Петербург конца XIX века, на эстраду громадного, бурлящего и кипящего зала, переполненного студентами и курсистками, и стараюсь представить себе, как он произносил:

Бог, великий Бог лежал в пыли —

и овации, которые там устраивали ему.

Он перелистывает страницы тетрадки и с какой-то застенчивой полуулыбкой, не свойственной ему, начинает читать — очень скромно, очень просто и совсем хорошо. И стихи его очень простые, очень скромные и совсем хорошие. Музыкальны, легки и даже чуть-чуть трогательно наивны. О каких-то странниках-паломниках и о прелестной северной русской весне. Они чем-то отдаленно напоминают мне Сологуба.

— Вам нравится? — спрашивает шепотом Гиппиус.

— Очень.

Она кивает.

— Слава Богу, это совсем не то, что прежде. Но теперь это никому не нравится. Димитрий Сергеевич уже давно перестал печатать свои стихи.

После Мережковского читает Гиппиус. С места, сидя на диване. Нараспев. Ясно, сухо, вразумительно, без привычных капризных ноток в голосе:

Какая-то лягушка (все равно)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она о самом важном?

Лягушку мы все знаем наизусть. Хотя аплодировать не полагается, Зинаиде Николаевне все же аплодируют, и это ей явно приятно.

Поэты сменяют поэтов. И о каждом из них Гиппиус — она одна — говорит несколько слов. Она хвалит Адамовича, Мамченко, Терапиано за стихи «В день Покрова» и, конечно, Георгия Иванова.

Голубоватый идет солдат,
Как этот вечер, голубоват,—

нараспев выкрикивает один из молодых поэтов.

Зинаида Николаевна наводит на него свой монокль-лорнет и громко шепчет:

— А по-моему, еще лучше было бы: «как этот вечер, глуповат».

Все смеются. Молодой поэт смущается и не хочет продолжать.

— Вздор,— заявляет Гиппиус,— вы не салонная поэтесса, чтобы обижаться.— И без всякой последовательности продолжает: — Ко мне раз явились в Петербурге просить стихи для салонного женского альбома, а я им ответила: по половому признаку не объединяюсь! — И кивает в сторону молодого поэта: — Ну, читайте. Не ломайтесь.

Наконец очередь доходит и до меня. Я выхожу на середину гостиной, еще не решив, что буду читать. Я уже совсем не та, что на берегах Невы. Я уже не живу стихами и для стихов и не ношу больше банта. Здесь и то, и другое было бы неуместно и даже смешно.

Здесь стихами интересуются одни поэты, и то эгоистично, даже эгоцентрично — своими собственными стихами. А читателям стихи в лучшем случае безразличны и не нужны.

Русские в эмиграции — и в Берлине, и в Париже — совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними общего языка.

Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой, в Петербург. Нет, мне совсем не нравится «заграница». Ни Берлин, ни даже Париж.

К тому же, и это очень странно, для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в «молоденькую поэтессу» и «молодую романистку», как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем дико — я так и оставалась «молодой поэтессой» и «молодой романисткой» бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из «лебедя» превратилась в «гадкого утенка».

Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для «гадкого утенка». Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.

Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество — значит, это пойдет.

И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:

Белым полем шла,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
На земле и на небе радость —
Сегодня Рождество...

Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.

— Я не ждала, что вы так хорошо умеете выступать. Так независимо и гордо. Я сама когда-то выходила на сцену, как в тронный зал. Будто я — королева, а слушатели — мои подданные. Я никогда не кланялась на аплодисменты, я принимала их как должное. Пусть себе хлопают, раз им хочется. Я не удостаивала слушателей вниманием.

К дивану подходит Димитрий Сергеевич и берет меня за руку.

— Я никак не предполагал,— взволнованно говорит он,— в вас такой глубины, такого мистического прозрения. Невероятно! Необъяснимо!

Я чувствую, что сейчас и я буду названа Тертуллианом, или Франциском Ассизским, или святым Бернаром. А может быть, даже Данте.

— Но ведь это совсем банально. Это все только бутафория, и дешевая...— протестую я.— Направо добро, налево зло... Это все рифмованная чепуха.

— Тогда еще замечательнее, раз вы сами не сознаете, что создали. Это... это прямо невероятно.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, и больше не спорю. Сейчас, сейчас он провозгласит меня Франциском Ассизским.

Но Зинаида Николаевна неожиданно вмешивается.

— Как это у вас? Выползет черепаха, пролетит летучая мышь? Да? И что змея появляется — хорошо. У меня тоже когда-то было стихотворение про змею.

Я такая добрая, добрая,
Как ласковая кобра я...

— Зинаида Николаевна, прочтите, пожалуйста, о ласковой кобре,— прошу я. И она не заставляет себя долго просить, к общему, и главное — моему удовольствию.

Мережковский, слушая ее, забывает о моей «небывалой глубине и мистическом прозрении», и слава Богу.

Зинаида Николаевна медленно, грациозно встает с дивана.

— А теперь пойдем чай пить. Давно пора.

И все переходят вместе с нею в столовую и усаживаются вокруг стола.

Владимир Ананьевич Злобин, как всегда, ловко и быстро наливает и разносит чай, успевая в то же время любезно предлагать гостям бисквиты и сдобные булочки, как будто он, а не Зинаида Николаевна здесь хозяйка — очень внимательная хозяйка.

Разговор становится общим. Сегодня, исключение из правила, рассуждают только о стихах. Георгий Иванов проникновенно приводит цитату из Лермонтова, своего любимого поэта, восхищаясь ею:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом...

— Чушь! — перебивает его опоздавший на «День поэзии» Бахтин и, гордо закинув рыжеволосую голову, безапелляционно заявляет: — Лермонтов — бездарность!

Меня такое заявление Бахтина не задевает и не удивляет. Я привыкла к его эксцентричным выпадам. Не далее как в прошлое воскресенье он заявил во всеуслышание, что «Евангелие просто пустая книга, которой безумно повезло».

Но молодые поэты дружно и возмущенно хором протестуют, перекрикивая друг друга.

— Зина, посмотри, сколько он сахара кладет! — неожиданно среди шума и гула спорящих раздается возглас Мережковского. Указательный палец его вытянутой через стол руки указывает прямо на Георгия Иванова, действительно, как всегда, положившего пять кусков сахара в свою чашку чая.

Зинаида Николаевна поворачивает голову к Георгию Иванову, занимающему свое обычное место возле нее, с правого слышащего уха.

— Очень правильно делает,— говорит она одобрительно.— Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно: и разговоры, и чай, и обед, все одно и то же. Каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Всегда одно и то же, говорили, ели и пили. Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннобородому и длинноволосому иерарху Церкви: «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!» Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины.

— Это как у Свифта? Жареные ирландские младенцы? — спрашиваю я.

Зинаида Николаевна недовольно щурится.

— Свифт? — недоумевающе тянет она.— При чем тут Свифт? Я вообще его никогда не читала!

Я удивлена. Я спрашиваю:

— Даже «Гулливера»? Неужели? Никогда?

Но она делает вид, что не слышит. Я испортила своим неуместным вопросом о Свифте эффект «жареного младенца». Она недовольно щурится и неожиданно обращается к Злобину:

— Чай пить, правда, скучно. Володя, достаньте из буфета нашего «moine miraculeux» [1].

Ликер «Le moine miraculeux» — единственный ликер, признаваемый Мережковскими. Они приписывают ему какие-то чудодейственные целительные свойства.

Но пьют его на 11-бис, рю Колонель Боннэ только по большим праздникам, и то не все гости, а лишь избранные, по одной рюмочке, не больше. И сейчас, как всегда, Зинаида Николаевна указывает, кого следует угостить «чудодейственным монахом».

— Володя, налейте рюмку Георгию Викторовичу Адамовичу, Георгию Владимировичу (Иванову), Виктору Андреевичу (Мамченко), Юрию Константиновичу (Терапиано). И Бахтину.

Остальным — в том числе и мне — «монаха» не полагается. Я, впрочем, все равно отказалась бы от него. Я еще не научилась пить ни ликеры, ни водку. Но раз мне не предлагают, то и отказываться не приходится. Как и обижаться не приходится.

В прихожей раздается звонок. Злобин идет открывать.

Зинаида Николаевна прислушивается, вытянув шею, к доносящимся из прихожей голосам.

— Это Александр Федорович,— объясняет она.— Он сегодня обедает у нас.— И спрашивает:— Который час? Разве уже так поздно?

Уже восемь часов. Мы непозволительно засиделись. Все разом встают. Как всегда, Зинаида Николаевна и Мережковский идут провожать гостей.

В прихожей Керенский. Он успел снять пальто и поправляет галстук перед зеркалом.

Я впервые вижу Керенского так близко. Я знакома со многими знаменитыми людьми, но с таким знаменитым человеком, как он, мне еще не приходилось встречаться. С таким знаменитым — был ли кто-нибудь знаменитее Керенского весной и летом 1917 года?

Правда, с тех пор прошло десять лет, но мне кажется, что отблеск его прошлой славы все еще окружает его сиянием.

---

[1] «Чудодейственный монах» *(фр.)* — название ликера.

Он здоровается с Зинаидой Николаевной, с Мережковским, и со всеми «воскресниками», даже с теми, кого, как меня, он видит впервые, крепким рукопожатием.

Рукопожатия. Я вспоминаю, что ему пришлось носить правую руку на перевязи в июле 1917 года после тысяч рукопожатий. Неужели таких же крепких, как сейчас?

Пожимая руки, он бросает властно и отрывисто, как будто отдает приказания: «Здравствуйте! Как поживаете? Рад с вами познакомиться».

Прищуренные глаза, как две щели на большом, широком, массивном лице. Густые серо-стальные волосы бобриком и какая-то военная выправка, хотя он до своей головокружительной карьеры был штатским — петербургским помощником присяжного поверенного Сомова.

Мне кажется, что, несмотря на свой громкий голос и резкие движения, он очень застенчив. Хотя вряд ли он кому-нибудь сознается в этом, даже себе.

Он чрезвычайно близорук, но из непонятного кокетства не желает носить очки или пенсне. Вместо очков он пользуется, как мне рассказывали, лорнеткой. Мужчина с лорнеткой для меня так же немыслим и невероятен, как женщина с моноклем.

Но вот они — женщина с моноклем и мужчина с лорнеткой, должно быть, единственные на свете — стоят здесь рядом передо мной.

Керенский действительно достает из бокового кармана пиджака тоненькую дамскую лорнетку. В памяти моей всплывают строки Кузмина о маркизах:

Кто там выходит из боскета
В жилет атласный затянутый?
Стекла блеснули его лорнета...

Да, стекла лорнета Керенского блестят, но Керенский совсем не похож на маркиза.

Лорнетка кажется особенно хрупкой, игрушечной в его увесистом кулаке. Он подносит ее к глазам, и от этого его массивное, широкое лицо принимает какое-то странное, жалкое выражение — не то стариковское, не то старушечье.

Лорнеткой, правда, как я слыхала, он на улице не пользуется, хотя по близорукости ему и очень трудно обходиться без нее. Он не узнает знакомых, не отвечает на поклоны. О нем рассказывают, что он однажды, быстро переходя улицу Пасси — он всегда ходит очень быстро, всегда спешит,— натолкнулся на автомобиль и, приподняв шляпу, вежливо извинился: «Пардон, мадам». Но это, конечно, анекдот.

Я внимательно, во все глаза разглядываю его. Ведь это тот самый Керенский, воплощавший свободу, тот самый, кого боготворили толпы, тот самый, под чьей фотографией красовалась подпись:

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Если бы я вела дневник, я в тот вечер, вернувшись домой, записала бы на чистой странице: «Сегодня я познакомилась с Керенским». И поставила бы точку.

Но я не вела дневника. Эту первую встречу с Керенским я записала в своей памяти. Без комментариев.

— Человек почти всегда добивается того, о чем мечтает, чего страстно желает, беспрестанно, днем и ночью, во сне и наяву,— каждую минуту. Например, «как я хочу получить Нобелевскую премию»,— убежденно произнес на одном из «воскресений» на 11-бис, рю Колонель Боннэ Димитрий Сергеевич Мережковский.

О том, что он страстно желает получить Нобелевскую премию, знали все посетители «воскресений». Мережковский не скрывал, а даже, скорее, подчеркивал свое желание. Он считал, что Нобелевская премия по справедливости должна быть присуждена ему и он один достоин ее.

— Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно? «Жизнь Арсеньева»? — безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля, к тому же перегруженное описаниями природы. Ну, еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня».— Ее Мережковский, о чем он любил поминать, так и не мог одолеть.— Каждый раз засыпал от скуки на двадцатой или тридцатой странице, как ни старался. Пришлось бросить,— он вздыхал с притворным огорчением и добавлял: — Все же я постоянно держу эту самую «Деревню» на ночном столике — на случай бессонницы. Великолепно помогает!

Нет, положа руку на сердце, Мережковский не считал Бунина серьезным конкурентом:

— Ведь не совсем же идиоты судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!

И все же его тревожили и беспокоили слухи о кампании, ведущейся в пользу Бунина. В ней участвовало столько «именитых» эмигрантов с Густавом Нобелем и Конжунцевым во главе. Да и среди писателей не все были сторонниками Мережковского, хотя бы тот же Алданов, ведший яростную кампанию в пользу Бунина среди своих «иностранных коллег» — не только французов, но и шведов.

Быть вполне уверенным, что Нобелевская премия достанется ему, а не Бунину, Мережковский все же не мог и считал, что лучше обеспечить себя на всякий случай.

Однажды, весной 1932 года, Мережковский на одном из «воскресений» предложил Бунину (Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова во время своих наездов в Париж из Грасса изредка навещали «воскресенья» Мережковского):

— Давайте, Иван Алексеевич, заключим пакт. Если мне достанется Нобелевская премия, я вам отдам половину, если вам — вы мне. Поделим ее пополам. Застрахуемся взаимно. Тут, в присутствии их всех,— он обвел взглядом сидящих за столом.— Дадим друг другу честное слово, что поделим премию.

Но Бунин решительно покачал головой.

— Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич. Не согласен. Заранее заявляю — делиться и не подумаю. Вам присудят — ваше счастье. Мне — так мое.

Мережковский на минуту весь даже съежился, глаза его и все лицо поблекли и затуманились, будто в нем погас свет, освещавший его изнутри.

Он, по-видимому, никак не ожидал такого решительного резкого отказа на свое великодушное (ведь премия, по всей вероятности, достанется именно ему) предложение.

— Воля ваша,— проговорил он хрипло, превозмогая обиду.— Боюсь только, что вы пожалеете, и очень, что так опрометчиво...

Но Бунин, удобнее откинувшись на спинку зеленого кресла, широко и свободно взмахнул рукой.

— Ну, что там гадать на кофейной гуще. Поживем — увидим. А связывать себя обещаниями я всегда терпеть не мог. И страховок не признаю,— и закончил убежденно:— А в звезду свою я верю!

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским на «воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

— Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. Ответный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

— Не был принят. Не удостоился лицезреть,— уверяла Зинаида Николаевна.— Понятно — зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам Бунин», во всем сиянии и блеске своего величия и славы...

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша вступил, держась необычайно прямо, ново-нобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами выражало царственную, высокомерную благосклонность.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривала вошедших сквозь стекла своего лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

— Поздравляю,— добавив после короткой паузы: — И завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свой лорнет.

— Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна,— растягивая слова, произносит она,— верно, страшно дорого стоило? — улыбка в сторону Галины Кузнецовой.— И на вас тоже... С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое... Садитесь возле меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавого передразнивания.

— Здрравствуйте, здрравствуйте. Страшно пррриятно вас видеть.

Галина Кузнецова садится возле меня. Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными, грустными глазами и тихо вздыхает:

— Ах нет, Ириночка, совсем не так чудесно, как вам кажется,— это было очень утомительно. И беспокойно. Новый год мы встретили в поезде. На обратном пути Иван Алексеевич хотел непременно в Германии заехать к Степуну. Я простудилась. И там...

Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает.

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Недолет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель. Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль jeune fille de la maison — в угощение «высоких гостей» — чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером «moine miraculeux».

Из прихожей быстро входит известный художник X., останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

— Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

— Иван Алексеевич! — вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рывком кидается к Бунину: — Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления... От всего сердца...

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление,— неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь.

Я смотрюсь в зеркало в предпоследний раз и, как всегда перед отходом, недовольна собой. Всегда что-нибудь не так — или шляпа, или волосы, или платье, или выражение моего лица. Какой у меня сегодня нелепый вид.

Потом я об этом забуду, но сейчас я совсем не нравлюсь себе. Надо торопиться, я опять, как всегда, опаздываю. Я еду на коктейль к своим французским друзьям, они просили не опаздывать. Я ищу перчатки. Георгий Иванов уже снял с вешалки мою шубку и подает ее мне.

— Непременно приезжай в «Зеленую лампу», ты уже в прошлый раз не была. Прямо в «Лампу», если задержишься там. И позвони мне, чтобы я не ждал напрасно дома. Непременно. Ты ведь знаешь, как я беспокоюсь о тебе.

Да, знаю, отлично знаю. Он вечно беспокоится обо мне. Зря беспокоится.

— Хорошо, хорошо, приеду в «Лампу», хотя мне и не очень хочется,— обещаю я, надевая шубку.

И в эту минуту звонит телефон.

— Вот, меня уже и вызывают. Скажи, что я уже уехала.

Он, кивнув, берет трубку.

— Алло? Алло? — до меня доносятся какие-то щелкающие звуки, но слов я разобрать не могу.

— Что? что? Повтори,— кричит Георгий Иванов срывающимся от волнения голосом.— Что случилось?

Нет, это не мои французские друзья. Что-то случилось. Но что?

Я в недоумении жду, не решаясь уйти, не узнав, в чем дело.

Наконец он вешает телефонную трубку.

— Только что убили президента,— говорит он.— Убил русский. Боятся, что начнется избиение русских. Ты никуда не поедешь — опасно. Я с ума сойду от страха, если ты уедешь.

Русский убил президента? Будут громить и убивать русских? Готовят Варфоломеевскую ночь? Да, уезжать мне действительно нельзя. И я соглашаюсь остаться. Георгий Иванов благодарит меня:

— Слава Богу, хоть ты благоразумна. Спасибо. А как быть с «Лампой»?

Снова звонит телефон. Это Оцуп. Он уже знает и в ужасе. Что нас всех ждет? Но он сегодня должен читать доклад в «Лампе». Состоится ли заседание или его отменят?

— Решай, ведь ты председатель «Лампы».

— Надо отменить,— говорит Георгий Иванов,— но я один, без Димитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны, решать никак не могу. А у них нет телефона. Я ведь только липовый, номинальный председатель.

Телефон продолжает беспрерывно звонить. Звонит Адамович, Фельзен, звонят знакомые, интересующиеся «Лампой». И все в один голос:

— Отменить, слишком опасно. Ты (или вы) как постоянный председатель можешь (или можете) и без Мережковского.

Но Георгий Иванов не согласен.

— Я пойду к нему. Ведь мне с Франклин до Колонель Боннэ совсем близко. А ты сиди тихо и жди меня. Я скоро вернусь.

Но я не хочу оставаться одна.

— Нет, я пойду с тобой.

Он не сразу соглашается, но я настаиваю, и он, как почти всегда, уступает мне.

— Хорошо, только не говори по-русски и вообще молчи.

И вот мы идем по гудящей и кипящей, обыкновенно такой буржуазно чинной и тихой улице Пасси. «...» — ясно доносится до меня. Я вздрагиваю. Неужели это о нас? Нет, это о русских вообще. Георгий Иванов ускоряет шаг. Мы почти бежим, но никто в толпе не обращает на нас внимания.

И вот мы уже входим в дом Мережковских. Дверь открывает горничная.

Мережковский стоит на пороге гостиной бледный, с перекошенным лицом и как будто еще больше сгорбившийся.

— Конец мира наступает,— торжественно произносит он, поднимая руку,— апокалиптический конец. Страшный...

Но Георгий Иванов сразу перебивает его.

— Димитрий Сергеевич, надо отменить «Лампу». И как можно скорее, ведь уже половина шестого.

— Отменить? — возмущенно говорит Мережковский и смотрит на него.— Отменить? Но ведь это будет просто историческое заседание — в день убийства президента русским! И ведь все надо соборно обсудить. И решить, как в дальнейшем действовать. Нет, отменить невозможно. Это был бы просто позор, преступление. Опасно? Что же, что опасно,— отмахивается он от доводов Георгия Иванова.— Мы не презренные трусы. Мы должны исполнить наш долг.

Георгий Иванов оглядывает пустую гостиную.

— А где Зинаида Николаевна? Что она думает?

Мережковский, уже подхваченный волной вдохновения, уносящей его за облака, снова сразу возвращается на землю.

— Она тоже считает, что необходимо отменить «Лампу». Она пошла вниз все узнать, убедиться в настроении, на улицу, прощупать пульс жизни. Она сейчас вернется и все расскажет. Тогда и решим.

— А Владимир Ананьевич где?

— Он с утра уехал в Ампер к больному знакомому.

Мы садимся с ним на диван и ждем, слушая неубедительные уверения Мережковского о необходимости сегодняшнего исторического заседания «Лампы».

Проходит полчаса, а Зинаида Николаевна все не возвращается.

Георгий Иванов смотрит на часы.

— Что же это? Где она? Не случилось ли с ней чего? — спрашивает он встревоженно.

Его тревога передается Мережковскому.

— Она так неосторожна, могла вступить в разговор, заспорить с французами. Она так потрясена, не могла усидеть дома, так захвачена этим чудовищным убийством...

Проходит еще полчаса.

Георгий Иванов встает.

— Я пойду вниз, поищу ее.

— Невероятно, неправдоподобно, я просто умираю от беспокойства, с ума схожу,— говорит Мережковский.— Идите, Георгий Владимирович. Идите.

Звонок. Георгий Иванов открывает дверь.

В прихожую несвойственной ей быстрой и резкой походкой входит совершенно расстроенная Зинаида Николаевна. Даже перья на ее большой, криво сидящей шляпе как-то необычайно топорщатся.

— Ну что? Что ты узнала? — кидается к ней Мережковский.— Отчего ты так долго? Что случилось?

Но она, не отвечая ему и не здороваясь с Георгием Ивановым, возмущенно кричит:

— Все, все испортила! Все перешить надо! И юбка ко-

ротка, и рукава узки! И складок мало! И ко вторнику готово не будет!

...А заседание «Лампы» в тот вечер все же отменили.

Мережковский говорил, что биографии писателей и поэтов, как и воспоминания о них, чаще всего превращаются не в цветы, а в тяжелые камни, падающие на их могилу, придавливающие ее. Что о поэтах и писателях должны писать только поэты и писатели, и то далеко не все. И тут часто такие биографии и воспоминания становятся памятниками не тем, о ком они пишутся, а авторам их: Я и Толстой. Я и Пушкин. Я и Блок. Я и русская поэзия. В подтверждение права выдвигать себя на первое место приводятся письма своих друзей и почитателей.

— Не смейте писать обо мне! Не смейте приводить моих писем! — восклицал он, в порыве вдохновения потрясая рукой.— Запрещаю! Не вколачивайте меня в гроб! Я хочу жить и после смерти.

И все-таки я нарушаю этот запрет.

Но не для того чтобы «вколотить его в гроб», а для того чтобы помочь ему жить в сердцах читателей таким, каким он был, а не таким, каким он кажется многим. Очистить, защитить его от клеветы и наветов.

Это нелегко. Трудно спорить с утверждающими, что он был «чудовищно эгоистичен и эгоцентричен», что он никого на свете не любил и не уважал, кроме «своей Зины», что ему на все и на всех было наплевать, только бы он и она могли пить чай — это казалось ему справедливым и естественным.

Да, он считал и ее, и себя исключительными людьми, для которых «закон не писан». Мораль — для других-прочих, для обыкновенных, а они могут поступать, как для них выгоднее и удобнее.

Удобства он чрезвычайно ценил. Его поступки совсем не должны совпадать с его «высокими идеалами» и могут идти вразрез с ними.

Как-то на одном из «воскресений» он допытывался у Адамовича, как тот мог написать хвалебную статью об одном из явно бездарных писателей:

— Неужели он правда нравится вам?

Адамович всячески старался отвертеться, уверяя, что в конце концов тот, о ком он писал, в сущности, не так уж плох. Но Мережковский не унимался, и Адамович, выведенный из себя, вздохнул и сознался:

— Просто из подлости, Димитрий Сергеевич. Он мне не раз помогал.

Мережковский радостно закивал:

— Так бы и говорили! А то я испугался, что он вам действительно нравится. А если из подлости, то понятно, тогда совершенно не о чем говорить. Мало ли что из подлости можно сделать!

Вот этим «из подлости» и объясняется его поведение во время войны, его так называемая измена России — «гитлерство», речи по радио и прочее.

На самом деле все это делалось только «из подлости» и не касалось его действительных взглядов и чувств. Мережковские жили тогда, как и мы, в Биаррице, постоянно встречались с нами, и я могла наблюдать за всеми стадиями его якобы превращения из ярого ненавистника Гитлера в его поклонника.

Положа руку на сердце, утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему.

В спорах с Георгием Ивановым, считавшим, как и Черчилль, что «хоть с чертом, но против большевиков», Мережковский называл Гитлера «маляр, воняющий ножным потом».

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним,— Мережковский не разглядел, проглядел его.

* * *

Осенью 1932 года мы с Георгием Ивановым оказались в Риге, где жил мой отец. Нам совсем не хотелось покидать Парижа — там уже начался зимний сезон, и вечера и литературные собрания следовали один за другим. В те довоенные года литературная жизнь кипела и бурлила в Париже. Туда съехались почти все большие русские поэты и писатели, и Париж, а не Москву в шутку стали называть «столицей русской литературы». Уезжать из него нам казалось обидно.

Но мой отец смертельно заболел, и мне хотелось провести с ним его последние дни.

Я уезжала из Парижа в самом удрученном состоянии, с самыми мрачными предчувствиями.

Но предчувствия, как почти всегда, обманули меня.

Мой отец встретил меня веселый и жизнерадостный. Он совершенно не походил на умирающего. Никаких болей он не испытывал и не подозревал о своем скором конце. Мой приезд был для него настоящим праздником, и он всячески старался устроить мою жизнь как можно лучше и приятнее: возил меня в рестораны и в театры и снял для меня и Георгия Иванова, чтобы мы чувствовали себя самостоятельными и независимыми, отличную меблированную квартиру — в ней до нас жил «сам Макс Рейнгард». Если бы не сознание неизбежности рокового конца моего отца, я бы чувствовала себя здесь совсем хорошо.

Мы провели в Риге целый год, и этот год, непохожий на длинную вереницу моих остальных эмигрантских лет, лежит в памяти моей, «как белый камень в глубине колодца».

Рига, нарядная столица Латвии, особенно пышно цвела и расцветала, доживая свои последние светлые дни перед гибелью.

Она вся утопала в садах и эспланадах, а Старый город, с его кривыми улочками, средневековыми зданиями и великолепной площадью Черноголовых придавал ей очень нравившийся мне, слегка сказочный вид.

В Риге обосновалась масса эмигрантов со всей России. Большинство из них, по-видимому, вполне сносно устроилось. Насколько я могла судить, лучше, чем у нас в Париже. Латышские власти не притесняли русских и относились к ним более чем сносно.

В Риге была отличная опера и драматический театр, где наряду с латышскими шли русские представления.

Вскоре после моего прибытия в Ригу, когда я еще жила на квартире отца одна — Георгию Иванову долго пришлось хлопотать о латвийской визе, и он приехал в Ригу только через месяц после меня — ко мне явилась интервьюировать меня для газеты «Сегодня» молодая журналистка. Покончив с интервью, она передала мне привет от редактора Мильруда и приглашение «пожаловать поскорее в редакцию. И Петр Пильский тоже будет счастлив познакомиться с вами».

Принимая приглашение и обещая прийти, я неожиданно рассмеялась. Она удивленно взглянула на меня — что тут смешного? Но я не стала объяснять ей причину своего непонятного смеха, и она, получив от меня мою фотографию, так и ушла, явно недоумевая и, должно быть, считая «эту Одоевцеву очень странной».

А мой смех был вызван трагикомическими воспоминаниями о моем знакомстве с Мильрудом. Я не хотела о нем говорить, надеясь, что он начисто забыл его. Ведь это было так давно — целых десять лет тому назад!

Я снова смеюсь и, как говорил Андрей Белый, «с головой погружаюсь в свое прошлое».

...Вот я, только две недели тому назад покинувшая Петербург, здесь, в Риге, у отца. Я уже успела до отказа насладиться прелестями сытной рижской жизни и почувствовать, что мне здесь все-таки чего-то не хватает. Чего? Ну, понятно, «литературного амбьянса» — как это называлось у нас в Цехе,— казавшегося мне тогда не менее необходимым, чем воздух. В Риге существует ежедневная газета «Сегодня» — я с удовольствием читаю ее каждое утро. Она ведется живо и интересно и вовсе не похожа на наши «Правду» и «Красную газету». Вокруг нее, должно быть, группируются поэты. Надо пойти в «Сегодня», познакомиться с ее редактором Мильрудом и отнести ему мои стихи в подарок — бесплатно. Он, наверное, будет очень рад появлению русского поэта, только что прибывшего из Петербурга, и познакомит меня со здешними поэтами.

Недолго думая, я переписываю три своих стихотворения, засовываю свой бант под замшевую круглую шапочку с помпоном, надеваю свое рыжее клетчатое пальто — то самое из моих стихов о статуе в Летнем саду,— и отправляюсь знакомиться с Мильрудом.

Редакция газеты «Сегодня» помещается на захолустной Суворовской улице в старом скромном домике. Я вхожу и заявляю звонко щелкающей на пишущей машинке барышне, что желаю видеть редактора газеты Мильруда.

— У вас рандеву? — спрашивает она.

Я качаю головой.

— Нет.

Она удивленно поднимает подрисованные брови.

— Вы хотите видеть лично его? По какому делу?

— Без всякого дела. Я пришла с ним познакомиться. Я — Ирина Одоевцева,— не без гордости говорю я.

Но мое имя ей, по-видимому, незнакомо. Она еще выше поднимает брови.

— Вряд ли он вас примет. Но я пойду доложу ему.

И она уходит. Я остаюсь одна, немного сбитая с толку. Не такого приема я ожидала. Впрочем, откуда этой маленькой рижской машинистке разбираться в делах поэзии?

Она возвращается и предлагает мне последовать за ней. Ну, конечно, иначе и быть не могло. И я поднимаюсь с ней по узкой обшарпанной лестнице на следующий этаж.

Редактор Мильруд сидит за большим некрашеным столом, заваленным бумагами, в пустоватой, бедно обставленной комнате. Он высокий и плотный, еще совсем нестарый и симпатичный на вид. Но меня он окидывает не приветливым, а скорее удивленным взглядом.

Он слегка приподнимается, не предлагая мне сесть.

— Чем могу служить? Предупреждаю, что мы уже нашли машинистку и вакантных мест у нас в «Сегодня» больше нет...

Я сажусь на венский стул перед тем как ответить.

— Нет, я не ищу места. Я пришла с вами познакомиться. Я — Ирина Одоевцева и принесла вам мои стихи.

Он слегка морщится:

— Стихи? Этого товару у нас и так больше, чем надо. Ни к чему нам. Вот маленький рассказик, если подойдет...

Я перебиваю его. Он, должно быть, не расслышал моего имени, и я повторяю отчетливо и громко:

— Я — Ирина Одоевцева и рассказов не пишу. Я — поэт Ирина Одоевцева.

— Как? Ирина Ода-овца? Простите, не слыхал...— и любезно кивнув: — А вы попробуйте. Авось вам удастся. Коротенький, фабульный рассказик. Мы против начинающих ничего не имеем. Даже поощряем. И небольшой гонорар заплатим, если возьмем. А теперь простите,— он снова приподнимается.— Очень занят,—

и уже вполне дружелюбно улыбнувшись: — До скорого! Надеюсь, с рассказиком!

Я встаю, стараясь совладать с собой, и, уничтожающе взглянув на него, отчеканиваю:

— Вам, редактору газеты, следовало бы лучше знать имена русских поэтов,— и, слегка поклонившись, гордо выхожу.

Спускаясь по лестнице, я крепко держусь за перила — только бы не полететь кубарем вниз от душащего меня возмущения. Но у меня же хватает самообладания, чтобы, проходя мимо машинистки, кивнуть и пожелать ей как ни в чем не бывало:

— Всего хорошего!

Дома я, уже не сдерживаясь, рассказываю отцу, как меня «оскорбил» Мильруд. Он остро переживает мою обиду — как и полагается горячо любящему отцу — и решает тут же больше не читать «Сегодня» и прекратить его выписывать. Решение это он, впрочем, все же не осуществляет.

— Ода-овца,— повторяю я и снова смеюсь.

Это было десять лет тому назад, многое за эти годы переменилось, и «сама, покорна общему закону, переменилась я».

Да, я теперь совсем не та, что там, на берегах Невы. Даже мой бант — казалось бы, составлявший часть меня самой,— давно исчез. Расставаться с ним мне было нелегко. Но я поняла, что здесь он просто невозможен.

Прошло несколько дней после моего интервью, и вот я иду в «Сегодня» вторично знакомиться с Мильрудом, надеясь, что о первом знакомстве с «Ода-овцой» он забыл.

Редакция «Сегодня» помещается теперь в фешенебельной части города в собственном большом, чрезвычайно безобразном особняке. Но внутри его все на удивление пышно и богато. И до чего непохоже на более чем скромную редакцию наших парижских «Последний новостей».

Меня, как только я назвала себя, вводят в огромный, роскошный кабинет Мильруда, и он сам уже идет ко мне настречу, сияя радостью.

— Наконец-то! Я уже заждался вас!

Он усаживает меня в глубокое удобное кресло. И сразу же:

— А я уже боялся, что вы все еще не простили мне моего — помните — приема десять лет тому назад.

О Господи, значит, он не забыл!

А он продолжает:

— Я тогда же хотел извиниться перед вами. Ведь вы тогда имели и право и основание называть себя «русским поэтом». Мне это объяснил ваш горячий поклонник Максим Горький, превозносивший до небес ваши баллады и поэму о Луне. Но мне вы показались в вашей шапочке с помпоном удивительно забавным подростком с просто дьявольским апломбом. Вы с таким высокомерием заявили мне, что мне следовало бы лучше

знать имена русских поэтов, что я просто остолбенел и долго потом без смеха не мог вспомнить о вас. Даже Максиму Горькому рассказал, думая посмешить его.

Лучше бы он об этом не вспоминал. Я киваю:

— Да. Я не могла не показаться вам смешной. Я тогда была чересчур самонадеянной и уверенной в себе. У меня еще не было понятия о табели о рангах, господствующей в эмиграции. Я еще думала и вела себя, как в Петербурге. Теперь я стала гораздо скромнее. С меня здесь успели сбить спесь. А вот вашему тогдашнему совету — попробовать написать рассказик,— я, как видите, последовала.

— И до чего удачно! Петр Пильский в восторге от ваших двух романов... И у нас, видите,— продолжает он, покончив с похвалами мне как прозаику,— и у нас здесь много переменилось за эти десять лет. И, слава Богу, к лучшему.

Он посвящает меня в тайны здешней литературной жизни и расспрашивает о парижских новостях и сплетнях, о «воскресеньях» на Колонель Боннэ у Мережковских, о Буниных. О том, у кого из них больше шансов на Нобелевскую премию.

Но на этот вопрос я ничего не могу ответить, хотя, как и многие в Париже, считаю, что ее следует дать Мережковскому.

Мильруд и тогда, десять лет тому назад, с первого взгляда показался мне симпатичным, а теперь я вижу, что он действительно очень симпатичен и к тому же на редкость интересный и блестящий собеседник, все понимающий с полуслова.

Я с большим удовольствием провожу в его кабинете почти час, и он, по-видимому, тоже очень доволен этим первым контактом.

— А Петр Пильский придет в отчаяние от того, что он вас прозевал — ведь он ушел за несколько минут до вашего прихода. Боюсь, что он снова напьется с горя,— говорит он, провожая меня до выхода.

Я иду домой в самом радужном настроении. До чего же мое посещение редакции «Сегодня» непохоже на то — первое!

А дома меня ждал неожиданно приехавший во время моего отсутствия Георгий Иванов.

В Риге мы с Георгием Ивановым вели более светскую, чем литературную жизнь, что ему было совсем не по душе,— по-настоящему хорошо он чувствовал себя только среди «деятелей искусства».

Один из его друзей юности, «очаровательный Валечка Пастухов», поселился в Риге, и с ним я сразу подружилась.

Этот Валечка Пастухов действительно на редкость очаровательный, застенчивый и нежный, заслуживший в Петербурге прозвище — по Маяковскому — «не мужчина, а облако в штанах», был женат на Марии Владимировне Майборода,

на «женщине с бородой», как ее называли из-за фамилии, а главное из-за ее мужеподобия, энергии и активности. Более нелепого брака, кажется, и придумать нельзя было, а оказалось, что Валечка всем был обязан своей жене, без нее он — бывший миллионер и отличный пианист, совершенно не способный к жизненной борьбе,— в эмиграции, конечно, влачил бы жалкое существование, давая грошовые уроки музыки, за которые большинство его учеников не платило бы вовсе. Она же взяла дело в свои железные руки и добилась того, что в Риге учиться музыке у Пастухова считалось честью, далеко не всем желающим доступной и очень дорого стоящей. Завела она к тому же и связи в рижском свете и сумела сделать из своего — правда, талантливого — мужа местную знаменитость. Супругов Пастуховых мы часто встречали в рижских светских кругах.

В них большую роль играл дипломатический корпус. В Латвии, как в самостоятельном государстве, были представлены многие страны — правда, не послами, а посланниками. Присутствие этих посланников придавало особый блеск балам, вечерам, приемам и обедам. Светские дамы так обменивались впечатлениями:

— Ах, вчера у таких-то был чудесный обед: устрицы, специально выписанные из Остенде, седло дикой козы, спаржа, пломбир, шампанское и четыре посланника! А вот на прошлой неделе у таких-то обед был совсем плохонький — бульон с пирожками, ростбиф, бордо и сливочный крем. И только один французский консул!

Меня очень забавляла эта гастрономически-дипломатическая критика обедов и приемов, этого я никогда и нигде, кроме как в Риге, не слыхала.

На одном из таких гастрономически-дипломатических обедов моим соседом за столом был недавно присланный в Ригу итальянский посланник. Разговор, между прочим, коснулся хиромантии, и я рассказала ему, что умею читать линии рук.

Он очень заинтересовался и попросил меня посмотреть, что его ждет. После обеда я занялась рассматриванием его рук. И тут я увидела, что он скоро переменит карьеру, о чем я ему и сообщила. Но он вежливо объявил мне, что я абсолютно ошибаюсь, этого быть не может, скорее Рим провалится. Он дипломат и останется дипломатом до дня смерти, как его прадед, дед и отец. Все в их семье вот уже два века дипломаты.

— Просто смешно думать, что я могу перестать быть дипломатом! — взволнованно убеждал он меня.

Я, конечно, не стала настаивать и согласилась, что неправа. Каково же было мое и всех присутствовавших на этом обеде удивление, когда через две недели Муссолини отозвал этого посланника в Рим, заставил его подать в отставку, и он поселился в своем имении. Этот случай принес мне некоторую популярность, и я при желании даже могла бы стать «известной хироманткой».

В Риге в то время было много молодых поэтов: очень талантливая Ирина Сабурова, молодой редактор журнала «Для вас». Ею и сейчас гордятся прибалтийцы, разбросанные по всему миру,— в Канаде они так и называют себя «сабуровцами». В Риге жил и ее муж, композитор и поэт Александр Перфильев, сюда наезжал и Игорь Чиннов, только начинавший свое блестящее восхождение к славе.

Но с ними всеми я тогда, о чем жалею теперь, и знакома не была.

Познакомилась я с ними много позже, тогда же я проводила большую часть дня с отцом, а остаток — в светских развлечениях.

Все же мы с Георгием Ивановым сотрудничали в «Сегодня» и часто встречались с Пильским и Мильрудом и бывали друг у друга.

* * *

Слава Тэффи в дореволюционной России была огромна. Ее читали, ею восхищались буквально все — начиная от почтово-телеграфных чиновников и аптекарских учеников, как известно, самой низшей ступени читателей тех лет,— до... императора Николая II.

Когда при составлении юбилейного сборника 300-летия царствования дома Романовых почтительно осведомились у царя, кого из современных русских писателей он желал бы видеть помещенным в нем, царь решительно ответил:

— Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!

И с явным неудовольствием, после долгих уговоров, согласился, чтобы в юбилейном сборнике появились имена и портреты и других поэтов и писателей, во главе с Гиппиус и Мережковским.

Георгий Иванов слышал это еще в Петербурге, в 1913 году, от А. А. Мосолова и как-то, уже в Париже, спросил Тэффи, было ли ей известно, что царь был ее горячим поклонником.

Тэффи покачала головой.

— Представьте себе, понятия не имела. А то, наверно, задрала бы нос. Впрочем, нет,— я тогда уже объелась славой. Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку, перевязанную красной шелковой лентой. Без визитной карточки или сопроводительного письма. Должно быть, от какого-нибудь из анонимных поклонников моего таланта,— такие случаи уже бывали. Я развязала ленту, раскрыла коробку и ахнула. Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках мой портрет в красках и подпись: «Тэффи»! Тут действительно от гордости у меня как будто выросли крылья. Это ли не слава, не звонкая, сладостная, всероссийская слава?!

Я сейчас же бросилась к телефону и стала хвастаться своим друзьям, приглашая их к себе попробовать конфеты «Тэффи». «А вкусные?» — не без зависти спрашивали они. «Удивительно, невообразимо вкусные! Так приходите!»

Я звонила и звонила по телефону, созывая гостей, в порыве гордости уписывая конфеты «Тэффи» и добросовестно уничтожая их. Я опомнилась, только когда опустошила почти всю трехфунтовую коробку. И тут меня замутило. Я объелась своей славой до тошноты и сразу узнала обратную сторону ее медали.

Вместо того чтобы весело отпраздновать свою славу с друзьями, мне пришлось пригласить доктора, посадившего меня на неделю на диету и уложившего меня в постель с грелкой на печени. И больше меня уже никакими доказательствами славы не проймешь. Спасибо, я уже объелась ею раз и навсегда.

И прибавила, разводя руками:

— А конфеты, как ни странно, люблю по-прежнему. Должно быть, оттого, что они мне запрещены.

Женские успехи доставляли Тэффи не меньше, а возможно и больше удовольствия, чем литературные. Она была чрезвычайно внимательна и снисходительна к своим поклонникам.

— Надежда Александровна, ну как вы можете часами выслушивать глупейшие комплименты Н. Н.? Ведь он идиот! — возмущались ее друзья.

— Во-первых, он не идиот, раз влюблен в меня,— резонно объясняла она.— А во-вторых, мне гораздо приятнее влюбленный в меня идиот, чем самый разумный умник, безразличный ко мне или влюбленный в другую дуру.

Как-то я рассказала ей, что еще в Петербурге один мой знакомый — она тоже его знала — считал ее самой интересной и очаровательной женщиной из всех, кого ему приходилось встречать в жизни, и с восторгом говорил о ней.

Она вся вспыхнула, расцвела улыбкой и, обняв меня, трижды поцеловала.

— Какая вы милая! Спасибо, спасибо, что не скрыли. Приятное ведь редко кто передает, вот неприятное-то уже всегда — незамедлительно и с удовольствием. Но как жаль, что он сам не сказал мне этого еще тогда, в Петербурге.

— Нет, так нельзя,— поучала она как-то при мне молодую писательницу, резко обозвавшую своего собеседника.— Ведь он ваш поклонник. А поклонников надо холить и бережно к ним относиться. Не то, чего доброго, он сбежит к вашей сопернице. Тогда-то вы пожалеете, белугой завоете, да поздно будет. Она-то его не отпустит. Мертвой хваткой в него вцепится, чтобы вам насолить. По своей вине с носом останетесь.

Впрочем, она и сама не всегда «холила» своих поклонников, особенно при первой встрече.

Вот представляют ей нового поклонника. Никакого сомнения в том, что он ее поклонник, быть не может,— несмотря на солидный возраст и осанистую фигуру, он робеет перед ней, как мальчишка.

— Я так счастлив,— сбивчиво начинает он, почтительно прикладываясь к ее руке,— так мечтал... столько слышал о вас, Надежда Александровна, и...

— Не верьте, не верьте ни одному слову,— перебивает она его.— Все это ложь и сплетни!

— Но помилуйте,— почти вскрикивает он,— я только самое лучшее, только самое замечательное о вас слышал...

— Ну, тогда уже и подавно ложь и сплетни,— отрезает она.

Он, сбитый с толку, испуганно смотрит на нее, переступая с ноги на ногу, и не находит, что сказать.

Но тут она приходит ему на помощь:

— И давно вы мечтали познакомиться со мной?

— Давно. Ужасно давно,— растерянно отвечает он.— Еще в Берлине в 1923 году, когда вас впервые увидел. Все искал удобного случая быть вам представленным...

Она разводит руками:

— Подумать только! Но, слава Богу, нашли-таки долгожданный случай. Теперь будем знакомы. Но сколько вы лет проморгали! «А годы проходят, все лучшие годы». И их не вернуть,— поучительно и весело добавляет она.— Теперь нам с вами придется часто встречаться, чтобы хоть отчасти наверстать потерянное время,— уже совсем любезно обещает она новому поклоннику.

Тэффи в своих довоенных фельетонах в «Возрождении» и в «Последних новостях» из недели в неделю описывала эмигрантов и их быт. Остроумно и порой зло.

Доставалось решительно всем, без исключения. Все же ее излюбленными «козами отпущения», как она их сама называла, являлись стареющие, не в меру молодящиеся эмигрантки.

Помню, как в одном из своих фельетонов в «Последних новостях« она издевалась над одной такой «козой», потратившей с трудом скопленные деньги на покупку красного обезьяньего колпачка с победоносно торчащим вверх фазаньим пером. Колпачок этот придавал ее усталому, помятому жизненными невзгодами и непогодами лицу такой залихватский и вместе с тем жалкий вид, что глядя на нее, хотелось расхохотаться и заплакать над ней одновременно, а главное, посоветовать ей: «А ты бы в зеркало посмотрелась, чучело!»

Такие обезьяньи колпачки были тогда в большой моде и действительно уродовали неосторожно соблазнившихся ими немолодых женщин.

Бедные! Прочитав фельетон Тэффи, ни одна из этих молодящихся модниц не посмеет больше надеть свой обезьяний колпачок. А ведь он дорого стоил.

В тот же день мы с Георгием Ивановым отправились на какой-то очередной литературный вечер — их в те довоенные годы было очень много.

В антракте у буфета я увидела Тэффи и чуть не ахнула. На ее голове гордо восседал красный обезьяний колпачок с длинным фазаньим пером, совсем как в фельетоне.

Боже мой, как она могла надеть его? Она, должно быть — ведь она была необычайно чутка,— поняла, о чем я думаю, и, здороваясь со мной, насмешливо прошептала:

— А ты бы в зеркало посмотрелась, чучело! — и уже громко продолжала: — Только зеркало не помогает. По опыту знаю. Ведь я — по секрету признаюсь вам — чаще всего с самой себя списываю, себя описываю. «Познай самого себя» — если хочешь по-настоящему растрогать или рассмешить читателя. Это уже Гоголь до меня делал. Еще успешнее, чем я.

Военные годы Тэффи провела в Биаррице, как и мы с Георгием Ивановым.

Нам троим приходилось довольно часто бывать в одном нелитературном, но крайне гостеприимном доме, где кормили вкусно и обильно, что по тем полуголодным временам было очень приятно.

— До чего я люблю бывать у них. Накормят на целую неделю, да еще короб словечек и выражений для будущих рассказов с собой унесешь. Сразу получаешь и телесную и духовную пищу, так сказать, универсально обедаешь. «Не хлебом единым»...

Хозяйка дома действительно выражала свои чувства и мысли оригинально и красочно. Так, встретившись с Георгием Ивановым на набережной, она задала ему неожиданный вопрос:

— Скажите, вы очень чувственный? Не правда ли? — Он опешил, а она, приняв его молчание за согласие, пояснила: — А я сама безумно чувственна. Иногда, глядя на закат, я просто слез удержать не могу. Но вы поэт и, конечно, еще чувственнее меня.

— Только завтра вечером у них садитесь поближе, чтобы мы могли вести «немые разговоры»,— уславливается со мной Тэффи.

«Немые разговоры» — то есть попросту многозначительно подмигивать друг другу в самых патетических местах монолога хозяйки.

Впрочем, «разговоры» не всегда остаются немыми. Иногда Тэффи и Георгий Иванов подхватывают какое-нибудь из ее особенно колоритных выражений и вышивают вокруг него фан-

тастический узор, разыгрывают целый скетч, понятный мне одной.

Так и сегодня, за этим обедом.

После закусок, бульона с пирогами подают гуся.

Тэффи сладко жмурится, любуясь им.

— Обожаю собрата по перу! — радостно восклицает она.— Особенно золотисто-зажаренного, с яблоками и тушеной капустой.

Георгий Иванов провозглашает тост, указывая на гуся:

— За него и за всех его собратьев по перу. И за всех наших собратьев по перу, тех, что сейчас и мечтать не смеют о таком пиршестве!

Хозяева сияют, как, впрочем, и гости.

На несколько минут наступает тишина, вызванная усердным, сладострастным уничтожением гуся.

Хозяйка самодовольно оглядывает жующих гостей. Но пауза, брешь в застольной беседе, по-видимому, кажется ей слишком большой, и она, стараясь заполнить ее, начинает жаловаться на трудные времена:

— Ах, до чего все мучительно трудно в наши дни! Все, без исключения! — лирический вздох, заканчивающийся удивительной находкой.— Особенно — кухня. Ведь кухня такая утопия!

Я боюсь взглянуть на Тэффи и еле сдерживаю смех.

Но Тэффи как ни в чем не бывало деловито поддерживает хозяйку:

— Как правильно вы определили кухню — утопия она. Я и сама, как только начинаю возиться с кастрюлями и сковородками, думаю это.

— Да,— подхватывает Георгий Иванов тоном провинциального резонера,— кухня — тут и сомнения не возникает — утопия. Однако же не одна лишь кухня, а и многое другое. К примеру взять — даже литература и та утопия.

Тэффи резко протестует:

— Ну уж нет! Позвольте, позвольте! Экую гиль понесли! От вас-то я этого никак не ожидала. Никаких взаимоотношений между литературой и утопией существовать не может. Каждому ясно — слово «утопия» происходит от глагола «утопнуть» и, как и он, употребляется исключительно в просторечии.

— Нет уж, Надежда Александровна, теперь вы позвольте! — Георгий Иванов начинает в притворном негодовании повышать голос.— Вы не станете, надеюсь, отрицать...

Хозяйка переводит встревоженный взгляд с него на Тэффи. Чего они так горячатся. Не к добру это. Спор легко может перейти в ссору и погубить ее дорого стоивший обед.

— Надежда Александровна,— умоляюще произносит она,— возьмите еще крылышко. И печеное яблочко. А у вас, Георгий Владимирович, совсем нет подливки.

Но не так-то легко прекратить этот словесный поединок, принимающий — по ее мнению — опасные размеры.

Георгий Иванов не унимается.

— «Утопия»,— продолжает он веско и убедительно,— происходит и от слова «топь». А оно-то издревле приобрело права гражданства и в прозе и в стихах. И провело туда за собой и «утопию». Вспомните хотя бы знаменитую строфу Пастернака, в коей они оба фигурируют.

Тэффи, предвидя мистификацию, сосредоточенно сдвигает брови:

— Не помню. Что-то мелькает в памяти. Но нет. Не то. Процитируйте-ка ее!

Георгий Иванов, отбивая отчетливо ритм, «цитирует» тут же им сочиненную строфу:

По крыше дождя дробь,
В саду болота топь.
Ну, прямо копия
Картины Клевера —
Бездарная утопия
Осеннего севера...

Тэффи, прослушав ее внимательно, трижды кивает:

— Признаю себя побежденной по всей линии. Вы совершенно правы. Спасибо, что вспомнили Пастернака,— не без легкой обиды говорит она.

Я смотрю на нее. Лукавый огонек исчез из ее глаз. Она уже непритворно хмурится, снова принимаясь за гуся.

Неужели ей неприятно, что Георгий Иванов приписал выдуманную им строфу Пастернаку?

Да, этого ему, пожалуй, делать не следовало. Лучше бы он провозгласил Андрея Белого или Маяковского ее автором.

С Пастернаком у Тэффи связаны неприятные воспоминания. За несколько лет до войны она, как тогда говорили, «оскандалилась, села в калошу», напечатав в «Иллюстрированной России» «нечто несосвятимо-невообразимое» в ответ на статью Марины Цветаевой «Световой ливень», воспевающую Пастернака в «Современных записках».

«Пастернак. Никогда я не слыхала о таком поэте. Зато с детства знаю:

Танцевала рыба с раком,
А петрушка с пастернаком»,—

опрометчиво заявила Тэффи в «Иллюстрированной России», надолго возмутив и восстановив против себя молодых эмигрантских поэтов.

Сколько огорчений и обид ей тогда доставил этот танец рыбы с раком!

Неужели Георгий Иванов хочет снова напомнить ей о них.

Но нет. Он, улыбаясь, обращается к хозяйке:

— Должно быть, и вы забыли эту строфу? Но вы, я уверен, любите Пастернака?

— Ну, конечно,— радостно и смущенно соглашается она.— Как же можно не любить его? — хотя о Пастернаке она вряд ли слышала что-нибудь, кроме танца с петрушкой.— Он так много говорит русскому сердцу,— неожиданно добавляет она.

Тэффи достает из сумочки помятый конверт и огрызок карандаша.

— Запишите мне, Георгий Владимирович, эту строфу. А то опять забуду. Ведь и моему сердцу Пастернак так много говорит. Он мой любимый поэт,— правда, с недавних пор,— ехидно поясняет она.— А строфа эта просто прелестна.

— И как по-пастернаковски. Его ритм. Его дыхание! — восхищаюсь я.— Кто, кроме него, мог бы так?..

— Даст же Бог человеку талант! — сентенциозно заканчивает лингвистический диалог Тэффи, принимаясь за появившийся на ее тарелке третий кусок «собрата по перу».

Хозяйка, видя, что все пришло в порядок и ничто больше не грозит нарушить благочинность ее пышного пира, снова сияет.

Обед удался во всех отношениях — даже в интеллектуальном. Тэффи и Георгий Иванов говорили так умно, так интересно. Многому можно научиться, слушая их. Да. Хозяйка права. Обед действительно прошел удачно. И даже блестяще.

Впрочем, все обеды и завтраки с Тэффи всегда удачны и блестящи.

Одна наша общая с ней знакомая наивно призналась мне, что «за Надеждой Александровной угощеньице никогда не пропадает. Она умеет превратить самый скромный обед в банкет. При ней все вкуснее. И самые скучные, унылые, брюзжащие гости, от которых мухи дохнут, при ней преображаются — становятся веселыми и приятными. Прямая выгода для хозяйки приглашать Надежду Александровну».

Когда я передала Тэффи эти слова о ней, она развела руками:

— Лестно, что и говорить! Чувствую себя «Подарком молодым хозяйкам» — молодым и старым. Своего рода «Молоховцом», да и только!

Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья. Казалось, она в событиях, даже самых трагических событиях, как и в людях, даже самых мрачных, видела прежде всего их комическую сторону, скрытую от других. И тут же, не обращая внимания на гробокопательное настроение окружающих, весело сообщала о своих наблюдениях и радовалась, если ей удавалось вызвать ими смех.

— Дать человеку возможность посмеяться,— объясняла она,— не менее важно, чем подать нищему милостыню. Или кусок хлеба. Посмеешься — и голод не так мучает. Кто спит — тот обедает, а по-моему — кто смеется, тот наедается досыта. Или почти досыта.

Она провела годы войны в тяжелых материальных условиях. Но всегда старалась сохранять бодрость и веселье, лишь изредка позволяя себе падать духом.

Без смеха ни одна наша встреча с ней не обходилась, даже в самые темные дни. Завидя ее издали, я уже начинала улыбаться — с ней всегда и всюду было приятно и весело.

Большинство наших случайных встреч заканчивались в кафе на набережной. Ведь у нас дел никаких. У меня хоть бридж, у Тэффи и того нет — в бридж она не играет. Ее «светские вылазки» ограничиваются редкими зваными обедами, являвшимися своего рода событиями в те голодные годы.

Сегодня ни бриджа, ни обеда не предвидится. Мы сидим за круглым мраморным столиком и задушевно беседуем. «Задушевно» от «задушить», по ее определению. Тэффи хмурится.

— Как бы мне хотелось задушить, уничтожить, вычеркнуть все эти скучные, пустые дни. Все эти завтра, послезавтра, через неделю, через месяц! До чего они меня изводят. Тянутся, тянутся, и конца им не видно. Сразу бы — прыг! — и перескочить в «после войны», очутиться снова у себя дома, в Париже. Но как подумаешь — страшно отдавать кусок жизни. Ведь неизвестно, сколько лет мне еще осталось жить. Вдруг, после такого прыжка «из царства необходимости в царство свободы», по выражению Бердяева, я окажусь не у себя в Париже, а на кладбище, в могиле. Нет, лучше уж перетерпеть, тем более, что и прыгнуть-то нельзя.

Она глубоко вздыхает и, помолчав немного, протягивает руку, указывая на пылающий над океаном закат.

— Вот,— говорит она,— это все-таки утешение. Каждый день новый, особенный. Я не такая уж страстная поклонница красот природы, не схожу с ума от них. А все-таки и меня пробирает. И еще как! Не могу на закат наглядеться. И так странно — чувствую одновременно страх смерти до дрожи в спине и дикую, бешеную жажду жизни. Жить! Жить полной жизнью. Радоваться жизни. И работать. Но не то, что я обычно пишу, а совсем другое. Замечательное. Оставить после себя след на земле.

Она снова вздыхает.

— Но я прекрасно сознаю, что никакого, даже легкого следа не оставлю. Целиком полечу вверх тормашками в небытие и забвение. Все, что я пишу и писала,— как эти белые однодневные бабочки, которые кружатся около нас, принимая нас по глупости за цветы, должно быть. Я такая же, как и они, однодневка и...

Я перебиваю ее:

— Какой вздор, Надежда Александровна! Кого, кого, а вас-то никогда — или, во всяком случае, очень, очень долго не забудут. Вспомните хотя бы, что говорил Алданов о вас.

Она, насторожившись, сдвигает брови.

— Обо мне? Алданов? Когда?

— У Мережковских. На одном из «воскресений». Помните?

Она качает головой.

— Не помню. У Мережковских?

И вдруг, вся просветлев, улыбается.

— Ах, да! Про анналы и что я Пимен в юбке. Как же, как же! Но ведь это только слова, слова — лесть и вранье. А все-таки — приятно вспомнить. Постойте, постойте, давайте восстановим все по порядку, со всеми подробностями.

Она на минутку задумывается.

— Да, вы правы. Это было в воскресенье. Перед Рождеством. Шел дождь, а в дождь и слякоть меня всегда тянет на люди. У Мережковских я давно не была. И подумала: дай-ка пойду к ним — и идти недалеко, и многолюдно. Авось забавно будет. И вышло забавно. Вы ведь помните?

— Да, я помню. Я хорошо помню. Вот как это было.

Парижское дождливое предрождественское воскресенье.

Мы сидим за длинным чайным столом на 11-бис Колонель Боннэ. Мы — то есть хозяева, Алданов и все «воскресники», за исключением Адамовича, уехавшего в Ниццу к матери и тетке на праздники.

Алданов здесь довольно редкий гость. Очень почтенный, но не очень любимый. По мнению Гиппиус — «он не интересуется интересным. Он неверующий, атеист. Даже не активный, воинствующий, а пассивный атеист — что уже хуже всего. И слишком насквозь литературный, абстрактный. Конечно, он умен, чрезвычайно умен и тонок, но мне с ним не о чем говорить. И Дмитрию Сергеевичу тоже. Скучно» — и она подавляет зевок в знак того, что ей скучно даже говорить о нем.

Вот и сейчас она посадила его возле себя, с правого лучше слышащего уха, и с полулюбезным, полускучающим видом ведет с ним литературный разговор, расспрашивает о его планах.

Мережковский, что с ним редко случается, не в ударе, и это передается всем «метафизикам», группирующимся вокруг него. Настроение у них кислое. Мережковский вяло и бесцветно обсуждает последнее заседание «Зеленой лампы», не взлетая, как обычно, в надзвездные края, не ныряя в метафизические бездны. Все сегодня как-то не клеится — нет ни ожесточенных споров, ни яростных столкновений мнений. Все не то и не так.

Звонок. И нежданно-негаданно появляется Тэффи. Нарядная, веселая, полная бьющей через край жизнерадостности.

— Что, не ждали меня? — весело и звонко осведомляется она.— Незваный гость хуже татарина, знаю, знаю. А я все-таки взяла и пришла. Принимайте!

И Гиппиус, обрадовавшись, что не надо больше занимать Алданова, «принимает» ее с подчеркнутым удовольствием.

— Вы прекрасно сделали, что навестили нас, Надежда Александровна. Вы повсюду вносите веселье и свет. А у нас сегодня как раз — sombre dimanche [1].

Романс «Sombre dimanche» сейчас с утра до вечера распевают все граммофоны и передают по радио. «Sombre dimanche» особенно прославился после того, как под его звуки застрелилось несколько человек. Ведь и на самоубийства своя мода.

Меня немного удивляет, что Гиппиус знает о существовании «Sombre dimanche»: на 11-бис Колонель Боннэ нет ни граммофона, ни радио.

Взлет лорнетки и повелительное:

— Николай Бернгардович, уступите, пожалуйста, ваше место Надежде Александровне!

И Фельзен, милый, благовоспитанный «Спарженька», безропотно перебирается на конец стола в царство Мережковского, где группируются «метафизики» — Поплавский, Варшавский, Терапиано, Дикой, хотя ему чуждо все, о чем там рассуждают. Ведь он, как Алданов, тоже насквозь литературный.

С появлением Тэффи все сразу меняется. Все ожили. Мережковский, будто в него пустили магнетический заряд, начинает страстно предсказывать неизбежность мировой катастрофы. И хотя он обращается не к Тэффи, мне кажется, что именно она является источником оживления и вдохновения, охватившего его и его слушателей.

Гиппиус, Алданов и Тэффи к ним не относятся, как и я. Но Георгий Иванов принимает деятельное участие во вдруг разгоревшемся споре о судьбах мира и России. Его все, что касается России, неизменно волнует и задевает.

Зинаида Николаевна, только что расспрашивавшая Алданова о его литературных планах, обращается с тем же вопросом к Тэффи. Услышав от Тэффи, что скоро выйдет еще одна ее книга, она слегка морщится. И понятно — сколько уже их, этих книг, Тэффи издала в эмиграции. А ей, Гиппиус, кроме двух тонких сборников стихов, не удалось ничего издать. Ровно ничего. У нее в сундуке спят беспробудным сном целых семнадцать романов. Никто не желает их знать. Гиппиус унизилась даже до помещения в «Иллюстрированной России» одного из своих романов с заглавием (если не ошибаюсь) «Будут ли они счастливы?». Но ей, автору, это счастья не принесло. Роман прошел почти незамеченным. С рассказами дело обстоит не многим лучше — в «Последних новостях», в «Числах», в варшавском «Мече», в «Новом доме» и «Новом корабле» их, конечно,— из ува-

---

[1] Пасмурное воскресенье *(фр.)*.

жения к ней — печатают. Но без энтузиазма. Как же ей не завидовать?

— Поздравляю,— цедит она сквозь зубы,— ваша новая книга — событие, конечно.

— Да, да,— подхватывает Алданов,— еще бы не событие! И еще какое! Ведь вас, Надежда Александровна, можно сравнить с самим Грибоедовым. Как его строки из «Горе от ума» стали поговорками, так и ваши словечки и выражения вошли в эмигрантский язык и обогатили его. Не счесть алмазов в каменных пещерах! Чего стоит одно ваше знаменитое «Ке фер? Фер-то ке?» [1]!

Тэффи благосклонно слушает его.

— Вот это комплимент так комплимент! Обогатить русский язык, пусть эмигрантский! Большая, неслыханная честь. Спасибо.

Тэффи прищуривается и с невинным видом продолжает:

— Только жаль, что из всех моих «алмазов» вы выбрали как раз тот, который мне не принадлежит. «Ке фер? Фер-то ке?» выдумала не я, а мой брат, генерал Лохвицкий. Да, да, тот самый. Остроумней его я никого не знала. Куда мне до него.

Алданов слегка сбит с толку. Он самый вежливый и тактичный человек эмиграции. Неужели же он обидел Тэффи?

Но она весело продолжает.

— Не вздумайте извиняться. И огорчаться. Но кесарево — кесарю. И мне ведь лестно, что у меня такой остроумный генеральствующий брат.

Алданов, возможно из желания загладить свою «бестактность», продолжает убежденно и убедительно:

— Ваши рассказы, Надежда Александровна, может быть, самое ценное, что создала эмигрантская литература. Это — наши анналы, свидетельство эпохи, материал для будущих историков. Просто памятник эмиграции.

Тэффи кивает, радостно сверкая глазами.

— Чувствую, как я начинаю стареть, седеть, превращаться в этакого седобородого Пимена. И насчет памятника, как ловко, как верно,— она лукаво улыбается: — Никто, кроме вас, не умеет так угодить авторскому самолюбию. Может быть, еще что-нибудь прибавите, чтобы я себя памятником почувствовала, так сказать, эмигрантским памятником, возведенным во вторую или энную степень — если только мои скудные остатки алгебры не изменяют мне.

Алданов разводит руками:

— Помилуйте, Надежда Александровна! Я совершенно серьезно. Я действительно считаю вас...

— Пименом! Седобородым Пименом в юбке. И нерукотворным памятником. Принимаю. Верю. И горжусь собой.

---

[1] Что делать? (от *фр.* Que faire?)

Алданов смотрит на Тэффи своими слишком красивыми, газельими глазами, странно не гармонирующими с его одутловатым, немолодым лицом.

— Надежда Александровна, я без шуток, совершенно искренне восхищаюсь вами. Ведь юмор самый трудный род литературы. Откуда вы все это берете?

— Откуда? Из себя,— не задумываясь, отвечает она.— Из себя. Черпаю, как из бочки.

— Из бездонной бочки,— веско роняет Гиппиус.

— Совершенно правильно,— подхватывает Алданов.— Как из бездонной бочки. Так легко, так неисчерпаемо. А ведь, как вы изволите знать, остроумие, по Сент-Беву, схоже с карандашом. Его постоянно надо оттачивать, чтобы оно не притупилось.

Алданов, приведя какую-нибудь цитату, неизменно прибавляет «как вы изволите знать», подчеркивая этим свою уверенность в знаниях собеседника.

— А вот, представьте себе, я и не изволю знать мнения Сент-Бева об остроумии,— капризно и запальчиво заявляет Зинаида Николаевна.— Но запомню. И буду точить свой карандаш, чтобы он не притупился. Остроумие ведь и критику необходимо,— она переводит свой лорнет на Тэффи.— Но вам, Надежда Александровна, точить ничего не надо. Вы пишете самопишущим пером.

Алданов хотя и понимает, что Гиппиус начинает раздражаться, терять терпение и пора переменить тему, все же продолжает восхвалять Тэффи, игнорируя двусмысленное, не совсем понятное «самопишущее перо».

— Мы все, Надежда Александровна, должны быть вам благодарны за то, что вы заставляете нас смеяться. Ведь тот, кто смешит людей, оказывает им настоящую услугу, заставляя их забывать о страхе смерти. А от страха смерти, как известно, люди старятся преждевременно. Недаром французы говорят: «Le jour où l'on cesse de rire, on commence à vieillir». (В день, когда перестаешь смеяться, начинаешь стареть.) Вы сохраняете нашу молодость. Не позволяйте нам стареть.

Гиппиус кивает насмешливо.

— Понимаю, понимаю,— растягивая слова, произносит она.— Надежда Александровна фабрикует эликсир вечной молодости.— Она — еще и алхимик. Вернее — алхимичка. И подумать, что я об этом и не догадывалась! Спасибо, Марк Александрович, вы меня просветили, открыли мне истину.— И, сделав многозначительную паузу: — А я как раз, слушая вас, решила сообщить вам в награду интересную новость. Это пока секрет, но я собираюсь посвятить вам большую статью. Написать о вашем «Ключе» и последовавших за ним «ключиках». И о «Чертовом мосте» и прочем историческом. Все сказать, что думаю о всем вашем, о вас. Мне уже давно хочется. Обещаю вам.

Алданов меняется в лице.

— Ради бога, Зинаида Николаевна!.. Не пишите! — испуганно вскрикивает он срывающимся голосом. И, спохватившись, багрово краснеет до корней волос. У него, всегда такого выдержанного, отлично умеющего собой владеть, совершенно потрясенный, потерянный вид. На него жалко смотреть.

Но Гиппиус с явным удовольствием наводит на него свой лорнет и любуется эффектом, произведенным ее обещанием. Помолчав немного, она любезно предлагает, будто ему необходимо подкрепиться после пережитого волнения:

— Не налить ли вам чашечку моего кофе?

Но Алданов так потрясен, что даже не благодарит за редчайшее желание угостить его ее кофе. Она не настаивает и, все так же пристально глядя на него, говорит:

— Успокойтесь, Марк Александрович. Я пошутила. Правда, мне хочется написать о вас. Но я еще не знаю когда. Никакой статьи о вас у меня еще в проекте нет. Может быть, я ее отложу «на завтра, на потом, на послезавтра»,— лорнетка снова взлетает и на этот раз останавливается на мне.— Как в стихотворении Ирины Владимировны: «на когда умрем».

Должно быть, Гиппиус очень довольна, если делает мне неслыханный «омаж» — цитирует мои строчки. Я никогда не предполагала, что она знает их наизусть.

Да, Гиппиус действительно пришла в прекрасное настроение и хочет всех одарить своей благосклонностью.

— Володя,— обращается она к Злобину,— принесите из моей комнаты «Числа».

Злобин возвращается с последним номером «Чисел» и подает ей журнал. Она начинает его перелистывать.

— Удивительно удачно все. Да, как ни странно, на этот раз все. Но особенно мне нравятся Адамович, Георгий Иванов, Оцуп, Терапиано, Поплавский, Фельзен,— и она перебирает имена почти всех участников.— Куда же «Сов. запкам» (то есть «Современным запискам») до «Чисел»! — кончает она, с улыбкой глядя на засиявшего Оцупа.— Поздравляю, Николай Авдеевич.

И «воскресенье» заканчивается вполне благополучно...

— Мне сейчас кажется,— мечтательно произносит Тэффи,— что это было давным-давно. «Это было давно. Я не помню, когда это было. Может быть, никогда». А вот мы с вами,— прибавляет она уже другим тоном,— восстановили то «воскресенье» во всех подробностях и деталях. И сейчас мы, как два пуделя, только что вылезшие из пруда, отряхиваемся, и брызги воспоминаний летят во все стороны. Жаль, что нас никто не слушает.

Она улыбается, глядя перед собой на все разгорающийся закат, но вряд ли видит его, погруженная в воспоминания.

— Ведь как правильно: «Что пройдет, то будет мило». Тонкий психолог Жуковский. Тогда я и внимания на слова Алданова не обратила, а сейчас до чего приятно вспомнить, до чего мне его панегирик нравится! И сама я себе сейчас та, прежняя, та, прошлая, очень нравлюсь. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется,

была»... Безусловно лучше. Ведь голод и скука не красят. И одета я в тот день была прекрасно — в новом бархатном платье, и причесана соответствующе. Зинаида Николаевна на меня весь свой лорнет проглядела — не без зависти. А я страшно люблю вызывать зависть. Каюсь в женском тщеславии! Пусть лопаются от зависти! Вот я какая! И не стыжусь!

Она горделиво оглядывает сидящих за соседним столиком и самодовольно улыбается.

— Да, о том панегирике Алданова мне сейчас очень приятно вспомнить. Чего он только тогда не наговорил! И все-таки,— продолжает она, и тень ложится на ее только что улыбавшееся лицо,— по-настоящему такие славословия меня не трогают. Ведь он восхищался моим «смешным». А я больше всего ценю свое «серьезное» — то, что я называю «слезами моей души», то, что Мережковский не постеснялся объявить пошлостью, прямо мне в глаза: «Пошлость весь этот жемчуг вашей души»! Потом он, правда, извинялся: «Я погорячился, оговорился. Мой язык часто произносит не то, что я думаю». Я не обиделась. Но мне больно, что мое «серьезное» не признают — особенно стихи. Со стихами мне ужасно не везет. Моим песенкам — «Ах, какая прелесть! Еще, еще спойте!» — хлопают, восторгаются, а от моих настоящих стихов отворачиваются брезгливо. И представить себе нельзя, что они появятся в «Современных записках», в «Числах» или в каком-нибудь «Смотре» или «Новом доме». Со стихами мне у поэтов и у критиков всегда не везло. Еще до первой войны Брюсов меня прославил рецензией на мой сборник стихов «Семь камней»: «Камней действительно семь, но все они фальшивые».

Вот моя сестра Мирра Лохвицкая, ту все сразу признали и захвалили. И Брюсов в том числе. Игорь Северянин просто поклонялся ей. Ее прозвали «русской Сафо». Правда, мальчики шли на смерть, распевая «Три юных пажа» и «Мимо стеклышек иллюминатора», но Гиппиус уверяет, что это от полуинтеллигентского безвкусия. Признайтесь,— она поворачивается ко мне,— вы ведь тоже терпеть не можете мои стихи? — И сразу, не дав мне времени ответить: — Не надо, не отвечайте. Если похвалите — я не поверю. Если скажете правду, мне будет больно. Лучше давайте-ка разойдемся, как в море корабли, до следующей, такой же, надеюсь, приятной встречи.

— The rest is silence [1],— с трудом произносит она и смеется,— я ведь от безделия учусь английскому языку. Только выговор у меня корявый, как и у моей учительницы, впрочем. Я ей уроки русского даю в обмен. Я превосходная учительница. У меня своя система. Вот как я учу ее счету:

Раз, два, три, четыре,
Скучно жить мне в этом мире,

[1] Об остальном умолчим *(англ.)*.

Пять, шесть, семь,
Слишком мало пью и ем,
Восемь, девять, десять,
Вот бы фюрера повесить.

И так далее — до ста. Она гораздо бо́льшие успехи делает, чем я. My tailor is rich [1],— вот и все, что я пока усвоила. Да этот самый silence. Но подождите, скоро заговорю, как англичанка. Хотя мне это решительно ни к чему. Просто лекарство от скуки. Но и оно не помогает.

Весеннее утро 1942 года. Я только что встала.

Звонок. В столовую входит Тэффи. Ее появление в такой ранний час немного удивляет нас с Георгием Ивановым, но мы ее, как всегда, радостно встречаем.

— Простите,— говорит она взволнованно и торопливо,— врываюсь к вам в такую рань. Только мне совершенно необходимо.

Мы с недоумением переглядываемся. О чем это она? Что с ней?

— Если не у вас, так ни у кого здесь не найду, а мне до зарезу надо,— продолжает она так же торопливо и взволнованно.— Есть у вас «L'Histoire de la magie» [2] Леви, Элифаса Леви?

— Нет,— отвечаем мы хором.— Никакого Элефанта Леви у нас не было и нет.

— И я даже о нем никогда не слыхала. Ни о нем, ни о его «Histoire de la magie»,— поясняю я.

— Так...— разочарованно и протяжно произносит Тэффи,— значит, я напрасно взгромоздилась с петухами и даже кофе не успела выпить.

— Кофе мы с вами выпьем сейчас вместе, мы ведь тоже еще не пили. А Элефанта вам придется искать в другом месте. Элефанты и леонты у нас браков не учиняют.

Тэффи морщится.

— Не Элефанта, а Элифаса. Странно, что вы не слыхали о такой знаменитой книге.— И с робкой надеждой в голосе: — А может быть, у вас все-таки «Dogmes et rituels de la haute magie» [3] найдется?

Георгий Иванов качает головой:

— Не найдется.

— И вообще ничего о магии? Завалящегося?

— Ни-че-го,— отчеканивает Георгий Иванов.— Этого товара в доме не держим.

— Вот, если хотите, по хиромантии или графологии,— пред-

---

[1] Мой портной богат *(англ.)*.
[2] «История магии» *(фр.)*.
[3] «Догматы и обряды высокой магии» *(фр.)*.

лагаю я.— Или по астрологии. Этого у меня немало. Но по магии...

Тэффи сокрушенно вздыхает:

— Придется из Парижа выписать. Только надо неделю ждать, а мне приспичило. Вчера вечером вспомнила об этой книге и не могла спать, все о ней думала. Еле утра дождалась, чтобы прийти к вам. Я в такую полосу попала. Накатывает на меня. Так торопилась, что даже красоту на фасад не успела навести. Не смотрите на меня, пожалуйста.

Да, она действительно «красоты не навела». А ведь обыкновенно она никому не показывается «в натуральном виде» — ненапудренная, с неподкрашенными губами и неподведенными глазами, или когда у нее «неавантажный вид».

— Хочу нравиться всем, всегда,— откровенно сознается она.

И одета она сейчас не так тщательно, как обыкновенно. Бархатный берет, обычно кокетливо скошенный на левый глаз, строго и прямо надвинут на лоб до самых бровей, скрывая затейливые завитки на висках. От этого черты ее лица как будто заострились и приняли строгое, серьезное выражение. Клетчатый шарф, обычно не без лихости и кокетства закинутый вокруг шеи, распластан на плечах.

Я смотрю на нее, соображая, кого, собственно, она мне напоминает? Где я видела такой бархатный берет, надвинутый на лоб, такой клетчатый шарф и такое умное, строгое, старое лицо? И вспоминаю: на портрете моего прадеда, гейдельбергского профессора начала XIX века, висевшем когда-то в кабинете моего отца. До чего она сейчас похожа на него!

— Надежда Александровна,— начинаю я и на минуту останавливаюсь: а вдруг она обидится? — У вас сейчас такой серьезный, умный, ученый вид! Ну прямо ни дать ни взять — немецкий профессор.

— Разве?

Она подходит к большому зеркалу на стене и внимательно рассматривает себя в нем.

— А ведь правда! Ни дать ни взять старый профессор. И конечно, немецкий, не то Вагнер, не то сам доктор Фауст. А то и сам Кант. Впрочем, я его портрета никогда не видела.

Она продолжает себя разглядывать:

— Я сейчас открытие сделала. Никогда не знала, что старуха может походить на старика. Старики, тех часто легко можно принять за старух. Еще позавчера художник М. сидит у меня, весь крутится и вьется, как угорь на сковороде, и все напрашивается на комплименты: «Вы не находите, Надежда Александровна, что у меня сегодня какой-то странный вид?» А я ему чистосердечно брякнула: «Ничего странного. Обыкновенный старик, похожий на старуху». Он, бедный, сразу скис. Огорчила я его. Ушел обиженный. А вот чтобы старуха на старика походила, вижу впервые...

Георгий Иванов прерывает ее:

— Ну какая же вы, Надежда Александровна, старуха? Помилуйте! Вы ведь моложе всех молодых! Сознайтесь, это вы только для красного словца.

Она кивает:

— Ну, конечно, для красного словца. Старухой я никогда не буду. Даже в день смерти. А на старого профессора все же похожа сейчас. На доктора Фауста, до пакта с Мефистофелем.

Она снова возвращается к так страстно интересующим ее сношениям с темными силами.

О них у меня смутные познания, не то что у Тэффи.

— Откуда вы все это знаете, Надежда Александровна?

— Я много читала об этом,— говорит она.— Я вообще много, слишком много читаю. Я не пью, не курю. Чтение, «ce vice impuni» [1], как его определяет Валери Ларбо, единственный мой порок. Чтение — мой грех, мой безгрешный грех. Вот у вас столько книг, я вам завидую, что вам удалось перевезти сюда вашу библиотеку. Я на вашем месте читала бы ночами напролет. Жаль только, что о магии...

— Постойте,— перебиваю я ее,— у нас, кажется, все-таки найдется кое-что интересное для вас. Магические рассказы Нодье. Читали? И Шамиссо — «Человек, потерявший свою тень».

— Нет. Не читала. Но, конечно, слыхала давно о них и очень хотела прочесть. Как чудесно, что вы мне их одолжите. Не бойтесь, верну. Чужого мужа могу украсть, сознаюсь. Книгу — никогда.

Я приношу ей обе книги. Она перелистывает их.

— Значит, я ненапрасно притащилась к вам. Это, кажется, действительно страшно интересно, судя по иллюстрациям. А знаете, какая разница между феерией и фантастикой? — спрашивает она.

— По-моему, одно и то же,— неуверенно отвечаю я.

— Ничего подобного,— отрезает Тэффи.— А вы, Георгий Владимирович, конечно, знаете?

Он качает головой:

— Нет, не знаю, представьте себе.

Тэффи торжествует и, захлопнув Нодье, поучает нас, как профессор с кафедры:

— Феерия — добро. Стремление к счастью. Жизнь. Фантастика — зло. Смерть. Феерия — светлый сон. Фантастика — кошмар. Семнадцатый век — помесь фантастики с феерией — похож на наш двадцатый век. Особенно на годы, которые нам теперь приходится переживать. Фантастика и феерия диаметрально противоположны. «Феерия» происходит от феи, в ней все светло, она стремится к счастью, в ней действуют добрые силы. В магии — темные силы. Она стремится к смерти, к разрушению жизни. Магия и феерия — как две стороны одной и той же чу-

[1] этот безнаказанный порок *(фр.)*.

десной монеты. Одна сторона темная — смерть. Другая светлая — жизнь. Сказки феерични. Они ведь всегда хорошо кончаются.

Она произносит все это с жаром. Она довольна, что ей удалось блеснуть ученостью перед понимающей, квалифицированной аудиторией. Она улыбается и вдруг, совершенно преобразившись:

— Вот и мой сегодняшний приход к вам фееричен, раз мне удалось раздобыть такие интересные книги. Подождите минутку.

Она открывает сумочку, достает зеркальце, подкрашивает губы.

— А то когда у меня ненамазанные губы, у меня голос звучит глухо и ничего веселого я сказать не могу. Теперь только попудриться.

Она ловким привычным движением придает своему бархатному берету залихватский уклон, высвобождает из-под него завитки волос на висках, сбрасывает клетчатый шарф и пальто и с явным удовольствием любуется собой в зеркале.

— От Herr Professor'а и следа не осталось. Снова Тэффи, похожая на Тэффи,— победоносно заявляет она.— На себя и ни на кого другого. А теперь, если угостите, не прочь кофе выпить. И даже основательно закусить — зверски проголодалась.

И она весело садится за накрытый стол.

— Мне было бы не так грустно и скучно в этом противном Биаррице, если бы у меня была кошка,— мечтательно говорит Тэффи, снова сидя со мной на террасе кафе.— С кошкой мне было бы легче. Только чем бы я стала ее кормить? Ведь я и сама живу впроголодь. А кошка ужасная привередница,— той дряни, которой я питаюсь, я ей давать не посмела бы. Да она бы только фыркнула презрительно — станет она рютабагу есть! Замяукала бы, требуя печенки или рыбы. Но где их взять? Нет, лучше уж одной мучиться. Что бы я стала делать, если бы моя кошка от голода кричала?

Да, Тэффи любит кошек. Так же как Колетт. Обе они о кошках много писали.

— Я просто не понимаю,— как можно не любить кошек,— продолжает Тэффи.— Для меня человек, не любящий кошек, всегда подозрителен, с изъяном, наверно. Неполноценный. Вот даже Вера Николаевна Бунина — на что уж, кажется, она добра и мила, а что она не переносит кошек, боится их, как стена между ней и мной. Близости, дружбы между нами настоящей быть не может. Всегда чувствую отчужденность. Симпатизирую ей сдержанно, признаю все ее бесспорные качества. Но кошек ей простить не могу. Люди для меня делятся на тех, кто любит кошек и кто их не любит. Человек, не любящий кошек, никогда не станет моим другом. И наоборот, если он кошек любит, я ему много

за это прощаю и закрываю глаза на его недостатки. Вот, например, Ходасевич. Он любил кошек и даже написал стихи о своем коте Муре...

— А вы, Надежда Александровна,— спрашиваю я,— вы тоже писали стихи о кошках?

— А еще бы! И очень много. У меня кошачьих стихов набралось бы на целый том. Но они слишком интимны, чтобы их обнародовать, придавать гласности. Хотите, прочту какое-нибудь из них?

Я, конечно, хочу. И она начинает:

Белолапка — серокошка
Раз уселась на окошко,
А по улице идет
Очень важный тигрокот.
Скок! И сразу хвать в охапку,
Серокошку — белолапку,
Под себя ее подмял,
Тигрокот, ну и нахал!

— Нравится вам? Хорошо?

По звуку ее голоса, по выражению ее лица мне ясно, что она с волнением и тревогой робко ждет моего одобрения.

— Очень нравится! Прелесть! — совершенно искренно говорю я.— Как выразительно, сколько динамики!

Она, совсем как начинающая карьеру молодая писательница, вспыхивает от радости.

— Действительно нравится? — переспрашивает она.— Я боялась, что и это вы осудите. Ведь вы знаете, мне со стихами не везет. Настоящие поэты-мэтры меня даже презирают. Мне это очень обидно.

— Прочтите, пожалуйста, еще какое-нибудь «кошачье»,— прошу я, желая избежать разговора о ее «серьезных стихах».— Или нет, раньше повторите еще про тигрокота, чтобы я его хорошенько запомнила. Он просто восхитителен.

Она охотно соглашается. Она, как, впрочем, и большинство поэтов, готова читать свои стихи «сколько угодно и еще немного — с полчасика».

— У меня целый кошачий эпос,— объясняет она.— «Тигрокот» и «белолапка» его главные герои. Они кошачьи Тристан и Изольда или Ромео и Джульетта. Но и других вымышленных кошек и котов у меня много. Они меня постоянно навещают. В особенности когда я больна. Такие добрые, чуткие — сейчас же тут как тут. Развлекают и утешают меня. Это я о них:

Все коты пришли гулять
На зеленую кровать
И пошли домой потом
Кошка с кошкой, кот с котом.

Вас, наверно, удивляет «на зеленую кровать» — будто на зеленый луг. А это просто оттого, что у меня зеленое покрывало на кровати.

Она так улыбается и так смотрит вдаль, будто действительно видит перед собой процессию котов и кошек, чинно шествующих попарно.

— Они удивительно умные,— продолжает она оживленно.— Я как-то сочинила о них целую поэму. И, представьте себе, они сразу же стали исполнять ее хором, на разные голоса. И что уже совершенно невероятно, прибавлять к ней разные ими самими сочиненные строфы, особенно когда у меня жар. Да так ловко, так находчиво. Я просто диву даюсь. Куда мне! Гораздо лучше меня. Да, пожалуй, и всех наших поэтов. Беда только в том, что я их запомнить не могу никак, хоть и стараюсь. Но проснусь: нет, ни слова не помню! До слез досадно. Совсем как у Гейне. Про его сон с «ципрессами [1]». Вы, может быть, помните?

— Да, я помню:

Ich wache auf, und der Strauß ist fort,
Und das Wort hab ich vergessen [2].

— Вот-вот,— радостно кивает Тэффи.— Это самое. Конечно, немецких поэтов сейчас цитировать неприлично. Всех, даже Гете. Но ведь Гейне — еврей. Его гитлеровцы из своих антологий исключили. Он не немецкий, он просто поэт. Его можно.

— А кошачья поэма,— напоминаю я.

Тэффи поправляет съехавший в сторону берет и проводит пуховкой по раскрасневшемуся от вдохновения и волнения лицу и начинает читать с нескрываемым удовольствием:

Тридцать три и два кота
И четыре кошки...

Поэма очень длинная. Я запомнила из нее только эти две строчки. А жаль — в ней было много остроумных находок и прелести.

Тэффи все же, как и полагается юмористке, была неврастенична и даже очень неврастенична, хотя и старалась скрыть это. О себе и своих переживаниях она говорила редко и, по ее словам, «терпеть не могла интимничать», ловко парируя шутками все неудачные попытки «залезть к ней в душу в калошах».

— Почему в калошах? — удивленно спрашиваю я.

— Без калош не обойтись,— объясняет она.— Ведь душа-то моя насквозь промокла от невыплаканных слез, они все в ней

---

[1] кипарисы (от *нем.* Zypressen).
[2] Я просыпаюсь — и ветки нет,
И я не припомню ни слова *(нем.)*.

остаются. Снаружи у меня смех, «великая сушь», как было написано на старых барометрах, а внутри сплошное болото, не душа, а сплошное болото.

Я смеюсь. Но Тэффи даже не улыбается. Она шагает рядом со мной и, подняв голову, сосредоточенно оглядывает дома по обе стороны улицы.

Она, должно быть, устала. Мы возвращаемся с прогулки. Со слишком большой прогулки для нее. Я забыла, я не подумала, что такой «спортивный пробег» в семь километров ей не по силам.

— Надежда Александровна, вы устали? — спрашиваю я.

Она качает головой.

— Нет, не то. Или все-таки устала. Но не от прогулки только, а оттого, что на этой несносной улице столько домов и все высокие. А я должна сосчитать, сколько окон в каждом этаже. Утомительно!

Я удивлена.

— Почему вы должны считать окна?

Она пожимает плечами.

— Разве я знаю, почему и зачем? Должна и все. Иногда не могу на улицу выйти — сейчас же обязана считать окна — четное или нечетное число их. Нечетное — да. Четное — нет. Четное приносит мне счастье. Я и номера автомобилей считаю. Но теперь, слава Богу, автомобилей почти нет. А в Париже просто беда. Идешь и головой крутишь: то на окна, то на автомобильные номера смотришь, легко самой под автомобиль угодить. Не каждый день это со мной. Но последнее время все чаще. Очень тяжело это и неприятно. И мучительно.

Я знаю, что считать номера автомобилей и окна домов один из признаков неврастении. Но я говорю:

— Я и сама суеверна. А Жорж, тот суеверен до смешного.

Она морщится.

— Нет, это не суеверие. Хотя я, конечно, тоже суеверна. Но окна — другое. Из области чтения наоборот. Ведь я читаю во второй раз справа налево каждую строку книги, письма и даже то, что сама пишу. Это изводит меня. И ничего не могу с собой поделать. Будто кто-то приказывает мне. Если не послушаюсь, знаю, плохо будет. И слушаюсь.

Мы выходим на набережную.

— Давайте посидим в «нашем» кафе,— предлагает она.— Вы меня действительно слегка загоняли. Отдохнем. Может быть, настроение улучшится. Хоть вряд ли.

Мы устраиваемся на террасе.

Она достает из сумочки зеркальце, смотрит в него, состроив гримасу.

— До чего противная физиономия! — она засовывает зеркальце обратно в сумку и звонко щелкает затвором.— Смотреть на себя тошно, да и на других тоже,— и спохватившись: — К вам не относится, ведь о присутствующих...

— Не говорят,— кончаю я.— Не говорят, а думают. Все же, Надежда Александровна, скажите мне что-нибудь очень лестное, какой-нибудь комплимент, вроде как в одном из ваших рассказов, помните:

Твои глаза порой похожи
На снившийся во сне топаз.
Ни на одной знакомой роже
Я не видал подобных глаз.

Я смеюсь. Она поднимает брови в недоумении.

— Разве смешно? По мне, просто глупо. Хотя я это не выдумала, не сочинила. Это один прапорщик написал барышне в альбом; он был в нее влюблен, а она требовала от него мадригалов. Был у него еще и такой:

Вижу, вижу девку рыжу,
Да и ту я ненавижу.

Бедный! Ничего придумать не мог. Она была рыжая. Обиделась. Прогнала его. А через месяц его на войне убили. И это скорее грустно, чем смешно. Как жестока жизнь, как несчастен человек. Каждый мой смешной рассказ, в сущности, маленькая трагедия, юмористически повернутая.

Она проводит несколько раз перед глазами рукой, будто отгоняет муху или комара. Но ни комара, ни мухи нет. Я не решаюсь спросить, что означает ее жест.

— Иногда я чувствую себя странно. И отвратительно. Как сейчас вот. Мне кажется, что я когда-нибудь сойду с ума.

Я смотрю на нее испуганно. Голос ее звучит глухо, и в глазах несвойственное выражение тоски.

— Надежда Александровна,— робко советую я,— вы бы к доктору сходили.

— К доктору? — спрашивает она насмешливо.— Вздор! Пробовала. И не раз. Ни к чему не привело. Нет доктора, способного понять, что со мной делается.

— К специалисту по нервным болезням,— продолжаю я советовать.

Она прищуривается.

— Ну, конечно, нервами все объяснить можно. Все от нервов, как уверяла моя нянька, все — и куриная слепота, и понос, и пожар, и сап у лошадей. Только нервы здесь, как при сапе или пожаре, вряд ли виноваты. Вот я ломаюсь, как свинья на веревочке. Грожу сойти с ума. Да только, как правильно говорит Мережковский, умные с ума не сходят. А в том, что я, Тэффи, умна, никто ведь сомневаться не может. Не так ли? — лукаво спрашивает она.— Все от безделья, от скуки. Печататься негде, впрок я писать не умею, вот глупые мысли и расплодились в мозгу, как тараканы. Шуршат, бегают, усиками шевелят. А мне от них ко-

ломятно и тошно. До того, что иногда просто хочется головой о стенку.

Она замолкает на минуту, отодвигает нетронутую чашку кофе и решительно встает.

— Ну, довольно с меня! До свидания. А таскать меня в такую даль на Côte Basque [1] вам не следовало. «Не такое нонче время, мой товарищ дорогой», чтобы на голодный желудок километры отмахивать. Пойду к себе — отлеживаться.

— Вы сердитесь, Надежда Александровна? Простите,— растерянно говорю я.— Мне казалось, что это не далеко. И ведь так красиво.

— Ну и что, что красиво? — перебивает она.— «Красота спасет мир»? Успокоит и накормит? А вышло наоборот. Я действительно обозлилась. Нет, не на вас. На себя. За это дурацкое хождение по мукам. У меня ноги болят, распухли. Каждый шаг мука. А я из гордости скрываю. И зачем, спрашивается, я перед вами расквакалась? Стыд и срам!

Она сердито надвигает берет на лоб, протягивает мне руку и вдруг неожиданно заливается своим милым, легким смехом.

— Ну, ну! Не вздумайте огорчаться. Какая вы, право, забавная! Нельзя так за других расстраиваться в наши жестокие дни. Рано еще плакать надо мной. И совсем мне уже не так плохо! Даже совсем не плохо! Бросьте! Бегите себе весело домой. Благо у вас дома тепло и уютно, и обед вкусный, и любящий муж. А обо мне не думайте. Пользуйтесь жизнью, пока судьба к вам так благосклонна. Ведь колесо фортуны вертится. Кто знает, может быть, и вы тоже когда-нибудь окажетесь под ним. Так старайтесь быть как можно счастливее теперь, чтобы потом было бы о чем вспомнить. Впрочем, не слушайте мои глупые советы. И воспоминания ни к чему, когда на душе мерзко. Все это вздор. Кланяйтесь Георгию Владимировичу.

И она, кивнув мне на прощание, быстро уходит.

Я смотрю ей вслед. Обыкновенно она, пройдя несколько шагов, оборачивается и машет мне рукой.

Но сейчас она идет по набережной опустив голову и даже не обращает внимания на пылающий над океаном закат, который она так любит.

Значит, ей действительно очень тяжело и очень плохо.

Как-то еще до войны, в Париже, Тэффи пришла к нам, сильно хромая. В тот вечер у нас собрались друзья.

— Ух, еле добралась! — и она тяжело опустилась в кресло, вытянув ноги вперед.

---

[1] Баскское побережье, район во Франции, на берегу Атлантического океана *(Ред.)*.

Все бросились к ней с расспросами. С минуту она, ни с кем не здороваясь, сидела молча с закрытыми глазами, потом вдруг встрепенулась, как птица, готовая к полету, оглядела всех присутствующих по очереди и рассмеялась:

— Что, напугала я вас? А теперь вам кажется, что я для забавы свою хромоножку по Достоевскому разыграть хотела — «ведь эта Надежда Александровна всегда что-нибудь уморительное придумает!» А вот и ошиблись! Я сейчас вместо того чтобы блистать на этом пышном приеме, могла бы лежать с переломленной спиной на больничной койке в госпитале, а то и вовсе, пожелав вам всем долго жить, отдать Богу душу,— и, сделав паузу и полюбовавшись эффектом, вызванным ее словами, продолжала: — Вылезаю из метро на станции Пасси, взбираюсь по лестнице. А передо мной какой-то шустрый мальчишка лет восьми удивительно ловко скачет, на каждой ступеньке замысловатый прыжок проделывает. Очень мне понравилось и самой захотелось. Дай-ка, думаю, попробую. И попробовала! Хорошо еще, что за перила уцепилась, а то бы покатилась вниз и поминай как звали! Ведь лестница высоченнейшая, а я уже почти до верха добралась. Видно, мой час еще не настал. Мне еще рано умирать. А теперь, пожалуйста, пейте за мое здоровье, провозглашайте тосты, говорите речи! Люблю почет и уважение. И сознаю, что сегодня вполне заслужила — чувствую себя героиней. Нога-то здорово болит, а я все-таки притащилась, чтобы не огорчить вас моим отсутствием. Так начинайте же воспевать и превозносить меня!

В этот вечер Тэффи была необычайно — даже для себя — весела и остроумна. Трудно было поверить, что она так умеет скрывать боль. Но на следующее утро она вызвала доктора и ей пришлось пролежать в постели несколько дней.

И тогда я поняла, насколько она стойка и мужественна.

* * *

В тот вечер мы с Георгием Ивановым ждали Буниных и Галину Кузнецову, с которой я дружила.

Они неожиданно привезли с собой Аминадо.

— Принимаете незваных гостей? — спросил он, не успев даже поздороваться с нами.— Примите, очень прошу.— И еще округлив свои темные и без того круглые глаза, быстро продолжал: — Деваться мне абсолютно некуда. Настроение собачье, самоубийственное. Пошел к Буниным, а они к вам собрались. Я и увязался за ними. Моей дочке Леночке вырезали гланды. Моя жена вместе с Леночкой будет ночевать в клинике. Дома никого. А я не выношу одиночества. Не выношу...— И он, молитвенно сложив руки, почти пропел: — Не гоните меня!

Я, конечно, принялась уверять его, что мы с Георгием Ивановым страшно рады, с чем он, сразу переменив тон, шутливо согласился:

— Не сомневаюсь ни минуты! Дона Аминадо принять и угостить всем лестно. Он превращает обыкновенный день в праздник.

И хотя он, конечно, шутил, но это так и было. Наш обед действительно благодаря ему превратился в праздник.

Мы сели за стол, Бунин брезгливо отодвинул тарелку:

— Я сегодня ничего есть не могу. Мне что-то с утра нездоровится.

Вера Николаевна испуганно замигала и со своего места громко зашептала:

— Ян, неудобно. Ешь! Ведь они так потратились.

Я с трудом удержала смех. Я уже знала, что Бунин почти всегда, придя в гости, грозил, что он сегодня есть не станет, что, впрочем, не мешало ему тут же проявлять отличный аппетит.

Так, конечно, случилось и на этот раз.

Закусив и выпив, Бунин принялся изображать в лицах общих знакомых, как всегда, неподражаемо талантливо передразнивая их. Дон Аминадо, забыв о своем самоубийственном настроении, подавал ему остроумные реплики и сыпал тут же сочиненными в порыве вдохновения афоризмами и двустишиями. Из них я запомнила одно:

Жорж, прощай! Ушла к Володе.
Ключ и паспорт на комоде.

Целый эмигрантский роман в двух строчках.

После обеда Буниным, как всегда, овладела «охота к перемене мест», и мы, не споря с ним, погрузились вшестером в такси и отправились на Монпарнас, где кочевали из кафе в кафе, нигде не засиживаясь.

Это продолжалось долго. Вера Николаевна, Галина Кузнецова и я начали проявлять признаки усталости. Даже Бунин притих. Георгий Иванов украдкой позевывал. Один Дон Аминадо никак не соглашался ехать домой.

— Неужели вы все так бессердечны, что хотите бросить меня одного на съедение тоске! — возмущался он, поднимая руки к небу.— Я просто не могу войти в пустую квартиру и лечь, как в гроб, в кровать. Вы обязаны, понимаете — обязаны остаться со мной до утра! Мы утром выпьем в «Доме» кофе с горячими круассанами,— ведь это так вкусно,— и только тогда расстанемся.

Но этот план был нами единодушно отвергнут, и Дону Аминадо пришлось подчиниться общему решению.

В такси, везшем нас по темным пустым улицам спящего Парижа, он горестно вздохнул:

— Вот вы все не верите. Мне действительно очень тяжело и грустно. Мне всегда грустно и страшно одному. Меня сейчас же начинают грызть всякие страхи и предчувствия. Ведь хоть и легкая, а все-таки операция. Мало ли что может случиться?

Да и вообще, мало ли что может случиться? Я, как муха в безвоздушном пространстве, в одиночестве лопаюсь от тоски.

Бунин сочувственно кивнул.

— Что ж, понятно! Вы, дорогой Аминад Петрович, как и полагается заправскому юмористу,— пессимист, неврастеник, самогрыз, самоед. Как и Тэффи. Та, бедная, даже читать спокойно не может: все должна в уме складывать, умножать и делить буквы. От неврастении, конечно. Вот могильщики и поэты — те, напротив, народ отчаянно веселый, беспечный. Я еще в Одессе знал одного такого — ежедневно умирал в стихах, а в жизни...

И Бунин, оживившись, пустился в красочные воспоминания о каком-то весельчаке — могильщике-поэте.

Дон Аминадо молча слушал, отвернувшись к окну.

«Нет, он не притворяется»,— думала я, глядя на него. Ему действительно тяжело и грустно. Он слишком любит своих — до преувеличения. И он, наверное, не меньше Бунина боится смерти, постоянно помнит о ней. Но Бунин боится своей смерти, а Аминадо смерти близких, любимых. И это, конечно, еще тяжелей.

В те «баснословные года» литературная жизнь цвела в Париже. Литературные вечера происходили в огромных залах «Сосьете Савант», «Ласказ», в «Плейель» и делали полные сборы.

В 1927 году Дон Аминадо, вместе с Тэффи, устроили общий вечер в «Плейель».

Тэффи, моложавая, эффектная, в ярко-красном, длинном платье, и Дон Аминадо во фраке, подтянуто-элегантный, вели на сцене блестящий, юмористический диалог-поединок, стараясь превзойти друг друга в остроумии. Зрители хохотали до изнеможения, до слез, до колик. Хохотали даже над тем, что, казалось бы, не должно было вызывать такой бурной реакции.

Так, рассказ Тэффи о том, что вчера она в аптеке собственными ушами слышала, как одна из наших дам-беженок подошла к аптекарю и, умильно заглядывая ему в глаза, попросила: «s'il vous plaît, pendez-moi, monsieur» [1], был покрыт раскатами долго не смолкавшего хохота.

Через год Аминадо уже самостоятельно устроил свой собственный вечер в «Плейель».

Этот вечер я особенно хорошо запомнила оттого, что я была на нем конферансье. Вместе с Балиевым. Когда Аминадо сообщил мне о своем желании, чтобы я конферировала, я наотрез отказалась.

— Да что вы! Я не могу, не умею. Я даже в любительских спектаклях никогда не участвовала.

Но он взял меня под руку и безапелляционно заявил:

---

[1] Вместо pesez-moi, то есть «повесьте меня» вместо «взвесьте меня» *(Примеч. автора)*.

— Бросьте. Не спорьте со мной. Недаром про меня сочинили: «Молчи! Так надо! Я — Дон Аминадо». И вы молчите. Я решил. С вас ничего не требуется. Вы только наденете свое голубое платье, в котором блистали на новогоднем балу в «Лютеции». Все остальное предоставьте мне. Все без исключения. Соглашайтесь сейчас же!

И я согласилась.

Мне действительно не пришлось ни о чем заботиться. Аминадо не только написал текст всего, что мне полагалось сказать, но и прорепетировал его со мною несколько раз.

Я, выйдя на сцену, должна была не спеша дойти до самой рампы, остановиться, оглядеть зрительный зал, открыть сумочку, достать пудреницу и старательно сдуть с нее пудру в сторону зрителей. После чего, «попудрившись необычайно грациозно, улыбнуться своему очаровательному отражению в зеркале». И только проделав все это, объявить о начале вечера.

Для представления каждого выступающего мне пришлось выучить наизусть несколько фраз.

Так, представляя Мориса Ростана, я должна была сказать, указав на него плавным взмахом руки: — Le poète de «La Gloire» et la gloire des poètes [1]. Морис Ростан был автором пьесы «La Gloire».

На последней репетиции, когда Аминадо уже убедился, что я исполняю все в точности, он вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— А самое главное я почти проворонил. Ведь вы ходить по сцене не умеете!

И хотя я его убеждала, что это-то я как раз и умею, он не поверил.

— Завтра привезу к вам Балиева. Пусть он с вами займется. Ждите нас около двух часов. Не уходите никуда. Сидите и ждите.

На следующий день он действительно приехал ко мне с Балиевым.

Балиев в прихожей долго и шумно переводил дыхание, будто поднялся на пятый этаж без лифта, хотя мы жили в «рэ де шоссе» [2]. Войдя, он сейчас же тяжело опустился на диван, недовольно выпятив толстые губы:

— Только для вас, Аминад Петрович, пошел на эту мороку. Посмотрите на этого Ангела Смерти (я тогда недавно выпустила свой роман «Ангел Смерти»), ходит совсем недурно. А на сцене, конечно, прокатится, как игрушечный заяц на колесиках. Ну, начнем!.. Валяйте от двери до окна,— вы на сцене, помните!.. На сцене!

Я прошла широкими шагами, как меня когда-то учили, еще в Петербурге, на уроках пластической гимнастики.

---

[1] Поэт «Славы» и слава поэта *(фр.)*.

[2] первый этаж (от фр. rez de chaussée).

Балиев свистнул и развел руками.

— Ну, этого Ангела, пожалуй, учить ходить по сцене нечего. Он сам всякого научит. Тащите чай или что вы там для нас приготовили.

Вечер Дона Аминадо прошел прекрасно. Мне даже казалось, что это был самый удачный из всех литературных вечеров того времени.

В антракте, в переполненной комнате для артистов, я протолкалась к Аминадо и схватила его за локоть.

— Ах, как чудесно! Как весело! Как я рада, что вы уговорили меня. Мне никогда еще не было так весело, как сегодня!

Он мрачно взглянул на меня.

— Рад, что вам весело, а мне так совсем невесело!

— Но почему? Почему? — недоумевала я.— Ведь все так чудесно! Такой восхитительный вечер! И полный сбор, конечно...

— Пропади он пропадом, этот вечер! — перебил он мои восторги.— Мою мать посадили не в ту ложу, которую она хотела, и она на меня страшно рассердилась. Даже уехать хотела...

* * *

То «воскресенье» на 11-бис Колонель Боннэ было, как ему и полагалось, многолюдно и многоречиво. Мережковский ожесточенно спорил с Адамовичем, Поплавским, Терапиано, вдохновенно — с помощью россыпи цитат всевозможных древних авторов — отстаивая свою точку зрения. Георгий Иванов, сидевший, как всегда, со стороны правого, менее глухого уха Зинаиды Николаевны, вел с ней разговор о стихах.

Звонок, и Злобин вводит в столовую нового гостя, шедшего за ним какой-то совсем особенной походкой. И весь он был какой-то совсем особенный, резко отличавшийся от других посетителей «воскресений». Особенными были и его манера наклонять голову, и его узкие очки в металлической оправе — в те дни большие очки в широкой роговой оправе уже входили в моду,— и его руки, с широко отставленными большими пальцами, которыми он странно жестикулировал.

Я сразу почувствовала, что он чужой, а не свой, не «составная часть высокого собрания», а иностранец, и это впечатление еще увеличилось, когда он замедленно, с перерывами и паузами произнес несколько слов, здороваясь с Зинаидой Николаевной, и пожал ее руку, явно высоко поданную для верноподданнического поцелуя.

— А, Шаршун, как хорошо, что вы вспомнили наконец-то и нас,— любезно протянула она, приветствуя его.

Шаршун. Так вот кто он. О Шаршуне, авангардном художнике, поселившемся в Париже еще до войны 14 года, я уже слыхала как о большом оригинале. И действительно, в оригинальности ему отказать было нельзя.

Злобин усадил его на свободное место у стола и принес ему чашку чая.

Спор продолжался. Никому и в голову не пришло объяснить новопришедшему, чем спор был вызван. Впрочем, обмен мнениями являлся необходимой, если не главной частью программы «воскресений». Спор как спорт, спор ради спора. Но исключительно на высокие темы. Никакой обывательщины Мережковский не переносил и не допускал.

Шаршун сидел, как все мы, за тем же столом, но мне казалось, что он своим присутствием нарушает магнетическую цепь, образованную присутствующими, что он не сливается гармонически с остальными, а сидит сам по себе, отделясь от всех, как будто выше, в стороне от стола.

Это первое поразившее меня тогда смутное впечатление и потом не покидало меня. Мне всегда казалось, что Шаршун находится не на одном уровне с остальными, а немного выше их, или немного в стороне от них. Никогда не вместе с ними, а всегда сам по себе. Одиноко. Один. Всюду не свой, а чужой. Другого измерения или с другой планеты — чужой и непонятный.

И это не мешало нам всем, с Зинаидой Николаевной и Мережковским во главе, относиться к нему с большой симпатией и уважением. Пожалуй, эта его отчужденность и особенность и вызывала уважение к нему. Был он к тому же добрый и отличный товарищ, готовый помочь нуждавшимся, хотя он сам тогда едва-едва мог сводить концы с концами, и жизнь его была очень нелегка. Но об этом я слышала от других, сам он никогда ни на что не жаловался.

Я знала, что он антропософ — в те дни об антропософии я почти ничего не слыхала и не интересовалась ею.

Знала я также, что он не только художник, но и писатель. Адамович в одном из своих критических подвалов в «Последних новостях» предсказал ему блестящее литературное будущее, через сто лет.

Но когда нашелся настоящий издатель, поверивший Адамовичу и пожелавший выпустить роман Шаршуна, Адамович, смеясь, отсоветовал ему это: «Что вы, что вы. Ни в коем случае. Верный провал». И роман Шаршуна так и не вышел в свет, но отрывки его печатались в журнале «Числа». Мне они нравились, но ни читатели, ни критики не обращали на них большого внимания. Шаршуна печатали скорей из-за личной симпатии к нему.

Все же «Числа» издали в 1934 году на ротаторе в количестве 200 экземпляров его «Долголикова», которого Шаршун назвал поэмой, посвятив ее Георгию Адамовичу. В 1938 году там же и тем же способом, в том же количестве вышло его «Небо-колокол», на этот раз посвященное «Поэту Георгию Иванову». Впоследствии он сам издал сборник своих рассказов и ряд листовок «Клапан», начав ими своего рода зарубежный самиздат.

Все это читалось довольно вяло и настоящего успеха — хотя тут было много интересного — не имело. Но сам Шаршун никогда и нисколько не сомневался в своей гениальности, как художника, так и писателя, и спокойно, открыто и без ложной скромности заявлял об этом в разговорах.

Однажды, явившись на очередное, очень бурное «воскресенье», он, еще не успев поздороваться ни с Зинаидой Николаевной и Мережковским, ни с посетителями, заявил не без некоторой торжественности:

— Господа, я всю ночь не спал и пришел к неожиданному выводу. Я не только гениальный художник и прозаик, я еще и гениальный поэт. Вы не можете с этим не согласиться. Вот послушайте.

И он, сбиваясь и запинаясь, заикаясь от волнения, прочел сложное и длинное стихотворение.

На аудиторию ни его провозглашение себя гениальным поэтом, ни его стихотворение не произвели должного впечатления. Только одна Зинаида Николаевна капризно протянула:

— Поздравляю. Вот и у нас появился свой Элюар и русский сюрреалист или подреалист. А мы здесь очень страстно обсуждаем «Распад атома» Георгия Иванова. Садитесь, Сергей Иванович, скорей и слушайте. Хотите моего кофе?

Кофе она пила одна из маленького кофейника. Остальным, в том числе и Мережковскому, полагался чай. Предложение выпить «ее» кофе воспринималось как проявление монаршей милости. Шаршун от него даже слегка обиженно отказался и сел насупившись. Дальнейших отзывов о его «гениальном» стихотворении не последовало, все были слишком увлечены разбором «Распада атома», названного Мережковским «изумительнейшей» книгой двадцатого века.

Стихотворения Шаршуна я не запомнила. На меня оно не произвело большого впечатления. Не могу ручаться, но мне кажется, что оно осталось его единственным поэтическим произведением того времени. Кажется, раньше он писал стихи.

В тот вечер мы, покинув Мережковских, собрались все в кафе, прозванном почему-то «Ла-ба», и тут, в отсутствие Шаршуна, долго смеялись над его выступлением. Что он действительно гениален в какой бы то ни было области, никому из нас и в голову не могло тогда прийти. Его считали слегка тронувшимся милым чудаком.

С живописью его я почти не была знакома. Только однажды побывала у него в студии, и он в тот день подарил мне одну из своих картин. Она погибла в моем доме во время бомбардировки Биаррица, и я до сих пор жалею об этом.

Мы встречались с Шаршуном довольно часто на «воскресеньях» и на Монпарнасе. Георгий Иванов — очень строгий к людям — высоко ценил его как писателя и человека. Но настоящей дружбы у него, как и у меня, с Шаршуном не получилось.

Время шло. Я почти потеряла его из вида в военные и послевоенные годы. И только когда я в 1958 году переселилась в предместье Парижа, в Ганьи, я услышала, что Шаршун стал знаменитым художником, и это очень меня обрадовало.

Но моя встреча с ним произошла значительно позже — в 1973 году, на одном из «Медонских вечеров» в квартире Ренэ Юлиановича Герра, нашего «русского француза», как я прозвала его.

Ренэ Герра чистокровный француз, хотя по чистоте речи и по своей бороде лопатой может легко сойти за стопроцентного русского. Его молодая жена, дочь русских эмигрантов, кажется гораздо меньше русской, чем он.

Ренэ Герра литературовед, влюбленный — не нахожу более подходящего слова — в русскую зарубежную литературу и живопись. Его квартира — настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции.

Эти «Медонские вечера» по своему высокому культурно-художественному уровню могли бы даже конкурировать со знаменитыми «воскресеньями» Мережковских. У них для будущего, к тому же, одно несомненное преимущество — все, что говорилось на них, записывалось Ренэ Герра на магнитофоне, тогда как, к сожалению, о том, что говорилось на «воскресеньях», записано лишь в памяти немногих еще оставшихся в живых участников их.

Председателем «Медонских вечеров», устраивавшихся приблизительно раз в два месяца, был Юрий Терапиано, интересно, благодаря своему многолетнему довоенному опыту, ведший их и умевший создавать высокоинтеллектуальную атмосферу.

На этих собраниях из писателей и поэтов бывали Я. Н. Горбов, С. Р. Эрнст, В. С. Варшавский, А. Е. Величковский, И. П. Шувалов, Г. Е. Озерецковский, А. С. Шиманская, А. В. Ровская, Е. Ф. Рубисова и др. Из художников: Ю. П. Анненков, Д. Д. Бушен, М. Ф. Андреенко, Н. И. Исаев и Сергей Иванович Шаршун.

Собрания эти делились на две части — первая посвящалась докладу или новому произведению какого-нибудь из посетителей, разбору его и обмену мнениями. Выступали и художники — Шаршун и Андреенко, Анненков, тоже читавшие свою прозу. Бывали также вечера, посвященные поэзии. Помню один особенно удачный, на котором читали свои стихи Софья Прегель, Величковский, приехавшая с юга Таубер и др.

Вторая часть заключалась в ужине, протекавшем очень весело. Очаровательная молодая жена Ренэ Герра, успевшая уже стать известным врачом, была к тому же хлебосольной хозяйкой, обладающей большими кулинарными способностями. Эти ужины, вкусные и очень веселые, немало способствовали успеху «Медонских вечеров».

Вот на этих ужинах я, сидя рядом с Шаршуном, и возобновила с ним прежние отношения и даже гораздо лучше, чем прежде, узнала его.

Итак — Шаршун передо мной. Первое ошеломляющее впечатление — удивление, похожее на страх. Как же так? Значит, времени нет?

И уводит легонький след —
Прямо в молодость, в...—

нет, не в Летний сад, а в довоенный Париж.

Да. Прежний Шаршун. Абсолютно такой, каким сохранила его моя память. Не постаревший, не облысевший, не растолстевший, не похудевший, не сгорбившийся. Совсем точь-в-точь такой же, как до войны. Мне даже кажется, что на нем все тот же самый потертый пиджак и старый, криво завязанный галстук. Я просто глазам своим не верю. Ведь за это время те немногие, которые еще не умерли, так изменились, что и узнать нельзя.

А Шаршун совсем прежний. Только волосы седые. Но это почти незаметно — ведь и прежде они были неопределенного пегого цвета. А может быть, он уже и тогда был седым?

Я смотрю на него и вдруг мысленно переношусь в «воскресенья» на рю Колонель Боннэ и вижу Зинаиду Николаевну, как всегда набеленную и нарумяненную, рыжую, замысловато и старомодно причесанную, в зеленом платье с неизменным лорнетом в тонкой руке. Справа от нее Георгий Иванов, слева красивый, черноглазый, ставший под конец ее жизни ее лучшим молодым другом Виктор Мамченко, для которого она и «изменила» прежним молодым друзьям Адамовичу и Георгию Иванову. Дальше по кругу неистовый Бахтин, черноволосый, тонкий Терапиано, Фельзен, похожий на прибалтийского немца, Поплавский в черных очках и сам Мережковский, вдохновенно вещающий что-то об Атлантиде.

И все они умерли, умерли...

Мне становится страшно, я закрываю на мгновение глаза и снова открываю их, чтобы вернуться в сегодняшний день, чтобы почувствовать себя здесь и «сейчас», а не там, в прошлом. Здесь, с Шаршуном, вынырнувшим прямо из прошлого.

Он, общепризнанный гениальный художник, которого Пикассо считает одним из лучших, здоровается со мной так просто, будто мы виделись только вчера или неделю тому назад.

— Здравствуйте. Как поживаете? — без обычного «как я рад, что наконец... Сколько зим...» и т. п.

Я, ответив, что поживаю, как всегда, очень хорошо, не высказываю ему своего изумления отсутствием перемен в его внешности. И про себя тут же думаю — у него все особенное. Обыкновенно люди меняются и очень сильно только внешне, а внутри остаются все теми же, застывают в своих чувствах, мыслях и

взглядах, и в этом их трагедия. А он, наоборот, внешне все такой же, а внутри у него, должно быть, происходят революции и землетрясения, не оставляющие следов снаружи.

Мне хочется спросить его, так ли это, но я не решаюсь задать ему такой вопрос. А он говорит, что не пропускает ни одного «Медонского вечера», что он ведет затворническую, одинокую трудовую жизнь, и для него эти «вечера» настоящий праздник. Особенно оттого, что здесь говорят по-русски, ведь ему приходится встречаться только с французами.

В один из «Медонских вечеров» он, недавно вернувшись из поездки на Галапагосские острова, делился с присутствующими своими впечатлениями, такими оригинальными, непохожими на привычные рассказы и описания путешествий, что я, слушая его, вся превратилась в слух.

Острова открыли ему, по его словам, не только новый мир красок и света, но и новый взгляд на живопись. В 87 лет! Это похоже на чудо. Он говорит об этом просто, увлекательно, искренне, без хвастовства и самолюбования, как о чем-то вполне естественном.

— Все стало новым для меня. И я сам как будто стал новым.

В тот же вечер я, как и другие присутствовавшие, получила приглашение на вернисаж его выставки в галерее «Ля Сэн», и мы вчетвером — А. Шиманская, Ю. Терапиано, Я. Горбов и я — отправились туда в назначенный день. Результат этого нашего посещения — моя статья в «Русской мысли»:

О СЕРГЕЕ ШАРШУНЕ

С Сергеем Ивановичем Шаршуном я познакомилась еще в середине двадцатых годов, когда мы с Георгием Ивановым окончательно поселились в Париже.

Знакомство наше произошло на одном из «воскресений» у Мережковских, где собирались представители старшего и младшего литературного поколения во главе с Буниным.

С. И. Шаршун считался среди нас главным образом прозаиком-модернистом, о нем как о художнике мне было мало что известно. Я знала только, что он живописец-модернист.

Держался он хотя и очень дружески, но все же слегка в стороне, особняком, не примыкая ни к старшему, ни к младшему поколению.

Было что-то особенное в его манере говорить и держаться, не принимая участия в разговорах, волновавших посетителей «воскресений», но эта особенность вызывала в них не только симпатию к нему, но и уважение. Был он к тому же прекрасным товарищем, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся, несмотря на его более чем скромные средства к существованию.

Его литературные произведения печатались в самом передовом журнале «Числа». Георгий Адамович отзывался о них с большой похвалой и предсказывал ему блестящее будущее как писателю.

Как талантливого писателя я его знала хорошо, но с Шаршуном-художником и человеком по-настоящему мне удалось познакомиться только недавно —

на его последнем вернисаже в феврале, на котором меня поразили его «Белые симфонии», напомнившие мне пушкинские строчки, вдруг зазвучавшие в моей голове:

...Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровлю и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре...

Да, эти полотна, «белые на белом», показались мне окнами, за которыми лежит русский снег, магически все освещающий своим особенным русским сиянием, снег, от которого становится светло на душе.

Я вдруг впервые почувствовала, насколько Шаршун русский, несмотря на больше чем полвека, проведенные им в Европе, насколько он кровно связан с Россией. Насколько он наш национальный художник, которым мы по праву можем гордиться.

С удовольствием отмечаю, что и Ренэ Герра в своей статье «Profil de Charchounne», помещенной в монографии «Charchounne», изданной Galerie de Seine, разделяет мое мнение — Шаршун был и остался исконно русским. Он своего рода «чужестранец» среди французских художников, несмотря на то, что обосновался в Париже уже в 1912 году.

Ренэ Герра подробно говорит о всех фактах жизни и творческого пути Шаршуна. Мы узнаем, что он — всегда оставаясь самим собой — сближался со всеми авангардными художественными течениями, не только французскими, но и европейскими, что он много путешествовал, побывал в Испании и в Германии и что он совсем недавно, в июне 71 года, не побоялся отправиться на «край света» в Галапагос и вернулся оттуда с запасом впечатлений, заставивших его пересмотреть его творческое мировоззрение и пуститься на новые художественные поиски и открытия.

Особенно интересно то, что Герра говорит о влиянии музыки на творчество Шаршуна. О том, как Шаршун передает и воплощает Бетховена, Баха, Стравинского, Чайковского и других композиторов в своих картинах, как он переносит звуковые волны своего маленького транзистора на полотно, превращая музыку в живопись, создавая музыкально-живописные композиции.

Герра не только дает биографию Шаршуна, но и создает его человеческий облик, своеобразный облик мученика искусства, готового взойти на костер за свои идеи и взгляды.

Статья Ренэ Герра заставит иных, считающих, что они хорошо знакомы с Шаршуном-художником и человеком, понять, что они многого не доглядели в нем и не до конца оценили его.

В этом главная заслуга Герра, за которую ему нельзя не быть благодарным.

Эта статья, непонятно чем и почему, восхитила Шаршуна. Настолько восхитила, что он стал читать ее каждую ночь перед сном, что уже совершенно невероятно. Когда он рассказал мне об этом, то назвал даже точно число этих своих чтений:

— Я читал вашу статью двадцать семь раз и еще буду читать! Спасибо!

С того дня как я побывала на вернисаже «Белых симфоний» Шаршуна и прочла монографию Ренэ Герра о нем, я стала постоянно думать о нем и его творчестве. Мне хотелось узнать того нового, прославившегося Шаршуна, увидеть его новые картины. И вот 17 июня — в незабываемый для меня день — Ренэ Герра повез меня и Я. Н. Горбова в Ванв, в мастерскую Шаршуна.

Мастерская его — маленький особнячок в саду. Перед ним две стройные прямые березы. Почему-то во Франции березы кособоки, мучительно изогнуты, а у этих чисто «русская стать». Шаршун, должно быть, очень любит их.

Большая студия с огромным окном. Ренэ Герра, сверкая белозубой улыбкой и окладистой черной бородой, ловко и хозяйственно расставляет полотна по мольбертам. И вот они перед нами.

Несколько совершенно темных полотен, с солнцем в правом верхнем углу, а в центре солнца маленький крест. «И вчерашнее солнце на черных носилках несут»,— вспоминаю я. Остальные — ибисы, моржи, пингвины на фоне тропического пейзажа.

Неужели их написал Шаршун? Даже не верится, так они непохожи на все, что он делал до сих пор, так они как будто идут вразрез с его прежним творчеством.

Я вспоминаю, как при нашей встрече после долгой разлуки подумала: внешне он совсем такой же, но внутри в нем, наверное, происходят революции, катаклизмы и землетрясения.

И теперь я вижу, что была права — революции, землетрясения, не оставляющие камня на камне, ломающие, вычеркивающие все старое начисто во имя нового. У него редчайший дар не только возрождаться, не только магически преображать видимый мир, но как бы заново создавать его.

Эти фламинго, пингвины и моржи, казалось бы,— реализм. Но они так же далеки от реализма в его обыденном определении, как от абстрактности. Это магический реализм. Это новый Шаршун. Другого названия не нахожу.

Шаршун в 88 лет, увидев мир чистыми, невинными, младенческими глазами, с помощью всего своего накопленного за столько лет мастерства сумел его изобразить и передать.

Так часто повторяемая художниками фраза: «Важно не только то, что на картине, а и то, что за ней»,— всплывает в моей памяти.

Глядя на картины Шаршуна, я мысленно добавляю — не только, что «за», но и «вокруг» картины важно. Мне кажется, что я вижу вибрирующий вокруг них, похожий на сияние воздух. Нет, они не исчерпываются тем, что на них изображено. Здесь не только то, что изображено, здесь еще и впечатление от изображенного, и это, может быть, важнее всего.

Мы расписываемся в толстом альбоме. Ренэ Герра снимает нас на фоне картин и рядом с ними.

И вот уже надо уходить. Шаршун провожает нас до автомобиля. Идет мелкий дождь, но Шаршун непременно хочет проводить нас.

Ренэ Герра снова нас снимает,— у него, должно быть, не меньше ста фотографий Шаршуна. Мы прощаемся — до осени. Мы осенью все снова встретимся. Непременно. До свидания. До свидания...

Но встретиться с Шаршуном мне больше не пришлось. 17 июня 1974 года я видела его в последний раз.

* * *

Адамович так говорит в своих воспоминаниях о Бунине: «Я никогда не мог смотреть на него, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться, именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня».

Но, заменив Ивана Алексеевича Георгием Викторовичем и Бунина — Адамовичем, я, не меняя ни одного слова, могла бы написать все это об Адамовиче. Это как раз то, что я чувствовала, глядя на него. Да, я никогда в последнее время не глядела на него без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться... именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Один из последних? Нет, последний. Больше не осталось никого. Как точно, как хорошо и правильно он, говоря о Бунине, сказал это о себе.

Адамович, как и Бунин, редко вел связные отвлеченные беседы и любил говорить только о пустяках. Но эти пустяки всегда были переполнены «скрытой содержательностью» и светились его глубоким умом. Он сам знал за собой эту черту и часто повторял строки Георгия Иванова:

Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.

Ведь «пустяки» всегда перекликались у него с «вечностью». В капле воды для него, как для Блейка, отражался весь океан. Самый, казалось бы, пустяковый разговор с ним открывал «поля метафизики», как он сам насмешливо говорил. Еще о его отношении к «пустякам» — его собственными словами. И опять как будто о нем самом — из его некролога об Александре Гингере: «Всегда разговор с ним бывал интересен, даже если и касался сущих пустяков или какой-нибудь смешной мелочи. Ум человека обнаруживается в пустяках, пожалуй, очевидней, чем в предметах важных и высоких, где за фразеологией и туманами так легко скрыть мыслительную нищету. Он был умен в мель-

чайших своих наблюдениях, а наблюдал он людей и жизнь усердно».

Да, все это как будто о нем, будто он сам о себе писал.

Когда осенью 1971 года он объявил мне, что хочет лететь в Америку, я испугалась — ведь это ему не по силам. Его утомляет каждый выход из дома, каждый разговор. А тут полет, бесконечные встречи и приемы, чествования, выступления. Он согласился со мной:

— Да, конечно. Но если я сейчас не полечу, то мне уже никогда не удастся. Никогда.

Против этого спорить было невозможно.

— Что ж? Раз доктор вам разрешил...— я не стала его отговаривать, да он и не послушался бы меня.

Все время, пока он был в Америке, а он отсутствовал гораздо дольше, чем предполагал, я очень волновалась, несмотря на то, что он писал успокоительные письма, только вскользь упоминая, что был болен — «съел что-то неподходящее», и уверял, что он «осторожнее осторожного», отказывается от многих выступлений, сиднем сидит дома и совсем не утомляется.

Я успокоилась, только когда он вернулся в Париж. Ну, слава Богу! Я напрасно волновалась. Все мои предчувствия оказались вздором. Полет в Америку, казалось, даже пошел ему на пользу. Он как будто даже поздоровел и помолодел. Оттого, что «хлебнул славки», как я шутливо говорила.

Но он только махнул рукой.

— Ну какая там «славка». Сами знаете. К тому же я не честолюбив. Буря в стакане воды.

Этому я не верила.

— Бунин утверждал, что нечестолюбивых писателей нет и быть не может. Только одни это скрывают и ловко прикидываются скромными. Вы не согласны с ним, Георгий Викторович?

Адамович пожал плечами.

— Не согласен. Но давайте не спорить. Терпеть не могу спорить. Доказывать утомительно, но и молчать, когда хочется возражать, тоже утомительно. Мне с вами так легко оттого, что я с вами почти всегда одного и того же мнения. Вы меня и я вас с полслова понимаем. Должно быть оттого, что когда-то мы с вами вместе дышали петербургским воздухом тех «баснословных лет» — «Блажен, кто им когда-нибудь дышал».

И, как он постоянно делал, перескакивая с темы на тему, без связи между ними, продолжал:

— Довид Кнут был настоящий поэт. А кто его теперь помнит?

Я кивнула и произнесла нараспев:

Имя тебе непонятное дали — ты забытье,
Или, вернее, цианистый калий имя твое.

Он улыбнулся.

— Что ж? Вот вы и без спора как будто победили меня. Сознаюсь, мне очень приятно, когда меня цитируют, когда помнят мои старые стихи наизусть. Все же, повторяю, я не честолюбив и даже скромен.

Спорить мы в ту, почти последнюю встречу не стали. Разговор перешел на общих знакомых в Америке — кто как живет и что делает. И кто помнит меня и просил мне кланяться.

Теперь я спрашиваю себя — был ли Адамович скромен? И вспоминая всевозможные факты его жизни и всяческие его высказывания, почти с уверенностью могу ответить — да. Он был скромен.

Конечно, это не мешало ему быть самолюбивым и памятливым. Я не хочу сказать — злопамятливым, хотя все обидное, сказанное о нем, помнил десятками лет, он никогда не мстил за обиды. Но нанесенные его самолюбию обиды все же эмоционально окрашивали его суждение об обидевших его.

Так, он, сам того не сознавая, не мог простить Марине Цветаевой ее «Цветника», кстати, чрезвычайно неудачного критического произведения, совсем недостойного ее таланта. Она, так великолепно умевшая восхищаться, не умела, как учил когда-то Чуковский, «проткнуть острым пером врага так, чтобы раненого унесли с поля битвы». Адамович, несмотря на одно из лучших его стихотворений, посвященных ее тени, «Поговорим хотя б теперь, Марина», до конца, по существу, остался ей враждебен и в своем последнем письме из Ниццы писал мне: «Вчера я писал разные мелочи для себя и для вечности впрок и написал, что трех писателей мне иногда читать неловко (за себя и за них) в нисходящем порядке: Достоевского, Розанова и Цветаеву».

Конечно, его многое раздражало в неудержимом размахе Цветаевой. Раздражал ее московский стиль, его коробило от ее эгоцентризма и мифотворчества. Но если бы не было ее злосчастного «Цветника», он все же, я думаю, гораздо снисходительнее судил бы о ней. Особенно после ее трагической смерти.

Хотя это и кажется парадоксальным, Адамович в стихах меньше всего ценил талант.

— Слишком безудержно, слишком пенится, звенит и летит. Слишком талантливо,— говорил он о стихах одного из наших лучших поэтов.— Признаю все достоинства, но они оставляют меня холодным, а стихи должны волновать и задевать.

Таланту он предпочитал одаренность, ум, чувство меры, экономию средств, умение вовремя замолчать. Так, он считал, что «поистине без волнения внимать невозможно» стихотворению Боратынского:

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,
Заблуждений земли

Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

И был «готов смиренно преклонить колени» перед автором, как он сам писал в своих «Комментариях».

Это было наше с Адамовичем единственное крупное расхождение во взглядах и вкусах. Нет, я совсем не была согласна с ним. Но это не вызывало ни спора, ни пререканий. Он говорил только:

— Что ж? Это доказывает, что у вас безошибочный, правильный вкус и слух на все дурное, а о прекрасном вы иногда судите неверно.

— А может быть,— отвечала я,— вам кажется, что я всегда правильно сужу о дурном оттого, что и вы того же, как и я, мнения. А на самом деле мы оба ошибаемся. И это совсем не плохо, а только нам обоим кажется плохим.

Он кивнул:

— И это возможно. Но Боратынского я вам не уступлю.

— Зато я вам с удовольствием уступлю место в его строгом раю. Довольно с меня мучений и неприятностей на земле. В раю я надеюсь блаженствовать.

Он рассмеялся.

— Спасибо. С охотой займу ваше место.

На этом и закончился наш несостоявшийся спор. Я почувствовала, что говорить о моем возмущении не следует, что это может кое-что испортить. «Если надо объяснять, то не надо объяснять»,— часто повторяла Зинаида Гиппиус. И это было особенно правильно в отношении Адамовича. Он понимал с полуслова, без объяснений, или не понимал вовсе. Не принимал, не соглашался, несмотря ни на какие объяснения и доводы. В стихах он больше всего ценил не «за сердце хватающие строки», не «звуки небес», не «доплеснуть до луны», а тяжесть слов, падающих подобно камням. Паузы и то, что скрыто за паузами.

Еще до войны мне — и не мне одной — казалось, что Адамович не очень любит стихи, что для него лучшее стихотворение не стоит «непоправимо белой страницы». Одним словом, что парадоксальное утверждение «современная музыка идет к молчанию» могло быть повторено и в отношении поэзии и что поэзия идет к молчанию, и Адамович всеми силами стремится помочь ей в этом.

Но я, конечно, ошибалась. В чем смиренно сознаюсь. Редко кто так любил и так мучился поэзией, как он. Он жил и дышал ею.

Как всегда, когда я пишу или говорю об Адамовиче, я уклоняюсь в сторону, я уношусь или вперед или назад в воспоминанья. Я слишком много думала и знала о нем, он играл слишком большую роль в моей жизни. Мне трудно остановиться на каком-нибудь часе или дне, проведенном с ним, трудно правильно

последовательно писать о нем. Он как-то слишком не то что велик, вернее, глубок, слишком широк и многообразен.

«Mouvante comme l'onde» [1] — так он неоднократно и в письмах и в разговорах характеризовал меня и прибавлял: «оставаясь неизменной». Но и сам он был такой же, оставаясь, по существу, неизменным.

Как-то после выхода моей книги «На берегах Невы» мы говорили о том, как надо писать воспоминания. Я спросила его, хочет ли он, чтобы я написала о нем. И он ответил:

— Хочу, конечно, вы ведь пишете доброжелательно. Пожалуй, даже слишком доброжелательно. Все всегда у вас лучше, чем были. Немного такими, как их задумал Бог. Вы смываете с них их грехи и пороки. Они как отражение в магическом зеркале. Вы так ловко это делаете, что они все у вас оживают. Но неужели вам не хочется рассказать про них и дурное? Они от этого еще выиграли бы. Неужели вам не хочется показать их неприукрашенными, в их «натуральном безобразии»?

Я покачала головой:

— Не хочется. Я ведь никогда не привираю. Я только иногда не все говорю, что знаю.

— А знаете вы действительно много. Я бы на вашем месте написал дополнение. Чтобы его напечатали через двадцать пять лет после вашей смерти, и в нем все, без утайки, рассказал про всех. Все про всех. Хотя и сейчас уже не мешало бы кое-что подсолить и подперчить — для пикантности.

Но на это я не могла согласиться:

— Ну нет. Никогда. Это было бы злое дело. Ведь дурное всегда гораздо ярче запоминается, и это значило бы заклеймить и опозорить всех поэтов и писателей — чистым не остался бы ни один. Ведь за каждым что-нибудь да числится.

— Это как раз то, что отделяет писателей от обывателей и придает писателям человечность. «Подл, да не как вы»,— как про Байрона сказал Пушкин.

Я спрашиваю:

— А вы хотели бы, чтобы я про вас написала?

Он задумывается на мгновенье.

— Откровенно — хотелось бы. Но, конечно, не все, что знаете. Кое о чем необходимо промолчать. Но очень многое можно рассказать — конечно, с тактом.— И уже меняя тон: — А вам, наверное, кажется, что вы меня насквозь видите, до конца знаете? Так ведь?

Я качаю головой.

— Нет, совсем не кажется. Очень приблизительно вижу и знаю. Но все же, пожалуй, лучше, чем другие.

— Никто никого не знает,— полусентенциозно, полуиронически произносит он.— А меня действительно особенно трудно

---

[1] «Подвижная как волна» *(фр.)*.

узнать. Ведь я и сам себя не знаю и часто удивляюсь своим поступкам. И даже словам.

— Вы заперты, как тюремные двери, на три поворота: на крюк, болт и цепь,— говорю я в тон ему шутливо.

Он кивает.

— Или как сейф. Но, может быть, в сейфе вместо золота и долларов пуговица хранится. Или еще хуже — он пуст. Жаль, что я молчать не умею. Я о себе много лишнего говорю. И о других. Пожалуйста, никогда не открывайте мне ваши тайны. Побожусь, поклянусь и тут же разболтаю. Не могу не разболтать. А потом жалею.

В тот же вечер, уже прощаясь со мной у входа в метро, он сказал:

— Не торопитесь писать обо мне. О живых писать трудно. Неблагодарное это дело. И не слишком покрывайте меня сахарной глазурью. Я не был тем, кем мечтал быть в молодости. И сейчас не такой, как хотел бы. А меняться поздно.— И он как-то застенчиво добавил: — Все же помните, когда будете писать обо мне:

А ведь из человеческих сердец
И это обманувшее сияние...

Я уже спускалась по лестнице. Он смотрел мне вслед растерянно и печально. Мне вдруг стало невыносимо жаль его. Я быстро повернулась, поднялась к нему и протянула ему руку. Я хотела утешить его, сказать, что понимаю его, но не находила слов.

— Георгий Викторович... я...

Но он улыбнулся, грустно, высоко поднимая брови.

— «Знаем все сами, молчи»,— произнес он нараспев эту так часто повторяемую нами брюсовскую строчку и прибавил тихо: — Спасибо. Бегите скорей, а то на поезд опоздаете.

Он, не выпуская моей руки, смотрел на меня «своими чудными глазами». Да, действительно чудными. И мне в эту минуту показалось, что в них проходит вся его неудавшаяся жизнь, все его одиночество. И тоска. Я стояла перед ним молча, не решаясь уйти. Он повторил:

— Спасибо. Ну, бегите, а то опоздаете.

И я снова, уже не оборачиваясь, спустилась в метро, а в памяти моей звучали его строки:

О том, что мы живем,
О том, что мы умрем,
О том, как грустно все
И как непоправимо...

«Есть в близости людей заветная черта»,— писала Ахматова. Черта, которую невозможно перешагнуть. И я ее особенно чувствовала именно с Адамовичем. В нем было что-то мешавшее

окончательному дружескому сближению, что-то останавливающее на этой «черте», делающее последнюю откровенность невозможной — какая-то душевная стыдливость и застенчивость. И отсюда недоговоренность, скрытность, вернее, замалчивание самого главного. Вот-вот, казалось, он заговорит до конца откровенно, щемящим сердце голосом, о самом тайном, сокровенном, что мучит его. Вот-вот... Но он вдруг обрывал на каком-нибудь словце, выкидывал «риторическое» коленце или прятался за какую-нибудь цитату стихов и продолжал о «пустяках».

Были у нас с ним и заповеданные области разговоров, разговоров, которые он вел только со мной — как он уверял меня. Хотя в этом совсем не уверена. Он был, насколько мог, откровенен со мной с самого начала. Но не оттого, что я сразу же внушила ему какое-то особенное доверие. Нет, просто оттого, что он был в те годы очень дружен с Георгием Ивановым, и я, выйдя замуж за Георгия Иванова, поселилась вместе с ними на Почтамтской в квартире его тетки, где мы прожили все трое целый год в самой предельно близкой дружбе.

Часто молодые жены ревнуют своих мужей к их друзьям и становятся помехой в мужской дружбе. У нас же произошло обратное. Я подружилась с Адамовичем сильнее, чем с самой любимой из моих подруг. Так, как с ним, ни до него, ни после я ни с кем не была дружна.

Квартира его тетки, мадам Белэй, хотя и очень роскошная и прекрасно обставленная, все же состояла лишь из трех огромных комнат: спальни, столовой и кабинета.

Адамович поселился в спальне, мы с Георгием Ивановым — в кабинете. Жили мы семейственно интимно и целые дни проводили вместе. И только на ночь расходились по своим комнатам.

Я проводила с Адамовичем не меньше времени, чем с Георгием Ивановым. Мы с Адамовичем вставали рано, тогда как Георгий Иванов по скверной привычке спал до двенадцати. Хозяйством я совсем не занималась и чувствовала себя здесь гостьей. У нас — ведь это было уже в 1921 году во время нэпа — была прислуга, отлично готовящая и сама составлявшая наши меню. Она ставила нам самовар, и мы с Адамовичем пили утренний чай вдвоем.

К «брекфесту» он являлся в шелковом персидском халате, доставшемся ему по наследству от «господина Белэя», покойного мужа его тети. Халат этот был слишком велик и широк для Адамовича. Туго перетянутый в талии, он образовывал множество топорщившихся складок и доходил до земли.

Голову Адамович повязывал голубым газовым шарфом, чтобы волосы лежали как можно глаже. В этом наряде он производил странное впечатление, очень забавлявшее меня.

Как-то раз, когда Марианна отлучилась, он открыл на стук дверь кухни какому-то красноармейцу, пришедшему предложить свои услуги:

— Хозяйка, дров поколоть не надоть? Или полы натереть? — И, не получая ответа от ошеломленного Адамовича: — Что, хозяйка, оглохла, што ль? Дрова колоть не бабье дело. А я, мне сподручно.

Адамович, давясь от смеха, еле выговорил:

— Не надо. Мой муж наколет.

И, закрыв за ним дверь, бросился ко мне в столовую рассказать о «происшествии». Мы так громко смеялись, что разбудили Георгия Иванова. И он присоединил свой смех к нашему. В продолжение нескольких недель мы называли Адамовича «хозяйка», что неизменно веселило и его и нас. Об этом, как и о многих других мелочах и «пустяках», мы с ним часто вспоминали и здесь, в Париже.

Разговоры у нас, конечно, были разные, но они часто соскальзывали в заветную область «странностей любви» в прошлом и настоящем. Я не собираюсь рассказывать о ней, несмотря на его совет рассказать о других, и о нем в том числе, все, что я знаю, «чтобы все, все о всех». Все же мне кажется необходимым подчеркнуть одну его мало кому известную черту: его стихийную — не нахожу другого слова — страстность, его огненный темперамент, так плохо, казалось бы, вязавшийся с его внешностью, с его благовоспитанной сдержанностью, с его петербургской изысканной подтянутостью. Этот безудержный темперамент заставлял его терять голову и совершать неразумные поступки; он проявлялся и в его картежной страсти. Адамович был безрассудно и неудержимо азартен. Он начал играть уже в Петербурге, в 1921 году, в только что открывшихся клубах. Ему чрезвычайно не везло. Он постоянно проигрывался в пух и прах.

— Опять «пух и прах»! — сообщал он мне утром за чаем и, заламывая руки, стонал: — О Господи! Какая тоска, какая скука!..

На что я неизменно произносила фразу из какого-то переводного романа:

— Зачем вы так поступаете, сэр?

Он продолжал вздыхать.

— Звезды, звезды, какая тоска!..

Скука и тоска нападали на него и терзали его, «как дикие звери», по его же словам.

— Не уходите, посидите со мной,— просил он меня.— Одному мне еще более тошно. Я весь исхожу скукой, как клюквенным соком. С вами мне легче.

Георгий Иванов шутя говорил, что Адамович феноменально, гениально, нечеловечески скучает, и это заменяет ему вдохновение. Сам Адамович признавался в стихах: «Но так скучать, как я теперь скучаю, Бог милосердный людям не велел». Впрочем, эти приступы скуки не мешали ему быть почти постоянно в хорошем настроении и всегда очень вежливым со мной. Но скучал он не только после карточных проигрышей. Иногда, в самые,

казалось бы, благополучные дни, когда я одевалась к утреннему чаю, до меня доносилось:

— Господи! Какая скука, какая тоска!

Но ведь он вчера никуда не ходил, не играл. У нас были гости. И, значит, это не от проигрыша. Я выходила, притворяясь, что не слышала его вздохов и стонов. И начинала говорить о стихах. О его, о своих, о чужих — в те дни стихи были главным содержанием моей жизни. И он, понемногу втягиваясь в разговор, забывал о своей скуке.

Я удивлялась, как стихи сравнительно мало места занимали в разговорах Адамовича и Георгия Иванова, предпочитавших им «пустяки» и говоривших о поэзии легкомысленно. Я привыкла к серьезному, благоговейному отношению Гумилева к поэзии. К тому, что «служенье муз не терпит суеты». А здесь, на Почтамтской, царствовала суета. Даже суета сует. И лень. Они целыми днями куда-то спешили, чем-то были заняты, чему-то смеялись. И ничего не делали. И это меня очень удивляло. Мне, ученице Гумилева, казалось, что поэты должны работать, что день без нового стихотворения — потерянный день. Но такие взгляды смешили их.

— Стихотворения появляются вот так — из ничего. Работать над стихами,— насмешливо уверяли они,— глупая и даже вредная затея.

Кстати, Георгий Иванов сохранил этот взгляд на всю жизнь. Он остался таким же ленивым, как был, или, пожалуй, стал еще ленивее. Тогда как Адамович в эмиграции очень изменился и стал по-настоящему трудолюбив, хотя и отрицал это, уверяя, что пишет из «преодоленной лени» и необходимости существовать,— «а так бы ни строчки».

У большинства людей характер с годами портится. Они становятся эгоистичнее, скупее на чувства, черствеют и озлобляются. Это естественно. Умнеют ли люди под старость? Мне кажется — нет. Становятся скептиками. Приобретают «жизненный опыт». И теряют доброту.

Почти все. Но Адамович — исключение.

— Вы с годами теряете недостатки и приобретаете достоинства,— говорила я ему шутя.

— Ах, нет, дело не во мне, а в вас. Вы стали добрее, снисходительнее, а может быть, и менее наблюдательной. Вот вам и кажется, что я стал лучше.

Я соглашаюсь.

— Возможно, что я стала лучше, хотя вряд ли.

— Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

Он откидывает голову и смотрит в окно на парижское вечернее небо.

— «Онегин, я тогда моложе...» Это для меня одни из самых

божественных строк — вся эта глава. «Сегодня очередь моя...» И в особенности — «Руки бесчувственной своей...». Ведь если «бесчувственной руки своей» — вся прелесть, вся магия пропала бы. А эта, казалось бы, ничем не вызванная перестановка слов...

И вот Адамович говорит о Пушкине, весь преобразившись. Говорит серьезно и долго, с увлечением. Пушкин, Лермонтов и Толстой для него те «три кита, на которых держится русская литература». И вдруг:

— А ведь мы с Жоржем, это было еще до вас, хотели исправить Пушкина. И выпустить «Исправленного Пушкина». Я и сейчас холодею, когда вспоминаю об этом.

Я смеюсь.

— Конечно, знаю, помню. Ничего, по-моему, страшного не произошло бы, если бы действительно выпустили. Ведь вы тогда были очень молоды.

Он морщится.

— Не всякое идиотство можно оправдать молодостью. Слава Богу, что мы не решились. Я бы этого себе никогда не простил. Ни себе, ни Жоржу. Это его была идея. Ведь он начал эгофутуристом, а я...

— А вы всегда были классиком — с младых ногтей. И остались им. Но, Онегин, вы сейчас гораздо лучше, чем раньше.

Адамович действительно становился лучше с годами. Он, хотя этому и трудно поверить не знавшим его еще «в те баснословные года» в Петербурге, как-то душевно «молодел», приобретал качества, присущие молодости: отзывчивость, доброту, желание контакта, легкость общения и готовность заводить новые дружбы. Он становился все менее эгоистичным, все более снисходительным к слабостям других.

— Надо прощать,— часто повторял он.— Конечно, это не легко и мне не всегда удается. Я ненавижу тех, кто передает мне: — А тот или та о вас сказали...— Я ведь и сам и о той и о том... это вовсе не значит, что я о них плохо думаю. Только для острого словца, раз они мне под язык или под перо попались в письме. И они обо мне так. Но в чужой передаче все становится оскорблением. И трудно забыть и простить.

Правда, даже и о своих друзьях, о тех, к кому он относился с настоящей симпатией и уважением, он почти всегда говорил с насмешкой, остро подмечая их комические черты, давая им забавные клички. Я привыкла к такой его манере. Но вот уже лет десять он все реже высказывал резкие мнения о людях и все чаще говорил:

— Нет, в сущности, он не глуп, а только кажется глупым, если его невнимательно слушать. Он просто не дает себе труда разобраться в путанице своих мыслей.

Или:

— Она, конечно, зла, но ведь она очень несчастна. Оттого и зла. И к тому же ведь дура. Пожалеть ее надо.

Об одном нашем общем знакомом:

— Конечно, он постоянно меняет свои мнения. Но он искренен. Каждую минуту. Правда, на одну только эту минуту, в следующую он уже может переменить мнение. Но всегда искренен.

— Надо быть гораздо снисходительней к людям,— и прибавлял полунасмешливо: — «Не суди и не судим будешь». А я вот не могу. Сужу с утра до вечера всех и вся. И первого себя. За то, что сужу. И вообще за все.

Адамович — я не знаю, замечал ли это кто-нибудь, кроме меня,— был очень застенчив, хотя умело маскировал свою застенчивость. Но победить ее, как он победил свой эгоизм, ему не удалось. Застенчив он был не только внешне, но и внутренне. Внешнюю свою застенчивость он научился хорошо скрывать. И вряд ли кто, принимая его у себя, догадывался, что ему стоило мучительных усилий войти в гостиную, полную гостей, и поцеловать руку хозяйки. Он сам признавался мне, что у него сжимается сердце, когда он переступает порог чужого дома. Даже самого дружеского, где его с нетерпением ждут. Правда, только на одну минуту. Потом совершенно проходит.

— А вот выступать публично мне гораздо легче. Даже совсем легко. Пойдите поймите почему.— Он подымал брови и с недоумением смотрел на меня.

— Оттого что вы прирожденный оратор и эмигрантский златоуст,— уверяла его я.

Адамович действительно прекрасно говорил. И очень легко. Как-то раз, еще до войны, мы с ним приехали в «Зеленую лампу» прямо после обеда у нас. Он должен был выступать с докладом, но ни за обедом, ни в такси ни слова не было сказано о его предстоящем докладе. И только приехав в «Зеленую лампу», он отошел от нас с Георгием Ивановым и уселся на стул в коридоре.

— Подождите. Я останусь тут. Мне надо обдумать, что я буду говорить. Пять минут. Через пять минут, не раньше — можешь объявить заседание открытым.

Георгий Иванов был бессменным председателем «Зеленой лампы». Правда, роль эта была чисто декоративная. Он ограничивался только тем, что открывал и закрывал заседания и предоставлял слово ораторам. В отличие от Адамовича Георгий Иванов не обладал никакими ораторскими данными и в публичных дебатах не участвовал. За все существование «Зеленой лампы» он прочел один лишь доклад. Прочел по написанному, а не сказал. О символизме.

Пяти минут для Адамовича оказалось вполне довольно. Он в тот вечер — как, впрочем, и всегда — отлично говорил. Адамович был великолепным оратором, что обнаружилось уже в собраниях «Зеленой лампы» в конце 20-х годов. Но блестящим собеседником, тем, что французы когда-то называли «causeur» [1], он не был. И даже слегка гордился этим.

---

[1] «говорун», «разговорщик» *(фр.)*.

— Нет,— говорил он,— я совсем не завидую «тэйбл-токным»[1] успехам Жоржа. Мне непонятно, как это он режет и бреет и мгновенно отвечает du tac au tac[2]. Иногда мне даже неловко за него, и в то же время я восхищаюсь им. «Таких уж нет и скоро совсем не будет» — по определению Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» или в «Двенадцати стульях».

Да, таких блестящих собеседников «уж нет и скоро совсем не будет». Мне, по крайней мере, за все годы эмиграции ни в Европе, ни в Америке никого, кто бы мог сравниться в этом отношении с Георгием Ивановым, встретить не пришлось. Не исключая и Тэффи. В Петербурге равным ему был один Михаил Леонидович Лозинский, тоже «остроумный свыше всякой меры, блистательный разговорщик».

Зинаида Николаевна Гиппиус сразу оценила Георгия Иванова и стала сажать его за чайным столом с своего правого, лучше слышащего уха. С ним она вела длинные беседы не только по «воскресеньям», но часто и вечерами, когда она приглашала его одного «поговорить с глазу на глаз» о стихах и о русских делах. Русские дела интересовали его не менее, чем ее.

К психологическим, метафизическим и религиозно-философским дебатам он был абсолютно холоден, лишь изредка прерывая их каким-нибудь саркастическим замечанием, вызывавшим общий смех. Так, на одном из «воскресений», когда И. И. Фондаминский говорил об Ордене интеллигенции и обещал скорое всемирное царство элиты, Георгий Иванов, вздохнув, произнес:

— Все это так, Илья Исидорович. Только — элита едет — когда-то будет? — чем «зарезал» пламенную речь Фондаминского. После взрыва смеха он уже не мог найти прежнего тона.

Кстати, от превращения «улиты» в «элиту» рикошетом пострадал и Елита-Величковский, тут же переименованный Зинаидой Николаевной в Улиту-Величковского. Она, как Адамович и Георгий Иванов, тоже любила давать людям клички. Так, одного христианского философа она прозвала «подколодным ягненком». Придумала она и пожелание: «Степун тебе на язык!» — так она отреагировала однажды на мрачные предсказания Мережковского о «холоде и мраке грядущих дней».

Адамович в те довоенные, догитлеровские годы принимал горячее участие в религиозно-философских спорах с Мережковским, доходивших иногда до курьезов. Так, на одном заседании «Зеленой лампы» Мережковский, весь исходя раздражением и вдохновением, теряя почву под ногами, задал слушателям ошеломляющий вопрос:

— Господи, с кем же вы? С Христом или с Адамовичем?

Но воспоминания опять уносят меня назад, к тому ска-

---

[1] «застольно-разговорным» (от *англ.* table — стол, talk — говорить).

[2] метко *(фр.)*.

зочному двадцать первому году. Моя жизнь там, на Почтамтской, в квартире тетки Адамовича резко отличалась от прежней. Там все было совсем иначе — другой быт, другие привычки и понятия. Как будто я переехала не из одной части Петербурга в другую, а в неведомую, фантастическую страну. Там многое поражало меня и очаровывало, а иногда и коробило. Все было совсем не так, как у меня на Бассейной, 60. Я привыкла вставать рано, делать гимнастику, обтираться даже зимой холодной водой и, одевшись, съев остаток хлебного пайка, засаживаться за очередное писание стихов.

Но здесь, на Почтамтской, по моим понятиям, вставали очень поздно — часов в девять вставал Адамович, а Георгий Иванов — тот иногда окончательно просыпался только к двенадцати.

Когда мы куда-нибудь шли вместе, а это происходило постоянно,— мне приходилось их ждать. Я одевалась быстро, они же, уже готовые к выходу, в пальто, останавливались перед зеркалами, осматривая себя, особым образом подтягивали галстук или приглаживали и без того гладкие волосы. Были они оба очень, даже чересчур изящны, по мнению Гумилева. «Не люди, а какие-то произведения искусства. Оба — и ваш Жорженька больше, чем Адамович. Ни дать ни взять этрусская ваза. Но за этрусскую вазу, как бы она вам ни нравилась, выходить замуж невозможно»,— говорил он.

На Почтамтской никто не работал, за исключением дней перед сдачей переводов во «Всемирную литературу». Тогда и Адамович и Георгий Иванов засаживались за них на целый день и нередко на целую ночь. Переводили они оба с удивительной легкостью и быстротой и очень хорошо. Георгий Иванов перевел почти всю «Орлеанскую Деву» Вольтера, а Адамович — «Чайльд Гарольда» Байрона и многое другое.

Конечно, и на Почтамтской писались стихи. И даже много стихов. Большая часть «Чистилища» Адамовича написана именно там. Но писались они незаметно, походя, как бы возникая неизвестно откуда. Мою манеру сочинять стихи они оба дружно высмеивали.

— Это ремесленная, а не поэтическая работа. Брось! Брось! Пиши только когда почувствуешь, что это тебе необходимо,— твердил Георгий Иванов.

— Не высиживайте стихов, как курица цыплят,— поддерживал его Адамович.

Мы жили очень дружно и, несмотря на отчаянные кризисы скуки Адамовича, очень весело. И он и Георгий Иванов были крайне вежливы и предупредительны не только со мной, но и друг с другом. За одиннадцать месяцев нашей общей жизни мы ни разу не поссорились. Мне они постоянно старались угодить всячески, главным образом гастрономически, принося пирожные и семгу. Тогда уже начался нэп, и кондитерские открывались на каждом шагу.

Как-то вечером Георгий Иванов уехал на сутки к сестре в Петергоф, я была одна дома и читала, Адамович просунул голову в дверь кабинета:

— Я принес вам семгу. Она на буфете в столовой. Съешьте ее всю, мне не оставляйте, пожалуйста. А я пойду к себе. Мне надо спешно кончить перевод. Простите, мне некогда.

Я обрадовалась — я была голодна — и, поблагодарив, отправилась в столовую и осмотрела буфет. Семги не было.

— Георгий Викторович,— крикнула я,— на буфете нет!

— Неужели? Верно, я по рассеянности куда-нибудь в другое место положил,— ответил он из спальни.— Простите, я очень занят! Поищите, не мешайте мне, пожалуйста!

И я принялась искать всюду, где только можно, побывала в прихожей, осмотрела подзеркальник, обшарила ящик для перчаток.

— Нет нигде! — снова крикнула я ему.

Я придвинула стул и влезла на него. Но на высоком шкафу с посудой, кроме пыли, ничего не оказалось. Дверь в спальню осталась открытой. Стоя на стуле, я заглянула в нее. Адамович не сидел за сверкающим своей золотистой поверхностью столом из карельской березы, и на нем не было ни листка бумаги, ни чернильницы, ни книг — решительно ничего. Адамович стоял спиной к двери перед большим зеркалом, в котором отражалась часть столовой и я на стуле.

— Нигде нет! — повторила я устало.

Он вышел из спальни ко мне и громко рассмеялся.

— Нет? И там нет? Неужели? Ну, и настойчивая же вы,— давясь от смеха произнес он,— я уже четверть часа любуюсь, как вы ищете и рыщете. Настоящая ищейка. Нет семги? Конечно, нет. Ведь я ее и не покупал!

Я оторопела.

— Зачем же вы? Зачем?..

— А чтобы посмеяться,— невозмутимо объяснил он.— Мне было так скучно и тоскливо. Я ведь опять «в пух и прах». Вот мне и захотелось развлечься.

Я продолжала смотреть на него во все глаза. Молча. Потом слезла со стула.

— Вы сердитесь? — спросил он удивленно.— Неужели?

Я покачала головой.

— Нет. Но я очень удивлена. Я вас не знала. Вы не такой, как мне казалось. Совсем не такой.

— А какой?..

Но я, не ответив, повернулась, прошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Через несколько минут, когда я уже успела раздеться и лечь, он постучался ко мне, но я не ответила. «Нет, конечно,— думала я, засыпая,— этого я никогда не прощу ему. Он мне больше не друг. Я не хочу жить у него. Я уговорю Жоржа. Мы уедем. Мы переедем в Дом искусств. Завтра же».

Но на следующее утро он так искренне, так истово просил

у меня прощения и так горестно каялся, что я не только простила, но даже пожалела его за очередной пух-и-прахский проигрыш. За всю нашу более чем полувековую дружбу это была единственная, так и не состоявшаяся, ссора.

Когда несколько лет тому назад, обедая с ним, я вспомнила о случае с семгой, он долго не мог вспомнить его. А вспомнив, огорчился.

— Неприятно о себе такое вспоминать, очень неприятно. Мне, когда я думаю о себе в прошлом, о себе прежнем, всегда хочется повторить: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется...» — А вот оказывается, что и в молодости не лучше, а даже еще хуже.

Я перебила его:

— Да, вы стали лучше, чем были в молодости. По-моему, это очень хорошо. И редко кому удается.

Он задумчиво посмотрел на меня:

— Странно это, и как-то даже не верится. Мне казалось, что у меня к вам тогда было столько нежности. Одна только нежность...

Да, нежности у Адамовича ко мне тогда действительно было много. Как-то я, набегавшись за целый день, прилегла на диван в ожидании вечернего чая и заснула. И вот сплю и чувствую сквозь сон, что кто-то смотрит на меня. Я с трудом открываю глаза и вижу Адамовича. Он стоит, немного наклонившись надо мной, и смотрит на меня с каким-то не свойственным ему выражением грусти.

— Вы так трогательно, так беззащитно спали,— говорит он тихо.— Простите, я вас разбудил. Но мне вдруг стало так страшно за вас, что у меня даже сердце сжалось. Вы ведь всегда ждете счастья, вы уверены, что будете счастливы. А я боюсь, что вам придется пережить много тяжелого, очень много. И мне так хотелось бы вас защитить. Вы еще не понимаете, насколько жизнь жестока, насколько люди несчастны. В особенности здесь и теперь.

Но я засмеялась:

— Нет, нет, неправда! Именно здесь и теперь я очень счастлива. А дальше будет еще лучше, гораздо, гораздо лучше, уверяю вас, вот увидите!

Он покачал головой.

— Что же, хорошо, если вы хоть сейчас счастливы. Счастливы не только наяву, а и во сне. Ведь вы улыбались во сне. Лежите, лежите!..

Он подошел к роялю, стоявшему тут же в нашем кабинете. Он любил и хорошо знал музыку, но играл очень плохо. Настолько плохо, что я иногда с трудом узнавала в его исполнении знакомые мне вещи. Он стал что-то тихо наигрывать, а я снова закрыла глаза.

— Узнаете? — вдруг тихо спросил он меня.

Я прислушалась.

— Кажется, «Мне верить хочется» — моя мать когда-то пела. Да, да, конечно, это «Мне верить хочется».

— А слова вы помните?

— Да, помню: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье не омрачит гроза житейских бурь...»

Он продолжал играть, пока в прихожей не стукнула дверь.

— Жорж вернулся! — Я вскочила, готовая бежать ему навстречу. Адамович закрыл крышку рояля и встал.

Там же, на Почтамтской, я пережила благодаря Адамовичу и свою настоящую встречу с Тютчевым. До этого времени я чувствовала к нему больше почтения, чем любви. Но однажды, когда мы, что с нами довольно редко случалось, сидели одни за вечерним чаем, никуда не собираясь и не ожидая гостей, Адамович вдруг, без всякой связи с тем, что только что говорил, откинул голову и стал медленно и как-то мечтательно читать:

Вот бреду я вдоль большой дороги...

Это стихотворение было мне неизвестно. В моем томе Тютчева, составленном его вдовой, его вовсе не было. Я слушала, не зная, чье оно, слушала, чувствуя, что стены столовой раздвигаются, исчезают и потолка над головой уже нет... Летний вечер. Сумерки. Я стою в траве и вижу, что далеко впереди по большой дороге тяжело идет кто-то «в тихом свете гаснущего дня», а над ним в прозрачном небе — облако, похожее на ангела, или ангел, похожий на облако.

«Ангел мой, ты видишь ли меня?..» — почти шепотом кончает Адамович.

Я так потрясена, что не могу даже спросить: чьи это стихи? Я молчу. Но и Георгий Иванов тоже молчит, и только дав молчанию продлиться, а стенам и потолку вновь занять свои места, говорит:

— Как ты чудно читаешь, Жорж! Это мое любимое стихотворение Тютчева. Но так, как ты, его никто не читает.

А я все еще не могу ничего сказать и только смотрю на побледневшее, вдохновенное лицо Адамовича. Это была одна из моих самых потрясающих, как мы тогда говорили, самых незабываемых встреч с поэзией.

Жизнь на Почтамтской мне казалось особенной, необыкновенной не только потому, что это были медовые месяцы моего брака с Георгием Ивановым. Она была очаровательна сама по себе, очаровательна благодаря обоим Жоржам — Георгию Иванову и Георгию Адамовичу.

Оба они очаровывали меня. Я даже не знаю, который из них сильнее. Очаровывали всем. Но больше всего своей манерой говорить. При Гумилеве у нас в Цехе полагалось «говорить с придаточными предложениями», исчерпывать тему до конца и

формулировать мысли с акмеистической точностью. Но они говорили не только без «придаточных предложений», но даже без главных предложений, одними отрывками, лоскутками фраз, собственными ими придуманными словами — как бы на собственном языке. И это восхищало меня. Мне часто казалось, что я присутствую при каких-то таинственных переговорах, что они владеют какими-то эзотерическими знаниями.

Они между собой никого почти никогда не называли по имени или фамилии. У всех были прозвища и клички — или, как мне тогда казалось, «тайные имена». Так, Ахматову они называли Амхой, Гумилева Великим Мугом или просто Мугом, и я не могла понять, почему и откуда они знают эти «тайные имена», и только уже в Париже Георгий Иванов открыл мне, что это просто наоборот читающиеся фамилии — Ахматова — А вот Амха, Гумилев — Велимуг — никакой тайны и магии. Но тогда все казалось мне полным чудес. Они казались мне воплощением поэзии. Такие легкие, легкомысленные и вместе с тем глубокие, с бездонными сердцами и умами. Особенно Адамович, с его кризисами скуки и тоски, поражавшими меня. Мне казалось, что его тоска — библейская тоска, та, что «тяжелее морского песка».

В ту зиму на Почтамтской я любила сидеть с ними на широком диване втроем в сумерках, «entre chien et loup» [1], как они изысканно называли переход дня к вечеру, и слушать их. Уже в Париже Адамович прочел мне свое стихотворение:

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись — и то не всегда.
И только. Но брезжил над нами
Какой-то особенный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

И я вдруг увидела с невероятной отчетливостью огромный кабинет в наступающих зимних сумерках, широкий диван, и на нем нас троих — посередине меня, с бантом в волосах, справа Адамовича, слева Георгия Иванова в его любимой позе с подогнутой ногой. И над нами, освещая нас, «какое-то легкое пламя, которому имени нет». Увидела глазами памяти то, что не умела разглядеть тогда, в ту мою последнюю, счастливую зиму в Петербурге.

В начале июля 1922 года Георгий Иванов, добившись с большими трудностями и хитростями «командировки для составления репертуара государственных театров на 1923 год», спешно покинул Петербург. Спешно оттого, что его командировка была

---

[1] между собакой и волком *(фр.)*.

на редкость «липовой» и в «верхах» могли понять это и отменить ее. Конечно, Георгий Иванов мог оптировать литовское подданство — он родился в Ковенской губернии, в имении своего отца. Но стать, хотя бы по паспорту, литовцем казалось ему изменой России.

К театральному делу Георгий Иванов никак не был причастен, ровно ничего в театре не понимал и не любил его. Для своего удовольствия он в театр никогда не ходил, а бывал в нем только на представлениях пьес — Кузмина, Ал. Толстого, Ауслендера и других «людей нашего круга», хотя он и был в дружеских отношениях с целым рядом актеров и балетных танцоров с Мейерхольдом и Бобишей Романовым во главе. Но это уже по линии «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов». Действительно, лучшего «театрального спеца» найти было трудно. Но Луначарский тогда еще не лишился своей власти и выдавал самые фантастические командировки.

Мои бумаги еще не были готовы — я оптировала с большими сложностями латвийское гражданство и покинула Петербург с эшелоном две недели после того, как Георгий Иванов уплыл на торговом корабле в Германию.

На эти две недели я перебралась к себе домой на Бассейную, 60. С Адамовичем я продолжала видеться ежедневно. Мы так привыкли друг к другу за этот год, что это нам казалось совершенно необходимым. Или я приходила на Почтамтскую, или он ждал меня в «Доме искусств», и мы вместе шли в Летний сад. Мы проводили вместе много времени, он провожал меня вечером до моего подъезда и, прощаясь, полунасмешливо цитировал себя:

— Еще, еще минуточку повремени, палач! — И уже серьезно продолжал: — Постоим тут еще минуту. Ведь скоро вы уедете. Еще несколько дней, и вас не будет. То есть вы, конечно, будете где-то. Но для меня вы исчезнете. Мне трудно привыкнуть к этой мысли. Очень трудно.

Я была переполнена самыми радужными надеждами и нетерпеливо ждала часа отъезда.

— Но ведь вы скоро приедете в Берлин. И все будет еще лучше, гораздо лучше, чем здесь,— убеждала я его.— Как часто мы мечтали о Париже, а теперь мы будем жить в Париже. Разве это не чудесно?

— Да,— соглашался он.— Да, конечно. Но когда еще это случится. И я совсем не уверен, что это будет чудесно. И что мы правильно поступаем. Во всяком случае, здесь теперь кончается часть нашей жизни. Навсегда, безвозвратно кончается. И это очень грустно. «Это молодость наша уходит — это наша любовь умирает, улыбаясь прекрасному миру — и не веря уже ничему»,— как правильно сказал Жорж. Он ведь, уезжая, чувствовал то же, что и я. И тоже грустил. А вот вы полны иллюзий. Дай Бог, чтобы вы не разочаровались. И чтобы мы все трое скоро вернулись домой.

Незадолго до его очередной поездки в Ниццу я спросила его, обедая с ним в ресторане на Елисейских полях:

— А помните, как вы мне однажды, когда мы гуляли в Летнем саду, рассказывали, что вы всю ночь не могли решить вопроса — согласились ли бы вы умереть, чтобы весь мир был счастлив. За счастье всех людей. Умереть безвестно, анонимно. Так, чтобы никто и не знал, отчего вы умерли. И никогда никто не узнал бы.

Он кивает.

— Помню. Отлично помню. Ведь эта мысль занимала меня очень долго. Но я так и не мог решить, способен ли я или нет. А впрочем, и сейчас не знаю. Думаю, что нет. Хотя, казалось бы, тем ничтожным количеством дней и ночей, которые мне еще осталось жить, пожертвовать не так уже трудно. Цена очень невысока. Жить-то мне осталось...

Но я перебиваю его:

— Никто не знает, сколько кому осталось жить. Вот Зайцеву уже девяносто лет, а он совсем бодр. А мы с вами и до ста с хвостиком... На меньшее я не согласна.

Он насмешливо улыбается:

— Конечно. «Знать никому не дано То, что судьбой суждено», как вы глубокомысленно заявили в вашем стихотворении о Елизавете Австрийской. К тому же ведь я вам уже говорил не раз — я вообще в свою смерть не верю. По недомыслию не верю. Не могу себе представить. Не верю, в сущности, все так же, как в девятнадцать лет на берегах Невы. Я износился главным образом снаружи, а не внутри. Зато снаружи...— Он вдруг начинает смеяться.— Я каждое утро, когда бреюсь перед зеркалом, повторяю, глядя на себя,— я ведь после сна весь в мешках и морщинах, одутловатый, с кругами под глазами и желтый: «Как вы молоды! Может ли быть, чтобы старость играла в прятки?» Действительно! Как я молод! До чего вы мне польстили в вашем стихотворении!

Но я спорю, я не соглашаюсь, и это ему явно приятно.

— А седых волос у меня, правда, и сейчас мало. Хотя волос и вообще мало, и все меньше.— Он проводит рукой по гладкой причесанной голове привычным жестом.— Я ведь стал почти лысый. Вы заметили?

Но я уверяю его:

— Нет, не заметила.— И это ему тоже приятно.

— А помните, как я вам подарил Тютчева? — спрашивает он неожиданно.

Половина наших разговоров, как всегда, полны всевозможными «а помните?».

— Ну, конечно, помню.— И я подробно восстанавливаю перед ним тот сентябрьский вечер 1921 года.

Он слушает, слегка зажмурившись.

— Да, да, так все и было. Но как будто не со мной. Как будто на другой планете. И вместе с тем — безусловно со мной

и даже совсем недавно, на днях. Ну, как мой американский полет.

О своем американском полете он рассказывает сравнительно немного.

— Вы же сами знаете, как все там. Я старался поменьше утомляться. И вот видите, благополучно вернулся. А вы боялись. Я рад, что вас не послушался. Было бы жаль, если бы я так и не увидел Америки. Все-таки это прекрасное воспоминание, на всю жизнь.

«На всю жизнь», а жить ему оставалось немного больше месяца. Ведь этот разговор происходил в нашу предпоследнюю встречу.

— А о Тютчеве я вспомнил оттого,— продолжает он деловито,— что ломаю себе голову, его ли эта строчка «Я просиял бы и погас»? Или это Анненский? Не знаете?

Нет, я не знаю. Но мне тоже кажется, скорее, Анненский.

— У меня нет Тютчева. А мне нужно для моих записок,— говорит он.

Для «Записок для себя и для вечности», как он шутливо называет их. Он не раз говорил мне, что много пишет в последнее время — «Так, взгляд и нечто» — по его определению.

— У вас, кажется, есть Тютчев. Поищите, если не лень.

Я обещаю поискать.

И я действительно поискала, но торопливо и небрежно. И не нашла. А через несколько дней все же я послала найденный томик Тютчева Адамовичу в Ниццу.

13 февраля 1972 года Адамович писал мне: «Madame cherie...» [1]. Он всегда называл меня «мадам» вот почему: когда мы все трое в 1923 году поселились в Париже, меня очень огорчало и даже сердило, что в магазинах меня неизменно называли «мадемуазель». Я постоянно жаловалась ему на это. Это смешило его — «Радоваться надо, а не огорчаться. Значит, вы очень молодо выглядите. Ну ничего, чтобы утешить вас, я буду звать вас «мадам». И так до конца он всегда с тех пор и звал меня «мадам».

«...А за Тютчева тем более «верный дружбе глубокий поклон», что я, едва раскрыв его, напал на строчку: «Я просиял бы и погас». А я был уверен, что это Анненский! И вообще спасибо за Тютчева, так как я многое забыл и перечитываю иногда, как новое (то хочется поставить 5 с тремя плюсами, то тройку. Пушкин гораздо ровнее). Ну, что еще? Ничего, в сущности, и, пожалуй, tant mieux...» [2]

«Ничего в сущности» — кроме смерти, в которую он «не верил». И хотя он вряд ли сознавался в этом самому себе,— боялся.

Перечитывая письма Адамовича, я неожиданно нашла среди них на отдельном листке «Мадригал Ирине Одоевцевой». В свое

---

[1] «Мадам дорогая...» *(фр.)*.

[2] тем лучше *(фр.)*.

время я почти не обратила на него внимания, но теперь он тронул меня настолько, что мне захотелось привести его здесь:

Ночами молодость мне помнится,
Не спится... Третий час.
И странно, в горестной бессоннице
Я думаю о Вас.

Хочу послать я розы Вам,
Все — радость. Горя нет.
Живете же в тумане розовом,
Как в 18 лет.

Г. А. Ницца, 1971

Розы он мне тогда действительно прислал из Ниццы. А вот его комментарии, сопровождавшие «Мадригал»:

«Это, конечно, не Бог весть что, но от лучших чувств. И правда, я ночью в Ницце думал о Вас, как все у Вас случилось в прошлом и настоящем. Если надо объяснять, то не надо объяснять. А тут и объяснять нечего».

И дальше в том же письме: «Если Вам правда, а не для приятного словца, нравится моя «Марина», то я рад. Мне все кажется, что только теперь, в самой старости, я мог бы писать настоящие стихи, но понимаю, что поздно и ничего не выйдет.

Ну, дорогая Madame, обнимаю Вас, шлю всякие пожелания и очень хотел бы знать, что все у Вас хорошо. Как Несчастливцев говорит Счастливцеву: «Ты, да я, кто же еще?» Это во всех смыслах.

Ваш *Г. А.*»

Как-то, уже после своего возвращения из Америки, Георгий Адамович, обедая со мной на Елисейских полях, вдруг оборвал рассказ об американских встречах и впечатлениях.

— Да, чтоб не забыть...— Он на минуту задумался, будто не решаясь продолжать.— Вот что. Если вы меня переживете — а это, по всей вероятности, так и будет,— защищайте меня от преувеличенной хвалы и хулы. И сами, пожалуйста, без дифирамбов излишних.

Как всегда, когда он говорил о своей смерти,— а ее он, хотя он и старался скрыть это, панически боялся, даже больше, пожалуй, чем Бунин,— голос его звучал глухо, и его большие чудесные глаза тускнели и суживались, а рот горько и безнадежно кривился.

— Ведь жизнь наша висит на волоске, вот-вот оборвется. А я не хочу, чтобы после моей смерти...

— Старьем торгуете! — притворно весело прервала я его. Выражение это еще с петербургских времен, как и многие словечки, вошло в наш домашний обиход.— Сколько уже раз вы меня просили la vérité, rien que la vérité [1], однако же отнюдь не всю, а с оглядкой и «тактом». Помню, знаю. И свято обещаю. Будьте благонадежны! Но помните, что и вы, если я первая преставлюсь, обещали учредить Общество памяти Ирины Одоевцевой.

И я на этот раз уже не притворно, а весело рассмеялась.

— Не скрываю, что я к посмертной славе отнюдь не равнодушна. Не то что вы. Или Жорж. Он ведь тоже уверял, что ему его посмертная слава безразлична. Но я ему не верила и вам не верю. Не бывает поэта, не интересующегося посмертной славой. Помните, Гумилев...

И вот уже разговор, переменив направление, катится по вполне безопасным рельсам, лицо Адамовича светлеет, и он с удовольствием вспоминает о жажде Гумилева, Кузмина и Сологуба посмертной славы, иллюстрируя все это забавными анекдотами. Ведь он больше всего любит интимные экскурсии в прошлое, когда он, не боясь разглашения, позволяет себе «раздавать всем сестрам по серьгам», живым и усопшим. Со мной он в этом отношении вполне спокоен. Все это оставалось между нами. Но сам себя он опасался.

— Продает меня проклятый язык! Не могу удержаться. И сколько я себе этим зла принес.

Я закрываю глаза и чувствую, что я, как дубовый листок, гонимый ветром, качусь назад, все дальше и дальше в прошлое. И вот я опять в 1926 году, в Ницце. Уже более трех лет, как мы с Георгием Ивановым обосновались на берегах Сены, в Париже, а конец зимы проводим в Ницце.

Ее обожает Георгий Иванов, я же к ней довольно равнодушна. Она для меня слишком ослепительно-красочно-лазурна. «О этот юг, о эта Ницца, как этот блеск меня тревожит» и тяготит. Но мне всегда нравится стремящаяся превращать будни в праздник вечная праздничность здешней жизни. Мне здесь не скучно, тем более, что Адамович тоже тут — он приезжает сюда почти одновременно с нами к своей тетке-миллионерше, к матери и сестре Олюше. К тому же каждый уик-энд нас навещает Жорж Батай — наш общий — особенно мой — большой друг. Он еще скромный служащий Национальной Библиотеки и еще более скромный сюрреалист, только что примкнувший к модному авангардному движению, и не подозревает еще о славе, которая увенчает его — особенно после смерти.

Дни в Ницце проносятся легко, быстро и приятно. Утром, как только мы успеем выпить кофе, к нам приходит Адамович,

---

[1] правду, ничего, кроме правды *(фр.)*.

и мы вместе отправляемся на Променад дез-англэ [1] «других посмотреть и себя показать», шагая в толпе разряженных туристов, бесцеремонно рассматривающих друг друга. Здесь действительно есть на кого и на что посмотреть. Особенно оригинальны старые английские леди,— у одной из них на левом плече восседает большой попугай, громко и хрипло выкрикивающий «Good morning, darling! Look at me!» [2]. Другая держит под мышкой маленькую обезьянку в красном колпачке.

Проходя по цветочному рынку, Адамович и Георгий Иванов покупают охапку белых гвоздик для меня, в память моего «хождения по цветам» в Петербурге. Оба они очень любят восстанавливать наше прошлое в бытовых мелочах.

Эти утренние прогулки чрезвычайно нравятся Адамовичу. Он огорчается, если я — правда, очень редко — отказываюсь сопровождать его:

— Один или вдвоем с Жоржем не пойду! — заявляет он обиженно.

Я сдаюсь, и мы отшагиваем полагающиеся два часа по Променад дез-англэ.

Но ровно в 12 он, простившись с нами, бежит домой завтракать. Опоздать к завтраку хотя бы на пять минут немыслимо. Семья Адамовича совсем особая семья,— до крайности чопорная, снобистская и церемонная. Ею правит его тетка — миллионерша, «вдовствующая королева», как мы про себя называем ее. В огромной вилле-дворце царит железная дисциплина и время рассчитано по часам и минутам.

Наше первое посещение Адамовичей — по письменному приглашению «на чашку чая» — было торжественно обставлено. Адамович очень волновался — понравлюсь ли я его тетке. Георгия Иванова она знала еще в Петербурге. Адамович долго решал, какое платье и шляпу мне надеть и о чем говорить, и о чем не говорить — избегая целый ряд «табу», неполагавшихся тем разговора. Но все, слава Богу, обошлось хорошо — тетка нашла, что я вполне comme il faut [3] и благовоспитанна, и мы с того дня стали «приглашаться» «к файф-о-клокному чаю с церемониями», как Георгий Иванов называл эти чаепития, приведшие к совершенно неожиданному результату.

Тетка Адамовича, скуповатая, ни разу не сделавшая за всю свою жизнь ни одного более или менее ценного подарка своему племяннику, вдруг решила проявить невероятнейшую, просто головокружительную щедрость — купить в Париже квартиру, обставить ее и подарить ее Адамовичу с тем, чтобы мы с Георгием Ивановым поселились у него и втроем жили в ней «как люди». «Жить как люди» — одно из ее излюбленных выражений.

---

[1] Набережная англичан.

[2] «Доброе утро, дорогая! Посмотри на меня!» *(англ.)*

[3] приличный, порядочный *(фр.)*.

Она знала, что я получаю ежемесячную пенсию от отца и вполне платежеспособна. Вот она и решила, что я буду платить Адамовичу за занимаемые нами у него две меблированные комнаты, а хозяйство мы будем вести совместно. Мы все трое с восторгом приняли этот сногсшибательный проект, чего же лучше?

— Никогда мне и во сне не снилось, что тетя Вера способна на такое геройство! — растерянно повторял Адамович.— Но до чего же это чудесно! Заживем, как в Петербурге.

Вернувшись в Париж, мы стали искать подходящую квартиру. Тут не обошлось без споров и разногласий. Я хотела, чтобы она была в Пасси или во всяком случае в шестнадцатом аррондисмане [1]. Адамовичу нравился больше Монмартр, Георгию Иванову — Монпарнас.

Через неделю беготни и поисков наконец нашлась та квартира, которая нам была нужна.

Именно та,— как по особому заказу — в новом элегантном доме с лифтом. Четыре больших комнаты с видом на внутренний садик с газоном, по которому гуляют, распустив веером хвосты, круглые белые голуби.

Мы сразу, не споря, решаем, что ее надо купить — лучшей не найти, лучшей не бывает. С этим согласен Михаил Львович Кантор, помогающий нам в поисках практическими, благоразумными советами. Он адвокат, бывший помощник М. Винавера, издателя «Звена». Он охотно занимается всеми нашими литературными и прочими делами.

— Просто редкий случай, настоящее помещение капитала. Пишите скорее вашей тете,— торопит он Адамовича.

В тот же день Адамович пишет ей, а на следующий день она высылает ему деньги. Он получает их в субботу под вечер — значит, покупку квартиры надо отложить до понедельника. Но он все-таки уже снесся с нотариусом. В понедельник они с Кантором идут к нему в половине одиннадцатого.

Чтобы отпраздновать такое радостное событие, мы обедаем в дорогом ресторане с нашим «квартирохозяином», как Георгий Иванов называет Адамовича. Очень пышно, вкусно — и до чего весело — обедаем.

Но Адамович не только весел, но и нервно взвинчен и возбужден. И это понятно — ведь в его бумажнике лежат десятки тысяч. Он все время прижимает руку к груди, к сердцу, чтобы убедиться, тут ли бумажник:

— Чувствую себя несгораемым шкапом, да и только!

За обедом мы заняты обсуждением важных вопросов — о цвете обоев, о коврах, о мебели — где ее покупать? По случаю или новую? Но конечно, у нас будет очень красиво,— у Георгия Иванова большие декораторские способности.

---

[1] городской район (*фр.* arrondissment).

После обеда мы едем на Монпарнас. Но Адамовичу не сидится в «Ротонде»: «несгораемо шкапное состояние» не дает ему покоя.

— Как вы думаете, не пойти ли мне к Кантору? Не лучше ли оставить деньги у него? А то, не ровен час, украдут в моем поганом отеле. Я по глупости похвастался хозяйке, что получил много денег на покупку квартиры. Она даже в лице переменилась от почтения. Стала меня поздравлять. И уже, наверное, всем жильцам разблаговестила об этом. А жильцы у нас народ стреляный, блатной.

Георгий Иванов кивает.

— Конечно, оставь деньги у Кантора. У него они будут в сохранности. Бери такси и поезжай к нему. И завтра пусть они лежат у него. Носить их на себе опасно.

— Ты прав. Как это я сразу не сообразил до обеда?

Он наскоро озабоченно прощается с нами.

— В такси, а не в метро поеду. До завтра,— и он исчезает.

Но назавтра от него телефонный звонок:

— Не ждите меня. Я простудился и решил не выходить. Боюсь расхвораться, а нотариус нас ждет в половине одиннадцатого в понедельник.

— Сиди дома! Только не хватает, чтобы ты расхворался. Прими аспирину. Непременно! — и Георгий Иванов вешает трубку.

— А деньги он оставил у Кантора? — спрашиваю я.

Георгий Иванов пожимает плечами.

— Наверное, оставил, не идиот же он, сам понимает, что за них его прирезать могут в его отдельной дыре.

Вечером за мной заходит Жорж Батай, и мы с ним вдвоем отправляемся смотреть Питоевых. Георгий Иванов терпеть не может театра. Он предпочитает лежать на диване с детективным романом. Он, как и Зинаида Гиппиус, читает по детективному роману в сутки.

Когда я после театра возвращаюсь домой, он встречает меня криком:

— Катастрофа! Жорж проиграл десять тысяч! — и, переведя дыхание, продолжает: — Прямо от нас вчера он помчался в клуб. И сегодня днем... Он только что был здесь, он в полном отчаянии. Я отобрал у него, что осталось. Но раз десяти тысяч не хватает, квартиру купить нельзя.

Я, сознавая, что это катастрофа, что все погибло бессмысленно, все же спрашиваю:

— Что же теперь делать? Что?

— Необходимо спасти положение! Ты одна можешь помочь. Напиши своему отцу, что тебе надо сделать операцию. Попроси у него десять тысяч. Это Жорж придумал. Ведь твой отец тебя так любит. Он пришлет деньги, и мы сможем...

Я перебиваю его.

— Нет. Мой отец мне денег не пришлет. Если я напишу, что

меня должны оперировать, он сам приедет сюда ко мне, чтобы быть уверенным, что все делается в наилучших условиях. Об этом и говорить не стоит.

Георгий Иванов растерянно смотрит на меня.

— Ты, пожалуй, права. Мне тоже казалось, что это вздор! Но Жорж думал...

Я снова перебиваю его.

— Вздор, вздор, вздор! А если просто написать правду? Может быть, она поймет и простит?..

— Чтобы она поняла, чтобы она простила? Ты смеешься, должно быть.

Нет, я совсем не смеюсь, мне совсем не смешно. Я так радовалась, столько строила радужных планов новой жизни. И теперь...

— Сделать мы ничего не можем,— говорит Георгий Иванов, снимая с меня шубку.— И придумать ничего нельзя. Надо было сразу вместе с ним отнести деньги Кантору. Но мне и в голову не пришло... Давай больше об этом не говорить. Давай ложиться спать.

Не говорить? Или говорить? Ах, не все ли равно? Я все еще стою на месте не двигаясь.

— Ка-тастро-фа. Да, это катастрофа. Не только для нас. Но и для Адамовича.

Я сплю. Мне снится что-то очень приятное, но Георгий Иванов будит меня.

— Вставай скорее! Жорж пришел. Он в отчаянии, что ты не согласна написать отцу. Он непременно хочет тебя видеть.

— Зачем? Не надо было меня будить,— сонно бормочу я.— Ведь я не могу ему помочь ничем.

— Он такой несчастный, совсем погибающий.

— Несчастный? Погибающий? — переспрашиваю я и быстро встаю с кровати, надеваю халатик и, даже не взглянув в зеркало, не пригладив волосы, выбегаю в соседнюю комнату.

Адамович стоит у окна. Вид у него действительно несчастный и потерянный. Он, наверное, не спал всю ночь — под глазами большие темные круги и веки опухли.

— Правда, мадам, вы не хотите написать отцу? Неужели вы не хотите мне помочь?

— Не не хочу, а не могу. Из этого, кроме скандала, ничего не получилось бы. Верьте мне, я все готова для вас сделать, но просить у отца деньги на вымышленную операцию не могу.

Мне его так жаль, что я на самом деле готова для него «все» сделать. Но это «все» равно ничего не значит — я ничем, решительно ничем не могу ему помочь.

— А я так надеялся на вас! — Он вздыхает.

Я молчу, и Георгий Иванов тоже молчит. Да что уж тут и скажешь?

— Все? — спрашивает вдруг Адамович изменившимся, срывающимся голосом.— Все согласны для меня сделать? Тогда, может быть, я еще и выкарабкаюсь. Если вы согласны отыграть эти деньги.

Я не понимаю.

— Отыграть?

— Да, да! Отыграть — в рулетку отыграть.— Он умоляюще смотрит на меня.— Это единственный выход. Другого нет. Мы поедем в Монте-Карло, и вы отыграете десять тысяч в казино.

Я просто не верю своим ушам.

— Вы серьезно? Это какая-то фантастика.

— Ничуть не фантастика. Когда вы с отцом ездили в Монте-Карло, вы ведь отыгрывали все, что он терял. Разве не правда?

Я киваю.

— Да, но мы играли для развлечения, на пустяки. Ни разу больше, чем на двести франков. А на такую большую сумму...

Но Адамович настаивает.

— Важно не то, много или мало вы выигрывали, а то, что вам везет, постоянно везет. Вы ведь сами рассказывали, что еще до революции у себя дома и у своего дяди, когда взрослые играли в макао, «примазывались» и всегда выигрывали.

Я пожимаю плечами.

— Об этом и вспоминать смешно. Это была детская забава. Отец и дядя давали мне золотой, и я ходила вокруг карточного стола, примазывалась и выигрывала несколько рублей. Мне тогда казалось, что это очень много. Но серьезно, на большие деньги... Нет, я не могу.

Но Адамович так загорелся фантастическим планом поездки в Монте-Карло, что не принимает моих, казалось бы, разумных доводов и все продолжает настаивать. Я не сдаюсь, и это начинает его раздражать.

— Так вы только пустяки выигрывали для забавы? — вдруг неожиданно резко спрашивает он. И, сделав паузу, почти со злобой: — А когда отыграли казенные деньги, проигранные какому-то советскому служащему, это тоже были пустяки?..

Я так поражена, так ошеломлена, что могу только выговорить:

— Откуда вы знаете? Откуда?..

Ведь я в тот день дала честное слово, что «никому никогда», ведь это могло кончиться трагически — расстрелом, если бы кто-нибудь донес. Расстреливали тогда за меньшее, и только уже покинув Россию, как-то ночью я, молодая влюбленная жена, не удержалась и все рассказала Георгию Иванову, чтобы у меня от него не было никакой тайны — рассказала под величайшим секретом, и вот, оказывается, он меня по легкомыслию и болтливости выдал.

Я оборачиваюсь к нему:

— Так, значит, ты, Жорж?..

Георгий Иванов смущен.

— Конечно, я. Но в этом ничего плохого не было. Даже напротив.

— Но ведь я дала честное слово.

Он поднимает брови.

— Ну, знаешь, слова в те дни не очень-то держались.

Да, «не очень-то держались». Но я действительно за все эти годы не только никому кроме Георгия Иванова не рассказала этого, но и сама никогда не вспоминала. Настолько, что почти забыла. И теперь все эти воспоминания, вдруг ожив, как волны захлестывают меня, я тону в них, и вот я уже не в Париже, а в Петербурге, и снова переживаю то, что случилось тогда со мной.

...Зима 1920 года. Тревожные кронштадтские дни. Что-то будет? Господи, что-то будет? Я иду по Бассейной, непривычно пустой и тихой. Страшно? Конечно, страшно.

Вот и Дом литераторов. Я вбегаю в прихожую. Дом литераторов переполнен и скорее похож на какой-нибудь митинг, чем на чинное собрание поэтов, кавалерственных дам и сановных старичков. Ко всем новопришедшим бросаются со всех сторон с вопросами:

— Ну, что? Что нового?.. Что?..

Один Кузмин, как всегда, спокоен. Волноваться, по его глубокому убеждению, глупо — ведь для него в жизни все «милый вздор».

Покрутившись немного по Дому литераторов и наслушавшись всевозможных вернейших прогнозов, я решаю вернуться домой.

Георгий Иванов идет меня провожать. Мы шагаем по оснеженной, тихой, безлюдной улице. Над белыми покрытыми снегом крышами огромный, зловещий, красный закат.

— Я с радостью отдал бы все свои стихи,— взволнованно говорит Георгий Иванов,— только бы они победили.

Это меня удивляет. Мне кажется, что для поэта его стихи важнее всего на свете — легче умереть, чем лишиться своих стихов.

До моего дома совсем близко, и мы уже прощаемся.

— Позавидуйте мне,— хвастаюсь я,— сейчас я буду есть страшно вкусные вещи — курицу, ветчину, колбасу, даже икру, а я вот уже почти год ни кусочка мяса не ела,— и я рассказываю ему о том, что друг моего двоюродного брата, Дима, приехавший в командировку из Москвы, привез нам все это великолепие, и они оба, наверное, уже приготовили лукуллов пир и ждут меня.

Георгий Иванов, как всегда, старается продлить прощание.

Роскошь ждущего меня обеда не производит на него впечатления — он, благодаря переводам для «Всемирной литературы», живет и питается вполне прилично.

Но я тороплюсь. Я протягиваю ему руку.

— До свидания. Спасибо, что проводили меня. «В воздухе веет катастрофой», как говорит Лозинский. Мне одной было бы неуютно возвращаться. До свидания, до скорого! Впрочем, «кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит». Особенно теперь, «когда в воздухе веет катастрофой».

И я, рассмеявшись и кивнув ему на прощанье, вбегаю в свой подъезд и поднимаюсь по скользкой обледенелой лестнице — воду приходится носить со двора, и ее постоянно проливают.

Я стучу в дверь. Обыкновенно стучать приходится долго — квартира очень большая. Но тут дверь мгновенно открывается. Перед дверью стоит мой двоюродный брат.

— Наконец-то! Мы тебя давно ждем. Входи скорее.

Я недоумеваю.

— Но ведь я пришла раньше, чем было условлено. Обед готов?

— Какой там обед! С Димой случилось несчастье!

Я вдруг вижу, хотя в прихожей и полутемно, что у него совершенно бледное перекошенное лицо.

— Несчастье? — как эхо повторяю я.— С Димой? Арестован, заболел, под трамвай попал?

Володя машет на меня рукой.

— Хуже! Проиграл казенные деньги,— он называет астрономическую цифру и торопливо и сбивчиво рассказывает, что Дима вчера ужинал со своими московскими приятелями. Хорошо выпили, а Дима пить не привык, и когда они после ужина пошли в знакомый домашний картежный клуб, он увязался за ними. И тут он, хотя у него собственных денег было мало, проиграл их и, уже ничего не соображая, стал отыгрываться на казенные деньги, доверенные ему для закупок, и тоже проиграл их. А теперь ему грозит расстрел.

— Расстрел? — снова повторяю я, недоумевая, не соображая, как все это могло случиться с Димой, таким разумным, уравновешенным, с «железным характером», к тому же только три месяца тому назад женившемся на Леле, прелестной шестнадцатилетней большеглазой девочке, совершенно беспомощной, всецело от него зависящей.

— Как он мог? Ведь его действительно расстреляют за растрату.

— Он был пьян! Он ничего не соображал. Его, конечно, расстреляют. И Леля тоже погибнет вместе с ним.

Он берет меня за плечи и, наклонившись надо мной:

— Его надо спасти. Мы с тобой должны его спасти!

— Что же мы можем сделать? Ведь у нас нет денег!

Но он пристально заглядывает мне в глаза:

— Надо постараться отыграть деньги.— И у самого моего уха: — Ты должна постараться отыграть их!

Я так поражена, что резко отталкиваю его.

— Ты с ума сошел! Чтобы я...

Но он, не слушая меня, продолжает:

— Мы с Димой решили. Тебе всегда везет. Ты отыграешь. А если проиграешь — результат прежний. Но все-таки это шанс спасения. Ты должна согласиться и пойти туда!

— Чтобы я пошла в карточный клуб? Но ведь это страшно опасно: игроков, если красноармейский налет, арестовывают, сажают, ссылают. А сейчас, в связи с Кронштадтом...

— У них милиция подкуплена. Никакой опасности.

— Нет,— решительно говорю я,— нет! Я никуда не пойду. Это безумие. Я играть не умею. Пусть он сам отыгрывается, а я наотрез отказываюсь. Сумасшествие какое-то!

Мы все еще стоим в прихожей. Дверь залы вдруг отворяется, и Дима, пробежав несколько шагов, бросается передо мной на колени.

— Спасите меня, спасите!

Слезы текут по его молодому мужественному лицу, придавая ему не то младенческое, не то старушечье выражение.

— Спасите меня, спасите! Спасите Лелю, ведь она тоже погибнет. Это единственный шанс, пусть ничтожный, но все-таки шанс! Леля в положении! — всхлипывает он, как будто этот довод должен меня убедить.

Мне отвратительно, мне страшно, я закрываю глаза, чтобы не видеть его.

А они вдвоем наперебой уговаривают меня всеми возможными и невозможными способами.

— Если ты не пойдешь и Диму расстреляют,— почти кричит Володя,— у тебя всю жизнь будут угрызения совести. Ты всю жизнь будешь мучиться!

Дима, должно быть, истощив все доводы, только громко всхлипывает и целует мои бархатные, покрытые снегом сапожки.

Я совершенно потеряна. Я больше ни минуты не могу выдержать этого безумия.

— Хорошо,— говорю я, сама удивляясь тому, что я говорю.— Я согласна. Я пойду. Но только перестаньте. Перестаньте! Прекратите сейчас же!

Дима вскакивает.

— Вы ангел, вы ангел. Вы мое спасенье! Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Володя присоединяется к нему, и вот они в два голоса благодарят меня.

Но это как-то не доходит до меня. Все вдруг потеряло реальность, как только я произнесла — «я согласна», все мне стало безразлично, как будто все это происходит не со мной и меня не касается.

Я все еще стою в прихожей у входной двери, словно я только что вернулась из Дома литераторов. Но я уже совсем не та, которая так весело вбежала сюда. Я другая. Вернее, я — никто.

— Надо спешить,— торопит Володя деловым тоном,— ведь

«хождение» разрешается только до шести, а теперь уже пять. Это очень далеко — на Васильевском острове, 12 линия. Идем, идем скорее!

Я вижу, как они торопливо надевают пальто и шапки, закутывают шеи шарфами. Я жду. Мне одеваться не надо — ведь я даже не успела сбросить с себя шубки.

Мы спускаемся по лестнице. Они беспрерывно говорят что-то, но я не слушаю, вернее, даже не слышу. Они с двух сторон поддерживают меня под руки. Я не протестую, хотя мне, наверное, было бы легче идти одной. Нет, не знаю — легче или труднее, я как-то не чувствую, что иду и даже, вероятно, очень быстро иду — ведь мы уже на Невском. Мы идем не по тротуару, а по середине проспекта.

Туман. Особенный, петербургский туман. В полутьме слабо белеют сугробы и снег под ногами. Мимо нас сквозь туман проскальзывают редкие прохожие, похожие на тени.

В памяти всплывают строки:

И совсем не в мире мы, а где-то
На задворках мира средь теней.

Да, средь теней, и я тоже тень.

В тишине глухо доносятся орудийные выстрелы. Это там, в другом мире, стреляют почему-то...

И вот наконец Васильевский остров. Мы продолжаем шагать. Я совершенно не знаю Васильевского острова.

— Пришли. Слава Богу,— говорит Дима.— Слава Богу, не опоздали!

— Перестань Бога славить,— обрывает его Володя.— Еще сглазишь.— И мне: — Ну, ни пуха тебе ни пера!

Пришли?.. Значит, сейчас...

На мгновение мне становится страшно, мне хочется бежать, спрятаться.

Но я уже вхожу с Димой в темный дом. Не поднимаясь по лестнице, он стучит в какую-то узкую дверь явно условным стуком. За дверью хриплый голос:

— Пароль?

— Золотой зонтик! — отчеканивает Дима. И дверь открывается.

Мы входим в большую накуренную комнату. С потолка спускается керосиновая яркая лампа. Под ней за зеленым столом сидят пять человек спекулянтского типа. На столе лежат нераспечатанные колоды карт. При нашем появлении все поворачивают головы и с любопытством уставляются на нас.

Дима сбивчиво объясняет, что он привел заместительницу, которая будет играть вместо него. И он широким жестом указывает на меня:

— Будьте знакомы!

Один из игроков, с длинными усами, похожий на моржа,

встает и, подойдя к нам, с изумлением осматривает меня сверху донизу и, подняв руку, тыча мне указательным пальцем почти в грудь, недоумевающе спрашивает Диму:

— Это будет играть?

«Это» — в среднем роде.

Дима кивает.

— Да, да. Вместо меня.

Похожий на моржа игрок пожимает плечами и снисходительно:

— Что ж? Попробуем...

И он придвигает для меня стул к столу.

Я сбрасываю шубку на груду мужских шуб, лежащих на сундуке, и, не снимая меховой шапочки, сажусь за стол.

Длинноусый игрок берет колоду карт.

— Начнем! — торжественно объявляет он.— Больше ждать некого. Мало кто рискует выйти из дома сегодня.

И мы начинаем играть.

Дима кладет передо мною пачку денег — ему удалось занять их у своих приятелей. Я даже не пересчитываю их.

Я играю совершенно механически с тем же чувством отсутствия себя и нереальности всего, что сейчас происходит. Играю с переменным успехом, но все же скорее с успехом. Пачка денег слегка увеличилась.

Дима стоит за моим стулом.

— Ставьте крупней,— шепчет он по-французски,— ставьте крупней! Крупней!

Я оборачиваюсь к нему:

— Не смейте говорить по-французски. Не мешайте мне. Сядьте там в угол и молчите!

Я сама удивляюсь своему властному, повелительному тону, но он молча повинуется и садится в дальний угол. А я продолжаю так же играть.

Время идет незаметно. На больших часах на противоположной стене без четверти четыре утра, значит, я сижу здесь уже столько часов! Но усталости я не чувствую и — хотя это, казалось бы, невозможно — ни о чем не думаю, равнодушно глядя на медленно утолщающуюся пачку денег передо мной.

Если так будет продолжаться, я к утру отыграю лишь ничтожную часть нужной астрономической суммы. Но это меня как-то не касается, не доходит до моего сознания.

И вдруг я вздрагиваю, будто по мне прошел электрический ток. Все сразу меняется и вокруг меня и во мне. Меня охватывает необычайное волнение, на меня налетает вихрь с ума сводящего вдохновения и восторга — вот-вот захлебнусь в нем и умру тут, за этим столом.

Это длится не больше минуты, и все опять приходит в порядок, но ощущение восторга и вдохновения все еще продолжается, как будто над моим ухом трубит победная труба. Да, победа! Победа! Мне сразу становится ясно, что это победа, что

поражения быть не может, что все, что я сейчас делаю, непременно должно удасться. Все, даже самое невероятное.

Мне сейчас все доступно. Я все могу. Волнение сменяется блаженным покоем и уверенностью. Я уже совсем по-новому начинаю играть — не механически, а сознательно, с чувством редкого удовольствия.

Я удваиваю, утраиваю ставки, я то и дело говорю: «Ва-банк!» — и не удивляюсь нисколько, что передо мной теперь целая гора денег.

Ведь я знаю, что не могу проиграть. Я играю так довольно долго. Часы на стене показывают пять.

Я смутно соображаю, что я, наверно, отыграла уже весь Димин проигрыш и начинаю, шурша деньгами, подсчитывать их, в чем мне любезно помогает игрок, сидящий рядом со мной.

Оказывается, я действительно отыграла все, даже немного больше суммы, казавшейся мне астрономической.

Теперь бы я могла прекратить игру. Но я знаю — это у игроков считается неприличным.

И к тому же еще половина шестого, а «хождение по улицам» разрешено с шести. Значит, надо продолжать. И я продолжаю. Но теперь с желанием проиграть излишек. Мне жаль этих игроков — может быть, это не те, что вчера обыграли Диму. А я их обобрала.

Но проиграть мне ничего не удается, хотя я нарочно играю совершенно безрассудно.

Игрок напротив меня вдруг обращается ко всем остальным:

— Я проиграл все наличные деньги. Согласны вы играть на эквиваленты?

Его сосед с большим бриллиантом на пальце качает головой.

— Ну нет! Помилуйте. Кто их знает, почем эти ленты, и есть ли на них спрос. На ленты я не играю.

— А каковы ваши эквиваленты? — спрашивает другой игрок.

Владелец эквивалентов вынимает из портфеля длинную золотую цепочку и серебряную сумочку.

Я киваю.

— Я согласна.

Мне очень хочется проиграть — но к моей горе денег прибавляется и золотая цепочка и серебряная сумочка.

А часы показывают шесть.

И можно расходиться.

Все шумно встают.

Дима в совершенном пароксизме счастья, выкрикивая что-то, кидается ко мне.

— Не устраивайте истерики! Молчите и забирайте деньги. Сумочка и цепочка подарок Леле, — говорю я и с трудом поднимаюсь со стула. Длинноусый игрок галантно подает мне мою шубку.

— Если вам захочется когда-нибудь поиграть — милости просим! Вы, видно, честный игрок,— он улыбается, растянув узкие губы, и еще сильнее становится похожим на моржа.

— Спасибо. Значит, «это» оказалось порядочным игроком? — спрашиваю я его, тоже улыбаясь.

Он смущается:

— Простите ради Бога! Меня поразил ваш молодой вид.

Я протягиваю ему руку:

— Я нисколько не обиделась. До свидания. И еще раз спасибо.

Дима все никак не может уложить деньги в свой портфель дрожащими руками.

Двое игроков помогают ему укладывать их. Они, по-видимому, совсем не огорчены своим проигрышем и весело шутят.

Я прощаюсь со всеми ними за руку. Дима, прижимая обеими руками туго набитый портфель к груди, продолжая сиять от счастья, открывает входную дверь.

И я, еще раз кивнув всем на прощание, выхожу вместе с ним...

Да, все это было так, совсем так. Я, стоя с Адамовичем и Георгием Ивановым в Париже, у себя дома на сквере Ренуара, 4, неожиданно не только вспомнила невероятно ясно, но и пережила это снова, как будто все это случилось сегодня ночью. И сейчас, вынырнув из глубины воспоминаний, еще не совсем придя в себя, моргаю как спросонок.

Но, должно быть, мое путешествие в страну прошлого длилось лишь несколько мгновений, раз они оба ничего не заметили и продолжают все так же уговаривать меня, как будто наш разговор и не прерывался.

— Ты должна непременно согласиться,— настаивает Георгий Иванов.— Непременно! Не упрямься!

Но я решительно качаю головой.

— Нет, ни за что. Тогда это было чудо. Единственное чудо за всю мою жизнь. И оно, конечно, никогда не повторится.

Он нетерпеливо перебивает меня.

— Почему не повторится? И чудеса могут повторяться. Всякое бывает.— И уже насмешливо прищурясь: — А вдруг ты окажешься чудотворицей?

Но я, отмахнувшись от него рукой, продолжаю:

— Нет, вторичного чуда не будет — это глупая затея. Я не поеду в Монте-Карло. Я тогда согласилась только потому, что положение было действительно трагическим, дело шло о расстреле. А тут ваша тетя Вера, конечно, рассвирепеет и будет вас распекать, бранить и пилить. Но ведь это все буря в стакане воды — в конце концов, она вас простит, и все войдет в свою колею.

— А мама? — вскрикивает Адамович.— Если бы одна тетя Вера, я бы все перенес. Но мама! Ведь это для нее будет позор и горе. Это почти убьет ее!

Мама, как Адамович по-детски называет свою мать, милая Елизавета Семеновна совсем не похожа на свою властную сестру, вдову английского миллионера господина Белэй, как Адамович почтительно величает его. Назвать его дядей Белэй ему и в голову не могло прийти.

Да, для бедной Елизаветы Семеновны то, что ее сын, ее Жоржик, мог проиграть данные ему на покупку квартиры деньги, будет страшным ударом. Ведь она гордится и восхищается им. Лучше его, добрее, умнее и талантливее никого на свете нет. А какой он любящий, замечательный сын!

О его пагубной страсти к игре, как это ни странно, у нее и понятия не было. В семье Адамовича члены ее все скрывали друг от друга и, главное, от матери — чтобы не огорчать ее, из любви к ней.

— Подумали вы о маме? Каково ей будет житься после того, как все обнаружится? Тетя Вера будет ее поедом есть из-за меня.

Я не спорю.

— Наверное, не очень сладко.

— Так вы хоть для нее. Пожалейте ее! — уже с отчаянием просит он, и все лицо его вдруг собирается в мелкие морщинки, будто он сейчас заплачет.

— Не понимаю,— говорит Георгий Иванов,— как ты можешь так долго упрямиться? Что тебе стоит? Проедешься в Монте-Карло. Проиграешься — не твоя вина. Соглашайся! Едем!

Я вдруг неожиданно сдаюсь.

— Хотя я и уверена, что не отыграю, но хорошо — едем!

И тут сразу меняется картина. Адамович, такой сдержанный всегда, чуть что не прыгает на месте от радости, бормоча что-то непонятное.

Георгий Иванов обнимает меня.

— Едем. Отыграешь или нет — там видно будет. Главное едем! Откладывать незачем — едем сегодня же вечером с восьмичасовым поездом.

Адамович тоже находит, что ехать надо сегодня же.

— В первом классе! — гордо заявляет он.— Туда и обратно.

— Зачем в первом? И во втором так же доедем,— протестую я.

Но он настаивает:

— Нет, непременно в первом!

Георгий Иванов уже достает чемодан.

— Давай скорей укладываться!

Адамович открывает шкап с моими платьями.

— Что вы возьмете с собой? Пожалуйста, поэлегантней!

Как будто мы едем не на неизбежный провал, а на праздник. Но я и тут не спорю.

— Отбирайте сами, что хотите. Мне безразлично.

Адамович вынимает из шкапа мой белый костюм и несколько нарядных платьев, будто я в Монте-Карло только и делать буду, что гулять и переодеваться.

— А туфли какие, а шляпу? — спрашивает Георгий Иванов.

— Туфли белые и шляпу и сумочку тоже белые и светлые чулки,— командую я. Он аккуратно укладывает все это в чемодан, а я иду одеваться.

Весь день проходит в суматохе и подготовке к поездке. Я хочу не думать о ней, но это мне не удается. Хотя я и уверена, что из нее ничего не выйдет, я стараюсь заставить себя надеяться — а вдруг все-таки и удастся. Как бы это было хорошо. Я буду жить в доме, который мне так нравится, с деревьями перед окнами и белыми голубями, распускающими веером хвосты. Таких голубей я видела лишь на картинках, кажется, они называются турманы. И до чего мне хочется, чтобы мы жили именно в этом доме с Адамовичем! И как чудесно, если это осуществится!

И вот мы наконец в поезде. В купе 1-го класса. Мне никак не удалось уговорить Адамовича не тратить зря денег — ведь они нужны на игру.

Пообедать мы не успели, но Адамович накупил всякой съедобной всячины — и ветчины, и закусок, и пирожных, и минеральной воды, и вина, и даже бумажные салфетки. Они оба веселы. Их веселье мало-помалу передается и мне. Раз они оба так уверены в удачном результате — может быть, они и окажутся правыми. И как бы это было великолепно!

Жорж захватил с собой мой зеленый пушистый плед и мою круглую замшевую подушку. Оба они гораздо хозяйственнее меня. Я ложусь и спокойно сплю до самого утра.

Но к утру все мои иллюзии и надежды рассеялись. Я просыпаюсь в самом скверном настроении — меня за ночь укачало.

Они оба по-прежнему веселы и довольны и твердо верят в удачу. Пусть себе. Я не хочу их разочаровывать.

Зачем только я согласилась на эту глупую авантюру? Зачем?

Поезд идет возмутительно медленно. Нет, меня не восхищает ни лазурное небо, ни сияющее море, ни красные скалы Сен-Рафаэля,— я повторяю про себя:

Много раз я это видел
И потом возненавидел...

Я действительно смотрю почти с ненавистью и отвращением на всю эту красоту.

И вот наконец Монте-Карло. Слава Богу! Впрочем, славить Бога незачем. Ведь я уверена, что ничего, кроме неприятностей, меня здесь не ждет. Но я все-таки, выйдя из поезда, вздыхаю с облегчением.

Меня устраивают с чемоданами в кафе, а они оба отправляются разыскивать отель. Я, такая нетерпеливая от природы, готова к долгому ожиданию, так мне все безразлично. Но они уже возвращаются. Они нашли отель в двух шагах от казино.

— Отличный отель,— хвастливо заявляет Адамович.— И комната ваша отличная!

Как будто это важно.

Отель действительно хороший. И, наверное, дорогой. Напрасно Адамович зря тратит столько денег — ведь они нужны для рулетки. Но я не упрекаю его.

— Хорошо бы, мадам, поскорее переодеться и успеть побывать в казино до обеда — попытать счастье. Как по-вашему? — спрашивает Адамович.

Но тут Георгий Иванов благоразумно протестует:

— Ну нет! Ей надо отдохнуть. Она еле на ногах стоит. После обеда пойдем. Успеем.

Я киваю. Да, мне необходимо отдохнуть. Торопиться незачем. Успеем, успеем. Лучше бы мне вовсе не входить в казино. Но раз я обещала...

Восемь часов. Я уже успела отдохнуть, принять ванну и переодеться в белый костюм.

Надо идти обедать, но Адамович где-то пропадает, и мы его нетерпеливо ждем.

— А может быть, он просто лег и спит?

Георгий Иванов стучит в дверь его комнаты, смежной с нашей. Ответа нет. Георгий Иванов возмущен.

— Он так торопился начать поскорее играть, а теперь запропастился куда-то, и я голоден. Давно пора обедать.

Но тут возвращается Адамович с букетом белых гвоздик.

— Это я для вас, мадам.

— Очень надо было,— ворчит Георгий Иванов.— Положи их в умывальник и поскорее идем обедать, а потом в казино.

Адамович ставит цветы в вазу.

— Я уже побывал в казино. Посмотрел, как играют, как вертится рулетка.

— Но, надеюсь, не играли? — спрашиваю я.

— Нет. Только умственно. Задумываю номер и, представьте себе, часто правильно.

— Так и продолжайте умственно играть. Вреда от этого не будет,— говорю я.— Но ради Бога, не на деньги.

Мы обедаем в каком-то маленьком ресторане, выбранном мной за недорогие цены, и, как полагается, едим спагетти, очень торопливо, не проявляя гастрономического интереса. Нам не до того. Мы спешим в казино.

В казино, как всегда, начинается с формальностей. Меня, к моему удивлению, опять спрашивают, как спрашивали уже два года тому назад, когда мы были здесь с отцом, совершеннолетняя ли я. На что я не без гордости отвечаю, что я уже пять лет замужем. И вот мы входим в святая святых — в игорные залы.

Здесь все, как два года тому назад, и как тогда меня сразу охватывает и как бы всю пронизывает насквозь атмосфера азарта. Я ощущаю ее почти болезненно. Она действует на мои нервы и раздражает меня. Должно быть, я антиазартна или, напротив, очень азартна. Я не отдаю себе в этом отчета. Но во всяком случае, мне всегда неприятно и тяжело в казино.

Мы обходим игорные залы. Я выбираю стол. Я всегда стараюсь сесть рядом с крупье во избежание возможных недоразумений с игроками, желающими забрать чужой выигрыш, шумно настаивающими, что это их ставка. Своими жертвами они, по большей части, выбирают одиноких, молодых женщин, уступающих им из страха скандала.

Играющих в этот поздний час немного, и мне удается занять место рядом с крупье. Я взяла с собой три тысячи, но для начала наменииваю лишь одну на пятифранковые жетоны. И ссыпаю большинство их в свою сумочку.

Георгий Иванов и Адамович оба стоят за моей спиной. Я оборачиваюсь к ним:

— Уходите, вы мне мешаете.

Но они и не думают уходить, и я, решив не обращать на них внимания, начинаю играть.

У меня нет никакой системы, я играю просто по интуиции. Играю очень осторожно и мелко, пока не наиграю заранее решенную сумму, которую прячу в сумку.

При такой манере играть большие проигрыши невозможны, даже в случае невезения, а при малейшем везении неизменно, пусть мелко, но выигрываешь.

Недаром в Монте-Карло на мелкие выигрыши живет стая старичков и старушек, каждый день отбывающих «трудовую повинность» в казино в продолжение двух-трех часов.

Правда, все они что-то записывают и высчитывают, но дело не в их расчетах и «системах», а в осторожности, в выдержке, с которой они играют.

Первые мои три ставки удачны, и я, ободренная ими, начинаю чувствовать себя более уверенной.

— Ставьте крупнее. Чего вы скаредничаете? Ведь вам везет,— шепчет Адамович мне в ухо.— Ставьте крупнее!

Но этого я никак не могу перенести.

— Если вы сейчас же не уйдете, я перестану играть. И ты, Жорж, тоже убирайся. Вы мне оба мешаете!

И они оба исчезают, а я продолжаю все так же «скаредно» и расчетливо играть.

Результат скорее благоприятный. За два часа я выиграла тысячу двести франков. Но до чего же я извелась и устала! Пора кончать, и я меняю свои жетоны.

Они вдруг оба снова появляются за моей спиной. На этот раз я оборачиваюсь к ним, улыбаясь.

— Ну как? — спрашивают они в один голос.

— Не очень блестяще, но ничего. Лучше, чем я думала,— тысяча двести франков! Может быть, мы и ненапрасно приехали. Но легче камни дробить на улице, чем так играть.

Я жду, что они оба очень обрадуются. Но Адамович хмурится, а Георгий Иванов зевает.

— Мне чертовски надоело слоняться от одного стола к другому и смотреть на эти алчные морды и дрожащие руки. Отвратительное зрелище,— он отодвигает мой стул и помогает мне встать.

Я оставляю несколько патифранковых жетонов на столе, как полагается. Крупье благодарит, бросает их в кружку и любезно прощается со мной:

— A bientôt, j'espére [1].

Я киваю:

— A demain [2].

Ведь «завтра снова день безумный и веселый». Нет, совсем не веселый, а чрезвычайно тягостный. С этого первого вечера началось мое «монтекарловское хождение по мукам», как я впоследствии называла мое сидение с самого утра до позднего вечера в казино — с короткими перерывами на завтрак и обед, во время которых я не успеваю отдохнуть и хоть на минуту не думать и не говорить о рулетке.

К моему удивлению, то, что мне в первый же день удалось — правда, с таким трудом — выиграть пять тысяч, не вызывает энтузиазма ни в Адамовиче, ни в Георгии Иванове, больше вообще не появляющемся в казино, а предпочитающем лежать в нашей отдельной комнате с романом Агаты Кристи. Адамович все продолжает хмуриться и упрекать меня за то, что я слишком «скаредно» играю.

— Вы могли бы в первый же вечер все отыграть, если бы ставили крупно!

— Да, но могла бы и все проиграть! Перестаньте меня учить. Я рисковать не намерена.

Георгий Иванов неожиданно заявляет:

— Мне кажется, ты была права. Нам ехать в Монте-Карло не стоило. Все это глупая затея.

Я просто не верю своим ушам.

— Не стоило? Ты шутишь, Жорж?

Но на него набрасывается Адамович.

— Что ты за чушь несешь? Молчи!

---

[1] До скорого (свидания), надеюсь (*фр.*).
[2] До завтра (*фр.*).

Георгий Иванов пожимает плечами.

— Не бесись, Жорж! Молчу. Но мне больно видеть, как Ира изводится за этой проклятой рулеткой. Ведь у нее слабое здоровье. Ей такой сизифов труд не по силам.

Разговор этот происходит по дороге в отель — всего несколько шагов, и мы уже входим в холл.

Я даже не спрашиваю, почему «сизифов труд»,— ведь мой труд приносит ощутимые результаты. Я так устала, мне так хочется спать, что не до расспросов. Лечь, скорее лечь...

Еще один день, проведенный в казино. Огромный, тяжелый, переполненный волнением и страхом. Каждая минута как час. Время тяжелым грузом ложится мне на плечи. Господи, до чего я устала!..

Я играю осторожно, мелко, тружусь как муравей — я почти ничего не выигрываю. Я стараюсь победить неудачу, перехожу к другому столу, прерываю игру. Но нет, неудача не покидает меня до самого вечера.

Мне почему-то стыдно признаться обоим Жоржам, что я за весь день выиграла — с каким трудом — лишь триста франков. Но я, правда, не виновата.

Адамович хмурится.

— Нет, виноваты. Вы пропустили шанс, когда вам везло. И вчера, и позавчера.

Георгий Иванов насмешливо пожимает плечами.

— Так, так, правильно. Нашел-таки козлика отпущения, виноватого во всем.

Он предлагает мне отправиться завтра в Грасс к Буниным, прекратить на время толочь воду в ступе. Ведь явно ничего из этого не получится. Но я о том, чтобы ехать в Грасс, и слышать не хочу, и Адамович поддерживает меня.

— Никаких поездок — вы правы. Сегодня вам не везло, завтра повезет.

Я киваю.

— Конечно, может повезти.

И действительно, на следующее утро, как только я заняла свое — все то же — место возле крупье, мне с первой ставки начинает везти, я играю все так же «скаредно» и осторожно, тружусь как муравей, боясь рисковать — так вернее. Но я чувствую присутствие «крылатой удачи». Меня охватывает радостное волнение. Победа! Победа! Холмик жетонов передо мной, хотя и медленно, но явно увеличивается.

И тут неожиданно за моей спиной, в неурочный час — ведь еще рано идти завтракать — появляется Адамович. Я улыбаюсь, указывая ему на груду жетонов.

— Видите, вы были правы. Мне везет сегодня.

Он протягивает руку.

— Мадам, дайте мне!..

Я просто своим ушам не верю.

— Но вы же обещали не играть. Вы...

Он прерывает меня.

— Мадам, дайте мне!

Это уже не просьба — это требование. Меня оно возмущает.

— Вы с ума сошли! Ни одного жетона не дам. Уходите! Не мешайте мне!

Он сразу весь меняется. Таким я его никогда не видела. Лицо его становится злым и жестоким, голос визгливым.

— Не дадите? Мне не дадите? Вот как? А чьи это деньги? Ваши или мои?

Я, оторопев, смотрю на него.

— Георгий Викторович, вы шутите?

— Нисколько не шучу! — еще визгливее вскрикивает он.— Чьи это деньги — ваши или мои?

— Ваши! Ваши! Берите!

Я вскакиваю со стула и вытряхиваю из своей сумки жетоны и бумажные деньги. Они разлетаются во все стороны.

— Вот — берите! Берите все!

Он трясущимися руками подбирает жетоны и деньги и, не обращая на меня внимания, начинает пригоршнями разбрасывать их по плато.

Убегая, я еще успеваю увидеть, как крупье своей лопаточкой сгребает все его ставки.

Меня трясет от оскорбления и отчаяния. Все пропало. Я останавливаюсь на последней ступеньке лестницы казино и перевожу дыхание. Надо прийти в себя, взять себя в руки. Я поправляю съехавшую набок шляпу, всовываю руку в карман за носовым платком и вынимаю из него неизвестно как туда попавший большой продолговатый, прозрачный, стофранковый жетон. Значит, я Адамовичу не все отдала. Надо вернуться, швырнуть ему его. И я стремглав возвращаюсь в казино. Но тут происходит что-то непонятное.

Вместо того чтобы бежать в тот зал, где я играла, где сейчас Адамович проигрывает мной с таким трудом добытые деньги, я останавливаюсь в первом зале, подхожу к столу и, разменяв стофранковый жетон на двадцать красных пятифранковых, начинаю играть. Как во сне. Почти не сознавая, что делаю. Ставлю ставку за ставкой.

И выигрываю еще и еще. Передо мной уже снова лежат стофранковые жетоны. Я впиваюсь глазами в шарик, кружащийся с жужжанием в рулетке. Мне кажется, что это не шарик, а мое сердце кружится там в рулетке. И как это больно! Но какое ослепительное счастье, когда крупье объявляет номер, тот, на который я поставила.

Я играю вопреки всем моим правилам, безрассудно рискуя. Но, должно быть, «крылатая удача» не только не покинула меня, но руководит моими ставками. Я играю так, будто от выигрыша или проигрыша зависит вся моя жизнь, все мое будущее.

И вдруг в дверях появляется Адамович, бледный, растерянный, с искаженным лицом. Только бы он не увидел меня!

Но он уже идет ко мне несвойственной ему подпрыгивающей походкой. Он протягивает руку к моим жетонам.

— Мадам, вот вы где! Я все проиграл. Дайте мне!

Я даже не протестую. Я сразу сдаюсь и молча отхожу в сторону, уступая ему место, и вдруг, не в силах сдержаться, заливаюсь слезами, даже всхлипываю. Боже, какой позор! Я без оглядки вылетаю из казино. Мчусь в отель, земля качается подо мной, деревья и цветы несутся мне навстречу, только бы они не сбили меня с ног, только бы не упасть. Лифт... коридор... Дверь нашей комнаты. Я кричу:

— Жорж! Все погибло! Он отобрал у меня деньги! Он все проиграл! Он все проиграл!

Но Георгий Иванов как будто не понимает, не слышит. Он обнимает меня.

— Успокойся, не плачь, не плачь!

— Все погибло,— кричу я.— Все погибло. Он проиграл все деньги.

Но это потрясающее известие совсем не потрясает его. Зато он потрясен моими слезами.

— Успокойся, успокойся,— умоляет он.— Ничего не погибло! Не плачь, ради Бога. Напротив, это даже к лучшему. Ведь Жорж в первый же день проиграл все деньги, и ты напрасно старалась. Он упросил меня скрыть от тебя. Он был как помешанный, он надеялся, что ты все отыграешь. Я просто боялся за него, я очень виноват. Прости меня.

Я задыхаюсь от обиды. Значит, они оба обманывали меня?

— Не прощу. Никогда не прощу. И все кончено с ним. Раз и навсегда,— сквозь слезы бормочу я, сорвав шляпу и бросаясь на постель, и плачу, уткнувшись в подушку.

Георгий Иванов продолжает просить прощения и успокаивать меня.

— Ничего плохого для нас не произошло. Не плачь! Мы вернемся домой, в нашу квартиру. Я спрятал деньги, чтобы здесь расплатиться, у нас обратные билеты. Все хорошо. Ради Бога, не плачь,— все повторяет он.

Но я не слушаю. Я проваливаюсь в сон.

Сквозь сон скрип открывающейся двери и шепот:

— Вы спите, мадам?

В комнате полутемно. Я смутно различаю Адамовича у стены.

— Ради Бога, простите,— шепчет он,— я разбудил вас. И за все простите. Но я больше не мог оставаться один.

— Где Жорж? — спрашиваю я.

— Он уехал в Ниццу, к тете Вере. Уже три часа прошло. Я просто схожу с ума. Что там с мамой? — он умолкает на минуту и снова: — Я даже не смею просить у вас прощения. Вы не можете простить. Это было чудовищно грубо. Но мне ночью приснилось, что я все отыграю, и я поверил сну. Я был в забытьи, в беспамятстве. Я и сейчас ничего не соображаю. Но если бы я не пришел к вам, я мог выброситься в окно. Мама не перенесла

бы. Ведь вы знаете, мой старший брат Володя — он был белый офицер — застрелился в Сибири. Мама так горевала, что доктора боялись за ее рассудок. И если бы я покончил с собой...— Пауза, потом: — Могу я остаться у вас?..

Я не сразу отвечаю:

— Оставайтесь, только молчите!

В комнате так тихо, будто я одна. Но он здесь. Его черная тень неподвижно лежит на светлом ковре.

Я закрываю глаза. Мое сердце сжимается от тоски и страха. Я сознаю, что мне волноваться нечего. В сущности, нам «общая квартира» не так уж была нужна. Мы отлично живем у себя. А я все-таки не могу успокоиться. Отчаяние Адамовича, продолжающего стоять там, у стены, захлестывает, душит меня. Шел бы он в свою комнату. Но я не решаюсь прогнать его.

Мне кажется, что я так лежу очень, страшно долго. Почему Жорж не возвращается? Я больше не в состоянии переносить этой тишины, перегруженной отчаянием и ожиданием.

— Георгий Викторович,— говорю я неожиданно для себя самой,— я больше не сержусь на вас.

— Не сердитесь? — почти испуганно спрашивает он.— Нет, не может быть. Я не верю.

— Не сержусь,— повторяю я.— Я понимаю, что можно стать игроком. Я бы и сама могла. Все мы так слабы.

Я с удивлением прислушиваюсь к своим словам. Неужели правда я могла стать игроком, как «Игрок» Достоевского, как сам Достоевский, как Адамович? Неужели? Но играя на последний, найденный в кармане жетон, я, наверное, перечувствовала все то, что чувствует настоящий игрок. И значит, и я...

Он благодарит меня. Он весь исходит благодарностью. Он был уверен, что я никогда не прощу такого оскорбления. Никогда. До того, что я могла стать игроком, ему и дела нет. Он весь поглощен своим отчаянием. И продолжает:

— Мой брат Володя совсем не был похож на меня. Мы никогда не дружили, не были близки. Он учился в кадетском корпусе, у него были совсем другие вкусы и взгляды. Но мы все-таки были сыновьями одних родителей. В нас та же кровь, и то, что он покончил с собой, я никогда не забываю. И сейчас, сегодня, если бы вы не позволили мне остаться здесь, с вами... Меня уже не раз тянуло... Не застрелиться, нет, выброситься в окно или утопиться...

И вот он начинает перечислять все случаи, когда он «хрустел на зубах жизни» и мог покончить с собой. Он говорит с какой-то исступленной откровенностью, ничего не скрывая, весь — душа нараспашку, «сердце на ладони». Он, всегда такой по-петербургски подтянутый, «застегнутый на все пуговицы», презирающий «водопадное излияние чувств», сейчас сам «водопадно изливает свои чувства». Глухим, торопливым, прерывающимся голосом. Мне даже не верится, что это тот самый Адамович, которого, мне казалось, я так хорошо знаю.

В комнате уже совсем темно. Я больше не вижу его тени. Голос доносится ко мне как будто откуда-то издалека. После всего того, что я пережила и перенесла сегодня, все кажется мне странным, почти фантастическим. Нет, я больше не сержусь на него. Я до боли жалею его. Нет, он ни в чем не виноват. Я впервые понимаю, до чего он несчастен и одинок. И какая в нем огромная нежность и жажда любви. До чего он скрытен, замурован сам в себе! И до чего его, казалось бы, удачная жизнь трагична.

Если бы не его отчаяние, не все, что произошло, он никогда не мог бы так беззастенчиво, почти бесстыдно исповедоваться мне, и я бы не подозревала, какой он на самом деле. Он никогда не был мне так дорог, как сейчас...

...Дверь открывается, вспыхивает свет. Георгий Иванов стоит на пороге с видом триумфатора:

— Жорж, все в порядке! Я все устроил. Елизавета Семеновна ни о чем знать не будет. Бросайся мне на шею! Рассыпайся в благодарностях!

Адамович, застыв на месте, широко открытыми глазами глядит на него.

— Правда? Правда, Жорж? Мама ничего не узнает? Правда? — дребезжащим голосом недоверчиво спрашивает он.

Георгий Иванов поднимает руку.

— Клянусь — ничего не узнает! Мадам Белэй проявила невероятное величие духа. Но до чего же трудно было заставить ее проявить его!

Вот как все было.

Встретила она его, как условились по телефону, одна в неописуемой тревоге за «Жоржика»,— ведь от него после телеграммы, подтверждающей получение денег, не было ни слова — что с ним? Умоляю, скажите только, что Жоржик жив! Но когда Георгий Иванов со всевозможной осторожностью сообщил ей причину молчания «Жоржика», разразилась буря, гроза. Она отреклась от своего племянника, Георгий Иванов ждал с покорным видом, пока гроза отбушует, и тут, не прося за Адамовича, заслужившего справедливое наказание, заговорил о его матери. Ведь у нее слабое сердце, она может умереть, узнав. Необходимо скрыть от нее. Но об этом мадам Белэй и слышать не хотела. Лгать? Ни за что на свете! Понадобился целый час, чтобы убедить ее в необходимости солгать. Она молча начала ходить из угла в угол, сосредоточенно думая, и вдруг остановилась и подняла голову.

— Передайте ему мое решение: Лизе я скажу, что его ограбили, он не решался сознаться в этом, оттого и не писал. Пусть он приезжает по-прежнему. Но я буду говорить с ним лишь в присутствии Лизы. Без нее ни слова. Пусть он не смеет даже здороваться со мной. Его для меня больше не существует,— и добавила с видом вдовствующей королевы: — Я приношу эту жертву Лизе. Но его не прощу никогда! Никогда! Он для меня умер. Так и скажите ему,— и королевским жестом, указывая

этим, что аудиенция окончена, протянула руку, и он благодарно приложился к ней.

Адамович все так же смотрит на Георгия Иванова широко открытыми глазами, ни разу не прерывая его. Но по мере того как он слушает, его измученное, темное, постаревшее лицо светлеет и молодеет и его чудесные глаза начинают сиять.

— Да, тетя Вера сдержит слово! Мама не узнает! Никогда. Ничего,— с расстановкой произносит он.— Спасибо, Жорж,— и вдруг улыбается своей всегдашней чуть застенчивой, чуть насмешливой длинной улыбкой.

— Трудно поверить, но я сейчас почти счастлив! Повтори, повтори, Жорж, еще раз все с начала, с самого начала.

В тот же вечер за обедом, когда Георгий Иванов был всецело поглощен составлением меню, Адамович наклонился ко мне и тихо сказал:

— Пожалуйста, не верьте, мадам, ни одному слову из всего, что я вам нагородил. Я никогда не мог бы покончить с собой, никогда не решился бы. Я даже никогда в жизни серьезно не думал об этом. Все это вздор!

В тот же вечер мы втроем решили никому — кроме Жоржа Батая — не рассказывать о случившемся.

На следующий день мы уехали в Париж.

Мы с Георгием Ивановым поселились в нашей квартире на сквер Ренуар, а Адамович в таком же дурном монмартрском отеле, как и прежде.

На Пасху он, не без опасения, отправился в Ниццу, где «тетя Вера» оказала ему ледяной прием и в продолжение всей Страстной недели обращала на него, вне присутствия его матери, меньше внимания, чем на муху.

Но — этого он никак не мог ожидать — она, христосуясь с ним во время заутрени, шепнула ему на ухо:

— Все прощено. Все забыто, Жоржик! — и вернулась с ним под руку — как в былые годы — из церкви. И все пошло постарому.

Вот из этого-то «рулеточного приключения», как Адамович впоследствии окрестил нашу поездку в Монте-Карло, и вырос миф о проигранной вилле, разорившей по одной версии его мать, по другой — его тетку, и о его угрызениях совести.

На самом же деле воспоминание о «рулеточном приключении» не только не вызывало в нем «угрызений совести», а напротив, превращалось во что-то очень забавное. Приходя в хорошее настроение, он не раз с усмешкой спрашивал меня:

— А помните, мадам, как я вас по первому классу в Монте-Карло возил?..

21 февраля 1972 года Георгий Адамович умер.

Значит, со дня его смерти прошло больше десяти лет. Целых десять лет!

А мне кажется, что только вчера в мою комнату быстро вошел Терапиано и срывающимся от волнения голосом сказал:

— Звонили из «Русской мысли». Адамович умер! Умер Адамович! Сегодня. После завтрака лег, как всегда, отдохнуть. А когда к нему вошли, он лежал на полу. Мертвый!

— Адамович умер,— повторяю я, и от звука мною произнесенных слов чувствую удар в лоб. В глазах темно. Или это я закрыла лицо руками?

Терапиано говорит еще что-то. Но я не слушаю, не стараюсь понять.

Я слышу, как он закрывает дверь за собой. Значит, он ушел. Значит, я одна.

Адамович умер?

Говорят, что перед умирающим мгновенно проносится вся его жизнь. Не знаю, так ли это, или это только литературная выдумка. Ведь проверить ее никто из живых не может.

Но передо мной каждый раз, когда я узнаю о неожиданной смерти близкого, любимого человека, мгновенно проносится все, что мне известно о нем, и я с невероятной отчетливостью и силой снова переживаю все, что мне пришлось пережить с ним. Все — от первой встречи до последнего «до свидания», превратившегося в «прости навеки».

Вот и сейчас — все, все с самого начала, вся жизнь Адамовича на трагическом фоне бессмыслицы наших дней разворачивается передо мной так ярко, с такой силой, что я забываю о себе, теряю себя, всецело захваченная его жизнью. Она как будто еще не кончилась, она тут рядом что-то требует от меня.

Я вдруг вспоминаю, что за нашим прощальным обедом перед его отъездом в Ниццу, оказавшимся последним, он мне сказал:

— Я в Нью-Йорке как-то случайно прочел в «Новом журнале», что вы написали о Бунине, и, знаете, пожалел, что я никогда не попадаюсь вам под стило.

Тогда я сочла это просто за table talk [1], а он, не настаивая, заговорил о другом. Но теперь я чувствую, что мне необходимо написать о нем, чтобы в сердцах и умах читателей запечатлеть его образ, чтобы они услышали его голос, увидели его по-новому — его настоящего — и полюбили его еще сильнее, чем любили его при жизни, что он это требует от меня.

Да, мне надо было непременно написать о нем. И я написала. Статья моя появилась в «Новом журнале». В ней я рассказала о начале нашей жизни у него в квартире его тетки на Почтамтской, когда я вышла замуж за Георгия Иванова.

И вот прошло десятилетие. Десять лет со дня его смерти. И я опять чувствую необходимость написать о нем. Но теперь совсем иначе, чем тогда. Прежде всего, мне надо напомнить о нем: ведь его почти совсем — все же, надеюсь, не оконча-

[1] застольная беседа (*англ.*).

тельно — забыли. Все, что он так усердно писал «для вечности», так и осталось неизданным. А он говорил мне, что то, что он пишет теперь — то есть тогда, перед своей смертью,— «самое значительное, самое важное». Он торопился, чтобы успеть все сказать, он сознавал, что времени у него осталось мало, хотя и не предвидел такого скорого конца.

— С трудом превозмогаю свою лень,— говорил он.— Мне хочется поваляться в кровати, послушать радио, почитать газету, поболтать по телефону, а я вместо того до поздней ночи не покладая рук стучу на машинке «для вечности». Знаю, что впервые в жизни делаю настоящее нужное дело, что все, что я прежде делал, ни в какое сравнение не идет с теперешним, что мое «outre tombe» [1] потрясет умы и сердца.

Он был уверен, что после его смерти сейчас же издадут все оставленное им и каждая его страница будет изучаться, разбираться и комментироваться.

— Я стану «властителем дум грядущих поколений»,— полунасмешливо говорил он.— Жаль, что я не увижу этого. С того света вряд ли что разглядеть удастся. Но знаю, так будет, и это сознание заставляет меня писать. Хотя, ох! Как иногда не хочется. А надо!

Адамович, как большинство писателей, после смерти вступил в полосу «временного забвения», но это все же не помешало возникновению всевозможных мифов и легенд о нем, а как раз этого он очень опасался.

— Подумать только, какой вздор болтают об Ахматовой — о ее любви к Блоку, о том, что из-за нее повесился студент, о том, что Гумилев не отец ее сына Левы! А о Гумилеве! Какой-то болван выдумал даже, что он косил оттого, что у него был стеклянный глаз. А читатели верят каждому печатному слову. Боюсь, что и обо мне будут черт знает что сочинять. А я хочу, чтобы обо мне писали бы только правду,— говорил он мне как-то еще до своей поездки в Америку за одним из наших еженедельных обедов в ресторане на Елисейских полях.

— Всю правду без утайки? — спросила я.

Он поморщился.

— Никто не хочет, чтобы о нем знали всю правду. Есть вещи, о которых нельзя говорить,— у каждого. Но я против лжи, против наведения тени и против того, чтобы меня покрывали сахарной глазурью — ах, он был ангел, добрый до святости! Пожалуйста, помните это, если когда-нибудь вам захочется писать обо мне — la vérité, rien que la vérité [2] — но, конечно, не toute la vérité [3]. Ведь вы обо мне все знаете, больше, чем кто-либо другой.

Да, действительно, я знала о нем очень много. Сам он уве-

---

[1] «посмертное» *(фр.)*.
[2] правду, ничего, кроме правды *(фр.)*.
[3] всю правду *(фр.)*.

рял меня, что ни с кем на свете не был так — до конца, как на духу — откровенен. Ни с сестрой, ни с любовями, ни с друзьями.

— Вы все обо мне знаете,— говорил он.

Но я была в этом далеко не уверена. Все же думаю, что я лучше чем кто-либо знала его жизнь и его самого.

— Я не хочу казаться тем, кем я не был,— тогда же сказал он мне.— Ни ходуль, ни крыльев у меня нет.— И, уже улыбаясь, добавил: — Если вам удастся пережить меня, позаботьтесь о моей посмертной репутации. Не хочу, чтобы меня сделали мумией. А я обещаю вам, если вы первая преставитесь, учредить Общество ревнителей памяти Ирины Одоевцевой и стать его председателем. И прославлять вас.

Я смеюсь.

— Спасибо. Значит, мне, в интересах моей посмертной славы, не следует слишком долго задерживаться на этом свете и поскорее перебираться на тот? Но довольно, довольно гробокопательных разговоров. Да и рано их вести — мы с вами ведь еще молоды, ведь у нас с вами:

Жизнь прошла,
А молодость длится —
Ваша молодость и моя,—

цитирую я строки из посвященного ему стихотворения.

Он пожимает плечами.

— Как ни дико, а иногда я на самом деле чувствую себя молодым. В особенности с вами, как будто мы еще в Петербурге, на Почтамтской. Все же обещайте свято и нерушимо говорить и писать обо мне — после моей смерти — одну правду без прикрас и мифов.

И я поднимаю руку и торжественно произношу:

— Одну правду! Обещаю. Без прикрас и мифов.

В тот вечер он, как всегда, провожал меня до метро, и мы, стоя перед широкой лестницей, долго сговаривались о дне следующего «междусобойчика», как он — любитель забавных выражений — называл наши обеды. Он, как всегда, старался шутить, но мне было ясно — он расстроен и виной этому наш разговор о смерти...

И вот теперь я чувствую, что настало время исполнить данное мной ему в тот вечер обещание и разрушить мифы, искажающие его образ.

Но трудно решить, с чего начать — так их много.

Начну с мифа о дружбе Адамовича с Блоком. Никакой дружбы между ними не существовало, о чем в своих «Комментариях» писал сам Адамович. Но несмотря на это, его продолжали называть даже в печати другом Блока. А на самом деле он с ним почти не был знаком и ни разу в жизни с ним не разговаривал. Миф этот был основан на единствен-

ном письме Блока в ответ на посылку Адамовичем ему своего первого сборника «Облака» с довольно отрицательным отзывом и советом: «Раскачнитесь сильнее на качелях жизни!»

Фразу эту Адамович часто повторял, прибавляя с комическим вздохом:

— К сожалению, я совету Блока последовал. И сами знаете, каковы были результаты.

Вот из этого «Раскачнитесь сильнее на качелях жизни» и возник миф о дружбе Адамовича с Блоком.

Второй миф. О последних годах Адамовича. Они якобы были очень тяжелы. Он сильно нуждался и страдал от одиночества. Жил чуть ли не впроголодь, покинутый, почти в нищете, слегка позолоченной общим признанием. Тогда как, напротив, последние его годы были одними из самых благополучных в его жизни. Он жил именно так, как сам хотел — в «одиночестве и свободе».

Он по своей воле покинул университет в Манчестере, надоевший ему до чертиков и даже еще больше, как он говорил, несмотря на то, что его настойчиво и горячо упрашивали продолжать читать в нем лекции и соблазняли чуть ли не вдвойне увеличенным окладом. Но он остался непоколебимым.

— А жить-то когда? — спрашивал он, разводя руками.— Я хочу наслаждаться оставшимися мне днями по-своему.

И, действительно, зажил именно так, как хотел,— в двух комнатах для прислуги, что главным образом и послужило основанием для этого мифа.

Но комнаты эти находились почти на самых Елисейских полях, и Адамовичу не раз предлагали сменять их на комфортабельную квартиру в более скромном районе, о чем он и слышать не хотел. Он был чрезвычайно привязан к ним. Настолько, что, вернувшись из Нью-Йорка, где жил по приглашению одного своего приятеля в очень комфортабельном отеле, он признался мне: «До чего приятно вернуться в свой угол! Нигде я лучше себя не чувствую, чем в нем. Я, как кошка (?), привязан к нему, просто люблю его».

Миф о бедности Адамовича. Напротив, он был вполне обеспечен и мог бы, по его же словам, зарабатывать много больше — скриптами для радио «Свобода» и статьями в журналах и газетах.

— Но на что мне столько денег? Я и так впервые чувствую себя буржуем — к моему собственному удивлению. Даже обзавелся банковским счетом. Каждый раз, когда выписываю чек, спрашиваю себя: «Маргарита, ты ли это?» Не верится, да и только. Ведь я постоянно находился накануне катастрофы, «страшной бездны на краю» — из-за карт. А теперь, в особенности после инфаркта,— ни карт, ни рулетки. Тишь да гладь — Божья благодать. Но — «О, как все это я любил».

Покинутым он также совсем не был. Даже напротив. Он не раз жаловался мне на переизбыток дружеских забот и приглашений. А ходить в гости так утомительно. Вот телефонные разговоры — дело другое. По телефону он мог говорить часами

и ежедневно вел бесконечные беседы с целым рядом знакомых. На меня он даже обижался: «Отчего вы так редко мне звоните?»

И еще один, пожалуй, самый нелепый миф — будто Адамовича очень мучила совесть оттого, что он проиграл в карты деньги, вырученные от продажи виллы в Ницце, принадлежавшей его матери. Эта вилла якобы была всем тем, что осталось от ее былого богатства, и, проиграв ее, он обрек свою мать на бедность. И этого он никак не мог себе простить, так как боготворил свою мать.

Но никакой виллы, как и никакого богатства, у его матери и в помине не было. Отец Адамовича был «тюремным генералом», т. е. не то директором тюрьмы, не то управляющим ее в генеральском чине. Он рано умер, оставив жене и четырем детям всего лишь скудную пенсию. Адамович, чтобы помочь матери сводить концы с концами и поддерживать известный «стэндинг» [1], еще гимназистом давал уроки, а студентом ездил «на кондиции» [2] летом — «обучать оболтусов».

В эмиграции его мать и его незамужняя сестра жили в Ницце у тетки Адамовича, очень чопорной и властной вдовы английского миллионера. К ней на все каникулы ездил и Адамович. Вот эта тетка действительно продала свою роскошную виллу-дворец. Но само собой разумеется, к этой продаже Адамович ровно никакого отношения не имел. А миф о проигрыше родился из той — уже не трагической, а скорее трагикомической истории, которую я рассказала. Сам Адамович вспоминал ее со смехом.

* * *

Если бы меня спросили, кого из встреченных в моей жизни людей я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить — слишком их было много.

Но я твердо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них.

В нем было что-то совсем особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то — не нахожу другого слова — от четвертого измерения. Мне он часто казался не только странным, но даже загадочным, и я, несмотря на всю нашу душевную и умственную близость, становилась в тупик, не в состоянии понять его, до того он был сложен и многогранен. В нем уживались самые противоположные, взаимоуничтожающие достоинства и недостатки. Он был очень добр, но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за насмешливого отношения к окружающим и своего «убийственного остроумия», как говорили в Петербурге. Гумилев советовал мне, когда я еще только мечтала о поэтической карьере: «Постарайтесь понравиться Георгию Иванову. Он губит репутации одним

---

[1] положение, репутация, вес в обществе (от. *англ.* standing).
[2] быть в услужении (от *фр.* être en condition).

своим метким замечанием, пристающим раз и навсегда, как ярлык».

Зинаида Гиппиус уверяла, что в нем таятся метафизические прозрения и глубины и невероятная легкость мыслей, что она особенно ценила. Она же называла и считала его «идеалом поэта — поэтом в химически чистом виде».

С тем, что Георгий Иванов был «поэтом в химически чистом виде», я вполне согласна. Ни один из известных мне поэтов, даже Блок или Мандельштам, не воплощал так полно и явственно стихию поэзии, как он. Никто из них не был так орфеичен. Он действительно был абсолютным воплощением поэта.

Но он старался скрыть от чужих глаз это и казаться совсем не тем, чем он был, создавая свой «портрет без сходства» и забавляясь тем, что ему это ловко удается. Только очень немногие близкие ему знали его таким, каким он был в действительности.

Большинство поэтов долго учатся поэтическому ремеслу. Но Георгий Иванов никогда ему не учился. Оно было дано ему с самого детства. Ни в рифмах, ни в размерах он никогда не ошибался, у него был абсолютный поэтический слух.

Стихи давались ему невероятно легко, как будто падали с неба законченными. По известной формуле Теодора де Банвиля, «стихи — то, что совершенно и не требует исправления». Именно такими и были стихи Георгия Иванова. Они не требовали исправления. Он, впрочем, и не стал бы их исправлять. Стихи были для него своего рода живыми существами. Он считал, что они должны оставаться такими, какими родились, что невозможно «производить над ними операции и вивисекции», как он говорил. Они «появлялись вот так, из ничего», почти мгновенно.

Возвращаясь домой после недолгого отсутствия, он часто приносил с собой два-три стихотворения, сочиненные им по дороге. Многие из стихов «Дневника» такого происхождения, то есть сочинены им на ходу.

Друг друга отражают
зеркала,
Взаимно искажая отраженья —

было сочинено им во время приготовления обеда. Однажды, сидя со мной за утренним чаем и ведя самый незначительный разговор, он вдруг прервал самого себя на полуфразе:

— Постой, постой, подожди...— задумался на минуту:— Вот я сейчас сочинил. Послушай!

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!..
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Я почувствовала дрожь в груди и закрыла глаза от волнения. То, что эти гениальные стихи были созданы здесь, при мне,

мгновенно, казалось мне чудом. А он, не понимая моего волнения, спокойно рассказал мне, что только что, бреясь в ванной, он сочинил начало стихотворения «Мелодия становится цветком» и сейчас, размешивая сахар в чашке, досочинил его конец.

Он совсем не понимал, не отдавал себе отчета, что эти стихи одна из вершин русской поэзии XX века.

Музыка, мелодия стихов была его стихией — в них воплощались «звуки небес», главное в поэзии.

Один знакомый мне антропософ рассказывал, что приехавшая в Париж шведка-антропософка, занимавшаяся эвритмией и не знавшая русского языка, прослушала ряд стихов русских поэтов от Пушкина до наших дней и выбрала из всех поэтов — по звуковому и мелодийному совершенству — только стихи Лермонтова и Георгия Иванова.

Но вот один из ученейших и почтеннейших литературоведов считает Георгия Иванова «стихотворцем, а не поэтом». Он же предполагает, что у Георгия Иванова была своего рода стихотворная лаборатория, в которой он усердно, тщательно и умело работал, дозируя душистые масла и ювелирно отделывая каждую свою строку.

Миф о стихотворчестве Георгия Иванова отнюдь не единственный. Чего только не выдумывали о нем не только как о поэте и человеке,— но даже о его внешности. Пальма первенства во всех этих мифах принадлежит автору, среди несусветной чепухи и карикатурного изображения Георгия Иванова «объяснившего», что «он шепелявил от полного отсутствия зубов». У Георгия Иванова как раз были на редкость великолепные зубы — в шестьдесят три года у него даже не было ни одного запломбированного зуба.

Меня упрекали многие поклонники Георгия Иванова в том, что я уделила так мало места ему в «На берегах Невы». И они совершенно правы. Но это только оттого, что я боялась — да и теперь еще боюсь — не быть в состоянии написать о нем так, как он того достоин, и заставить читателей «увидеть» его и понять, каким он был изумительным поэтом и человеком.

О Георгии Иванове я услышала впервые осенью 1919 года в Студии на лекции Гумилева о трехстопных размерах.

Гумилев изобрел — для запоминания их — свою систему, основанную на именах поэтов: дактиль — удар на первой стопе — Анна Ахматова, анапест — удар на третьей стопе — Николай Гумилев, амфибрахий — удар на второй стопе — Георгий Иванов.

Но кто такой этот амфибрахийный Георгий Иванов, я понятия не имею.

Я толкаю локтем своего соседа по парте:

— А вы слыхали о Георгии Иванове?

Он кивает:

– Еще бы! Георгий Иванов член Цеха поэтов, сотрудник

«Аполлона». Автор «Вереска». В «Лукоморье» косяками печатались его военные стихи. Его даже прозвали маститый лукоморец.

Вот он какой известный, этот амфибрахийный Георгий Иванов! Я не знала. Так вот же он какой!

Надо хорошенько запомнить его имя, не путать его с Вячеславом Ивановым — стихов его я тоже не читала. Амфибрахий — Георгий Иванов. Георгий, а не Вячеслав Иванов.

В том, что я никогда не слыхала о Георгии Иванове, я не решаюсь сознаться Гумилеву.

А через несколько дней,— когда я возвращалась из Студии вместе с ним,— мы живем по соседству, он на Преображенской, 5, я на Бассейной, 60 — передо мной промелькнул как видение этот самый амфибрахийный Георгий Иванов. Он несется во всю прыть по противоположному тротуару. Увидев Гумилева, он не останавливаясь кричит: «Николай Степаныч! Прости,— лечу! спешу!» — и срывает с головы клетчатую, похожую на жокейскую шапочку. Под ней челка, спускающаяся до резко очерченных бровей. Я успеваю заметить еще удивительные белые зубы, удивительно красный рот на удивительно белом лице и то, что он высокий и тонкий. Гумилев машет ему вслед рукой, улыбаясь:

— Ночевать тебе, Жоржик, в милиции! — и, повернувшись ко мне: — Сумасшедший! Ведь ему на Каменноостровский, а комендантский час начинается через десять минут. Захлопают милиционеры когда-нибудь.

— Кто это? — спрашиваю я.

Гумилев удивлен:

— Как! Вы никогда не видели Жоржика Иванова?

— Неужели это Георгий Иванов? Я думала — он старый, с бородой, раз его называют «маститый лукоморец», а он...

— А он молодой и с челкой,— перебивает меня Гумилев.— Самый молодой член Цеха. И самый остроумный. Даже остроумнее Михаила Леонидовича Лозинского. Язык у него, как бритва. Чик, голова долой! Непременно старайтесь ему понравиться. Его называют «общественное мнение». Он создает и губит репутации.

Слушая рассказ Гумилева о Георгии Иванове, я дохожу до моего дома. И уже надо прощаться, что меня всегда немного огорчает.

Нет, это первое «видение» Георгия Иванова не произвело на меня должного впечатления, как и вскоре состоявшееся полузнакомство с ним, когда он зашел в Студию к Гумилеву. Я, робея, спряталась за спины других учеников Гумилева. Раз он такой насмешливый, он, наверное, этот Георгий Иванов, высмеет и мой бант, и мою картавость, и мои веснушки.

Потом было еще несколько мимолетных, незначительных встреч в Студии и в Доме литераторов. Он мне не очень нравился. Он, по моим тогдашним понятиям, скорее походил на одного из товарищей моего двоюродного брата — правоведа: подчеркну-

то элегантный, с лощеными манерами и снобическим выговором, вернее, нарочитым невыговором некоторых букв. Не такими должны быть поэты. Впрочем, и остальные поэты все — кроме Ахматовой и Блока — кажутся мне «не такими». Как девочка в анекдоте, могу сказать — я видела льва, но он не похож. Все поэты «не похожи», включая и Гумилева, каждый по-своему. С этим мне надо примириться.

Так прошла зима, не внесшая изменений в мои отношения с Георгием Ивановым. Однажды все-таки Гумилев сообщил мне как о чем-то очень приятном: «А вы нравитесь Жоржику Иванову. Но не надейтесь. Он ленивый и невлюбчивый мальчик — ухаживать за вами он не станет». Это мне, кстати, было совершенно безразлично. Лишь бы он не издевался надо мной.

И вдруг негаданно-нежданно этот самый Жоржик Иванов сыграл огромную роль в моей тогдашней жизни, произведя в ней настоящий переворот.

Об этом я подробно рассказываю в книге «На берегах Невы». А здесь вкратце: случилось это 30 апреля двадцатого года, «прием-раут» на квартире Гумилева в честь прибывшего в Петербург Андрея Белого. На нем состоялся «смотр молодых поэтов» — Оцупа, Рождественского и меня. Я, впрочем, не в пример им двоим, еще студистка и только мечтаю стать молодым поэтом. То, что я участвую в «смотре», наполняет меня гордостью. Мы все трое читаем перед Белым свои стихи, явно не произведшие на него ни малейшего впечатления, хотя он и рассыпается в безграничных похвалах и восторгах перед каждым из нас.

Георгий Иванов опоздал на «смотр» и пришел только к «торжеству чаепития». Гумилев специально для него предложил продолжить «смотр».

Но Георгию Иванову хорошо известны стихи Оцупа и Рождественского. Все же, чтобы не огорчать хлебосольного хозяина, непременно желающего угостить его «смотром», он соглашается прослушать меня:

— Твою ученицу я еще никогда не слыхал.

Гумилев, скрывая недовольство, кивает мне.

— Тогда читайте вы одна!

Но я так смущаюсь, что не знаю, что читать, и растерянно моргаю. В голове моей пусто. Гумилев нетерпеливо ждет.

— Все равно что! У вас ведь так много стихов.

Но я продолжаю моргать и молчать, и он уже явно начинает раздражаться.

— Ну, хотя бы эту вашу, как ее там? — «Балладу», если ничего не помните. Хотите, я вам ее принесу?

Чтобы я прочла балладу? Но ведь он забраковал ее еще в октябре, когда я ее сочинила, переписала и принесла ему. Он тогда заявил, что хоть она и «вполне недурна», но никому в наши

дни не нужна: современный читатель требует лирики, а не эпоса и не выносит стихотворений больше, чем в семь строф, а вы сколько строф здесь нагородили!

Он тогда же спрятал ее в толстую папку с надписью «Братская могила неудачников» и больше о ней, к моему огорчению, никогда не вспоминал.

Почему же он теперь, будто желая пригвоздить меня к позорному столбу, заставляет меня читать мою злосчастную балладу?

— Хотите, я вам принесу ее? — снова нетерпеливо спрашивает он.

Я чувствую, что гибну, иду на дно отчаяния, но все же отвечаю:

— Нет. Я помню ее наизусть. Не надо,— и встав — мы всегда читаем стихи стоя,— начинаю:

БАЛЛАДА О ТОЛЧЕНОМ СТЕКЛЕ

Солдат пришел к себе домой,
Считает барыши —
Ну, будем сыты мы с тобой,
И мы и малыши!
Семь тысяч! Целый капитал,
Мне здорово везло —
Сегодня в соль я подмешал
Толченое стекло.

Я отчетливо произношу каждое слово, и мой голос не дрожит. Я так переволновалась, так боюсь этого безжалостного Георгия Иванова, который не может не высмеять балладу и ее автора, что меня охватывает, на меня снисходит покой, похожий на летаргический сон — волноваться уже незачем, все равно я навеки опозорена. Я умерла — «мертвые сраму не имут».

И тут вдруг происходит самое невероятное событие во всей моей молодой жизни. Георгий Иванов провозглашает мою балладу «литературным событием», «новым словом в поэзии» — он, всегда такой насмешливый и холодный, клокочет как самовар:

— Современная баллада — как раз то, что сейчас нужно! Я ей предсказываю огромное будущее на десятилетия! Это замечательно.

Гумилев кивает, не споря, сразу переменив свое мнение:

— Ты прав, Жоржик... это замечательно!

Я слушаю, не совсем понимая. Неужели это обо мне?..

А через три дня, на своей публичной лекции в зале под Думской каланчой, Чуковский в присутствии громадной толпы слушателей кланяется мне, «сгибаясь пополам», и произносит громогласно:

— Одоевцева! Я в восторге от вашей чудесной баллады!

И все видят, все слышат.

С этого вечера я, по моему хотению, по щучьему велению, из никому неведомой студистки превратилась не только в «известного молодого поэта» — слово «поэтесса» считалось у нас «пежоративным» [1], а в «надежду русской поэзии», и моя «Баллада о толченом стекле» в десятках рукописных экземпляров стала ходить по Петербургу.

Этим я обязана Георгию Иванову. Без него, по всей вероятности, моя баллада никогда не увидела бы света и так бы осталась в «Братской могиле неудачников» на дне ящика письменного стола Гумилева.

Как ни странно, я не была Георгию Иванову особенно благодарна и посвятила «Балладу о толченом стекле» не ему, а Чуковскому. Наши отношения не изменились, хотя мы теперь и разговаривали при встречах. Я перестала бояться его злого языка и нашла нужным познакомиться с его «Вереском», но мне его стихи, за исключением «Горлинка пела, а я не слушал», не особенно нравились. Они казались мне лишенными содержания, слишком декоративными и слишком музыкальными. Слишком «de la musique, avant toute chose» [2], как мы говорили тогда.

Осенью того же 1920 года я зашла к Гумилеву проститься накануне моего отъезда на Званку, где служит, «электрифицируя» ее, один из моих двоюродных братьев.

Гумилев в тот вечер встретил меня в совершенно несвойственном ему волнении. Только что к нему приходил Георгий Иванов и принес свой перевод «Кристабели» Кольриджа.

— Я просто потрясен. Это замечательно, чудесно,— говорил он.— Нет, вы только послушайте!..

И, не ожидая моего согласия «послушать», начинает читать мне целую лекцию. Оказывается, «Кристабель» написана размером англосаксонского эпоса XVI века. Перевести ее по-русски невероятно трудно, почти невозможно. А Георгий Иванов не только изумительно передал совершенно необычайный для русского языка ритм и размер, но и все звуковые эффекты.

— Это просто чудо! — повторяет Гумилев.

Я не протестую, хотя я и не интересуюсь ничьими переводами. Сама я никогда ничего не перевожу и в Студии даже не посещаю семинаров великолепного переводчика Лозинского. А сейчас мне, к тому же, хочется вести «задушевный разговор» о предстоящей разлуке на «целую» неделю и слушать уверения Гумилева в том, что он будет скучать по мне, и его уговоры вернуться скорее.

На письменном столе лежит очень толстая рукопись. Неужели мне придется ее всю прослушать? Но делать нечего. Я, вздохнув, сажусь на диван, готовая проскучать, сколько надо будет, а он начинает читать все так же взволнованно.

Но по мере того как я его нехотя слушаю, я чувствую, что

---

[1] уничижительный, пренебрежительный (от *фр.* pejoratif).
[2] «музыка прежде всего» *(фр.)*.

его волнение передается и мне, и вот я уже всецело поглощена и очарована. Я не читала «Кристабели» по-английски, но сейчас в русском переводе она меня потрясает. Я жадно слушаю до самого конца и уже ни о чем кроме нее и «чуда этого перевода» не могу говорить. Даже забываю о предстоящей разлуке с Гумилевым.

На следующий день я уехала в «званскую жизнь», как я называла пребывания на Званке.

Правда, моя «званская жизнь» ничем не напоминала «званскую жизнь» Державина — ни великолепием и пышностью, ни гастрономическими утонченностями и изобилием. Но то, что Державин так любил Званку, придавало ей для меня совсем особую прелесть, окрашенную поэтичностью.

Была осень. Мой двоюродный брат, как всегда, пропадал с утра до вечера на работе. Я, предоставленная самой себе, одиноко бродила по «в багрец и золото» одетому лесу, не в состоянии отделаться от воспоминаний о Кристабели. Меня преследовали запавшие мне в память строки перевода Георгия Иванова.

Стоя на берегу Волхова, я декламировала их, прислушиваясь к звукам своего голоса, смешанного с шорохом золотого листопада, и вздохам осеннего ветра:

Хотя полнолунье, но луна
Мала за тучей и темна,
Ночь холодна, сер небосвод.
Еще через месяц — маю черед,
Так медленно весна идет...

В сумерках в лесу становилось таинственно и жутко. Мне казалось, что между деревьями мелькают тени Кристабели и Джеральдины. Где-то над моей головой в темных ветвях истошно вопила выпь, и вопли ее напоминали пророческий вой старой суки лорда Леоляйна. В блаженном ознобе я выбегала из леса и стрелой летела в деревню, в избу, где меня ждали ужин и ночлег.

Так, еще более прелестно, чем всегда, проходила на этот раз моя «званская жизнь», как будто я оторвалась от будничной повседневности. Я чувствовала, что мне необходимо написать что-то. Но я совсем не знала, что именно. Однажды утром вместо того чтобы идти в лес, я достала из своего чемодана карандаш и бумагу и, сев за стол, написала на белом листе, сразу, без помарок:

К жабе прилетает летучая мышь
Говорить о том, что ночь страшна
Оттого, что мертва луна.
— Пресвятая Дева, помилуй нас,
Добрый сон бежит от испуганных глаз,
А дурного не надо сна...

Я с изумлением смотрю на то, что я написала. Что это значит? О чем это? В голове моей кружатся какие-то слова и образы, какие-то обрывки мыслей.

И вот понемногу они начинают складываться во что-то похожее на содержание, запутанное, смутное, но все же содержание. Я долго сижу в раздумье, перед тем как снова начинать писать:

Далеко в темный лес заехал граф,
Преследовал вепря он.
Пред ним душистое море трав
И старые сосны со всех сторон,
А вепря исчез и след...

Но теперь я знаю, о чем пишу. И пишу не отрываясь. Это какой-то запутанный, таинственный миф о луне, превращающейся то в рысь, то в прелестную деву. Он сложился в моей голове, когда я, думая о Кристабели, бродила одна в лесу. Нет — я не совсем уверена, что он сложился в моей голове. Возможно, что я когда-то, еще в детстве, слышала его, и он теперь, под наплывом вдохновения превратившись в звуки рифмы и ритма, воскрес в моей памяти.

Я пишу так до вечера и весь следующий день напролет, торопливо, почти без исправлений, так, как я — ученица Гумилева, привыкшая обрабатывать и оттачивать каждую строку,— никогда еще не писала.

Мне даже кажется, что пишу не я и не я автор этой «Поэмы о Луне», как я окрестила ее. Она подражание «Кристабели». Нет, не подражание, а отголосок «Кристабели» в русском переводе Георгия Иванова.

Мне моя «Поэма о Луне» кажется очаровательной. Я уверена, что она очарует всех. Не может не очаровать и не восхитить всех.

И хотя этому трудно теперь поверить, она действительно очаровала и восхитила всех. Всех, исключая Георгия Иванова, насмешливо заявившего, прочитав ее:

— Вот и моя Кристабель яичко снесла, до чего романтическое яичко!

«Поэма о Луне» была сразу же напечатана во втором номере «Дома искусств» по желанию самого Горького, прослезившегося, слушая ее, о чем мне сообщил Чуковский, объяснивший, что у Горького «глаза на мокром месте». Горький же потребовал, чтобы Добужинский нарисовал к «Поэме о Луне» заставки, что тоже было небывалой честью для молодого, пусть даже уже прославленного, но еще никогда нигде не печатавшегося автора.

Я в те дни уже постоянно выступала на поэтических вечерах с моей «Балладой о толченом стекле», теперь же слушатели неизменно требовали и «Поэму о Луне».

Этим незаслуженным успехом я обязана Георгию Иванову, то есть его переводу «Кристабели», родившему мою «Поэму о Луне». «Кристабель» способствовала и тому, что я стала смотреть на Георгия Иванова совсем другими глазами и не понимала, как он когда-то мог мне не нравиться.

Я вышла замуж за Георгия Иванова 10 сентября 1921 года и прожила с ним до самого дня его смерти тридцать семь лет.

Наша жизнь с ним мало походила на то, что принято называть супружеской жизнью.

Мне всегда казалось, что, как в стихах Адамовича —

Реял над нами какой-то особенный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

Мне казалось, что мы живем на пороге в иной мир, в который Георгий Иванов иногда приоткрывает дверь, живем как будто в двух планах одновременно — «здесь и там».

Притом «там» для него, а иногда и для меня, было не менее реально, чем «здесь».

Но вижу, что для того чтобы быть в состоянии хоть приблизительно описать Георгия Иванова и нашу жизнь с ним, мне необходимо давать его биографию.

Я всегда тщательно избегала писать биографии. Я считала это скучным, «мертвым делом» — не для меня. Но теперь вот — ничего не поделаешь — приходится.

Георгий Иванов родился 29 сентября 1894 года...

Нет, настоящая классическая биография начинается не с рождения данного человека, а гораздо раньше. Надо нырнуть в прошлое, к его истокам, в его предысторию и потревожить тени его родителей рассказом о том, кем они были.

Итак: отец Георгия Иванова происходил из полоцких дворян, ни родовитостью, ни богатством не отличавшихся. Отец, дед и прадед его были военными, и он, естественно, последовал их примеру. Окончив Павловское училище, он вышел в III Гвардейскую артиллерийскую бригаду — из пехотного училища в артиллерию. Это удалось ему лишь оттого, что его имя красовалось на золотой доске Павловского училища.

Проделав восточную войну, он не сразу вернулся в Варшаву, где стояла III артиллерийская бригада, а был причислен к гвардейскому сводному полку, состоявшему при Александре Баттенбергском (в то время болгарском короле) и последовавшему за ним в Болгарию, где отец Георгия Иванова, как и А. А. Мосолов, стал флигель-адъютантом (это там называлось как-то иначе) Александра Баттенбергского.

Незадолго до войны он женился на только что окончившей

институт баронессе Вере Бир-Брау-Браурер ван Бренштейн. Она, впрочем, звалась просто Бренштейн.

Она происходила из голландской древней родовитой семьи, насчитывающей среди своих предков крестоносцев. Один из баронов Бир ван Бренштейн триста лет тому назад переселился из Голландии в Польшу и вскоре перебрался в Россию, где поступил на военную службу.

Все его потомки, так и остававшиеся в России, были военными.

Мать Георгия Иванова, очень красивая и светская, блистала при дворе Александра Баттенбергского и заняла без интриг и борьбы первое место среди «придворных дам», не оспаривавших его у нее.

В Болгарии жизнь русских, окружающих Александра Баттенбергского, превратилась в беспрерывный праздник. Приемы, балы, театральные представления сменяли друг друга, как и всевозможные развлечения.

На великолепных лошадях кавалькадами носились по Балканам над пропастями, соперничая в ловкости и бесстрашии, не только офицеры, но и их жены в амазонках и маленьких цилиндрах с длинными развевающимися вуалями. И здесь тоже мать Георгия Иванова была первой, поражая всех своей смелостью и грацией.

Так, не предвидя конца этому вечному празднику, родители Георгия Иванова прожили целых семь лет — до падения Александра Баттенбергского.

Отец Георгия Иванова не без удовольствия вернулся после такого долгого отсутствия в свой полк и ревностно предался службе. Но жена его никак не могла примириться с новыми условиями жизни. Она, привыкшая переодеваться по нескольку раз в день в выписанные из Парижа платья, веселиться с утра до вечера и танцевать ночи напролет, томилась и скучала, к тому же денег было в обрез — их нельзя было тратить, как она привыкла, не считая. Приходилось экономить, что возмущало ее.

Так буднично и тускло тянулась для нее жизнь в Варшаве, ничем не напоминая волшебные годы, проведенные в Болгарии.

И вдруг все переменилось. Умерла сестра отца Георгия Иванова — княгиня Багратион-Мухранская — и оставила ему по завещанию все свое огромное состояние. Ему одному, хотя кроме него у нее были еще три брата.

О намерении сделать любимого брата своим единственным наследником она никому не сообщала, и вскрытие завещания у нотариуса произвело впечатление взорвавшейся бомбы. Братья потребовали раздела наследства. Но об этом мать Георгия Иванова и слушать не хотела, заявив им, что воля умершего священна и нарушать ее смертный грех. Произошел скандал, окончившийся разрывом.

Отцу Георгия Иванова, пораженному смертью любимой сестры, это с неба свалившееся богатство, да еще вызвавшее не-

нависть братьев, не принесло радости. Скорее, даже напротив. Все же он, с огорчением покинув свой полк и выйдя в отставку в чине полковника, решил стать образцовым помещиком и принялся хозяйничать в своих имениях.

Зато мать Георгия Иванова была на седьмом небе. Теперь она могла устроить у себя вечный праздник. Что она и не преминула сделать.

Гумилев утверждал, что у поэта обязательно должно быть или очень счастливое или, напротив,— очень несчастное детство, одинаково — по его мнению — открывающее пути в поэзию.

Если это действительно так,— в чем я, впрочем, сомневаюсь,— Георгий Иванов двойным образом был предназначен стать поэтом — детство его было и необычайно счастливым и необычайно несчастным.

Родился он, как я уже говорила, 29 сентября 1894 года и все свои первые годы провел в Студенках. Имение Студенки его отец купил у своего товарища по полку князя Сейн-Вингенштейна по его настойчивой просьбе.

Имение это находилось на границе Польши и подлежало, по вышедшему тогда закону, «отчуждению», то есть могло принадлежать только русскому подданному. Сейн-Вингенштейн, по-видимому, не был русским подданным. Продал он его более чем по сходной цене отцу Георгия Иванова оттого, что не желал, чтобы в его родных, страстно любимых Студенках жили неизвестные ему люди.

Студенки действительно были восхитительны и славились во всей округе своей красотой. Они мало походили на русские имения и казались каким-то чудом, перенесенным сюда из Италии.

Поэт Мицкевич, посетивший их когда-то, посвятил им стихи, начинавшиеся — в русском переводе —

Ева потеряла рай,
Но нашла его снова в Студенках.

В этом «найденном Евою рае» и прошли райские годы детства Георгия Иванова, Юрочки, как его звали. Он был младшим в семье —сестра его Наташа, на пятнадцать лет старше его, главным образом и занималась им, никогда не браня и предоставляя ему абсолютную свободу во всем. Были у него, конечно, и нянька, и учитель, когда он подрос, но и они ничем не докучали ему.

В студенском парке было много прудов, и на самом большом из них остров. Этот остров принадлежал Юрочке. Отец, не чаявший в нем души, не только подарил ему остров, но даже выстроил на нем крепость — Юрочкин Форт.

Было у него и собственное потешное войско из дворовых мальчишек и даже собственный флот — большой игрушечный крейсер, плавающий по пруду.

Был у него и шотландский пони, на котором он, вооруженный пикой с картонным щитом, гарцевал по парку, воображая себя рыцарем.

Мать Георгия Иванова — страстная меломанка, поклонница певцов,— баритонов, а не теноров, что тогда было в моде,— всячески старалась заманить их к себе и гордилась их присутствием, когда это удавалось, и они проводили целые месяцы в Студенках. Особенно часто приезжал Камионский, приводивший Юрочку в восторг арией тореадора.

Гостей, кроме знаменитых баритонов, было очень много. Большинство из них приезжало на все лето. Тут были и друзья по Болгарии, и семьи артиллеристов — сослуживцев отца Юрочки, и приятели и приятельницы старших детей, часто наезжали и офицеры полка, стоявшего в ближайшем городе.

Жили шумно и весело с постоянными выездами, пикниками, фейерверками и домашними концертами. Отец Юрочки, с утра до вечера занятый хозяйством, не принимал участия в этих беспрерывных удовольствиях, но ничем не мешал им.

Жизнь взрослых мало касалась Юрочки. Он проводил время так, как ему хотелось, в полной свободе, без обычных детских обид и огорчений. Так, за обедом и завтраком никто не приказывал ему: «Ешь суп! Ешь шпинат! Не встанешь, пока не съешь!..» Он сидел в конце стола за скрывающей его вазой с пышным букетом и лукулловски пировал, объедаясь тем, чего обыкновенно не дают детям. Подававший за столом лакей был с ним в стачке и накладывал ему огромные порции того, что Юрочка любил, и молча обносил его остальными блюдами.

Такой режим, противоречивший всем правилам детского питания, не мог, казалось бы, не причинить ему вреда. Но Юрочка никогда не хворал. Даже в отношении здоровья судьба — в раннем детстве — была к нему на редкость добра и милостива.

Художественные вкусы развились в нем очень рано. Этому, возможно, способствовала окружавшая его красота — и парка и дома, великолепно, с большим вкусом обставленного Сейн-Вингенштейнами.

На закате, когда взрослые или гуляли, или играли в крокет и дом пустел, Юрочка пробирался в «музейную» гостиную, где стены были сплошь увешаны картинами, усаживался с ногами в большое кресло и начинал наблюдать за тем, как меняются картины, как закатные лучи таинственно преображают их. Сердце его радостно замирало. Он переводил взгляд с одной картины на другую, восхищаясь ими.

Особенно ему нравился — за безудержную яркость красок — экзотический пейзаж с пальмами и пестрыми попугаями. Тогда он еще не знал, что это картина Гогена. Он смотрел на нее не отрываясь, и ему казалось, что пальмы начинают приветливо и ласково махать ему своими длинными, блестящими

листьями и попугаи расправляют крылья, готовясь сорваться с полотна. Вот-вот они сейчас с криком вылетят к нему. Вот-вот сейчас они оживут.

Он ждал их, глядя на них во все глаза. Но веки его тяжелели и в конце концов закрывались. Он засыпал и спал до тех пор, пока лакей, приходивший зажигать керосиновые лампы в гостиной, не находил его свернувшимся калачиком в кресле, не уносил его в детскую и не передавал с рук на руки няне, укладывавшей его в постель.

Иногда, правда, довольно редко, его мать, проснувшись утром, вдруг вспоминала о своем маленьком сыне и посылала горничную за ним, чтобы вместе с ним выпить утренний шоколад, и тут становилась очень ласковой и нежной — «настоящей мамой», сажала его к себе, расчесывала его локоны и, целуя его, со смехом повторяла: «Как это я могла создать такую прелесть?» — Юрочка действительно был очень красивым ребенком — темноглазым, с длинными, золотыми локонами и ярко-красным ротиком. Впоследствии от всей его детской красоты остался лишь ярко-красный рот, ставший к тому же чрезмерно большим и до того ярко-красным, что многим казался подкрашенным.

Повозившись и поиграв с ним, как с куклой, мать вдруг решительно ссаживала его на пол: «Ну, довольно! Беги, Юрочка!» — и, встав с постели, поспешно уходила в сопровождении горничной в соседнюю комнату. Вход в эту комнату был ему раз навсегда строго-настрого запрещен. Оставшись один, он еще долго стоял перед дверью, спрашивая себя, что там происходит? Почему нельзя туда?

Он знал много сказок, в том числе и сказку о Синей Бороде. Ему непременно, как жене Синей Бороды, хотелось побывать там, узнать, что происходит в ней.

И вот однажды, когда все взрослые, в том числе и Наташа, уехали на очередной пикник, он решился на героический шаг — проникнуть в запретную, таинственную комнату. Дрожа и замирая от страха, он взялся за ручку заветной двери. А вдруг она заперта? Но дверь легко поддалась и приоткрылась, и он увидел большую комнату со шкапами и множеством зеркал, отражавших друг друга и наполнявших ее блеском. Больше ничего. Но страх не проходил, а еще сильнее сдавливал его горло. Ему захотелось бежать, но он, превозмогая страх, заставил себя, шепча «Помяни, Господи, Царя Давида и всю кротость его!», войти в нее и остановился в полной растерянности. И вдруг ему показалось, что кто-то толкнул его в спину. Одно из зеркал растворилось перед ним, и он шагнул в него, холодея от ужаса, и пошел по длинному, сияющему коридору. Он чувствовал, что с каждым шагом растворяется в этом сиянии и блеске, что он уже не может вернуться, и все-таки продолжал идти...

Очнулся он только от шума экипажей, возвращавшихся с пикника, и не понимая, что с ним случилось, бросился бежать

вон из комнаты, скатился с лестницы и помчался в глубь парка, где спрятался между цветущими жасминовыми кустами.

Он слышал, как Наташа звала его, но не откликался. И вдруг заплакал, сам не зная отчего. Он чувствовал, что с ним случилось что-то невероятное, но что об этом нельзя никому говорить, даже Наташе. Но если бы об этом и можно было говорить, сказать ему было нечего. Это было и страшно и прекрасно. Но что это было, он не знал. Не помнил. Он вошел в зеркало. А что было дальше?..

Об этом своем детском зеркальном приключении Георгий Иванов рассказал мне уже в Париже, в тот вечер, когда он написал, вернее изустно сочинил, готовя обед, свое стихотворение «Друг друга отражают зеркала».

— Знаешь, это тогда я впервые почувствовал что-то, похожее на вдохновение,— рассказывал он мне,— я лежал на траве и сквозь душистые жасминовые ветки смотрел в небо на звезды и совсем не понимал, что со мной происходит. Сердце мое как-то особенно легко и звонко билось. Мне было грустно и вместе с тем необычайно хорошо. И вот сейчас так ясно вспоминаю все. Точно это было вчера... А тогда, на завтра, все опять пришло в порядок, как будто и не было этого «зеркального приключения». Я его начисто забыл и вспомнил о нем только уже взрослым.

К зеркалам Георгий Иванов относился странно. С опаской, почти враждебно. Проходя мимо зеркала, он отворачивался, не желая увидеть в нем свое отражение.

— Оттого,— объяснял он мне,— что я чаще всего испытываю неприятный шок, когда вижу себя в зеркале с руками, ногами и головой. А мне кажется, что на самом деле я что-то вроде эллипсиса из тумана и не хожу по земле, а плыву в воздухе.

Это смешило меня.

— Одним словом, ты, по Маяковскому,— «не мужчина, а облако в штанах»...

Но эти разговоры происходили уже через много лет. Пока же Юрочка был все тем же счастливым ребенком. Правда, уже очень ненадолго. Это были его последние счастливые годы, а он и не знал. Он ничего не предчувствовал и совсем не слышал тяжелой поступи надвигающегося рока.

Последняя счастливая зима — зимы обитатели Студенок, как и большинство соседних помещиков, проводили в губернском городе — проходила все так же весело и празднично. Балы, приемы, званые обеды следовали один за другим. И на всех них блистала Юрочкина мать. В свободные от выездов и гостей вечера она неустанно посещала оперу, куда часто брала с собой Юрочку, наряженного в черный бархатный костюм с кружевным воротником, на который падали его золотые локоны.

— Берет тебя с собой,— с негодованием говорила ему Наташа,— для декорации, чтобы оттенить свою собственную темнокудрую красоту. Ты молодишь ее.

Наташа уже успела окончить институт и стать, как тогда

говорили, «барышней на выданье». Но мать не только не «вывозила» ее, а, напротив, предпочитала как можно реже появляться с нею в обществе. Она, впрочем, не мешала Наташе веселиться с ее подругами и друзьями, бывать у них, принимать их у себя, и не скупилась на ее наряды.

Юрочка очень любил театр. Ему чрезвычайно нравились оперы и музыка, и то, что поют, а не говорят. Особенно восхитила его опера «Quo Vadis» [1]. О существовании этой оперы я узнала впервые от Георгия Иванова. Она просто потрясла его, хотя он и не мог разобраться в ее содержании. О чем он, вернувшись домой, поведал Наташе. Она тут же пришла ему на помощь, подарив ему роман Сенкевича под тем же названием. Подарила она ему, так как он очень заинтересовался древним Римом, и детскую мифологию. Мифы очаровали его. Он знал наизусть историю всех богов и богинь. Особенно почитал он Юпитера.

Как-то осенним вечером старший брат Володя показывал ему звезды и называл их.

— Запомни, Юрочка, вот эти семь звезд, похожие на ковшик,— Большая Медведица, а это Орион, а эта вот самая сияющая и яркая — Юпитер.

И он понял, что Юпитер перебрался с Олимпа на эту звезду и теперь живет там. Оттого она и называется его именем. Но об этом он никому, даже Наташе, не говорил.

На масленицу состоялся костюмированный бал у предводителя дворянства. Юрочка, наряженный пажом, сопровождал свою мать, изображавшую королеву. Это был его первый выход в свет. Он робел и волновался, неся ее длинный трен [2]. Но все отлично обошлось. Королева и паж имели большой успех.

Так весело и беспечно проходила эта последняя зима. Ничто не предвещало катастрофу. И все-таки она разразилась.

Началось все с пожара. Дом в Студенках загорелся ночью, в бесснежную бурю. Огонь перекинулся на парк, на хозяйственные постройки и конюшни. Все сгорело дотла. С лошадьми. Сгорела и Юрочкина лошадка — его любимый «Конек-Горбунок», недавно подаренный ему взамен пони. Это было его первое настоящее безутешное детское горе.

Так и не удалось установить, был ли это несчастный случай или поджог.

С пожара все началось, рухнуло, понеслось в безудержном вихре крушения и гибели. Удары и беды сыпались непрерывно. Оказалось, что по недосмотру управляющего срок страховки пропущен. Тут же выяснилось, что денежные дела страшно запутаны и находятся в самом плачевном состоянии. Юрочкин отец, по-видимому, не обладал ни хозяйственными, ни деловыми способностями. Несмотря на его энергию и трудолюбие, все его многочисленные предприятия лопались одно за другим, принося большие убытки.

---

[1] «Камо грядеши» *(лат.)*.

[2] Шлейф (от *фр.* traine).

Удары падали на него, как на многострадального Иова, с чисто библейской беспощадностью. Он, совершенно потеряв голову, пустился, в надежде спасти хоть крохи прежнего состояния, в банковские операции без всякого понятия о сложной биржевой игре. И в результате окончательно разорился.

Все это происходило уже в Петербурге, куда он в погоне за спасением переселился с семьей. И здесь счастливейшее детство Юрочки превратилось в невообразимое несчастье.

В Студенки больше не возвращались — ведь жить там было негде. Все пошло вверх дном, закружилось в вихре отчаяния. Мать Юрочки, всегда нарядная, веселая и улыбающаяся, теперь целые дни проводила в своей комнате, откуда выходила только к столу, непричесанная, в халате, с красными заплаканными глазами, жалуясь на мигрень, раздражаясь по всякому поводу. Юрочка, опасаясь ее гневного окрика, боялся шевельнуться при ней.

Наташа, хмурая и озабоченная, мало обращала на него внимание и зубрила латынь, готовясь поступить на высшие курсы.

Отец пропадал с утра и возвращался домой измученный, мрачный и, наскоро поцеловав Юрочку, сейчас же отправлялся спать.

Юрочка бродил по комнатам петербургской квартиры. Ему казалось, что он перенесся из рая в ад. Но он ошибался. Это еще не был ад — ад был еще впереди: отец все больше запутывался в делах, здоровье его пошатнулось, но он продолжал метаться без отдыха, ища выхода. В довершение всех бед его разбил паралич. Случилось это ночью, и Юрочка, спавший в соседней со спальней отца комнате, первый услышал стоны и хрип и бросился к нему.

Это было самое ужасное из всех ужасов, пережитых им. Отца он обожал. Он целыми ночами простаивал на коленях, со слезами молясь за отца. Он был уверен, что Бог услышит его молитвы — и отец его действительно слегка поправился. Он снова мог говорить и, хоть опираясь на палку, ходить. Но теперь он стал тенью самого себя, ни на что уже не способный, ни на что уже не надеющийся, погруженный в свои мрачные мысли. Юрочка, не отходивший от его постели пока он болел, сопровождал его всюду.

И вдруг отец объявил, что уезжает — один. Юрочка умолял позволить ему сопровождать его. Но отец, никогда ему ни в чем не отказывавший, наотрез отказал, как тот ни плакал и ни просил. И даже не позволил ехать провожать его на вокзал.

Прощаясь, он, как всегда перед разлукой, благословил его и обещал скоро вернуться. Но Юрочка, вцепившись в полу его шинели, кричал, захлебываясь от слез:

— Не уезжай, не уезжай, папа! Не пущу! Ты не вернешься, если уедешь!

И все-таки отец, осторожно освободившись, уехал.

А на следующий день пришла телеграмма: отец скоропостиж-

но скончался. Это не поразило Юрочку. Он предчувствовал, что отец не вернется.

О том, как это все происходило, у меня только смутное представление. Георгий Иванов о второй несчастной поре своего детства говорил очень редко и то только ночью в темноте, вскользь, обрывочными фразами, каким-то несвойственным ему, надломленным, глуховатым голосом. Я слушала его и мне казалось, что к нему из темноты протянуты нити, связывающие его с трагическим прошлым, продолжающим мучить его.

В том, что его отец покончил самоубийством, Георгий Иванов признался мне только через много лет после нашей свадьбы. До того он говорил, что его отец умер от второго удара. Тогда же он сказал мне, что его отец застраховался, перед тем как покончить с собой; что он умер, чтобы обеспечить семью, и, симулируя несчастный случай, выбросился из поезда на ходу.

О том, когда и как он это узнал, я никогда не спрашивала...

Получив телеграмму о смерти отца, мать и Наташа в тот же вечер выехали на похороны. Юрочка даже не просил взять его с собой. Его оставили на попечение старой прислуги, непременно пожелавшей самой уложить его спать.

Когда она наконец, плача и причитая, ушла, он встал с постели, широко открыл окно и придвинул к нему стул. Он сидел перед открытым окном, глубоко вдыхая ледяной воздух, смотрел на звезды и молился.

Но не Богу, нет. Ведь Бог не услышал его молитв. Нет, он молился Юпитеру. Юпитер сделает все, что надо: Юпитер поможет ему!

Скоро, скоро он будет с папой. Без него он не хочет, не может жить. Юпитер — добрый, Юпитер поможет. Он с мольбой и надеждой смотрел на звезды, стараясь найти среди них Юпитер. Но в тот августовский вечер, когда Володя показал ему Юпитер, небо было ясным и звезды отчетливо сияли на нем, а теперь их скрывал морозный туман; их почти нельзя было разглядеть. Но он верил, он знал — Юпитер услышит и соединит его с папой.

Холода он не чувствовал, все повторял:

— Помоги, помоги, Юпитер!

Так, босой, в одной ночной рубашке, он просидел до рассвета перед открытым окном, и только когда небо посветлело и звезды совсем исчезли, он с трудом встал, окоченевший, застывший, и лег в постель. Закрыть окно уже не было сил. И к чему? Ведь он сейчас умрет и улетит в открытое окно. Надо только поглубже вздохнуть еще раз, и душа его оборвет тоненькую ниточку, привязывающую ее к телу — и он полетит прямо к папе. Вот так! Вздохнуть глубоко, и ниточка оборвется...

Больше он ничего не помнил. Пришел он в себя много дней и ночей спустя и заплакал — понял, что он не умер. Вокруг него хлопотали и мать, и Наташа, и доктор, и прислуга. Все они улыбались и радовались. Он с отвращением закрыл глаза, чтобы не видеть их, и снова погрузился в темноту, в беспамятство.

Через несколько часов, или несколько дней, он очнулся вторично. Но теперь совсем иначе. Он чувствовал себя необычайно хорошо. Лежать было очень приятно. Он с радостью открыл глаза, улыбнулся доктору и спросил наклонившуюся над ним Наташу:

— Я не умру?

То, что он не умер, доставляло ему теперь большое удовольствие, как и все, что происходило кругом. Он смотрел на все новыми глазами.

Он как будто забыл, что он хотел умереть, забыл, почему хотел умереть. Прошлое отошло далеко и не мешало жить.

Он быстро поправился, казалось, что теперь он совсем другой и новый. Глядя в зеркало, он не узнавал себя — вытянувшегося, тощего, с круглой стриженой темноволосой головой. Ему казалось, что он не прежний Юрочка, а новый Юра, что Юрочка умер в ту ночь, а место его занял Юра.

— Знаешь,— говорил мне Георгий Иванов,— я уверен, что если бы у меня не было тогда воспаления легких, я бы не перенес смерти отца. Я бы зачах от горя, от тоски по нем. Меня спасло то, что я сам чуть не умер, что жизнь во мне переборола смерть. Я смог снова жить и, когда я совсем поправился и меня отдали в корпус, стать обыкновенным мальчиком-кадетом.

Так кончилось его детство и началось отрочество.

С первого дня поступления в корпус Георгий Иванов — Юра, как его теперь звали,— почувствовал себя в нем очень хорошо. Он сразу сошелся с товарищами и был принят ими как свой, что редко кому удавалось. Обычно «новичку», не говоря уже о разлуке с родными, приходилось в первые дни терпеть немало огорчений, неприятностей и обид, пока он наконец не «приспосабливался» к условиям корпусной жизни и не был принят, как равный, товарищами.

Но Юру все сразу полюбили, и одноклассники, и воспитатель. И он сразу полюбил всех.

Казалось, он, выросший на полной свободе, должен был бы тяготиться дисциплиной и кадетской муштрой, но он сразу почувствовал себя в корпусе дома. Корпус на много лет стал его настоящим домом, его настоящей семьей. Он по субботам, уходя в отпуск, покидал его не без сожаления и с радостью возвращался в него в воскресенье вечером. Для него быть оставленным без отпуска — за шалости и проказы — было не наказанием, как для его товарищей-петербуржцев, а наградой.

Правда, его отпуска не приносили ему удовольствия. Мать и Наташа, ставшая курсисткой, переехали в новую комфортабельно обставленную квартиру и зажили в ней, не мешая друг другу — мать, как в былые времена, элегантная и моложавая, опять ездила в оперу и в гости. Все как будто наладилось без осложнений к общему благополучию.

Но Юра чувствовал себя в этой новой квартире чужим. И мать и Наташа считали нужным, отказавшись от своих обыч-

ных выходов, проводить весь его отпуск с ним, стараясь создать «семейный уют», что им совсем не удавалось. К тому же они все еще называли его Юрочка и обращались с ним, как с маленьким. Время тянулось томительно медленно и скучно. Иногда — не очень часто — Наташа водила его в кинематограф на комические фильмы. К Глупышкину и Максу Линдеру Юра был равнодушен, хотя они все же, хоть отчасти, скрашивали его отпуск.

Но его отпуска стали еще неприглядее, когда Наташа решила закончить свое образование в Швейцарии и перебралась туда, а мать, не переносившая одиночества, стала разъезжать по своим иногородним друзьям, поручив Юру своей кузине Варваре, жене егермейстера Малама. Та взялась за порученное ей дело со свойственными ей энергией, авторитетностью и чувством ответственности, обнаружив при этом педагогические наклонности, не находившие прежде — она была бездетной — применения.

Тетя Варя, как он ее звал, строго следила за ним. Она, чего не делали ни его мать, ни Наташа, стала ездить в корпус, не пропуская ни одного приема, познакомилась, интересуясь его школьными успехами и неуспехами, с его учителями и воспитателем, относившимися к ней с глубоким почтением.

Юра терпеть не мог и стыдился ее посещений, обставленных с театральной пышностью, вызывавшей в корпусе своего рода сенсацию — она приезжала неизменно в дворцовой карете и «шествовала» в актовый зал. За ней шагал слуга в ливрее, несший кульки с фруктами и сладостями. Юра, сидя рядом с ней, проводил мучительнейший час, до ее столь же пышного отбытия.

Жила она вместе с мужем-егермейстером в доме Министерства внутренних дел, на Моховой, где ему приходилось теперь проводить свой отпуск. Она уже с нетерпением ждала его — опаздывать не полагалось — и сейчас же начинала донимать его расспросами и поучениями. После чего засаживалась с ним за урок английского языка. «Знание английского языка необходимо порядочному человеку,— повторяла она постоянно.— Я твоя тетя и желаю тебе добра. Не ленись».

Но все ее усилия не привели ровно ни к чему. Говорить по-английски он так и не научился.

Время у Малама тянулось для него еще более скучно и медленно, чем у матери. К чаю обыкновенно являлся в домашних ковровых туфлях живший с Малама на той же площадке министр Щегловитов. Он трепал Юру по плечу и, задав ему все тот же вопрос: «Ну как, сын Марса? Финансы поют романсы?» — засовывал ему трехрублевку в карман.

Эта необычайная щедрость и ласковость к чужому мальчику, когда Георгий Иванов рассказал мне о ней,— удивила меня. Я знала от моего двоюродного брата-правоведа, жившего вместе с сыном министра, что к своему собственному сыну Щегловитов был не только страшно строг, но просто жесток.

У Малама жила двоюродная бабушка Юры, очаровательная тоненькая старушка, голубоглазая и беленькая, похожая на

фарфоровую статуэтку. Она была совершенно слепая и не выходила из своих двух комнат, в которых за тонкой проволочной решеткой пели и летали десятки канареек. При ней неотлучно находился маленький казачок, читавший ей «Новое время» — от доски до доски — вряд ли понимая хоть что-нибудь.

Она, сидя в большом кресле, мечтательно устремив невидящие голубые глаза на заливавшихся канареек, слушала его не перебивая, но тоже вряд ли понимала, что он ей читал.

Юре полагалось на время пребывания у Малама ежедневно «свидетельствовать ей свое почтение». Она принимала его улыбаясь, ласково гладила по лицу своими тоненькими пальчиками, называя его «мой милый внучок Юрочка». Но что друг другу сказать — ни он, ни она не находили. И он, покрутившись немного вокруг нее, оглушенный трелями канареек, целовал ее руки и, произнося, как его научила тетя Варя, «честь имею кланяться, бабушка»,— покидал ее.

Кстати, история этой его бабушки, как, впрочем, и всех почти членов его семьи, была необычайна и любопытна. Ее Георгий Иванов рассказал в одной из тетрадей «Возрождения» в 1951 году под заглавием «Из семейной хроники».

По воскресеньям у Варвары Васильевны бывали журфиксы. На них, чтобы научиться вести себя в обществе и приобрести светский лоск,— полагалось присутствовать и Юре, хотя он предпочел бы ждать часа, когда наконец можно будет вернуться к себе в Корпус, читать Ната Пинкертона.

Но по воскресеньям наступали и приятные минуты, когда Варвара Васильевна, занятая надзором за приготовлением к приему, посылала его в кондитерскую Крафта за шоколадом, лучшим в Петербурге. У Крафта, зная, что этот кадетик — племянник егермейстера Малама, любезно встречали его и закармливали шоколадом, заставляя попробовать все разнообразные сорта. Он жалел только, что не может, вместо того чтобы все съедать здесь, взять этот шоколад с собой для товарищей.

На журфиксах бывало множество гостей. Иногда, не слишком часто, приходила и молодая жена министра Щегловитова — его вторая жена, урожденная Хренова. Юру, знавшего, что она живет в том же доме, на том же этаже, удивляло, что она всегда в шляпе, в перчатках, и даже в собольей накидке. Иногда, тоже не очень часто, появлялись и блестящие племянники Малама, молодые конногвардейцы, если не ошибаюсь. Они принадлежали к высшим кругам, близким ко двору, к «камарилии». Юра заметил, что тетя Варя очень гордится их посещением. Раз или два появлялся здесь и Феликс Юсупов, поразивший Юру своей необычайной красотой и очарованием, окружавшим его, как аура.

Наулыбавшись — keep smiling! [1] — учила его тетка, зорко следившая за ним,— накланявшись и наскучавшись сверх меры,

---

[1] сохраняй улыбку! *(англ.)*

Юра наконец с облегчением возвращался к себе в корпус — домой.

Но и в корпусе не все нравилось Юре — ведь и «на солнце есть пятна». Пятнами на солнце были для него школьные занятия.

Юра, по определению своего воспитателя, был «сорви-головой, живой, как ртуть, главный коновод шалостей, способный, но ленивый и рассеянный ученик». Учился он плохо, считая уроки неизбежным злом. Учился прилежно только тому, что интересовало и увлекало его.

За свои школьные годы он пережил три главных увлечения.

Первое его увлечение было рисование. Он так хорошо рисовал в младших классах, что учитель рисования стал считать его будущим художником, давать ему частные уроки и вести с ним разговоры о живописи.

Тогда же, по Юриной настойчивой просьбе, Наташа подарила ему «Историю искусства» Грабаря, которую он досконально изучил.

Георгий Иванов, вспоминая те дни, когда он просто бредил живописью, рассказывал мне, что он постоянно, глядя на какой-нибудь пейзаж или на каких-нибудь людей, представлял их себе картинами в рамах.

За увлечением живописью неизвестно почему последовало увлечение химией. Ей он, совершенно забросив живопись, предался с такой страстностью и успехом, что учитель химии даже разрешил ему производить опыты и доверил ключ от химического кабинета. Попутно с химией Юра заинтересовался фотографией и даже изобрел какую-то треножную подставку для фотографического аппарата. Его «изобретение» оказалось настолько дельным, что о нем с рисунком треножника появилась в фотографическом журнальчике, издаваемом при магазине Доциара, статья, подписанная «Георгий Иванов», прославившая его среди одноклассников.

— Так я сразу с первого появления в печати стал знаменит,— говорил шутя Георгий Иванов.

Как-то, уже в Париже, в разговоре с Марком Александровичем Алдановым, химиком по образованию, Георгий Иванов неожиданно обнаружил знание химии, поразившее Алданова, и тот воскликнул:

— Георгий Владимирович, отчего вы скрываете, что вы, как и я, химик? Разве это, по-вашему, позорит поэта или писателя?

Георгий Иванов смеясь объяснил ему, что свои химические познания он приобрел в четырнадцатилетнем возрасте кадетом и с тех пор почти все успел перезабыть и стать абсолютно чуждым химии. Но как он ни уверял Алданова в этом, тот так и не поверил ему и, разведя руками, со своей обычной преувеличенной вежливостью заявил:

— Не смею спорить! Но простите, не верю,— и помолчав: —

Пусть будет по-вашему, хотя мне и обидно за химию. Напрасно вы, Георгий Владимирович, отрекаетесь от нее.

Химические опыты Юры, которые он продолжал производить, чуть не кончились бедой. Было это во время рождественских каникул, проводимых им у Наташи, ненадолго вернувшейся из Швейцарии. Его увлечение химией достигло тогда своего высшего расцвета. Ничего, кроме нее, его не интересовало, и он скучал и томился от невозможности производить опыты в химическом кабинете. И вот в сочельник, когда Наташа после завтрака отправилась покупать елочные украшения, он, оставшись один, решил, не теряя времени, заняться приготовлением «царской водки» — якобы растворяющей даже золото и платину. Он хотел попробовать, правда ли это, на своем крестильном крестике.

Пробравшись в Наташину спальню, он расставил на ее туалете принесенные с собою на всякий случай колбы и начал переливать и подогревать какие-то жидкости. Все шло отлично, как вдруг произошел взрыв, зеркало с треском лопнуло, колбы опрокинулись, проливая на ковер жидкость, с шипением прожигавшую его. Юра в отчаянии смотрел на разгром — ведь Наташа так любит свой туалет, так радовалась, купив его и этот персидский ковер. Хороший подарок он ей преподнес к Рождеству. Ему захотелось бежать из дому неизвестно куда. Но тут он столкнулся в прихожей с вернувшейся Наташей. Схватив ее за рукав шубы, он потащил ее, не помня себя от отчаяния, в ее спальню, крича:

— Прости, прости. Это я сделал. Я хотел приготовить царскую водку. Колба взорвалась...

Услыхав, что он приготовлял царскую водку, она пришла в ужас.

— Ведь это страшный яд, ты мог ослепнуть, тебя могло изуродовать на всю жизнь, тебя могло убить! — плача от волнения, все повторяла она, будто он спасся от неминуемой гибели.— Слава Богу, что все благополучно кончилось, слава Богу!

Ни тогда, ни после она не упрекнула его за произведенный разгром и даже не напомнила ему о нем.

Все же по окончании рождественских каникул она — в чем призналась ему только много лет спустя — поехала в корпус, познакомилась с его учителем химии, рассказала ему о случившемся и потребовала, чтобы он отнял у Юры ключ от химического кабинета, скрыв от него ее посещение. Выслушав ее, учитель побледнел и схватился за голову:

— Какой же я идиот! Я совсем забыл, что он еще неразумный ребенок — ведь он мог взорвать весь корпус! По моей вине. До чего я вам благодарен, что вы мне открыли глаза. По гроб жизни благодарен!

Вернув ключ учителю, потребовавшему его под предлогом ремонта химического кабинета, Юра продолжал еще некоторое время интересоваться химией, пока новое — третье увлечение, еще более сильное и пламенное, чем два предыдущих,— не заставило его навсегда расстаться с химией и забыть о ней.

Этим третьим и последним увлечением была поэзия. Никакое другое уже не сменило его. Поэзии он «по гроб жизни» не изменял.

Что вызвало охлаждение Георгия Иванова к химии — мне неизвестно. Но о том, как началось его увлечение поэзией, он мне рассказывал не раз.

Случилось это так: в тот памятный для него вечер он, как всегда, носился с товарищами по длинным коридорам, пока не наступил час приготовления уроков. Еще разгоряченный беготней, он неохотно взялся за учебники. Решив алгебраическую задачу — что в тот вечер ему удалось без труда,— он, морщась, открыл хрестоматию — на завтра надо было выучить наизусть «Выхожу один я на дорогу».

Георгий Иванов учился плохо, но учитель русского языка считал его одним из лучших — если не лучшим своим учеником. Он отлично писал сочинения (их часто читали перед классом) и был совершенно грамотен с самого поступления в корпус. Но он был неспособен запомнить стихи, и без помощи товарищей, ловко ему подсказывавших, не мог ни одного стихотворения прочесть наизусть.

Дело тут было не в отсутствии памяти — память у него была отличная,— а в том, что он не умел сосредоточиться, мысли его разлетались во все стороны, и он не знал, как с ними справиться. Зажмурившись и заткнув пальцами уши, он зубрил, повторяя все то же, и никак не мог ничего запомнить. Так было и на этот раз. Безрезультатно промучившись минут десять, он захлопнул хрестоматию и взялся за географию. Она легко давалась ему. Он представлял себе, что путешествует по городам, морям и океанам, как альпинист, поднимается на вершины гор или едет, как бедуин, на верблюде по пустыням. Благодаря этому, имена гор, океанов, пустынь и т. д. запоминались сами собой. То, что он опять не выучил стихов, его не беспокоило — его недавно вызывали,— вряд ли вызовут завтра. И вечер, как всегда, кончился приятно и весело.

Ночью, чего с ним почти никогда не случалось,— он проснулся. Проснулся в каком-то необычайном волнении, не понимая, что с ним происходит. В темноте, и в какой-то особой насторожившейся тишине, смутно белели ряды кроватей. И вдруг над его ухом чей-то голос громко и певуче произнес:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом,—

и ему показалось, что потолок раздвинулся, и он увидел, действительно увидел, как

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом.

Это было так прекрасно, его охватило такое чувство блаженства, что он боялся пошевелиться или передохнуть. Прижав руки к груди, не отрываясь, смотрел он на эту еще никогда не виданную землю и на голубое сиянье, в котором она спала. Все это было совсем непохоже на реальность, а принадлежало другому миру, миру поэзии, вдруг открывшемуся перед ним.

А тот же голос над его ухом все продолжал звучать:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Он жадно слушал. О, только бы голос не умолкал!

И вдруг он понял, что это его собственный голос произносит те стихи, которые он сегодня напрасно старался запомнить и которые теперь пели в его голове, в его груди.

Сердце его громко забилось, он, изнемогая от восторга, закрыл глаза, и ему показалось, что он летит в небо.

Его, как всегда, разбудила труба. Он лежал, не понимая, где он, и, вспомнив, натянул на голову одеяло, чтобы как можно дольше не возвращаться в это шумное, школьное утро.

С этой ночи началось его увлечение поэзией. Чтение стихов стало его главным занятием. Он даже отказывался от «ледовых побоищ». Когда в большую перемену весь класс с криками выбегал во двор играть в снежки, он, сев где-нибудь в уголке, погружался в принесенный с собой том стихов.

Теперь под подушку он вечером клал уже не учебник с невыученным уроком, а стихи, чтобы ночью видеть их во сне.

У него — и это бесконечно радовало его — неожиданно открылся «чудесный песенный дар». Он и прежде легко рифмовал и мог экспромтом говорить рифмованно и ритмично. Сочинял он и для «Кадетского журнала» всякие пародии и сатирические вирши, помещаемые в их журнале, всегда на почетном месте. Но все это — он сам понимал — никак не относилось к поэзии, а делалось шутя, на потеху товарищей. Теперь же сочинение стихов глубоко потрясло его и стало для него «делом его жизни». Он, ни с кем об этом не советуясь, решил стать поэтом. Решил твердо, бесповоротно. И начал готовиться к этому «делу своей жизни».

Прежде он никогда не задумывался, кем будет, когда станет взрослым. Военная карьера, о которой мечтало большинство его товарищей, не прельщала его. Он жил день изо дня и строил планы только на ближайшее время. А что будет дальше, его мало интересовало. Теперь же он стал тяготиться кадетской муштрой и с нетерпением ждал дня, когда он наконец сбросит кадетский мундир и станет поэтом. То, что ему из-за этого придется выдержать ряд сражений с матерью и особенно с Наташей, его не пугало. Никто и ничто не могло поколебать его решения.

Не знаю, каким образом ему удалось познакомиться с Георгием Чулковым, основателем «мистического анархизма».

По всей вероятности, Георгий Иванов сам в какой-то день отпуска, набравшись храбрости, решился пойти к нему. Почему он выбрал именно Георгия Чулкова, а не Бальмонта или Блока, мне неизвестно. Впрочем, возможно, что он побывал и у них. В те годы молодые «кандидаты» в поэты постоянно осаждали знаменитых поэтов, порядком надоедая им. Но «мистический анархист» Чулков отнесся к Георгию Иванову не только доброжелательно, а просто с энтузиазмом и пришел в восторг от его стихов, находя в них «чисто пушкинскую гармонию и прозрачность».

Эти неумеренные восторги не вскружили ему голову, как и уверения, что он будущий Пушкин, они скорее смешили его. О том, что во II Корпусе появился «будущий Пушкин», Чулков в порыве анархо-мистического восторга сообщил и Гумилеву, отнесшемуся к этому сенсационному известию без всякого любопытства.

Георгия Иванова в литературоведческих изданиях принято называть учеником Гумилева. Но на самом деле он им никогда не был, как, впрочем, никогда не был ничьим учеником. В поэзии он был самоучкой. Он вполне самостоятельно изучил ее.

Знакомство его с Гумилевым произошло много позже, когда, уже успев побывать эгофутуристом и выпустить свой первый сборник «Отплытие на остров Цитеру», он без баллотировки был приглашен в Цех поэтов.

Став членом Цеха поэтов, он почувствовал себя не только настоящим поэтом, но и совершенно взрослым, как он утверждал.

Но мне казалось, да и теперь еще кажется, что все же по-настоящему взрослым он так до самой смерти и не стал.

Не помню, кто из французских поэтов задал вопрос: «Peut-on jamais giérir de son enfance?» [1] Конечно, многим это удается: дельцам, политическим деятелям, чиновникам и тому подобным; но поэты, и тем более русские поэты, часто так и не могут выздороветь, освободиться от детства. Не мог освободиться от него и Георгий Иванов.

Я нарочно так подробно остановилась на его детстве. Оно продолжало присутствовать в его взрослой жизни. Им объясняются многие противоречивые черты его характера. Это подспудное присутствие детства помогает, по-моему, хоть отчасти понять всю «непонятность» Георгия Иванова.

О том, чтобы стать членом Цеха поэтов, Георгий Иванов и мечтать не смел. И когда он нежданно-негаданно получил письмо от «самого синдика» Цеха поэтов, извещающее его, что он зачислен в члены без баллотировки, и приглашающее явиться в «Бродячую собаку» для знакомства, он просто ошалел от восторга.

---

[1] Можно ли когда-нибудь вылечиться от детства? *(фр.)*

Восторг этот принял гиперболические размеры и выразился в том, что он стал носиться по всей Наташиной квартире, хлопая оглушительно дверями, вскакивая на кресла и перепрыгивая с одного на другое. За ним бегала, стараясь его успокоить, испуганная Наташа, повторяя:

— Перестань, Юрочка! Перестань! Спину сломаешь!

Но он, не обращая на нее внимания, все продолжал неистовствовать, не зная, что еще сделать, чтобы освободиться от с ума сводившего его восторга и радости.

Когда много лет спустя мы с ним вместе смотрели фильм Чарли Чаплина, глядя на то, как Чаплин в пароксизме счастья выпускает пух из подушек, он взволнованно схватил меня за руку:

— Вот так! Совсем так и я, когда узнал, что я член Цеха. Только мне хотелось тогда не пух из подушек выпустить, а запустить в зеркало и перебить всю посуду. Но я все же не решился, из-за Наташи.

В тот же вечер он мне подробно рассказал об этом «сверхъестественном событии» и о первых своих шагах в Цехе поэтов.

Георгий Иванов в то время уже не был новичком в поэзии. Он даже успел «удостоиться высокой чести» быть одним из трех «директоров» «Директората» эгофутуризма, основанного Игорем Северяниным. Двумя другими «директорами» были: Константин Олимпов, полупомешанный, полуталантливый сын Фофанова, и Грааль Арельский — вечный студент Степан Петров, взявший по настоянию Игоря Северянина этот пышный псевдоним — вполне нормальный и вполне бесталанный. Северянин советовал и Георгию Иванову сменить свою «невозможную» для поэта фамилию на «Цитерский» и стать Георгием Цитерским, на что тот не согласился.

Быстрая карьера, сделанная им у эгофутуристов, не могла не льстить ему, но все же не вполне удовлетворяла. Все это, хотя и забавляло Георгия Иванова, не казалось ему серьезным. Он совсем не разделял взглядов Северянина на поэзию и не чувствовал склонности к эгофутуризму, не шедшему ни в какое сравнение с акмеизмом Гумилева.

Свидание «для знакомства», назначенное Гумилевым в субботу на той же неделе, должно было произойти в «Бродячей собаке». В ней Георгий Иванов никогда еще не бывал. Ему, как «директору» эгофутуристического «Директората», ходить туда не полагалось. Там, по мнению главы эгофутуристов, собирались враги, там царил Гумилев со своим презренным штабом — Цехом поэтов, по мнению Северянина, сплошь состоявшим из «обнаглевшей бездари». «Бродячая собака» была табу. Но с этим Георгию Иванову и в голову не пришло считаться.

Оставшиеся до субботы три дня Георгий Иванов не ел, не пил и не спал от страха, что не произведет должного впечатления, «провалится на экзамене» — ведь его позвали «познако-

миться», то есть на смотрины — и всемогущий Гумилев еще может вычеркнуть его из списка членов Цеха.

И вот наконец наступила суббота. С утра его мучил вопрос — какой галстук надеть. Конечно, не эгофутуристический бант, а синий в белые горошки, галстук-бабочкой, что тогда считалось верхом элегантности, или темный, длинный, придававший ему хоть некоторую солидность.

Остановившись на длинном галстуке, он «облачился» в свой синий, свежевыглаженный костюм. Тут выбирать не пришлось: костюм был единственный, сшитый ему по выходе из корпуса. Убедившись лишний раз, проведя рукой по подбородку, что бриться ему все еще незачем, он, покрутившись перед зеркалом и оставшись крайне недовольным своим непоправимо мальчишеским видом, в восемь часов вечера отправился в «Бродячую собаку».

«Страж врат» «Собаки», зорко следивший за тем, чтобы ни один безпропускной буржуй не проник в это «святилище», задал ему ритуальный вопрос: «На каком основании?» Георгий Иванов с гордостью протянул ему гумилевское письмо, и тот, узнав почерк Гумилева, молча отступил в сторону, разрешая ему войти.

«Собака» была почти пуста. Осмотрев всех присутствующих и убедившись, что Гумилева нет, он, как и полагается тут, в буфетной, сам раздобыл себе рюмку вина и сел с нею напротив входной двери. Томительно щемящее волнение, мучившее его все эти дни, продолжало терзать его и даже увеличивалось. «Собака» была совсем как ему описывали — точь-в-точь такая — и подвал, и расписные стены, столы без скатертей и скамьи. Но если бы даже она была совершенно иной, он так волновался, что едва ли заметил бы это.

Дверь беспрерывно открывалась, впуская все новых посетителей. Вот вошел Кузмин с Судейкиным, вот балетный танцор Бобочка Романов, вот актеры Ходотов и Юрьев, вот какие-то буржуи во фраках и дамы в бальных платьях. Но он не разглядывал их, весь охваченный томительным ожиданием. Время тянулось, вернее ползло, невообразимо медленно. На эстраде что-то происходило. Борис Пронин, его он знал с виду, как всегда, надрываясь и клокоча, шумно и радостно приветствовал входящих.

Кто-то звонко запел гимн «Бродячей собаки»:

На втором дворе подвал,
В нем приют собачий.
Каждый, кто в него попал,
Просто пес бродячий...

Его с энтузиазмом подхватил разноголосый нестройный хор. Но Георгий Иванов не присоединился к нему, хотя знал слова «Собачьего гимна» — в Петербурге многие, побывавшие в «Собаке», распевали его.

Гром аплодисментов. За роялем сам себе аккомпанирующий Кузмин. Стекла его пенсне поблескивают. Огромные подведенные глаза закатываются. Слегка заикаясь, он заливается сладостно и упоенно:

Ди-ли-ли-тя, не тянися весною за розой!..

Но Георгий Иванов не слушает заикающегося «соловья», как его прозвал Сологуб. Теперь «Собака» переполнена, до отказа набита — «яблоку упасть негде». Часы показывают двенадцать. Значит, Гумилев не приедет, занят чем-то другим. Что с того, что назначил встречу Георгию Иванову. Подумаешь какой важный гусь! Станет Гумилев с ним считаться!

Но что дальше делать? Ехать домой или ждать — напрасно ждать, потеряв всякую надежду — до закрытия «Собаки»?

А потом что? Ждать нового письма или просто явиться на очередное заседание Цеха, узнав у Кузмина, когда и у кого из членов Цеха оно на этот раз состоится? Да, это, пожалуй, лучше всего. Он встал, оставив свою так и не выпитую рюмку на столе, и пустился, работая локтями, на поиски Кузмина.

В эту самую минуту дверь растворилась перед вступавшими в «Собаку» Гумилевым и Ахматовой. Гумилев держался удивительно прямо и важно. Ахматова будто сошла с портрета Натана Альтмана. Голубое, декольтированное платье шло ей. Она была без знаменитой, легендарной, «ложно-классической» шали, воспетой столькими поэтами: ее тогда еще не существовало. «Ложно-классическая шаль» — большой бабий платок, набивной, черный в красные розы, был вскоре после этого куплен для нее Гумилевым за три рубля в кустарном магазине. Лучшего подарка он сделать ей не мог. Платок этот чудесно преобразил ее, придав ей почти царственную величавость.

В «Собаке» появление Гумилева и Ахматовой произвело своего рода сенсацию. Перед ними, как по щучьему велению, мгновенно освободился стол, за которым какие-то буржуи распивали шампанское. Даже электрический свет ярче, казалось, загорелся в накуренном воздухе. Со всех сторон к ним ринулись поэты и непоэты, окружив их стол кольцом.

Увидев Гумилева и Ахматову, Георгий Иванов застыл на месте. Ему вдруг захотелось скрыться в толпе, бежать отсюда. Нет, он никогда не посмеет подойти и представиться Гумилеву. Он не сводил с него глаз, не замечая, что загораживает дорогу в буфетную и что его нещадно толкают.

С трудом справившись с собой, он наконец, сгорая от смущения, подошел к Гумилеву и представился. Гумилев, вскинув голову, внимательно уставился на него своим косоглазым взглядом и вдруг рассмеялся и свистнул:

— Я знал, что вы молоды, но все же не думал, что до того!

Георгий Иванов совсем растерялся. Но тут Ахматова протянула ему с улыбкой, как спасательный круг, свою узкую руку.

— Не робейте, не смущайтесь. Это так быстро проходит. И как это грустно. Ведь юность лучшее время жизни. Потом, знаю по опыту, жалеть будете. А сейчас садитесь рядом со мной и не смущайтесь.

Георгий Иванов благодарно поцеловал ее надушенные пальцы, и, еще не оправившись от смущения, сел на кем-то любезно уступленный ему стул, рядом с ней.

После этого все сразу стало чудесно и он сам — невероятно счастливым. Он сидел рядом с Ахматовой, отвечал на вопросы Гумилева, знакомился с членами Цеха, его поздравляли, за него, нового члена Цеха, пили, чокаясь с ним. Он ел «собачьи битки», коронное блюдо «Собаки», пил вино, коньяк и черный кофе, но все было как в волшебном сне, все тонуло в каком-то сияющем тумане.

Когда на рассвете он, исходя блаженством и усталостью, возвращался домой на извозчике, ему смутно казалось, что счастливее, чем сейчас, он никогда в жизни не будет, счастливее быть нельзя. Но что и дальше все будет великолепно.

И действительно, все пошло великолепно. На Наташу,— она и сама была не чужда литературных интересов и стремлений,— его принятие в Цех произвело настолько сильное впечатление, что она сняла ему за 40 рублей у какого-то отставного полковника комнату. Она требовала только, чтобы он ежедневно приходил к ней обедать, за что, впрочем, он тут же получал рубль. Вначале он аккуратно являлся за своим рублем, хотя эти «семейные визиты» и нарушали распорядок его дня, и тяготили его, но вскоре он перестал нуждаться в этом рубле и зажил вполне самостоятельно, печатаясь в «Аполлоне» и всевозможных журналах и газетах. Их до войны 1914 года выходило великое множество. Алексей Суворин, редактор «Нового времени», неожиданно предложил ему ошеломляющий контракт: стать постоянным сотрудником «Нового времени» с окладом в шесть тысяч в год и построчным гонораром.

— Только посоветуйтесь, прежде чем соглашаться, с Гумилевым и вашими друзьями,— прибавил он.— Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали сотрудником «Нового времени», но я не хочу вредить вашей литературной карьере.

В тот же вечер Георгий Иванов сообщил Гумилеву о своей невероятной удаче. Но Гумилев замахал на него руками.

— С ума ты спятил, Жоржик. Беги скорей, откажись! Ведь ты навсегда опозоришь себя — нигде тебя ни печатать, ни принимать не будут. Крышка!

И на следующий день Георгий Иванов отправился к Алексею Суворину. Тот, взглянув на него, сразу понял, в чем дело.

— Я так и знал,— воскликнул он.— Не огорчайтесь, ничего другого ждать нельзя было. Для левой общественности вы бы стали «нововременским молодцом», чем-то вроде прокаженного.

Во время войны Георгий Иванов, словчившийся благодаря связям не поступить в армию, стал «фабриковать», по его же

определению, «военные стихи», и даже процвел на этом поприще. Писал он их очень много, благо на них был всюду большой спрос. В «Лукоморье», издаваемом Алексеем Сувориным, но благодаря охватившему всех патриотизму не считавшемуся позорным, он печатал стихи не только под своим именем, но и под псевдонимом, и ему, к тому же, охотно давали большие авансы. Как-то редакторшу «Лукоморья», фамилию ее я забыла, спросили: «Почему у вас нет Блока?» — Блок был чуть ли не единственным петербургским поэтом, никогда не печатавшимся в «Лукоморье».— Она развела руками: «Ну на что Блок? Ведь у нас имеется Георгий Иванов».

Георгий Иванов женился не то в 1915, не то в 1916 году, женился зря, по глупости, на милой французской девушке далькрозистке, соученице Тани Адамович. Инициатором этого брака был Георгий Адамович, построивший нелепый план: его сестра Таня была подругой Гумилева, и он решил, что если Георгий Иванов женится на Габриэль, то Гумилев разведется с Ахматовой и женится на Тане. Непонятно, как ему могла прийти в голову такая глупость, но как бы там ни было, он сумел уговорить Георгия Иванова. Он имел на него большое влияние и убедил, что женитьба придаст ему солидность, которой ему не хватало. Георгий Иванов женился, и у него родилась дочь.

Конечно, он вскоре понял все безумие своего поступка и облегченно вздохнул, когда Габриэль с отцом и маленькой дочерью уехали во Францию. Перед отъездом, чтобы восстановить свое французское гражданство, ей пришлось разводиться с Георгием Ивановым. Так, без драм и скандалов и кончился этот неправдоподобный брак. Но я об этой истории узнала только потом, когда я выходила замуж за Георгия Иванова, я знала только, что он разведен.

В ноябре 1920 года Гумилев восстановил Цех поэтов под названием «Второй цех поэтов». Членом этого «Второго цеха» стала и я. Это окончательно укрепило мою «поэтическую позицию», придав мне нужный вес и серьезность. «Член Цеха поэтов» звучало как чин или титул и вызывало уважение. К тому же, что, по мнению Гумилева, должно было мне льстить, я была единственным «женским элементом» «Второго цеха поэтов».

В тот свой последний год Гумилев жил какой-то утроенной жизнью и развивал, как он сам определил, громокипящую динамику, «попирая скудные законы бытия». Он и прежде был очень энергичен, но теперь стал просто фантастически активен: ежедневные лекции и заседания, всевозможные выступления на литературных вечерах, занятия с молодыми поэтами в Студии и в «Звучащей раковине», поездки в Москву, плавание с Неймицем и т. д. и т. д. Кроме этого, он делал переводы, писал критические статьи и стихи и подготовил к печати книгу.

— Просто удивительно,— говорил он не без самодовольства,— откуда у меня столько сил? Кто кроме меня вынес бы та-

кую «трудовую нагрузку»? А я даже не чувствую усталости и великолепно поживаю.

Он как будто предчувствовал, что ему остается «до смерти четыре шага» и надо торопиться, не пропускать ни одной минуты. Но нет, никаких предчувствий у него не было. Даже напротив: свою новую книгу стихов он решил назвать по Данте «На половине странствия земного» и на одном из заседаний Цеха обсуждал это название, вызвавшее всеобщее одобрение. Но на следующий день, зайдя ко мне, он заявил с притворно грустным видом:

— Печальная новость: «На полдороге» превратилось в «Огненный столп». Почему? Потому что я ночью проснулся и вдруг так и обмер от страха. Господи! «На *пол*дороге». Значит, раз мне сейчас тридцать четыре года, я самовольно решаю умереть в шестьдесят восемь лет! Но я меньше чем на девяносто, да еще с хвостиком, не согласен. А вдруг «там» из-за этого названия сократят мое «странствие земное». Нет, хоть и жаль, но лучше отложить его лет так на пятнадцать — когда я действительно достигну половину моего странствия земного. А теперь — чур меня, чур меня! Не ровен час!

Он, конечно, шутил. Но из суеверия переименовал свою новую книгу. «Огненный столп» вышел уже после его расстрела.

Той же зимой Гумилев, выписав жену Аню из Бежецка, где она погибала от скуки, переселился с нею в Дом искусств. Теперь нам с ним было уже не по дороге. Меня, вместо него, на мою Бассейную, 60, стал провожать Георгий Иванов, хотя сам он жил на Каменноостровском. Эта «дистанция огромного размера» его не стесняла. Кроме того, он часто заходил за мной или ждал меня в Доме литераторов на той же Бассейной, или в Летнем саду. Так прошла вся зима и наступила весна — весна начала нэпа, сразу все преобразившая: открылись магазины, зажглись фонари, появились извозчики и такси. Гумилев окрестил эту весну крылатой, волшебной и уверял, что еще никогда не было такой блаженной весны,— с чем соглашались и мы с Георгием Ивановым.

И той весной я стала невестой Георгия Иванова...

О нашей с ним общей жизни мне писать трудно — это слишком близко касается меня, а я терпеть не могу писать о себе. Прибавлю все же, что, женившись на мне, он продолжал оставаться баловнем судьбы.

В последний период жизни с чьей-то нелегкой руки его стали называть «поэт-maudit» [1] и сокрушаться о его горестной судьбе. За ним это закрепилось надолго. Однако он отнюдь не был отверженным или неудачником. Скорее наоборот, баловнем судьбы, может быть, лишь за исключением последних лет своей жизни, начиная где-то с 1948 года. Все тяжести и катастрофы падали на меня, а его касались только рикошетом. Но, как ни

[1] «проклятый» *(фр.)*.

странно, он даже с некоторым удовольствием принимал это прозвище.

Все почему-то решили, что он с горя спивается, хотя пил он всегда в меру. И все время спрашивали его, правда ли, что он пьет чистый спирт? На что он, подчеркивая этим свое презрение, отвечал, что «да, и не только чистый, но и нашатырный». Впоследствии он даже стал играть эту роль. Так, после хорошего сна, утром, выпив кофе, он писал: «Всю ночь ходил по кабакам»,— а если писал женщине, то — «и думал о вас, дорогая...». Когда я говорила: «Что ты делаешь, ведь она поверит!» — он отвечал: «Пусть получает то, что хочет». И в то же время сочинял стихи:

Творю из пустоты ненужные шедевры,
И слушают меня оболтусы и стервы...

И перед тем как слег, в своем последнем стихотворении писал:

...Со всякой сволочью «на ты».

Как я уже сказала, все удары, сыпавшиеся на нас постоянно, падали на меня, а не на него. И всю жизнь он жил, никогда и нигде не работая, а писал, только когда хотел. Впрочем, хотелось это ему довольно редко, хотя и в «Современных записках», и в «Последних новостях», и в «Днях» он был желанный гость. Он считал, что журналистская работа вредит поэту, а он прежде всего считал себя поэтом. К тому же, он был безгранично ленив, а проза, не в пример стихам, давалась ему с трудом, даже когда он был всецело увлечен своей темой. Так, во время «создания» «Распада атома» он был так захвачен темой, что работал сутки напролет, переделывая чуть ли не каждую фразу. Чтобы ему не мешали телефонные звонки и навещавшие меня знакомые и друзья, он даже поселился в отеле...

Жили мы вполне комфортабельно на ежемесячную пенсию моего отца, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато — в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели лакея. А кроме того, я накупила золота.

Когда началась война, мы перебрались в Биарриц, увезя с собой всю мебель, и поселились на авеню Эдуард VII в двух шагах от моря.

Мы сразу вошли в высшее общество города. В Биаррице еженедельно выходила маленькая газета, где в светской хронике часто появлялись наши имена. Я научилась играть в бридж и устраивала «бриджи» или у нас, или у кого-то, о чем оповещалось в газете.

Георгий Иванов так и не научился играть в бридж и, решив не ломать себе голову, никогда не принимал в нем участия.

Однажды мы устроили большой прием, на котором был даже английский адмирал. Перечень всех гостей появился в газете. Наш друг, «спарженька» Фельзен, бежавший с матерью из Парижа и пробиравшийся в Швейцарию, нашел у нас эту самую газету с отчетами, прочитал и ахнул: «Вот как живут наши». Этим открытием он решил поделиться с Адамовичем. Но Адамович тогда был на войне, и письмо шло несколько месяцев. А когда он его получил, то решил, что мы принимаем немецкий генералитет, и оповестил об этом всех знакомых, украсив рассказ «цветами своей фантазии». А именно, что я разъезжаю с немецкими офицерами верхом и играю с ними в теннис. Хотя я и с английскими офицерами верхом не ездила и в теннис не играла.

Все поверили этому и отвернулись от нас, даже такие друзья, как Керенский, который бывал у нас с женой и, прощаясь, целовал нас и крестил.

С этого и начались все наши несчастья.

Через некоторое время у меня украли все золото, купленное после получения наследства. Россия оккупировала Латвию. А немцы во время нашего отсутствия реквизировали дом в Огрете под Биаррицем.

Но мы все еще плохо отдавали себе отчет в этих несчастьях и, вернувшись в Биарриц, жили по-прежнему широко. Но ни о каких приемах, конечно, речи уже не было.

И тут разбомбили наш дом. Правда, я успела увезти мебель, благодаря чему квартира в Биаррице была прекрасно обставлена. Это была еще «позолоченная бедность», и мы себе плохо представляли, что с нами случилось, надеясь на то, что скоро все пойдет по-прежнему и даже лучше прежнего.

Казалось, надежды эти имели основания, так как началось время не только невероятных удач, но и широкой известности — и Георгия Иванова и моей.

В дни победы мы ездили в Париж, чтобы присутствовать на торжествах. Это было удивительное время. Весь Париж, казалось, сошел с ума от счастья.

Тогда я написала три пьесы по-французски. А кроме того, бывший глава петербургского «Сатирикона» свел меня с Гастоном Бонёром, предложившим мне написать роман, содержание которого я тут же принялась обдумывать.

В Париже мы очень весело прожили две недели. Георгий Иванов уехал обратно в Биарриц, а я осталась вести переговоры с театром о постановке одной из моих пьес. Неожиданно я получила от Георгия Иванова письмо. Он сообщал, что у него было видение во сне: ему явились моя мать, его мать и Гумилев. Они были обеспокоены нашим положением и сказали ему, что для того чтобы все поправилось, мы должны написать роман. После этого наши дела пойдут блестяще. И он просил меня приехать, чтобы как можно скорей засесть за работу. Все это было им опи-

сано так красочно и эмоционально, что я решила бросить все переговоры с театром и приехала в Биарриц.

Георгий Иванов уже придумал содержание и решил, что я буду писать только о молоденькой героине, а он берет на себя всю политическую часть.

С работой я справилась очень быстро, где-то за неделю, и поступила в американский университет, помещавшийся напротив нашего дома. Там я завела знакомства с американскими профессорами и даже одному из них давала уроки французского языка, что было очень интересно. Деньги, конечно, уплывали, но мы об этом не очень беспокоились.

Время шло, а Георгий Иванов каждый вечер читал мне все одни и те же написанные им первые страницы. Я терпеливо слушала. Однажды, когда я вернулась домой из английского театра, куда ходила с профессорами, он начал опять читать мне все те же главы, лишь слегка исправленные. Я не выдержала и сказала:

— Послушай, довольно. Так ты будешь писать бесконечно, а нам необходимо закончить книгу как можно скорей. Я напишу за тебя.

Он страшно изумился:

— Как, ты? Смешно.

На следующее утро я засела за работу и писала в день по шестьдесят страниц. В шесть недель я кончила всю книгу. Когда Георгий Иванов впервые прочитал то, что я написала, он схватился за голову и воскликнул:

— Я бы никогда не поверил, что это написала ты, если бы не присутствовал при этом. Как ты могла?!

С этого момента он наконец поверил в меня как в писателя и даже стал допускать в свою писательскую кухню. Он поручал мне дописывать свои статьи, которые, в отличие от стихов, всегда давались ему с трудом.

В 1946 году мы окончательно переехали в Париж, поселились в отеле «Англетер» в Латинском квартале и начали искать издателя для нашего романа.

Георгий Иванов отнес его в «Грассэ» Брису Парену, который хорошо говорил по-русски. Но через несколько дней Брис Парен позвонил нам и сказал, что роман берут, но, к сожалению, раньше чем через год выпустить его не смогут. Мы же хотели издавать его сейчас же. Парен предложил нам одного молодого издателя, который тут же взял нашу рукопись.

Нашли переводчицу, но когда принесли перевод, я просто ахнула. Она переводила слово в слово, чего никак нельзя было делать. Конечно же, мы не могли отдать роман в таком виде, и я решила перевести его сама, кое-что сократив и даже изменив для французской книги. Перевод мой оказался хорошим, чему издатель очень удивился. Мне дали большой аванс, на который мы стали жить, полные надежд, что все идет к лучшему.

И тут подвернулась вторая удача: некий Компанеец, ки-

нопродюсер, предложил нам писать сценарии к фильмам. Он платил по десять тысяч франков за сценарий. В один вечер я придумала три сценария и записала их вкратце по-русски на маленьких клочках бумаги. На следующее утро Георгий Иванов понес их показывать. Дело было перед выходным. В понедельник Георгий Иванов ушел за ответом, а я осталась ждать его звонка дома. Он обещал позвонить тут же. Прошел час, два, три, и я уже начала беспокоиться. Но вдруг является Георгий Иванов, совершенно обалдевший, и говорит:

— Знаешь, я все еще как в тумане. Все это время ходил по Парижу.

Оказалось, что Компанеец объявил ему, что за один из предложенных сценариев он дает не десять, а семьдесят пять тысяч. Он просил Георгия Иванова привести меня к нему, для того чтобы обучить сценарному искусству и всем тонкостям мастерства.

Окрыленная надеждой на успех, я стала по два раза в день бегать в кинематограф, изучая новое для меня дело. В одном из итальянских фильмов я, к своему удивлению, встретила мою тему. Значит, идея носилась в воздухе.

Я начала писать сценарии. Но продать удалось только два, что обмануло все наши надежды. Зато я сильно переутомилась и слегла: у меня болел затылок, я не могла ходить — меня шатало из стороны в сторону.

В то же время я получила телеграмму из Голливуда с просьбой подтвердить согласие на экранизацию моего романа «Оставь надежду навсегда». Мы сейчас же подтвердили согласие. На следующий день мы уже пили в ресторане шампанское за будущий успех фильма. Но переговоры с Голливудом затянулись надолго, и в конце концов ничего не вышло: контракт так и не был подписан.

Так было всегда: все мои надежды оказывались чертовыми черепками и не приносили нам ничего.

С Георгием Ивановым было то же самое. Приехавший из Америки профессор М. сообщил ему, что Америка представит его кандидатом на Нобелевскую премию следующего года, если будет благоприятствовать политическая конъюнктура. Но конъюнктура, как и можно было ожидать, оказалась неблагоприятной. Нобелевскую премию получил Мартен Дю Гар.

В то же время Георгий Иванов стал очень популярен, его считали первым поэтом эмиграции, к чему он сам относился иронически. Когда один не в меру прыткий критик как-то принес ему показать свою статью, написанную для «Русской мысли» — «Георгий Иванов — первый поэт мира»,— он спокойно выслушал критика и, сохраняя серьезность, заметил: «Да, это верно, только надо добавить: мира и его окрестностей»...

Между тем у нас кончились все средства к существованию, и мы вынуждены были переехать в дешевый отель. Мы очутились в комнате, выходившей в темный дворик, напоминавший колодец, стенка к стенке.

Георгий Иванов начал работать в «Возрождении», где ему платили гроши, и нам не хватало даже на еду. Помогая ему, я иногда писала по пятнадцать часов подряд. Так мною почти целиком были написаны «Закат над Петербургом», «Из семейной хроники» и, кроме того, вступительная статья к Есенину, за что мы получили просто смешную сумму — всего пять тысяч франков.

Георгий Иванов был совершенно растерян. С утра до вечера бегал он по Парижу в поисках денег, чтобы заплатить за комнату и прокормить меня.

И тут я заболела. Пришел милый доктор Серов и, прослушав меня, взглянул глазами, полными слез:

— У вас процесс...

— Чахотка? — переспросила я.

— Да.

Георгия Иванова не было в комнате.

— Только, ради Бога, не говорите Жоржу,— попросила я,— скажите, что у меня просто бронхит.

С этого дня я стала готовиться к смерти.

О бесплатных санаториях и лечениях я тогда понятия не имела и представляла себе, что мучительно умру в больнице. И я решила умереть самой, никому ничего не объясняя. Я просто прекратила есть, и то немногое, что приносил мне Жорж, потихоньку выбрасывала.

Георгий Иванов, видя, что я больна, окончательно растерялся и целыми днями бегал по Парижу, чтобы всеми правдами и неправдами мне помочь.

Приходили еще два доктора и подтвердили диагноз.

Мы уже были не в состоянии платить за комнату, и ко мне, больной, стучали в дверь и грозили отвезти меня в больницу, если мы не заплатим.

И тут случилось чудо. Приехал доктор Н. и, завернув меня в одеяло, отнес в свой автомобиль, привез к себе, где просветил и выяснил, что никакой чахотки у меня нет, а просто сильное воспаление легких и страшное малокровие от переутомления. Мне стали делать впрыскивания. И я поправилась...

В то время мы неожиданно получили деньги от чеховского издательства за книгу «Оставь надежду навсегда», опубликованную по-русски, и решили переехать из Парижа в Монморанси.

К тому времени я совсем окрепла, и мы начали хлопотать о старческом доме, где не совсем подходили по возрасту. Нам пришлось пойти на общий осмотр. Георгий Иванов тянул меня назад: все равно не примут. Но мы прошли. Нас устроили в старческом доме в Йере на юге Франции. Это был очаровательный городок. Наш дом был окружен пышным садом с розами и соловьями. Мы могли наконец вздохнуть свободно.

Но от всего пережитого у Георгия Иванова страшно повысилось давление, хотя сердце было здоровым. И оказалось, что южный климат ему вреден. Мы хотели переехать под Париж,

но из Ганьи, несмотря на врачебное свидетельство, нам ответили, что Георгий Иванов просто скучает по прежнему окружению и что они не могут нас принять. Никто нас не поддержал и не помог ему, чего он никак не мог пережить. Давление все повышалось, стало сдавать сердце...

Через три года он умер на больничной койке, чего всегда боялся.

В предсмертных стихах он писал:

Отчаянье я превратил в игру —
О чем вздыхать и плакать в самом деле?
Ну, не забавно ли, что я умру
Не позже, чем на будущей неделе?

Умру,— хотя еще прожить я мог
Лет десять иль пожалуй даже двадцать.

Никто не пожалел. И не помог.
Ну как тут можно не смеяться.

Август 1958

И еще:

Ночь, как Сахара, как ад, горяча.
Дымный рассвет. Полыхает свеча.
Вот начертил на блокнотном листке
Я Размахайчика в черном венке,
Лапки и хвостика тонкая нить...

«В смерти моей никого не винить».

* * *

Я познакомилась с Юрием Анненковым еще в Петербурге зимой 1920 года. Он достиг тогда апогея своей известности. Не только известности, но и славы. Тогда-то он и создал портреты почти всех писателей, живших в те времена в Петербурге. Большинство портретов было превосходно, особенно Сологуба, Ахматовой и Замятина — каждый по-своему. Он сумел передать не только внешность моделей, но и их характеры, их внутренний мир.

Были среди них и менее удачные, как, например, портрет Олечки Судейкиной, не передающий ни ее внешности, ни присущей ей воздушной, немного кукольной прелести, или Георгия Иванова, слегка похожий на шарж. Мне, с моим портретом, заказанным Блохом (изд-во «Петрополис») для «Русских писателей», не повезло. Он настолько не удался, что Блох отказался его поместить. Анненков начал рисовать меня вторично, почти накануне моего отъезда из Петербурга, и не успел закончить.

Так я осталась без портрета в «Русских писателях», о чем до сих пор жалею.

Да, Анненков в то время действительно был знаменит и прославлен. Особенно в кругу нэпманов. При мне одна молодая, чрезмерно нарядная нэпманша, случайно появившаяся в Доме литераторов, громко рассказывала своей приятельнице, что ее муж в виде именинного подарка предложил ей на выбор кольцо с бриллиантом, соболий палантин или ее портрет работы Анненкова.

— Ну, конечно, я не такая простофиля — я выбрала портрет Анненкова. Разве бриллиант или соболя могут идти в сравнение с таким произведением искусства? — говорила она.— Только боюсь, сумеет ли муж уговорить Юрия Павловича. За ценой муж, конечно, не постоит. Но Юрий Павлович завален заказами. Ведь он даже Ленина и Троцкого писал. Ах, это такой талант, такой талант!..

Анненков в те дни действительно был «завален заказами». Во время сеансов, на которых я позировала ему, телефон, стоявший возле мольберта, почти беспрерывно звонил. Анненков, продолжая рисовать правой рукой, левой хватал телефонную трубку и кричал в нее:

— Нет, нет! Сейчас не могу. Занят по горло. Ни за какие деньги. Не могу. Сожалею,— и вешал трубку.— И чего пристают? — с недоуменным видом спрашивал он, поблескивая моноклем.— Какая-то просто бешеная мода у них пошла на мебель карельской березы и на мои портреты.

Работоспособность его была изумительна, как и его продуктивность. Но несмотря на то что он трудился целыми днями, он ухитрялся всюду бывать и не пропускал ни одного литературного собрания или вечера. Знаком он был решительно со всеми поэтами и писателями и с многими из них дружил.

Маленький, подвижной, ловкий, всегда оживленный, с моноклем, как бы ввинченным в правый глаз, во френче полувоенного образца, он проносился по Дому искусств и по Дому литераторов, успевая всех повидать, со всеми поговорить и посмеяться.

Гумилев, глядя на него, только руками разводил:

— Ртуть, а не человек. Какую ему Бог дьявольскую энергию дал. Просто зависть берет. Ураганную деятельность развивает. И на все время находит. Даже на стихи.

Стихи Анненков действительно писал. Очень хорошо сложенные, авангардные стихи, оригинальные и ритмически, и по содержанию. У меня долго хранилась подаренная им маленькая книжечка его стихов с его собственными иллюстрациями — в кубо-футуристическом стиле. Но сам он себя поэтом отнюдь не считал, относясь к своим «поэтическим упражнениям», как к «забавному озорству».

В эмиграции Анненков продолжал проявлять — почти до самой смерти — все ту же «ураганную деятельность». И уже не

только как художник, но и как театрально-кинематографический декоратор, и как писатель, и художественный критик.

Перед войной, под псевдонимом Темирязев, появилась его большая сюрреалистическая «Повесть о пустяках», пользовавшаяся большим и вполне заслуженным успехом. А в 1966-м он выпустил два толстых тома «Дневник моих встреч» с подзаголовком «Цикл трагедий». И действительно, судьбы поэтов, писателей и актеров, этих «детей страшных лет России», о которых так живо, красочно и талантливо рассказывает Анненков, почти все трагичны. Единственное исключение — судьба Алексея Толстого, «рабоче-крестьянского графа», баловня самого Сталина.

Я, как уже говорила, познакомилась с Юрием Анненковым в 1920 году и с тех пор — до самого конца его жизни — сохраняла с ним добрые, ничем не омраченные отношения, хотя виделись мы с ним нечасто и никаких особо примечательных встреч — кроме одной — у меня с ним не было.

Произошла эта замечательная встреча летом 1946 года.

За два дня перед этим Георгий Иванов уехал в Биарриц, где мы продолжали жить, а я осталась в Париже еще на неделю, чтобы закончить дела с выходом моего романа. Но, кроме дел, были и другие причины. Одна из них — «большой поэтический прием», «литературный раут» в честь Эренбурга и Симонова, любезно согласившихся посетить Руманова, в далеком прошлом бывшего представителем редакции «Русского слова» И. Д. Сытина в Петербурге, а в эмиграции сотрудником великого князя Александра Михайловича, вместе с ним ездившего в Америку распространять его «Religion of Love» [1] среди тамошних миллионеров, а ныне Руманов — деятельный участник и сотрудник газеты «Советский патриот».

К Эренбургу, как и ко всем его писаниям, я вполне равнодушна, но Симонова мне непременно хотелось повидать из-за его строчки «Жди меня... Только очень жди» и — главное — из-за его стихотворения, покорившего все русские сердца, и мое в том числе,— «Ты помнишь, Алеша...».

Я еду в набитом до невероятности вагоне метро. В противоположном конце его чья-то рука приветственно машет. Приглядываюсь — это Анненков, вытянув шею, кивает мне. Я тоже машу рукой и киваю ему. Подойти друг к другу из-за давки невозможно. Мы высаживаемся на станции «Порт де Версай» и весело здороваемся.

— На раут? — осведомляется Анненков.

— Конечно, на раут.

— И, как полагается, мы опаздываем,— констатирует он.

— Но торопиться все же не будем. Пойдем чинно, плавно и грациозно, как в менуэте.

---

[1] «Религия любви» *(англ.)*.

Анненков, как всегда, весел и оживлен. Даже, пожалуй, еще веселее и оживленнее, чем всегда. Он всю дорогу смешит меня. Мы почти дошли. Он вдруг, будто споткнувшись, приостанавливается:

— А меня сегодня Наталия Беляева бросила,— говорит он, глядя в сторону.

— Бросила? — переспрашиваю я.— На каникулы уехала? И вы теперь такой же соломенный вдовец, как я — соломенная вдова?

Но он отрицательно трясет головой:

— Совсем бросила. Ушла навсегда. И дочку взяла с собой.

Я ошеломлена. Наталия Беляева, молодая кинематографическая актриса, недавно вышедшая за него замуж. Он всеми силами тщетно старался сделать из нее соперницу Марлен Дитрих. И она бросила его? Не может быть! Он шутит.

А он продолжает скороговоркой:

— Теперь вы знаете. Мне необходимо было сказать кому-нибудь. Необходимо. Только, пожалуйста, не утешайте. Не жалейте меня. Обещаете?

— Обещаю.

Да и как и чем я могла бы его утешить? Мне его страшно, до слез жаль. Ведь я знаю, что он боготворил свою молодую жену и безмерно гордился своим запоздалым отцовством — от прежних браков детей у него не было, а ему уже под шестьдесят.

Он коротко вздыхает:

— Вот я вам сказал. И мне сразу легче стало. А теперь — марш вперед, труба зовет...

Мы входим в подъезд, поднимаемся на лифте. Дверь квартиры Руманова полуоткрыта. В прихожую вбегает маленький круглый Руманов. За ним, широко ступая своими длинными ногами, тощий высокий Антонин Ладинский.

— Ни дать ни взять — Санчо Панса и Дон Кихот,— шепчет мне на ухо Анненков.

— Их все еще нет! — взволнованно говорит Руманов, поздоровавшись с нами, характерным жестом оттягивая воротник рубашки, будто он его душит.— Обещали в семь, а теперь уже больше девяти. Я просто голову теряю. Не случилось ли с ними что?

Анненков хлопает его по плечу.

— Не теряйте головы — она еще может вам в хозяйстве пригодиться. Ничего с ними не случилось. Просто засиделись за обедом. Приедут, раз обещали.

У гостиной Румановых сегодня необычный вид. В левом углу парадно накрытый стол. На нем бутылка красного вина и большой пышный торт со взбитыми сливками — угощение для «высоких гостей». И на конце стола — начищенный самовар и чайные чашки.

Остальные гости, так называемые «молодые поэты»,— хотя они уже давно перестали быть молодыми,— Гингер, Присманова,

Пиотровский, Раевский, Ладинский и прочие — рассажены вдоль стены. С соответствующим более скромным угощением в виде чая и сухого печенья — времена еще рестрикционные.

Нас с Анненковым усаживают на заранее предназначенные стулья, довольно далеко друг от друга.

Я оказываюсь рядом с Раевским, о чем мне не пришлось жалеть. Раевский, воспользовавшись тем, что Руманов и его жена Лидия Ефимовна на минуту покинули гостиную, подскочил к столу и отхватил два больших куска торта. Один — для себя, другой — для меня.

Я испуганно протестовала, но он поставил тарелку с тортом мне на колени.

— Ешьте скорее, а то поймают вас с поличным. Торт превосходный.

Все следят за тем, как мы с Раевским расправляемся с тортом. Но последовать такому дерзкому примеру никто не решается. А вернувшиеся в гостиную хозяева, глядя на разгром торта, возмущаются и негодуют. Благовоспитанно молча, про себя.

Время идет. «Высокие гости» все еще не появляются. Руманов и Ладинский снова и снова, заслышав шум поднимающегося лифта, выбегают в прихожую и возвращаются разочарованными.

— Нет, не они. Теперь уже и ждать нечего. Не приедут.

Все же Ладинский решает — уже в самый последний раз снова спуститься вниз, на улицу. Ведь они могли забыть номер дома.

Ожидание длится. Он не возвращается. И вдруг он появляется, размахивая своими длинными руками, как крыльями ветряной мельницы — сразу и Дон Кихот и ветряная мельница.

— Прибыли! — провозглашает он.

Руманов, сорвавшись с места, бросается в прихожую. И на пороге уже появляются Эренбург и Симонов в сопровождении сияющего Руманова. Я давно не видела Эренбурга. Как он изменился! Просто до неузнаваемости. Прежде он производил довольно невыгодное впечатление и почему-то казался мне глуховатым и подслеповатым, хотя я и знала, что он видит и слышит нормально. Теперь у него вид «недорезанного буржуя», барственная осанка и орлиный взгляд. Одет он тоже не в пример прежнему, добротно, солидно и не без элегантности. Симонова я никогда — даже на фотографиях — не видела. Он статен и красив.

Ладинский, взяв на себя роль церемониймейстера, уже приступил к церемонии представления. Но он так взволнован, что из этого ничего не вышло. Назвав Пиотровского вместо Корвин-Пиотровский чуть ли не Пиотр-Корвинский, он совершенно растерялся и смущенно указал на еще не представлявшихся — в том числе и на меня — «и остальные». Так нам всем «остальным» и пришлось ограничиться кивком головы Симонова и Эренбурга вместо их рукопожатия.

Все занимают свои места. Симонов и Эренбург обмениваются с хозяином несколькими любезными фразами, объясняющими причину их опоздания. «Остальные» — и я в том числе — молча и почтительно слушают. Нет, ни вина, ни торта они не хотят. Нет, спасибо.

— Тогда, если позволите, приступим к чтению стихов,— предлагает успевший справиться с волнением Ладинский. И сразу, по заранее выработанной программе, «приступают к чтению стихов». По очереди. Все, как на подбор, читают ультраурапатриотические стихи, восхваляющие победу над врагом, родину и самого «отца народов». Ладинский в придачу еще воспевает и судьбу счастливых поселян-колхозников.

Эренбургу и Симонову наверное кажется, что они присутствуют не на парижском, а на московском «дне поэзии». Они благосклонно слушают, раздают благосклонные улыбки и привычные похвалы — как в Москве.

Очередь доходит до меня. Я не готовилась к чтению такого рода стихов, их и нет у меня. Минутный соблазн: а не прочесть ли мне «Балладу о Гумилеве»? — отпадает сам собой. Ведь этим я погубила бы весь «блестящий прием» и невероятно огорчила бы милого Руманова и его не менее милую жену. И я читаю стихотворение, все же падающее камнем в зеркальную гладь патриотических чувств.

Было счастье подвенечное,
Было платье бесконечное,
Шлейф, как Млечный Путь.

Эренбург удивленно поднимает брови. Ни одобрения, ни осуждения. На сияющее лицо Руманова ложится тень. Он испуганно смотрит на меня. Испуганно и просяще. Но я уже кончила. И следующий поэт — Раевский — легко восстанавливает гармонию, нарушенную мною.

Чтение «молодых поэтов» закончено. Ладинский от лица всех нас, безмолвствующих, просит Симонова оказать нам честь — услышать его стихи в его собственном исполнении.

Симонов любезно соглашается оказать нам эту честь. Он начинает со своих американских впечатлений. Очень негативных, конечно. Америка ему не понравилась. Читает он прекрасно, полнозвучным музыкальным голосом. С настоящим, а не напускным вдохновением. Осудив Америку, он заканчивает своим «Ты помнишь, Алеша...», вызывающим бурю восторга и взрыв непредусмотренных программой аплодисментов.

Руманов сияет, как стоящий тут же на столе ярко начищенный самовар. И есть от чего — прием удался на славу.

Анненков — он уже успел поздороваться с Эренбургом и познакомиться с Симоновым — подходит ко мне.

— Попросите Эренбурга подвезти нас. Вам, как женщине, удобнее. Вам он не откажет. Они остановились в отеле «Пор-

Руаяль». А то как мы с вами домой доберемся? Уже половина второго. Метро давно уже нет.

Мы с Анненковым живем в двух шагах друг от друга. Я, немного поколебавшись, подхожу к Эренбургу и, стараясь сохранить независимый вид, напоминаю ему, что мы с ним когда-то еще в Берлине... Да, я действительно еще в Берлине в 1922 году познакомилась с Эренбургом. Но в Париже мы даже не раскланивались из-за разницы политической установки. Он притворяется, что сразу меня узнал. И рад встрече.

— Как же, как же, Ирина Одоевцева. Я о вашей «Балладе об извозчике» еще в Ленинграде писал, что осел Жама мог позавидовать вашей лошади.

Он знакомит меня с Симоновым.

Ну, конечно, они с удовольствием довезут нас до своего отеля. Дальше, к сожалению...

Анненков очень доволен.

— Вот видите, как все ловко устроилось. Как только начнутся прощания и взаимные благодарности, так и двинемся в путь.

Мы вчетвером, сопровождаемые Румановым и Ладинским, спускаемся вниз и усаживаемся в черный «ситроен».

Руманов снова растроганно и горячо благодарит и долго трясет руки Симонова и Эренбурга. И за компанию и мне с Анненковым, неизвестно за что горячо благодаря. Ладинский машет вслед удаляющемуся автомобилю.

Никакой натянутости в разговоре. Анненков расспрашивает о судьбе Анны Ахматовой. Эренбург рассказывает, как Ахматова впервые через столько лет выступала на своем большом вечере. Все, как один человек, встали при ее появлении на эстраде.

— В своем знаменитом черном платке в красных розах? — спрашиваю я.

— Нет. Без «ложно-классической шали». Очень просто одетая. Седая. Располневшая. Величественная. Похожая на Екатерину Великую в старости.

— А Левушка, ее сын? — не совсем кстати осведомляется Анненков.

Но Эренбург и Симонов вполне охотно рассказывают и о Льве Гумилеве. Он молодой ученый, специалист по истории Центральной Азии. Очень способный. На отличном счету.

— До чего жаль покидать Париж! — Эренбург осторожно переводит разговор на более безопасную тему.— Сколько воспоминаний. Ведь я еще до войны 14 года... Тогда Париж был совсем другой. Помните, как мы с вами, Юрий Павлович, и с Модильяни, на Монмартре...

И вот Эренбург и Анненков в два голоса, перебивая и дополняя друг друга, начинают восстанавливать тот, навсегда исчезнувший, баснословный Париж.

— Кто не жил до первой мировой войны, тот не знает на-

стоящей douceur de vivre [1],— вздыхает Эренбург.— Как мы великолепно голодали и бедствовали тогда!

Но автомобиль уже останавливается. А мне так хотелось бы послушать их еще.

— К сожалению, дальше вам придется идти пешком. Но уже ведь близко.

Да, совсем близко. Мы благодарим. Мы просим передать Москве наши приветы. Мы прощаемся. Анненков берет меня под руку, и мы дружно шагаем.

— Советский автомобиль нас, конечно, довезти до наших белогвардейских гнезд не мог. Но как хорошо, что они нас забрали с собой,— говорит Анненков.— А Симонов очарователен.

Я киваю.

— Очарователен. Мне он очень понравился. Но Эренбурга как будто подменили. Другой человек и только.

Анненков согласен со мной.

— Тот, прежний Эренбург, просто карикатура на теперешнего. Этот — сенатор, вельможа. Сам себе памятник. Но вы-то, вы-то хороши! Нашли место, где вашим контрреволюционным шлейфом, как Млечным Путем, блеснуть. Взорвали-таки бомбу.

Мы смеемся, восстанавливая подробности «раута», как Раевский — вот молодец! — отхватил четверть торта. Бедная Лидия Ефимовна, наверное, и сейчас еще горюет о разгроме своего торта.

Мы уже подходим к отелю, в котором я живу. Я, продолжая смеяться, протягиваю руку Анненкову.

— Спокойной ночи, Юрий Петрович!

Но моя рука повисает в воздухе. Он не берет ее.

Я удивленно смотрю на него. И только теперь замечаю, что он очень бледен, совсем белый. Его круглое застывшее лицо похоже на гипсовую маску. Да, это не живое лицо. Это гипсовая маска. Монокль, неестественно поблескивающий, придает ей что-то жалкое и страшное.

Я испуганно отступаю на шаг.

— Одоевцева! — голос его срывается.— Ради Бога! Не бросайте меня. Не уходите. Я не могу, не могу остаться один. Ради Бога!..

Он хватает меня за плечо, как утопающий хватается за спасательный круг.

— Не бросайте меня! Не уходите! — И как стон или вздох: — Пожалейте меня!..

Я потрясена. Это слишком неожиданно. Неправдоподобно. Ведь он только что так весело смеялся. Мое сердце сжимается от жалости и страха за него. Лицо его больше не похоже на гипсовую маску. Оно ожило. Оно дергается, перекашивается, корчится от боли. Это белое лицо с сверкающим нелепым моноклем.

---

[1] сладость жизни *(фр.)*.

— Не уходите,— просит он жалобно.— Не бросайте меня. Я боюсь, если останусь один. Я не смогу... Не вынесу...

— Нет, нет. Я не уйду. Я останусь с вами. Сколько хотите.

— Не уйдете? Правда? Обещаете? Честное слово?

— Честное слово! Ведь Жорж в Биаррице. Он меня не ждет. Я совсем свободна. Я могу остаться с вами хоть до утра,— убежденно говорю я.— Я не устала. Я не хочу спать. Правда.

— Правда? — недоверчиво переспрашивает он. И вдруг крепко берет меня под руку.— Тогда пойдем. Походим еще.

Голос его звучит спокойно. От такого резкого перехода — от отчаяния к спокойствию — я чувствую себя совершенно потерянной. Мы снова шагаем. Лицо его все так же бледно, но он уже справился с собой и даже старается насмешливо улыбнуться.

— Воображаю, как Симонов и Эренбург потешались над Ладинским с его славословиями счастливым колхозникам,— говорит он.— «Явились жницы, как на бал». Умора!.. Умри, Денис! Лучше не напишешь!

Улицы совсем пусты. Луна ярко светит, и все вокруг кажется нереальным. Все — и наши громкие голоса, и наши гулкие шаги, нарушающие эту тишину, и наши следующие за нами длинные черные тени. «И совсем не в мире мы, а где-то. На задворках мира, средь теней»,— проносится в моей памяти. Все действительно нереально. Все, кроме его отчаяния.

Мы шагаем и шагаем. Мы уже несколько раз обошли весь квартал. Я страшно устала. Я рассеянно слушаю его, а он, ни на минуту не умолкая, говорит, явно, чтобы занять меня,— о Петербурге, о Доме искусств, о Доме литераторов, о Блоке, Кузмине, Гумилеве и обо мне тогдашней — с бантом, как стрекоза в волосах, похожей на стрекозу.

Я протестую.

— Никто не находил, что я была похожа на стрекозу. На кошку, на рысь, на леопарда, но не на стрекозу. Нет.

Но он не согласен.

— А я нахожу, что на стрекозу. А «бант как стрекоза» — это ведь Гумилев, а не я сказал. Да еще в стихотворении о вас.

Неужели он помнит этот нигде никогда не напечатанный стишок? Но я не успеваю спросить его об этом. Он неожиданно останавливается и, закинув голову, смотрит в небо. И вдруг медленно с отчаянием произносит:

— Если бы вы только знали, как я ее любил! И как я несчастен!

Я замираю на месте. А он, будто спохватившись, снова пускается в путь. Я снова шагаю с ним нога в ногу, слушая его.

Мне хочется спать. Но ведь я обещала до утра. А до утра так страшно далеко. Перед запертым кафе «Флор» на тротуаре стоят столики и стулья, почему-то неубранные на ночь.

— Давайте сядем здесь,— предлагает он,— сядем здесь

и вообразим, что вокруг сидят все постоянные посетители кафе «Флор» с Сартром во главе.

— Только не они сами, а их тени,— говорю я, легко входя в игру.

Он кивает.

— Их тени. Это еще забавнее. Пусть они спят, а мы вызовем сюда их тени. И будем с ними беседовать.

Мы усаживаемся.

— Как же мы будем вызывать их тени? — спрашиваю я его.

Но он не отвечает. Он закидывает голову и молча смотрит на качающуюся в облаках луну. Я сижу напротив него, не зная, что сказать и надо ли вообще говорить. Он, по-видимому, уже забыл о вызове теней. Я напрасно согласилась сесть здесь. Идти было все-таки легче, чем так томительно, так мучительно молча сидеть. Он как будто забыл не только о тенях, но и о моем присутствии. Он один со своим отчаянием.

Его запрокинутое белое застывшее лицо снова похоже на гипсовую маску. Мне тяжело смотреть на него. Я не выдерживаю.

— Юрий Павлович! Пойдемте! Мне надоело здесь сидеть.

Он вздрагивает и удивленно смотрит на меня, будто не сразу узнает. И вдруг весь приходит в движение, вскакивает, отодвигает стол, помогает мне встать.

— Да, да,— говорит он быстро,— уйдем отсюда. Здесь отвратительно. Мы с вами здесь целую вечность просидели. Я, кажется, даже успел заснуть. Уж вы извините.

И вот мы снова идем, и он снова, не умолкая ни на минуту, весело болтает. Эти невероятные переходы от веселья к отчаянию. Как он может? Будто взлет и падение качелей.

— А сейчас я вам покажу чудесную площадь. Площадь Фюрстенберга. Ее почти никто даже из местных жителей не знает. А вы-то уж и подавно,— уверенно говорит он.

Нет, я знаю эту площадь. Мы с Георгием Ивановым довольно часто на ней бывали. На ней живет один из наших друзей. Но я об этом не сообщаю Анненкову. И когда мы доходим до этой, действительно чудесной маленькой площади, я притворно-восторженно охаю и ахаю.

— Какая прелесть! И как я вам благодарна, что вы мне ее показали. Без вас я никогда бы не увидела ее!

Он улыбается.

— Я рад, что хоть чем-нибудь мог отблагодарить вас.

Уже светает. Ночь прошла. Но я не решаюсь оставить его. Я жду, чтобы он сам отпустил меня спать, а он, по-видимому, еще и не думает об этом.

— Восход солнца,— мечтательно говорит он.— Нигде солнце, кроме Петербурга, не восходит так волшебно, как в Париже.

Я удивлена.

— Неужели? А в Риме, в Лондоне, в Венеции?..

Он смеется. Опять смеется.

— Ну, конечно. Когда я в Риме, Лондоне или в Венеции,

я говорю — только в Риме, или в Лондоне, или в Венеции и в Петербурге. Петербург — неизменная величина. Впрочем, в Петербурге меня больше всего пленяли белые ночи. Я просто с ума от них сходил.

И он с увлечением начинает описывать белые ночи, как будто я их никогда не видела. Мы проходим — в который раз — мимо моего отеля. Ведь мы все кружим по кварталу, в котором оба живем. Он вдруг обрывает фразу на полуслове, останавливается и совсем просто прощается со мной.

— До свидания. Или, вернее, прощайте. Ведь вы скоро уезжаете в Биарриц? Кланяйтесь Жоржу. И счастливого пути.

Это так неожиданно, что я теряюсь.

— До свидания. Прощайте,— как эхо, повторяю я.

Я даже забываю подать ему руку. Входная дверь отеля уже раскрылась. Я уже вхожу в холл, и только тогда он говорит мне вслед изменившимся, захлебывающимся голосом.

— Я вам страшно благодарен. Если бы не вы... Я, кажется, не перенес бы, не смог. Спасибо. Я всегда буду помнить... Всегда... Всегда...

Но помнил ли он? Не думаю. Во всяком случае, он при всех наших многочисленных встречах, последовавших за этой трагической ночью, никогда даже намеком не вспоминал о ней.

* * *

1928 год. Мы с Георгием Ивановым живем в Париже, в меблированной квартире (13, rue Franclin) [1], напротив особняка Клемансо. Окна наши выходят в хозяйский сад, в нем гуляют круглые большие голуби, распустив по-павлиньи хвосты. Они, особенно когда освещены солнцем, кажутся фарфоровыми. А деревья шумят здесь — или это мне только кажется — совсем особенно, как в Летнем саду, а не как в Люксембургском или Булонском лесу — скорее шелестят, тихо и легко шепчутся по-русски.

Мережковский, когда он впервые с Зинаидой Николаевной побывал у нас и осмотрел наш дом, воскликнул:

— Нет, все-таки я бы ни за что не поселился здесь! Ни-за-что! В 13 номере. Ведь теперь все удары и невзгоды посыпятся на вас.

Георгий Иванов саркастически улыбается:

— А сами вы, Дмитрий Сергеевич, позвольте узнать, в каком номере изволите проживать?

Мережковский удивленно уставился на него — ведь Георгий Иванов уже несколько лет еженедельно бывает на 11-бис Колонель Боннэ. Зачем же он спрашивает? Все же, привыкший к точности, он отвечает:

— Разве вы не знаете? На 11-бис.

Брови Георгия Иванова взлетают еще выше.

---

[1] улица Франклина *(фр.)*.

— А что это такое, 11-бис? Тот же 13, только закамуфлированный, что ему, конечно, придает еще бо́льшую зловредность.

Мережковский, пораженный никогда не приходившей ему в голову мыслью, растерянно оборачивается к Зинаиде Николаевне:

— Зина, ты слышишь, что он говорит? Мы, оказывается, живем в 13 номере! Этого быть не может, скажи ему!

Но Зинаида Николаевна вовсе не потрясена таким открытием. Как всегда, она кокетливо-капризно тянет:

— Георгий Владимирович прав. Мы живем в закамуфлированном 13 номере. Ведь следующий дом 15-й. И стыдно быть таким суеверным. Успокойся!

Но Мережковский в тот вечер не мог успокоиться и оставался задумчивым — в постройке его мировоззрения вдруг обнаружилась щель, пусть микроскопическая, но все же щель. Он был страшно суеверен. Впрочем, Георгий Иванов был, наверное, еще суеверней его. Но числа 13 он не боялся и даже любил его. Как бы то ни было, мы благополучно прожили на 13 rue Franclin до 1931 года, и ничего скверного с нами там не случилось.

Но сейчас только 1928 год. Я в сопровождении нашего с Адамовичем общего, а особенно моего, «авангардного» французского друга Жоржа Батая собираюсь на сюрреалистический вернисаж. Он старается открыть для меня новые горизонты.

Но мы с Георгием Ивановым и Адамовичем все трое относились довольно скептически к его открытиям. Нас, видавших и футуризм и всяческих ничевоков, сюрреализмом не удивишь.

Батай восхищается русской революцией, что нас не сердит, а смешит и не мешает нашей дружбе. Нам этот будущий великий философ кажется очень симпатичным, наивным и милым и не слишком умным.

Я, как всегда перед выходом, долго верчусь перед зеркалом в прихожей, примеряя то одну, то другую шляпу. Шляпы тогда еще играли большую роль в женском туалете. У меня их было много — на все случаи жизни.

Батай терпеливо ждет. Георгий Иванов смотрит на часы:

— Двадцать минут пятого, Поплавский уже не придет. Клялся и божился, что будет у меня в половине четвертого. И как просил, чтобы я принял его. Безобразие. Больше не пущу его к себе.

— Наверное, проспал или забыл...— примирительно говорю я.— Не сердись!

Георгий Иванов пожимает плечами:

— Буду я сердиться. Подумаешь. Но ведь как умолял, чтобы я выслушал его стихи. И вот не пришел.

Я натягиваю перчатки и в последний раз оглядываю себя в зеркале.

— Пожалуйста, если почему-либо задержишься, позвони по телефону.

Без этой ритуальной напутственной фразы я никогда не вы-

хожу из дома. Но когда опаздываю, все же почти никогда не звоню.

— Я вернусь к обеду, беспокоиться тебе нечего.

Георгий Иванов открывает дверь. Перед ней, держа в одной руке очки, а в другой тетрадку, стоит Поплавский. От неожиданности он роняет очки и тетрадку на пол. Исписанные страницы падают к его ногам.

— Поплавский! — удивленно вскрикивает Георгий Иванов, нагибаясь за черными очками, лежащими на ковре. Ведь без них Поплавский, наверное, ничего не видит. То, что он носит очки «зря», нисколько не нуждаясь в них, «для прикрытия глаз», еще неизвестно Георгию Иванову.

У Поплавского совершенно растерянный вид. Все это так забавно, что я не могу удержать смех.

— Что же вы тут стояли и не звонили? — спрашиваю я смеясь.

— Я,— почти плачущим голосом объясняет Поплавский,— уже давно тут стою. Больше получаса. Пришел слишком рано. Боялся позвонить. Не мог...

Наконец все страницы подобраны, и мы с Батаем уходим.

В тот вечер я, как всегда, опоздала к обеду, но Георгий Иванов даже не ворчал. Он взволнованно начал читать мне отрывки стихов Поплавского:

— Послушай, это удивительно талантливо, хотя и сильно смахивает на Рембо.

Приходите к нам в гости,
Когда мы уйдем...
. . . .
Не занимайтесь моими следами,
Ветру я их поручаю стереть...

С этого дня Георгий Иванов, открывший много молодых талантов, в том числе и Смоленского, серьезно занялся Поплавским. Для начала он выдержал бой с Адамовичем, тогда еще совершенно не признававшим стихи Поплавского, и повел его к Мережковским.

Зинаида Николаевна хорошо приняла его, и он вскоре сделался желанным гостем на «воскресеньях». Выяснилось, что он замечательный оратор. Лучший даже, чем «златоуст эмиграции» Адамович.

Конечно, ни его, ни Адамовича я «святотатственно» не сравниваю с «самим» Мережковским — действительно ни с кем не сравнимым. Впрочем, оратором Мережковского назвать трудно. Такое определение к нему не совсем подходит — в особенности когда он не произносит тщательно обдуманный доклад, а импровизирует в «Зеленой лампе» или на «воскресеньи», когда он, уносимый порывом дикого вдохновенья, как бы вырастает на глазах у слушателей и, кажется, поднимается в воздух над своим стулом. Он пророчествует, как библейский пророк.

Холодная дрожь восторга, похожего на священный страх, пробегает по моей спине. Я слушаю его не только ушами, но всем существом. Я не особенно разбираюсь в том, о чем он пророчествует, меня не очень интересуют вопросы об Атлантиде, о Тайне Трех или Апокалипсисе. Но я покорена, я раздавлена, я готова, не рассуждая, подписаться под его словами. В эти минуты он владеет не только истиной, но и моей волей, как и волей большинства слушателей. Очень немногие могут не поддаться его магии.

Потом, когда он кончит пророчить и превратится снова из библейского пророка в маленького сутулого старика с шаркающей походкой, слушатели снова овладеют собой и пустятся в дискуссию с ним, опровергая высказанные им тезисы.

Ведь бесконечные дискуссии — главное содержание не только заседаний «Зеленой лампы», но и «воскресений». Поплавский постоянно блистал на них.

Да, повторяю, он был прекрасным оратором. И это несмотря на чрезвычайно невыигрышную внешность — внешность слепца. Отсюда и черные очки, скрывающие его кажущиеся слепыми глаза. Он, впрочем, отлично видит. Он сам, должно быть, сознавал странное впечатление, производимое его глазами, и никогда не снимал черные очки.

Ведь глаза — зеркало души. Но его глаза вряд ли были зеркалом его души. Это были странные, неприятные глаза, производившие на многих просто отталкивающее впечатление. В них совсем не отражалась его душа — душа поэта.

Его черные очки, впрочем, были иногда и полезны. В метро и в автобусах, даже в часы наплыва, для него всегда находилось сидячее место: уступи место слепенькому.

Адамовичу в его ораторской карьере помогали его очень красивые и большие глаза, проникновенно устремленные вдаль, и его изящный петербургский подтянутый вид.

Поплавский же был мешковат, небрежно одет и на эстраде производил довольно жалкое впечатление. Голос его был гнусавый и какой-то обиженный, почти плачущий. Казалось бы, как выступать публично при таких данных?

И все же стоило ему бочком взобраться на эстраду, произнести несколько плохо между собой связанных слов, тряхнуть головой и выпрямиться, как речь его уже лилась неудержимо, удивляя блеском, остротой мыслей и главное — парадоксами, а иногда просто ошарашивая слушателей.

Так, он чуть ли не на первом своем выступлении в «Зеленой лампе» объявил, что скорбит об участи непосильно трудящихся, особенно о грузчиках и проститутках, чем на полвека предвосхитил свое время. Его заявление возмутило многих в те далекие времена.

Умел он и возбуждать у дам не только улыбку, но и негодование «огнем нежданных эпиграмм» и парадоксов. Так, на одном из «воскресений» у Мережковского присутствовали гости

из Москвы — супруги «рыбьи профессора», написавшие много книг о рыбах и пожелавшие посетить светочей, «великих борцов за свободу» Гиппиус и Мережковского.

Поплавский, пользуясь короткой паузой, перебивая Зинаиду Николаевну, громко заявил, что свобода несет горе и беды и что ее следует заменить прекрасным рабством, так как рабы наисчастливейшие люди на земле, что в России надо восстановить крепостное право и подарить мужикам счастье рабства.

«Рыбьи профессора» испуганно заморгали, стали смотреть на часы, встали из-за стола, ссылаясь на то, что их ждут, очень ждут, и они уже сильно опаздывают.

Уговоры Зинаиды Николаевны не уходить остались без результата. Они не уходили, а бежали в полном расстройстве чувств. Подавая пальто «рыбьей профессорше», Злобин разобрал, как она про себя шептала, как бы в забытьи: «Господи, и это эмиграция! Какие страшные зубры! О Господи!» — о чем он, вернувшись в столовую, и рассказал со смехом.

Конечно, Зинаида Николаевна отчитала Поплавского за его неприличную выходку, но больше для виду. Ему, первому из молодых поэтов — к тому времени он уже успел им сделаться — многое было позволено, даже слишком многое.

Поплавский с легкой руки Георгия Иванова и при «попустительстве» Адамовича молниеносно вознесся и стал в первом ряду молодых поэтов.

Молодыми поэтами считались те, кто начал свою поэтическую карьеру уже за рубежом, хотя некоторые были старше «маститого» Георгия Иванова и даже Адамовича.

Но Поплавский был действительно молод. Родился он в 1903 году и учился, вернее, недоучился в Константинополе. Грамотно писать он ни на одном языке так и не выучился, и рукописи его пестрели просто чудовищными ошибками.

Но отсутствие грамотности, как известно, не помеха таланту. Гумилев был почти так же безграмотен, как и Поплавский.

Еще об удивительном ораторском даре Поплавского.

Заседание «Зеленой лампы». Доклад Николая Оцупа. Переполненный зал избранных слушателей. Вход только по личным приглашениям, рассылаемым Злобиным. Антракт. Николай Оцуп спускается с эстрады, важно поделившись своими мыслями и домыслами о Прусте и Джойсе. У Оцупа совсем особая манера произносить речи с эстрады. В обыкновенной жизни он говорит гладко, легко, просто и ясно, не обнаруживая никаких речевых недостатков. Но на эстраде все меняется коренным образом. Он весь как бы тяжелеет, кроме рук, принимающих большое участие в его выступлении. Они грузно и энергично упираются в стол, будто выдавливая из него странный длительный звук э-э-э, прерывая старательно отчеканенные фразы. Выражение лица напряженно-мучительное, жилы на шее надуты — нелегко даются ему эти выступления.

Я недоумеваю: к чему так мучить себя? Лавров ему его выступления не приносят. Слушать его тяжело. Аудитория все же наградила Оцупа, как и следует,— ведь он так старался, бедняга,— аплодисментами, правда, не очень звонкими. Он кланяется, улыбается, блестя черными глазами — и вот уже он такой, как всегда: красивый, белозубый, стройный, просто и ясно осведомляющийся о впечатлении от его речи на слушателей.

Я — а как же иначе — кривлю душой: очень хорошо, Николай Авдеевич, как всегда, хорошо, содержательно и умно.

Для меня в заседаниях «Зеленой лампы» самое интересное — антракты и кулуары, как мы называли литературные встречи и разговоры. Сегодня здесь особенно много знакомых. Даже и мой большой друг Василий Алексеевич Маклаков. Мы только успели поздороваться и обрадоваться друг другу, как ко мне, решительно шагая, подошел Поплавский и произнес плачущим голосом:

— Очень прошу. Простите. На два слова. Очень нужно.

Я удивленно смотрю на него. Я с ним не в близко-дружеских отношениях, а скорее далеко-далеких. Что ему так спешно могло понадобиться от меня?

— Очень прошу, очень! — настаивает он.

Я сдаюсь и, кивнув Маклакову, отхожу с Поплавским в сторону.

— Неужели вы не могли подождать?

— Ради Бога, простите,— перебивает он,— никак не мог. Читали ли вы Джойса?

Я киваю:

— Читала. Ну, и?..

— Мне необходимо. Только вы, кажется, можете. Расскажите скорей о нем и о Прусте. Правда про усы? кота? И что все длится один день?

Он закидывает меня вопросами. Я добросовестно отвечаю на них. О Прусте: название всех томов и все имена — Сван, Германт...

— Но ведь вы перепутаете.

— Нет, нет, только скорей, ради Бога. Пробковая камера была? Сван женился на Одетте? А Джойс ирландец? И преобразовывал язык? Вы не сочиняете? Правда? Так все и было? А насчет стиля Пруста и Джойса Оцуп правильно говорил?..

Но Георгий Иванов, бессменный председатель «Зеленой лампы», уже звонит в колокольчик, объявляя заседание открытым, и Поплавский, на полуслове оборвав очередной вопрос, устремляется к эстраде.

И вот уже он плачущим, захлебывающимся от волнения и вдохновения голосом убедительно передает только что услышанное от меня, проникновенно углубляя, расширяя, преображая и украшая его «цветами своего красноречия» и словесной находчивости.

Я с изумлением слушаю его. Если бы он сам десять минут

тому назад не признался мне, что не читал ни Пруста, ни Джойса, я была бы уверена, что он тщательно изучал их.

Рядом со мной сидит Николай Бернгардович Фрейденштейн-Фельзен, «Спарженька», как его окрестила Зинаида Николаевна. На одном из «воскресений» она, сквозь лорнет оглядев посетителей, собравшихся за чайным столом, обнаружила отсутствие Фельзена и недовольно протянула:

— А этот, как его... эта спаржа сегодня не пришла?

«Спаржа» действительно как нельзя лучше подходила к внешности Фельзена. Он был еврей, но до чрезвычайности походил на немца, к тому же он окончил Петер-шуле, немецкую петербургскую гимназию. Очень тонкий высокий блондин с голубыми светлыми глазами, он действительно походил на спаржу, и, с легкой руки Зинаиды Николаевны, его так и стали звать «Спаржа» или «Спарженька», на что он совсем не обижался.

Был он знаток и почитатель Пруста и себя считал «русским Прустом», правда, без больших прав на это. Не понимаю, почему Поплавский обратился ко мне, а не к нему, специалисту-прустианцу, за сведениями. Должно быть, из-за Джойса — им Спаржа не интересовался.

— Пруст жил,— говорит Поплавский,— в пробковой камере, в которую не доносился ни один звук из внешнего современного мира, запер в нее восстанавливаемое им прошлое, воскрешая его для бессмертной жизни...

Спаржа поворачивается ко мне и шепчет:

— Удивительно. Я и не подозревал, что он так чувствует и понимает Пруста. Какой молодец! Какая светлая голова! Я просто поражен и восхищен им. Казалось бы, я все о Прусте знаю, а он открывает мне новое. Надо будет перечитать Пруста.

Я киваю. Я тоже поражена. Я тоже восхищаюсь. Какой молодец!

И Поплавский с того вечера прослыл знатоком Пруста и Джойса, так, по всей вероятности, никогда и не удосужившись прочитать их.

В тот вечер он снова удивил меня. Мы после «Зеленой лампы» шли целой группой на Монпарнас, обсуждая блестящее выступление Поплавского, и он, упоенный успехом, был особенно оживлен, переходя от одного собеседника к другому.

Вдруг он остановился, нагнулся и поднял с земли длинный железный прут и, повертев его в руках, заявил:

— Я могу его свернуть жгутом.

— Вздор. Брось хвастаться, Бобка,— запротестовали остальные.

— Нет, сверну! Сказал сверну, и сверну! — настаивал он.

Но никто его уже не слушал. Разговор перешел на другие темы.

Поплавский отстал от группы, и никто не обращал на него внимания. Только перед самым входом в кафе «Куполь» он подбежал к Адамовичу:

— Георгий Викторович, смотрите, я свернул! — закричал он победно.

Руки его, как и голос, дрожали. Лицо блестело от пота, несмотря на то, что было холодно.

Адамович брезгливо поморщился:

— Стоило тоже! — Спортивными достижениями, кроме теннисных, он не интересовался. И Поплавский стал показывать свернутый жгут остальным.

В смерти Поплавского много неясного: естественная ли это смерть или самоубийство? Многие утверждают, что это было самоубийство. По их мнению, иначе и быть не могло. У него, как они говорили, было «лицо самоубийцы». Он стремился к самоуничтожению, он обязательно должен был трагически окончить жизнь и т. д.

Конечно, я не могу судить о том, «что было бы, если бы не было...». И не спорю о том, «стремился ли он к самоуничтожению» и была ли его трагическая судьба написана на его лице. Я только утверждаю, что он не был самоубийцей, а был убит. Вот факты, позволяющие мне говорить это.

Кто был Поплавский? На этот вопрос я не берусь ответить, да и вряд ли кто-нибудь может это сделать. Он такая же «неразгаданная загадка», как и Рембо, имевший большое влияние на него не только как поэт, но и как личность.

Поплавский очень быстро «вознесся». Он издал сборник стихов «Флаги» и занял одно из первых, если не первое место среди молодых поэтов. Известность его достигла апогея к концу жизни. Он начал печататься даже в «Современных записках» — цитадели старых знаменитостей.

Но скоро выяснились странности его характера. Он сам говорил о себе:

— Опять я одним перехамил, перед другими перекланялся. Я всегда — или в морду, или в ножки.

К сожалению, с годами этих перехамлений и мордобитий становилось все больше. Но ему все сходило с рук. Он постоянно устраивал скандалы. Я сама тогда редко бывала на Монпарнасе и, к счастью, на них не присутствовала. Но Георгий Иванов с возмущением рассказывал мне о них:

— Безобразие! Ведет себя, как хулиган. Я его предупреждал, что не потерплю этого. Он позорит поэтов, потом униженно просит прощения, клянется, что больше не будет, а на следующий день снова устраивает скандалы. Мое терпение лопнет, если он не изменится.

И терпение его действительно лопнуло. Поводом к этому послужило происшествие на балу в пользу молодых поэтов.

Один из мемуаристов описал случай на этом балу довольно фантастично. По его версии, на балу, устроенном какими-то дамами-патронессами в Русской консерватории, Поплавский дал пощечину кинозвезде, герою фильма «Буря над Азией» Инкижи-

нову. Узнав об этом, Георгий Иванов собрал всех молодых поэтов и пошел с ними извиняться перед Инкижиновым. Но тот, не приняв извинений, выругался по-русски и ушел со своей дамой.

На самом деле все произошло не так. Бал этот устраивала я, а не «дамы-патронессы», и не в консерватории, а в особняке одной моей знакомой маркизы на Champ de Mars [1] — впоследствии этот случай на балу получил прозвище «Буря на Champ de Mars». Поплавский действительно, получив отказ танцевать с его дамой, ударил Инкижинова по лицу, но извинялась перед ним одна я как хозяйка бала. Поплавского тотчас же оттащили, и он, громко ругаясь, «покинул бой».

И тут Инкижинов просто изумил меня своим тактом и благородством, уверяя, что я напрасно принимаю к сердцу эту пьяную хулиганскую выходку. Он обещал мне в Москве никому не рассказывать о ней, понимая, какое зло это может принести зарубежью. К хулиганам он и у себя дома привык. Он объяснил, что никак не реагировал на оскорбление, не желая превращать этот столь удачный бал, наверное, стоивший немало труда, в кулачный бой. После этого разговор перешел на другие темы. Я еще посидела с ними, выпили шампанского, и он мирно уехал со своей дамой. Я же вернулась в главный зал, где пел Вертинский.

На следующий день Георгий Иванов получил письмо от Поплавского с мольбой простить его, так как он был совершенно невменяем и не мог отвечать за свои поступки, что он на улице подрался с полицейскими, был зверски ими избит и провел остаток ночи в участке. Он клянется, что это его последний скандал, и умоляет о прощении.

Но Георгий Иванов не простил его, а подверг остракизму, запретив всем поэтам общаться с ним. Власть Георгия Иванова была почти безгранична, и этот декрет был безоговорочно принят. Поплавский, как потерянный, бродил один по Монпарнасу, и никто не смел с ним разговаривать или здороваться.

— Конечно, только в твоем присутствии,— говорила я Георгию Иванову.— Без тебя, я уверена, они по-прежнему дружат с ним.

Так прошел год. Георгий Иванов решил, что наказание длилось достаточно долго, простил его и даже пригласил к нам. У нас в то время устраивались «четверги» с чтением и разбором стихов, и Поплавский присутствовал на одном из них — в первый и последний раз в жизни...

Мы с Георгием Ивановым приняли его очень любезно, а он сиял, исходя восторгом. Он в этот вечер действительно казался счастливым. Ведь его не только простил Георгий Иванов, но, как он сообщил нам, он еще и закончил свой роман «Домой с небес». Его поздравляли как именинника, и тут же было решено, что он будет читать его у нас в будущий четверг. Мы, как всегда, уселись в круг, чтобы читать стихи. Я ясно помню, как Поплавский напи-

[1] Марсово поле *(фр.)*.

сал записку, и ее стали передавать, пока она не дошла до Лидии Червинской, которой была адресована. Она прочла, подняла руку, сделала ею отрицательный жест и громко сказала:

— Во вторник я занята.

Это было приглашение на тот роковой «наркотический пир», стоивший жизни Поплавскому. Через неделю после смерти Поплавского во французских газетах появилось письмо наркомана, пригласившего тогда Поплавского на этот пир. В письме он писал своей невесте, что кончает жизнь, но, так как ему страшно умирать одному, то он берет с собой попутчиков.

* * *

Я не стану перечислять всех книг Зайцева, говорить о его несравненном, воздушном, акварельном стиле, о его изумительных описаниях русской и итальянской природы, читая которые я часто вспоминала строки Осипа Мандельштама — они действительно

С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

О его стиле, о том, что был поэтом в прозе и целые страницы «Путешествия Глеба» или «Голубой звезды» можно считать стихами в прозе,— уже много писалось, как и о том, что он «оставил пустое место после себя» — то пресловутое «пустое место», которое со времен смерти Вольтера неизменно фигурирует, с большим или меньшим основанием, в некрологах писателей.

Спора нет, после смерти Бориса Константиновича место, занимаемое им, осталось пустым, и никому из современных писателей его не занять.

Я очень любила Бориса Константиновича — не только как писателя, но и как человека, хотя наши жизненные пути никогда не скрещивались и особой близости между нами не существовало. Мы, до последних лет, даже редко встречались.

О горьком жребии эмигрантских писателей вспоминать тяжело и больно. Это сплошной перечень имен преждевременно умерших, погибших в газовых камерах нацистов или кончивших свои дни в унизительной бедности, бедности, которой не удалось избежать даже нашему Нобелевскому лауреату Бунину.

Все они, кроме превратившихся из русских писателей в иностранных, чувствуют себя непризнанными, непонятыми, несчастными и оскорбленными жизнью.

Исключение — с моей точки зрения — составлял один только Борис Константинович Зайцев.

Теперь, когда смерть уже потушила свечу, освещавшую страницы его жизни,— как говорил когда-то Лев Толстой,— я с полным убеждением называю Бориса Константиновича Зайцева счастливым.

Ведь был ли человек счастлив или нет, возможно судить лишь после его смерти — как правильно советовал своим современникам Софокл в «Эдипе в Колоне»:

И пока свой день последний не увидит тот, кто смертен,
На земле не называйте вы счастливым никого.

Всего за несколько дней до своей кончины Борис Константинович был весел, спокоен, бодр, и никому из навещавших его и в голову не приходило, что это их последнее прощальное свидание с ним.

Скончался он легко. Смерть, как и жизнь, не была к нему жестока.

Но,— возразят мне,— как вы можете утверждать, что Зайцев был счастлив? Ведь и он пережил все ужасы революции, ведь и он узнал тяжести и горести изгнания, и он на себе испытал, «как горек хлеб и как круты ступени в эмиграции». К тому же, его горячо любимая жена пролежала полупарализованная восемь лет перед своей смертью. Какое уж тут счастье?

И все же, настаиваю,— Борис Константинович был счастлив.

Конечно, и на его долю выпало немало «хождений по мукам», но ходил он по ним «легкой поступью, с светлым лицом, с сердцем, полным веры и любви», не проклиная, не ненавидя никого бунинской «собачьей ненавистью», перенося все страдания, как ниспосланное испытание.

Он как будто «попирал скудные законы бытия» и умел в самые темные дни своей жизни оставаться благостным и кротким, и не роптать на Бога.

То счастье, о котором я говорю, было главным образом в нем самом. Возможно, что другой на его месте не сумел бы его сохранить, растерял бы его на всех горестных этапах жизненного пути и достиг бы конца безнадежным, усталым, озлобленным и несчастным. Никому не простив, ничему не веря и ни на что не надеясь.

Я еще в Петербурге слышала от Гумилева и от Георгия Иванова, что в кругу «аполлонцев», так строго и пристрастно судивших писателей-москвичей, Бориса Зайцева ценили и уважали, не в пример прочим «белокаменным» писателям и поэтам.

С Борисом Константиновичем Зайцевым я знакома не была, но читала и любила его «Голубую звезду». То, что его так нравящаяся мне повесть называется «Голубая звезда», а мой первый рассказ — «Падучая звезда», как бы устанавливало невидимую связь между нами, какое-то «звезда с звездою говорит».

В 1926 году, как я узнала из «Последних новостей», Борис Константинович должен был праздновать свой 25-летний юбилей. Конечно, я непременно должна быть на юбилее автора «Голубой звезды». Тем более, что я там встречусь с Буниным, выразившим желание познакомиться со мной...

Борис Константинович Зайцев оказался именно таким, каким я его себе представляла.

Глядя на него, я вспомнила картины Нестерова: нежные, трогательные, тонкие березки и просвечивающиеся лучистой голубизной бледное северное небо и пятна талого снега на земле. Этот нестеровский пейзаж непонятным образом всегда служил ему фоном в моем воображении.

Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост, аристократической, высокой простотой, дающейся только избранным.

Как и полагается на юбилейном банкете, приветственные речи следовали одна за другой.

Бунин благосклонно выслушивал ораторов и благодарственно кивал им — будто все эти речи относились не к Зайцеву, а к нему. Но когда один из писателей срывающимся от волнения, плачущим, захлебывающимся голосом стал истово поздравлять Зайцева, Бунин, оглядев его с брезгливой улыбкой, процедил сквозь зубы:

— Врешь! Здесь не поминки! Плакать не полагается.— И так комично, передразнивая его, всхлипнул, что соседи покатились со смеху.

Я со своего места за столом не сводила с них обоих глаз. Они оба всецело поглощали мое внимание. Меня больше всего удивляло и притягивало их несходство, резкий контраст между ними — будто они не принадлежали к одной и той же семье писателей и их образ мыслей, занятия, интересы и уклад их жизни были диаметрально противоположны.

Но странно — чем дольше я глядела на них, тем яснее мне становилось, что не Бунин, а Зайцев здесь центр.

Бунин, несмотря на то что он явно старался играть первую роль, как-то начинал отступать на задний план, стушевываться перед спокойным, ласково улыбающимся Зайцевым.

Перед самым концом банкета, когда присутствующие длинной вереницей потянулись к Борису Константиновичу с бокалами шампанского, Бунин, как будто сам почувствовав, что роль его окончена, встал со своего места и пересел на конец стола. Но я, хотя он сел совсем близко от меня, продолжала как очарованная смотреть на Зайцева. И любоваться им.

Как я жалела, что в тот вечер мне так и не удалось познакомиться с самим юбиляром. Мне очень хотелось поздравить его. Но подойти к нему я не решилась.

Познакомилась я с Борисом Константиновичем в том же году на одном из очередных «воскресений» у Мережковских, куда, правда не слишком часто, приходил и он с Верой Алексеевной.

Это было особенно бурное собрание, похожее на стихийно взбунтовавшийся океан.

Ораторы старались перекричать друг друга, яростно споря.

Сам Мережковский, исходя вдохновеньем и широко раскрыв руки, казалось, поднялся на воздух и парил над этим неистово бушующим океаном, похожим на океан, когда-то поглотивший Атлантиду, ту Атлантиду, о которой здесь как раз и шла речь.

Мережковский, полузакрыв глаза, пророчествовал, как в забытьи:

— Европа — Атлантида... Если мы не сумеем победить близнецов, двух величайших соблазнов: Эриса — войну, и Эроса — сладострастия, не преобразимся и не переродимся, нас всех ждет гибель! Неминуемая гибель!..

И в эту минуту наивысшего нервного напряжения в столовую вошел, в сопровождении Злобина, Борис Константинович. Вошел удивительно тихо и скромно, стараясь не прерывать Мережковского, ласково поклонился всем общим поклоном, поцеловал грациозно протянутую ему руку Зинаиды Николаевны и сел рядом с Мережковским на спешно уступленное ему одним из молодых участников дискуссии место.

И сразу, хотя Борис Константинович не произнес еще ни одного слова, волны океана, уже, казалось, готовые поглотить всех нас, улеглись.

Мережковский, как это ему было свойственно, резко оборвав свое пророчество, любезно обратился к Зайцеву:

— А Вера Алексеевна? Сегодня не придет? Жаль! Очень жаль, так и передайте ей. Забыла она нас совсем.

В дальнейшем разговоре Атлантида — Европа и наша общая гибель, если мы не сумеем победить Эриса и Эроса, больше не упоминались. Вместо них вспоминали литературную Москву начала века, и Зайцев уютно рассказывал о своих встречах с Чеховым.

В тот день — не в пример обычным «воскресеньям» — никто больше не спорил и не «скрещивал мечей красноречия».

Тогда это меня поразило! Зайцев одним своим присутствием внес покой в мысли и сердца сидевших за столом.

Даже Зинаида Николаевна, слушая Зайцева, ни разу не проронила своего знаменитого «А я не согласна!», не протестовала, а одобрительно кивала головой в знак согласия.

Мне и потом приходилось наблюдать, как присутствие Зайцева разряжало наэлектризованную, взвинченную атмосферу. При нем как будто невозможно было ссориться и даже страстно спорить.

Много лет спустя, уже после смерти Георгия Иванова, я стала сотрудничать в «Русской мысли». Мы каждую среду собирались в редакции, и я каждую среду встречалась там с Борисом Константиновичем.

В те годы, до самой смерти Водова, среды стали для меня праздничным днем — так приятны были эти собрания.

Борис Константинович, с удивительной в его почтенном воз-

расте легкостью осилив бесчисленное количество «крутых ступенек», первым делом отправлялся в кабинет бессменного секретаря Евгении Николаевны Рышковой — «Маркизы», как ее титуловали все в «Русской мысли». И только обсудив с ней все литературные новости и события за истекшую неделю, Борис Константинович являлся в кабинет Водова, где уже все сотрудники и друзья «Русской мысли», во главе с Софьей Юлиевной Прегель, были в сборе и ожидали его.

Он всегда, здороваясь с Софьей Юлиевной, обменивался с нею традиционными дружескими поцелуями, а я неизменно приседала перед ним в реверансе, как перед членом императорской семьи, на что он отвечал мне чем-то тоже похожим на реверанс, наклоняя голову и слегка подгибая колени.

Поздоровавшись со всеми, Борис Константинович передавал Водову папку с просмотренными им стихами и рассказами с собственноручными пометками — Д. или Н.— да или нет. После чего начинались бесконечные разговоры и обмены мнений.

В редакцию на собрания «Русской мысли», превратившиеся при новом редакторе — Зинаиде Шаховской — из «сред» в «пятницы» и ставшие вместо еженедельных ежемесячными, Борис Константинович не переставал являться до самого последнего времени, мужественно превозмогая усталость, вызванную подъемом на шестой этаж.

Правда, теперь его доставляла на своем автомобиле его дочь, Наталья Борисовна Соллогуб, «идеал дочери», как я ее про себя прозвала, заставлявшая меня жалеть, что я не обзавелась потомством. Но, впрочем, кто знает, была бы моя дочь «идеалом дочери» и, выйдя замуж, подарила ли бы она мне такого заботливого и милого зятя, каким для Бориса Константиновича являлся А. В. Соллогуб.

В 1971 году Борис Константинович отпраздновал свое 90-летие. За 45 лет, отделявших этот юбилей от первого, он внешне изменился очень мало. Был чрезвычайно моложав — стройный и подвижной, ни седых волос, ни лысины, ни морщин. Только лицо его приобрело особое спокойно-благостное выражение и стало напоминать иконописные лики. Но его ласковая, легкая, иногда слегка лукавая улыбка была все та же.

Казалось, время мало касалось его. Казалось, он проживет еще долгие годы счастливой старости.

В предпоследний раз я встретилась с Борисом Константиновичем на свадьбе молодого литературоведа Ренэ Герра с русской девушкой Екатериной Андреевной Зербино.

На приеме, после венчания, устроенном в Морском собрании, я сидела рядом с Борисом Константиновичем. Он был очень весел, оживлен, пил шампанское за здоровье молодых и не торопился домой.

— А как это у вас о старости? — неожиданно спросил он меня.— В вашем стихотворении в «Новом журнале»? Если помните — прочтите.

И я прочла:

Ведь старость — светлый вечер жизни —
Несет с собою лампу Аладдина,
Рассеивая скуку темных будней,
Все превращая в торжество.

Он внимательно выслушал меня и медленно повторил:

— Ведь старость — светлый вечер жизни... Но редко кто понимает, что старость хороша... Даже очень хороша...

* * *

Я очень любила и высоко ставила Бальмонта. Но Гумилев разъяснил мне, что это ошибка, добавив все же, что в прошлом у него большие заслуги. «Это он,— говорил Гумилев,— открыл для читателей сокровищницу мировой поэзии, хотя его перевод из рук вон плох. Конечно, он также внес в русское стихосложение всевозможные изощренности, и это он первый, а не я, пригласил Музу дальних стран на пир русской поэзии. Я ведь только видел «Чужое небо» Африки, а он видел десятки Чужих небес.

Но,— со вздохом продолжал Гумилев,— все это было давно. Теперь он попросту графоман, страдающий болезнью недержания стихов. Его будущее в его прошлом. Чтобы продолжать любить его стихи, никогда не надо заглядывать в его новые книги».

Такого же мнения, к сожалению, придерживался и Блок, хотя стихи Бальмонта с годами становились не только не хуже, а даже лучше.

В моей молодой жизни Бальмонт сыграл очень большую роль. Он был первый поэт-модернист, очаровавший и потрясший меня. В его стихах я впервые почувствовала что-то совсем новое, какое-то дуновение потустороннего мира, какие-то отголоски ангельского пения, меня околдовавшие. Я просто бредила его стихами и постоянно шепотом повторяла их, разыгрывая на рояле скучные упражнения Черни. Перед сном и просыпаясь, я с наслаждением повторяла:

Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная,
Как последний вздох души.

Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит...—

и, дочитав «Лебедя», переходила к стихам:

У Моря ночью, у Моря ночью
Темно и страшно, хрустит песок,
О как мне больно у Моря ночью.
Есть где-то счастье, но путь далек...—

а потом непременно к магически действовавшим на меня «Камышам»:

Полночной порою, в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши.
О чем они шепчут? О чем говорят?
Зачем огоньки между ними горят?

Мигают, играют и снова их нет.
И снова забрезжил мигающий свет.
Полночной порой камыши шелестят...

Но дальше я не шла, и следующей строчки —

В них жабы гнездятся, в них змеи свистят —

не произносила, так как панически боялась жаб и змей.

Они казались мне совершенно неуместными в этих волшебных стихах. Так уже в свои девять лет я позволяла себе «свое суждение иметь», как заправский критик.

Но в своем выборе стихотворений Бальмонта я оригинального вкуса не проявляла — Бальмонта для меня открыл мой двоюродный брат студент, и я восхищалась теми же стихами, что и он, и вся тогдашняя молодежь, особенно женская ее половина. Тут были и «Я мечтою ловил уходящие тени», и «Скользят стрижи в лазури неба чистой», и «В моем саду мелькают розы красные», а также и «Она отдалась без упрека», хотя, конечно, я не понимала, что это, собственно, может значить, но мое непонимание придавало еще большую прелесть и какую-то особую остроту этому стихотворению.

Уже став студийкой, я постоянно приставала к Гумилеву с расспросами о Бальмонте, и он много рассказывал мне о нем. Вот один из его рассказов — о том, как Бальмонт стал поэтом.

Случилось это — по словам Гумилева — в 1895 году. Бальмонт, тогда еще никому не известный, несмотря на бесчисленные переводы, которыми он наводнял редакции журналов и издательства, жил почти впроголодь, перебивался с хлеба на квас. Он отличался чудовищной работоспособностью и столь же чудовищной влюбчивостью.

Его донжуанский список был так же велик, как и список его переводов. Женщины покорялись ему безропотно и сразу. Он гипнотизировал их, как удав кролика, и считал свои победы совершенно естественными. Все же нашлась одна, не поддав-

шаяся его чарам, что привело его в бешенство, а затем и в отчаяние, доведшее до попытки самоубийства.

В полубезумном состоянии он выбросился из окна своей комнаты на третьем этаже, выходившей во двор. Как раз под этим окном находилась мусорная яма. В нее-то и угодил Бальмонт. Большого вреда падение ему не принесло. Он только набил себе на голове огромную шишку. И тут произошло чудо. Эта чудодейственная шишка и сделала прозаика Бальмонта поэтом.

Когда его подобрали и в бессознательном состоянии принесли в комнату и уложили в постель, он открыл глаза и вдруг, к ужасу окружающих, заговорил гладкими, певучими стихами. А потом тут же потребовал перо и бумагу и, не теряя времени, стал писать одно стихотворение за другим. Так и продолжает по сей день — почти безостановочно. Кроме стихотворного дара, мусорная яма сделала ему еще один подарок. Он стал слегка прихрамывать, что, по его мнению, роднило его с Байроном. Впрочем, в его хромоту, как и в его предка «Белого лебедя», мало кто верил — он прихрамывал то справа, то слева, а когда хорошенько выпивал, что с ним случалось постоянно, переставал хромать совершенно.

Этот саркастический рассказ, конечно, просто легенда, как и многое другое, что рассказывали о Бальмонте.

На самом же деле все было совсем не так. Правда, в 1895 году Бальмонт после первого, крайне неудачного брака, истерзанный и вконец исстрадавшийся, действительно решил покончить с собой и выбросился из окна третьего этажа. Он разбился почти насмерть и оправился лишь через год, проведенный в постели. За этот год он, правда, очень изменился и написал много стихов в совсем новом стиле. Но стихи он писал с самого детства, с восьми лет. Все это я узнала только теперь, а прежде верила, как и многие другие, в «чудодейственную шишку».

«Темен жребий русского поэта». Да, бесспорно. Но в этом «темном жребии поэта» почти всегда трагические события и обстоятельства, тогда как в «темном жребии» Бальмонта они не играли главной роли. Молниеносно прославившись в 1894 году на всю Россию своей второй книгой стихов «Под северным небом» (первая, «Сборник стихотворений», изданная Бальмонтом на собственный счет, прошла незамеченной), он стал настоящим кумиром не только читателей, но и поэтов и критиков.

Брюсов, с которым он познакомился в том же году, впоследствии признавался, что встреча с Бальмонтом была одной из самых значительных в его жизни. Бальмонт — по его словам — имел на него огромное, благотворное влияние и многое открыл ему в поэзии.

Новые ритмы, игра аллитераций, необычайные напевы стихов Бальмонта буквально всех ошеломили. Каждая новая книга Бальмонта — а выпускал он их очень часто — вызывала все большие восторги. Бальмонт стал действительно властителем дум и душ того времени. Критика превозносила его до небес и ждала от него

еще бесконечно многого. Сборник «Только любовь», появившийся в 1903 году, был встречен обычным хором славословий. Никому тогда в голову и прийти не могло, что так высоко поднявшаяся звезда Бальмонта скоро померкнет. Все были уверены, что она, разгораясь все больше и больше, будет еще ослепительней заливать и преображать своим магическим светом русскую поэзию.

Но что-то случилось. Спуск на тормозах славы Бальмонта начался именно со сборника «Только любовь». В читательских кругах им продолжали восторгаться и восхищаться, но критики и поэты с этого времени стали заметно охладевать к нему. Безудержное поклонение Бальмонту длилось недолго. «Литургия красоты» уже не вызывала прежних славословий и даже разочаровала. Стали говорить, что Бальмонт начал исписываться, что «Только любовь» была его последней гениальной вспышкой.

«Жар-птица», появившаяся в 1907 году — возврат к былинным темам и героям — вызвала уже не только разочарование, но даже возмущение. Брюсов в «Весах» резко осудил Бальмонта за желание улучшить былины, переделать их на современный вкус, нарядив Илью Муромца и Садко в пиджачную пару декадентов, и негодовал на то, что Бальмонт посмел заменить былинный, народный язык гладким, сладкозвучным, да к тому же еще и рифмованным стихом.

Хотя Амфитеатров и продолжал утверждать, что Бальмонт «самая большая и оригинальная сила в русской поэзии», и Блок хвалил Бальмонта за «превращение некоторых бедных легенд в бриллианты», говоря, что Бальмонт, став проще, сохранил всю свою магию (мнение, которое он впоследствии, к сожалению, изменил), никто уже из поэтов и критиков не соглашался с ним. Но Бальмонт, несмотря на перемену отношения к нему, продолжал свою ураганную деятельность и выступал на поэтических вечерах, всегда проходивших с огромным успехом. Особенно им восхищалась молодежь. Его популярности очень способствовало его революционное настроение. Он открыто читал на студенческих вечерах свои «Песни мстителя». Он не только не скрывал своих революционных взглядов, но даже бравировал ими. Слух о них наконец дошел и до правительственных кругов. В 1907 году Бальмонту было предложено покинуть пределы России, на что он ответил отказом, ссылаясь на отсутствие средств. Тогда ему была ассигнована сумма в две тысячи рублей, обеспечивавшая его отъезд с женой и дочерью Миррой. Об этом мне уже в 1919 году рассказывал Гумилев, удивлявшийся мягкости царского правительства:

— Нет, вы подумайте! Теперь бы его за распеванье таких песен к стенке поставили. А тогда только вежливенько попросили уехать, да еще снабдили прогонными!..

На прощальном обеде поэты, провожавшие Бальмонта в ссылку, по словам Брюсова, плохо скрывали удовлетворение, вызванное его насильственным отъездом. Бальмонт успел многим надоесть и со многими рассориться.

Он часто бывал высокомерным и резким.

Бальмонт с семьей поселился в Париже, где с удвоенной энергией продолжал писать стихи и делать переводы. Горький, которому он посылал свою огромную продукцию, оплачивал ее всю, но печатал лишь небольшую часть ее в своем «Знании».

В Петербурге и Москве по-прежнему выходили книги ссыльного поэта — «Зовы древности», «Из чужеземных поэтов» и т. д. Но поэтическая репутация Бальмонта продолжала идти на убыль.

В те годы Бальмонт носился по всему миру, совершил второе кругосветное путешествие, и как он сам говорил, «на всех морях мечту баюкал звоном». Он бывал в Париже только между очередными путешествиями, привозя с собой груды новых стихов.

В 1912 году был скромно отпразднован в его отсутствие его литературный юбилей. На нем вместе с другими ораторами выступили Блок и Вячеслав Иванов с речами, сдержанно хвалебными. В том же году ему позволили вернуться, несмотря на то, что он издал в Париже свои «Песни мстителя».

5 мая большая толпа, в которой преобладали женщины и студенты, на Брестском вокзале встречала ссыльного поэта. Ему поднесли красные розы, но тут до речей не дошло.

Через несколько дней в Московском художественном кружке ему был устроен торжественный прием. Бальмонт, сияя золотистыми кудрями, спадавшими ему на плечи, с зелеными глазами, черным галстуком-бантом и изумрудом, вколотым в него, торжественно делился со слушателями своими мексиканскими впечатлениями и стихами и принимал поздравления.

Все шло прекрасно, как вдруг из задних рядов раздался громоподобный бас Маяковского: «Константин Дмитриевич, позвольте и мне поздравить вас от лица ваших врагов». За «поздравлением» последовала издевательская речь, высмеивающая стихи Бальмонта и его самого. Бальмонт, не теряя хладнокровия, с улыбкой выслушал Маяковского и ответил ему экспромтом, в котором высказал сожаление, что принять «поздравление» не может, так как он поэт, а у поэтов врагов не бывает.

Это, конечно, не соответствовало истине — у Бальмонта по возвращении домой врагов было очень много.

Русская поэзия ко временам возвращения Бальмонта из ссылки, то есть к 1912 году, сильно изменилась и не переставала меняться. Все новые поэты — Кузмин, Игорь Северянин, Осип Мандельштам. Гумилев — глава акмеизма — вершил судьбами поэтов в «Аполлоне». Восходило беззакатное солнце Ахматовой. Футуристы, имажинисты и прочие новаторы неистово скандалили. Блок приобретал все больше поклонников...

Между поэтами разных направлений шла беспрерывная борьба. Бальмонт, не принадлежавший ни к одному из этих направлений, как ни странно, стал мишенью для ударов и слева и справа. На него все дружно обрушивались. Чуковский громил его переводы, особенно переводы из Шелли. Эгофутуристы — к ним тогда

принадлежал и совсем юный Георгий Иванов — печатно возмущались в своем альманахе тем, что «глупая публика все еще считает Бальмонта великим поэтом». Даже Розанов счел возможным присоединить свой голос к хору хулителей Бальмонта, уверяя, что у Бальмонта вовсе нет души, а только — вместо нее — мешок, набитый африканскими, индийскими, цейлонскими и тому подобными одеждами, в которые он и наряжает свою пустоту.

Такое отношение к Бальмонту в поэтических кругах продолжалось до самой революции.

Бальмонт радостно приветствовал революцию. Как бывший «борец за свободу», он был вправе ожидать больших наград, почестей и признания своих заслуг перед революцией. Но его ждало горькое разочарование — торжествовали его враги футуристы, имажинисты, ничевоки и весь тогдашний авангард поэзии. Они «сбрасывали Пушкина с корабля современности», расклеивали по Москве афиши, извещавшие о смерти Ахматовой, кричали Блоку на его выступлениях в Доме литераторов:

— Мертвец! Мертвец! В могилу пора!

Конечно, они не щадили и Бальмонта, проявляя к нему еще большую ненависть и презрение, чем к Блоку,— все это под снисходительным взглядом председателя Московского союза поэтов Брюсова, галантно расшаркивавшегося перед ними.

Первые годы революции, проведенные Бальмонтом в Москве, были для него чрезвычайно тяжелы. Он холодал и голодал в своем кабинете, стараясь как можно реже покидать его,— все остальные комнаты его квартиры были «уплотнены». Встречался он только с одной Мариной Цветаевой, еще более обездоленной, чем он.

К счастью, эстет Луначарский чувствовал к Бальмонту большую симпатию и выхлопотал ему временное разрешение на поездку за границу, не подозревая, что Бальмонт собирается эмигрировать.

Прибыв в Париж, Бальмонт поселился с женой и дочерью Миррой в более чем скромном отеле на площади Данфер-Рошеро и зажил по-беженски.

Вскоре он сблизился с группой молодых поэтов — один из них проживал в том же отеле, что и Бальмонт. Эти молодые поэты относились к нему с большим уважением и считали его настоящим мэтром. Бальмонт «воспрял духом» и принялся мечтать об объединении эмигрантов, желая стать первым поэтом. И это тогда казалось вполне возможным. Он с большим успехом выступал на вечерах молодых поэтов, уже образовавших свой собственный союз.

Слушатели горячо принимали его. Конечно, это не были триумфы его выступлений в тысячеместном зале Московского политехнического, не вмещавшем всех его поклонников и поклонниц, но это же был настоящий успех и полный контакт с аудиторией — восторженные аплодисменты, бесконечные вызовы.

Его стихи, особенно стихи о России, трогали и волновали. Они и сейчас не потеряли своей свежести и обаяния и могли быть написаны и в наши дни.

ПРИМИРЕНИЕ

От тебя труднейшую обиду
Принял я, родимая страна,
И о том пропел я панихиду,
Чем всегда в душе была весна.

Слово этой пытки повторю ли?
Боль была. Я боль в себе храню.
Но в набатном бешенстве и гуле
Все, не дрогнув, отдал я огню.

Слава жизни. Есть прорывы злого,
Долгие страницы слепоты.
Но нельзя отречься от родного,
Светишь мне, Россия, только ты.

Но тут опять что-то случилось, и звезда Бальмонта, начавшая вторично подниматься и ярко сиять, снова померкла. Он, как когда-то в России, и здесь, за рубежом, «просиял и погас», на этот раз уже окончательно.

Как это ни грустно и ни обидно, в его вторичном, окончательном крушении-погашении главную роль сыграл Георгий Адамович.

Адамович в те годы только начинал свою карьеру первого зарубежного критика, но уже совместно с Георгием Ивановым «царил» на Монпарнасе среди молодых поэтов, и мнение его, как и мнение Георгия Иванова, было для них законом.

К Бальмонту и Адамович, и Георгий Иванов относились довольно сдержанно, но, в сущности, ничего против него в роли, которую он собирался играть в зарубежьи, мечтая объединить его и стать его «певцом», не имели и мешать ему не собирались. До того трижды злосчастного дня, когда Адамович, случайно встретившись с Бальмонтом в редакции «Последних новостей», где они оба сотрудничали, завел с ним спор об иностранной литературе, вскоре принявший неприятный оттенок. Бальмонт, обладавший исключительной эрудицией, прочитавший тысячи книг на языках всего мира, открыто высказал свое удивление неосведомленностью в этой области Адамовича, хорошо знавшего лишь французскую литературу и французский язык.

По уходе Адамовича из редакции он громко и возмущенно заявил находящимся в ней сотрудникам, что считает Адамовича «недоучившимся лопоухим гимназистом», с тех пор так всегда и называл его, но, в сущности, скорее добродушно.

К сожалению, это прозвище сразу же было передано Адамовичу. Адамович был крайне самолюбив и обид никогда никому

не прощал, хотя и скрывал это тщательно, уверяя, что он «совершенно безразличен к хвалам и хулам».

Бальмонта он тогда же возненавидел и стал вредить ему где только мог.

За Бальмонта Адамович взялся энергично, решив его уничтожить. Он объявил его в своих критических статьях графоманом, у которого и в прошлом не было никаких заслуг, к тому же внесшим в русскую поэзию тлетворную «бальмонтовщину», от которой раз навсегда надо отделаться.

Молодые авторы Монпарнаса подхватили его слова и не только охладели, но и начисто отвернулись от Бальмонта. И даже стали смеяться над ним. Анекдотов, высмеивающих Бальмонта, в те годы было немало.

Вот один из них: «Бальмонт пишет стихи почти без передышки и сразу начисто, на пишущей машинке — черновиков у него нет. Утром, выпив кофе, он, как полагается по его программе, настукивает три стихотворения, потом идет завтракать, а когда после завтрака снова усаживается за машинку, возле нее лежат уже не три, а шесть стихотворений — три из них нащелкала сама пишущая машинка, и он не знает, которые принадлежат ему, которые ей, и все их вместе посылает в редакции журналов».

В то, что Бальмонт «нащелкивает» свои стихи начисто, без поправок и переделок, верили все. В этом отчасти виновато его стихотворение, написанное им еще в 1905 году:

КАК Я ПИШУ СТИХИ

Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвертая смеется, набегая.

И пятая, и после, и потом,
Откуда, сколько, я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда — не сочиняю.

В действительности это не соответствовало истине. Бальмонт бесспорно обладал совершенно исключительным «песенным даром», и у него часто появлялись стихи «вот так из ничего», будто слетая к нему с неба, но иногда он их и «сочинял», долго работая над ними, иначе как мог бы он «сочинить» столько безукоризненно правильных, прекрасных сонетов — ведь сонет одна из труднейших и сложнейших форм стихосложения, требующая не только мастерства, но и работы. А Бальмонт сочинял не только сонеты, но и венки сонетов — с ними без усидчивого труда — знаю это по моему собственному стилистическому опыту — справиться невозможно.

А отсутствие черновиков Бальмонта — их, кажется, действительно не существовало — объясняется тем, что он проделывал

всю работу над стихами в голове и записывал их уже готовыми. (Так, впрочем, по ее собственным словам, «творила» и Ахматова.)

Бальмонта, с нелегкой руки Адамовича, постоянно упрекали в пустозвонстве и пустословии его новых стихов, на самом же деле они становились все лучше, и Бальмонт относился к ним гораздо ответственнее, чем в далекую эпоху «Горящих зданий», «Будем как Солнце» или «В тишине», утверждая, что надо писать стихи только тогда, когда на самом деле есть что сказать. А «что сказать» с годами у него было все больше, и он все лучше «говорил» и писал.

Бальмонт тяжело пережил охлаждение к себе и крушение своей мечты стать первым поэтом зарубежья. Он, как когда-то в Москве, ушел в себя, перестал выступать на вечерах. Старался как можно чаще уезжать в Бретань, на берег океана, где, как он сам говорит о себе в стихотворении «Забытый»:

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,
Меж рыбаков, что скудны, как и я.
Но им дается рыба в океане,
Лишь горечь брызг — морская часть моя.

Отъединен пространствами чужими
Ото всего, что дорого мечте,
Я провожу все дни, как в сером дыме,
Один. Один. В бесчасьи. На черте.

Да, он действительно там жил «один в бесчасьи». На черте жизни, отчаяния и смерти.

Что это не пустозвонные слова, а правда, я убедилась, когда в первый и последний раз встретилась с Бальмонтом.

Случилось это на одном из очередных «воскресений» у Мережковских. То «воскресенье» было совсем обыкновенное, ничего особенно интересного не обещавшее. Обычные посетители его сидели на своих местах в полном составе, за исключением одного Адамовича, уехавшего на Пасху в Ниццу, вокруг длинного стола и пили чай — тут, как всегда, были Фрейденштейн, Терапиано, Лидия Червинская, Мамченко, Георгий Иванов, сидевший со стороны правого, лучше слышавшего уха Зинаиды Николаевны, и прочие. Вокруг Мережковского, как всегда, велись дискуссии и диспуты об Атлантиде, о материке Май, разбирался прошлый доклад и обсуждалось будущее «Зеленой лампы». Все как всегда. Вдруг звонок. Злобин идет открывать дверь: «Наверное, Ильюша, он обещал».

Зинаида Николаевна с приветливой улыбкой наводит лорнет на дверь, ведущую из прихожей в столовую. Ильюша — И. И. Фондаминский, здесь он всегда желанный гость. Но это не он. В столовую в сопровождении Злобина входит совсем не знакомый мне довольно странного вида человек с длинными золотистыми волосами до плеч, маленькой острой бородкой, с

артистическим галстуком-бантом. Он держится очень прямо, гордо закинув голову, но движения его связаны и весь он какой-то растерянный.

Приветственная улыбка Зинаиды Николаевны становится слегка насмешливой.

— Вот это кто,— тянет она капризно, протягивая ему высоко поднятую для поцелуя руку,— наконец небожитель вспомнил о нас, смертных, и спустился к нам! Давно пора!

Я смотрю во все глаза на вошедшего.

— Это Бальмонт,— шепчет мне мой сосед Фрейденштейн.

Бальмонт? Неужели? А я почему-то думала, что он совсем другой, гораздо старше, седой, самоуверенный и заносчивый. А он кажется даже немного застенчивым. И, поздоровавшись с Мережковскими, отвешивает всеобщий поклон и садится на принесенный Злобиным стул.

Появление его только на минуту прервало вдохновенную речь Мережковского. Он уже снова говорит. Бальмонт молча слушает его и пьет чай со слегка обиженным видом. Никто не обращает внимания. Диспут продолжается, будто Бальмонта здесь нет.

Он сидит так тихо и скромно, а я слышала, что, где бы он ни был, сейчас же вынимает из кармана записную книжечку со стихами и начинает их читать, зачитывая присутствующих до полуобморочного состояния. Значит, и это неправда, как многое, что говорят о нем.

Мне очень хочется послушать, как он читает стихи, но я сижу далеко от него и не решаюсь обратиться к нему через весь стол.

Теперь разговор идет уже не о докладе в «Зеленой лампе», а об Индии, и в нем принимает участие и Бальмонт. Просто и ясно формулируя свои мысли, он рассказывает о священных коровах, об ашрамах, о Ганге. Без жестикуляций и «цветов красноречия», которые ему всегда приписывают. Терапиано задает ему вопросы, и он умно и дельно на них отвечает. Все, даже Мережковский, слушают его с интересом.

Но уже семь часов, и пора уходить. Зинаида Николаевна провожает гостей до прихожей.

— Вас, Константин Дмитриевич,— говорит она Бальмонту,— я не прошу заходить. Вы все равно больше к нам не заглянете — знаю. Но за то, что вспомнили о нас,— спасибо.

— Я пришел проститься,— объясняет он.— Я завтра уезжаю в Бретань...

— И вдруг мы не увидимся больше никогда,— кончает она его фразу.— Ведь каждая разлука навсегда. Значит, прощайте, до свиданья в этом или в том мире.

Мы все спускаемся по лестнице и выходим на улицу.

Я подхожу к Бальмонту.

— Константин Дмитриевич, мне жаль — до чего жаль, что вы не читали ваших стихов, мне так давно хотелось послушать вас.

— Правда? Отчего же вы не сказали? Я бы с удовольствием...

Он пристально смотрит на меня. У него действительно, как рассказывают, зеленые глаза, очень блестящие, молодые. Он совсем другой, чем там, у Мережковских,— оживленный, помолодевший, улыбающийся, вдохновенный. Он, взмахнув рукой, снимает шляпу. Закатное солнце освещает его длинные золотистые волосы, превращая их в сияние.

— Это можно исправить,— быстро говорит он,— теперь и голос его звучит иначе, чем там, у Мережковских, более звучно и певуче,— я готов читать вам стихи сколько хотите. Зайдемте в кафе. Или лучше поедемте ко мне. Я весь вечер буду вам читать, весь вечер, всю ночь, сколько хотите.

— Но я, к сожалению, занята. Мы должны идти обедать к знакомым. Я тороплюсь. Мне надо еще переодеться дома.

Он явно огорчен.

— Неужели вы не можете, не хотите? Ведь я завтра уезжаю в Бретань. Придется отложить на потом, и это плохо. Как говорила Гиппиус, каждая разлука навсегда. Откажитесь от обеда ради меня.

Георгий Иванов берет меня под руку.

— Нет, Константин Дмитриевич, отказаться никак нельзя. Будем надеяться, что эта разлука не навсегда. Вы приедете к нам или мы к вам, когда вы вернетесь. А сейчас, простите, мы спешим. Мы и так уже опаздываем.

— Что же, раз нельзя,— разочарованно произносит он,— значит, не судьба. Прощайте.

— Кланяйтесь океану,— говорит Георгий Иванов.— Счастливого пути.

Бальмонт пожимает плечами.

— Путь вряд ли будет счастливый. Счастья у меня давно ни в чем нет. Сплошное бессчастие, вернее, горе. А океану поклон передам. Я рад, что уезжаю на океан. Там хорошо — такое одиночество, такая тоска.

Я протягиваю ему визитную карточку:

— Вот наш адрес и телефон. Непременно известите меня, когда вы вернетесь. Непременно. Обещаете?

Он кивает.

— Обещаю, хотя, может быть, и не сдержу обещания. Там видно будет.

— Нет, пожалуйста, пожалуйста,— настаиваю я. Мы прощаемся и расходимся. Мы налево, он направо к метро.

Я смотрю ему вслед. Мне вдруг становится его страшно жаль. Такой одинокий, такой несчастный. Мне хочется догнать его, сказать, как я рада, что познакомилась с ним, как люблю его стихи и его самого. «Непременно, непременно пойду к нему, как только он вернется»,— обещаю я себе. И все ему скажу.

Но я не пошла к нему, и он не пришел к нам. Я даже не знаю, была ли я в Париже, когда он вернулся из Бретани...

Уже потом, перед самой войной, я слышала, что он серьезно болел нервной депрессией и был даже помещен в клинику для душевнобольных. В их роду была тяжелая наследственность — его старший брат сошел с ума и умер совсем молодым.

Во время оккупации Бальмонт поселился в Нуази-ле-Гран в русском общежитии матери Марии, где и умер в декабре 1942 года.

На похоронах его ни поэтов, ни поклонников не было.

Шел сильный дождь. Когда гроб стали опускать в могилу, она оказалась наполненной водой, и гроб всплыл. Его пришлось придерживать шестом, пока засыпали могилу.

* * *

Это было на юбилее Бориса Константиновича Зайцева в 1926 году.

Мы, то есть Георгий Иванов и я, приехали нарочно из Ниццы, где проводили зиму.

Мне уже не казалось тогда, как на берегах Невы, что в жизни главное — и даже единственное — поэзия. Я убедилась, что существует еще немало удовольствий и глупо отказываться от них.

Стихов я почти не писала. Зачем? Раз они никому здесь не нужны. «Хоть собственной кровью на скале, на необитаемом острове», как говорил Рёскин. Романтическое преувеличение. Стихи надо писать для современников, а не для проблематических потомков. Можно ли быть уверенным, что потомки найдут, прочтут и оценят мои стихи?

Гораздо проще перестать писать их. Я так и делала.

Но ничего не писать оказалось мне все же не по силам. И вот в одно январское утро я совершенно неожиданно для себя написала рассказ «Падучая звезда».

Написала прямо начисто, почти без помарок — к своему собственному удивлению и к еще большему удивлению Георгия Иванова, одобрившего его.

Через два дня «Падучая звезда» была отправлена в Париж, в литературное приложение «Последних новостей», еженедельную газету «Звено». А через двенадцать дней уже появилась в ней.

Так началась моя прозаическая карьера.

Странное и, казалось бы, трудно объяснимое явление, много раз наблюдаемое мной: начинающие, никому еще не известные и — к чему скрывать — слабые писатели и поэты получают гораздо больше читательских писем, чем знаменитые.

Может быть, читатели боятся писать знаменитостям, они заранее уверены, что ответа не будет. Не знаю. Но и я на свой первый рассказ получила три отклика.

Два от читателей, третий от... Бунина! Бунин прислал открытку редактору «Звена» Винаверу с очень похвальным отзывом о моей «Звезде». Заканчивалась она так: «Кто такая Ирина Одоев-

цева? Пожалуйста, передайте ей мой привет и скажите ей, что я хочу с ней познакомиться».

И под твердым четким росчерком — Ив. Бунин — приписка: «Я слышал, что она прелесть какая хорошенькая».

Конечно, эта приписка сильно умаляла лестный отзыв о моем рассказе. А если бы я была длинноносая горбатая старая дева?

Все же, несмотря на приписку, мне было очень приятно, что Бунину понравился мой рассказ и он хочет познакомиться со мной.

В Париже мы побывали на воскресном завтраке у Винавера, где еженедельно собирались сотрудники «Звена», а вечером отправились на юбилей Зайцева.

В тот вечер, хотя я и привыкла в Петербурге к знаменитым поэтам и писателям, я все же волновалась.

Не из скромности или застенчивости — в те годы я была гораздо самоувереннее, чем сейчас, ведь я (может быть, и не по заслугам) была очень избалована успехом.

Волновалась я, как всегда перед знакомством с большим поэтом или писателем, оттого, что они все своим внешним обликом разочаровывали меня.

Исключение из этого правила составляли только Ахматова и Блок. Все остальные, включая и Алексея Толстого и Марину Цветаеву, с которой я познакомилась в Берлине в двадцать третьем году, с первого взгляда заставляли меня пожалеть, что я с ними встретилась — ах, лучше бы я их не видела совсем!

Я, как та девочка в анекдоте, могла написать: «Папа! Я видела льва, но он не похож».

Неужели и эти львы окажутся «непохожими» и я опять почувствую разочарование?

Но на этот раз я не испытала ни огорчения, ни разочарования: Борис Константинович Зайцев оказался именно таким, каким я его себе представляла.

Борис Зайцев был как-то совсем по-особенному тихо-ласков и прост. Прост той высокой простотой, дающейся только избранным, которую никаким воспитанием приобрести нельзя.

Бунин рядом с ним казался как бы его прямой противоположностью: необычайно величественный, гордый, даже надменный.

Он был среднего роста, но держался преувеличенно прямо, горделиво закинув голову. И от этого, или оттого, что он был очень строен, казался высоким.

Его красивое, надменное лицо выражало холодное, самоуверенное спокойствие, но светлые глаза смотрели зорко, пристально и внимательно и, казалось, замечали и видели всё — хоть на аршин под землей.

Он сидел возле Зайцева. И можно было подумать, что не скромно-ласковый Борис Константинович, улыбавшийся светлой улыбкой всем и каждому, а он — юбиляр.

Меня повел знакомить с Буниным Винавер.

— Иван Алексеевич, это и есть Ирина Одоевцева. Она, чтобы исполнить ваше желание, приехала из Ниццы.

Бунин подал мне руку и не спеша оглядел меня пристальным, холодным взглядом с головы до ног, задержав взгляд на ногах.

Винавер кивнул мне:

— Ну, оставляю вас на попечение Ивана Алексеевича,— и отошел от меня, а Бунин продолжал бесцеремонно меня разглядывать.

— А вы,— заговорил он слегка насмешливо,— видно, не из трусливого десятка. Ведь от моего взгляда, как от взгляда Иоанна Грозного, робкие женщины в обморок падают. А вы даже не смутились и не покраснели. Все же, сознайтесь, сердечко-то вот как стучит!

И, не дав мне ответить, продолжал:

— Сохраните мою открытку. Не теряйте ее. Она вам может пригодиться как аттестат. Бунин своих похвал зря не раздает.

И вдруг неожиданно обворожительно улыбнулся и начал уже совсем другим, потеплевшим дружелюбным тоном расспрашивать меня обо мне и давать мне литературные советы.

— Главное — пишите только о страшном или о прекрасном. Как хорошо ни изобразите скуку, все равно скучно читать. Только о прекрасном и страшном — запомните.

Мы стояли посреди зала. Я видела, что многие прислушивались к словам Бунина и что он отлично сознает это и потому говорит так громко и внятно — для слушателей-поклонников. Было ясно: Бунин внушал им такое почтение, что приблизиться к нему никто из них не решался.

Так мы разговаривали довольно долго, пока Вера Алексеевна Зайцева (ее я тоже видела впервые), нарядная, гибкая, как ветка ивы, и вся как будто сверкающая от переполняющей ее жизнерадостности и внутреннего огня, не подошла своею легкой походкой и решительно взяла его под локоть:

— Ну, хватит, Иван! Довольно тебе мелким бисером рассыпаться перед молодой писательницей. Ты и так уже в лоск очаровал ее. Она эту встречу с тобой, поверь мне, на всю жизнь запомнит. Идем! — и она, грациозно помахав мне рукой, увела его.

Да, Вера Алексеевна оказалась права. Эту встречу я на всю жизнь запомнила. Каждый взгляд, каждое слово, сказанное в тот вечер Иваном Алексеевичем.

Впоследствии нам, то есть Георгию Иванову и мне, часто приходилось встречаться с Буниным и бывать у него и Веры Николаевны.

Он был неизменно мил с нами и очень забавно передразнивал мою картавость.

Впрочем, передразнивал он не только меня, но и всех друзей и недругов, дарил «всем сестрам по серьгам», как он сам говорил, рассыпая искрометно блестящие карикатурные портреты.

Он был на редкость замечательным собеседником и рассказчиком. В его присутствии просто нельзя было себе представить, что такое скука.

Он все видел как-то по-своему и находил для всего новые, неожиданные сравнения и определения.

Однажды, проходя с Галиной Кузнецовой (жившей тогда у Буниных) и мною по улице Пасси, он указал нам на сидевшую на тротуаре собаку.

— Посмотрите, какой у нее провинциальный вид! Сразу видно — не парижанка.

— У собаки провинциальный вид,— повторила я.

Он быстро повернул ко мне голову.

— Нравится вам? Так берите себе. Я вам дарю для рассказа собаку с провинциальным видом. Мне не жалко. Я царски богат.

Кстати, о блистательной правильности русской речи. Бунин требовал, чтобы говорили: «у вас хороший или плохой вид», и считал: «вы хорошо или плохо выглядите» — недопустимым.

В домашнем быту Бунин сбрасывал с себя все свое величие и официальность. Он умел быть любезным, гостеприимным хозяином и на редкость очаровательным гостем, всегда — это выходило само собой — оставаясь центром всеобщего внимания.

Он бывал естествен, весел и даже уютен. От величественности не оставалось ни малейшей тени.

Но когда ему это казалось нужным, он сразу, как мантию, накидывал на себя всю свою величественность.

Много лет спустя — во время поездки в Стокгольм, которую так неподражаемо описал Андрей Седых в своей книге «Далекие близкие» и где Бунин как будто живет и дышит на каждой странице, Бунин сумел поразить и шведов.

Вера Николаевна Бунина-Муромцева рассказывала мне, что присутствовавшие во дворце при вручении ему Густавом V Нобелевской премии восхищались тем, с каким достоинством Бунин держал себя и как великолепно кланялся.

— Когда наш король протянул Нобелевскому лауреату руку и тот пожал ее, нам всем показалось, что два короля приветствуют друг друга. Да! Такого писателя никто из нас здесь не видел. И вряд ли когда-нибудь увидит.

После этой первой встречи мы стали часто встречаться в Париже.

Своим званием академика Бунин очень, даже чрезмерно, гордился. В литературных кругах звание академика не пользовалось особым уважением. Рассказывали, смеясь, что Бунин, представляясь, важно произносил:

— Академик Бунин.

И уже в эмиграции злые языки уверяли, что он в Париже завел себе визитную карточку: «Yvan Bounin Immortel» [1].

---

[1] «Иван Бунин, бессмертный» (член Французской академии) *(фр.)*.

Этому я не очень верю, хотя некоторые клялись и божились, что «видели» ее не раз. Но что Бунин придавал чрезвычайно большое значение званию академика, подтверждается рассказом Веры Николаевны на одной из наших прогулок о том, что, приехав в Париж, он счел себя вправе как академик нанести визит президенту Республики.

— Жили мы тогда в маленьком дешевеньком отеле в Пасси. И вдруг к подъезду нашего отельчика подъезжает президентский автомобиль, и шофер, войдя в бюро, протягивает обалдевшему от удивления и почтения хозяину визитную карточку Мильерана для господина академика Бунина.

Эффект потрясающий и полнейший! Когда мы вернулись с прогулки, нас встретили с глубокими поклонами, предложили сменить наши комнаты на самые лучшие в отеле за ту же цену и больше не подавали еженедельных счетов, а ждали, когда Ян соблаговолит заплатить. Впрочем, он мог бы и вовсе не платить как друг президента Республики и денег сколько угодно взять в долг. Ведь его пребывание было честью для отеля, хозяин которого через много лет все еще при встречах чуть ли не в пояс нам кланялся. Если захотите поселиться в этом отеле, ссылайтесь на нас,— закончила со смехом Вера Николаевна,— ссылайтесь на l'ami du President [1].

В гостях он иногда бывал неприятен и даже невыносим. Так, на одном званом обеде вскоре после окончания войны, где он, само собой разумеется, был главным гостем, после закусок и бульона с пирожками подали телячье жаркое.

В те «рестрикционные времена» такое телячье жаркое можно было увидеть только на картинке или во сне — или приобрести его на черном рынке чуть ли не на вес золота. Хозяйка обернулась к сидевшему по ее левую руку Бунину и произнесла, скромно, но торжествующе улыбаясь:

— Это я специально для вас, Иван Алексеевич.

Но Бунин, резко отодвинув подносимое ему горничной блюдо, громко заявил вибрирующим от злости голосом:

— Кто же не знает, что Бунин телятины не ест?

Хозяйка чуть не лишилась чувств, что, впрочем, никак не смутило Бунина, преспокойно принявшегося уничтожать какие-то спешно открытые для него американские консервы.

Возражений он не переносил. Он привык к тому, что все благоговейно слушают его, не решаясь прервать.

Как-то на другом обеде, когда Бунин был на редкость в ударе и без устали рассказывал о дореволюционной жизни Москвы и о Художественном театре,— один из гостей вдруг прервал его:

— Позвольте, Иван Алексеевич, а по моему мнению...

---

[1] друг президента *(фр.)*.

Бунин через плечо окинул его уничтожающим взглядом и с нескрываемым изумлением почти пропел:

— По вашему мнению,— растягивая и подчеркивая «вашему».— Скажите пожалуйста...— будто не допуская возможности своего мнения у человека, осмелившегося прервать его.

Тот настолько смутился, что, багрово покраснев, уже не в силах был высказать «своего мнения», а Бунин, брезгливо усмехнувшись и пожав плечами, продолжал, как ни в чем не бывало, свой рассказ, не отдавая себе отчета, что он смертельно обидел человека.

Да, Бунин мог быть иногда очень неприятен, даже не замечая этого. Он действительно как будто не давал себе труда считаться с окружающими. Все зависело от его настроения. Но настроения свои он менял с поразительной быстротой и часто в продолжение одного вечера бывал то грустным, то веселым, то сердитым, то благодушным.

Он был очень нервен и впечатлителен, чем и объяснялась смена его настроений. Он сам сознавался, что под влиянием минуты способен на самые сумасбродные поступки, о которых потом жалел.

— И зачем только я его огорчил? — с недоумением спрашивал он.— Ах, как нехорошо вышло. Зря человека обидел...

Меня за все годы нашего знакомства Бунин огорчил только один раз.

У нас в тот день собралось много писателей. Была и Лулу Канегиссер.

Лулу Канегиссер давно, еще с Петербурга, дружила с Алдановым, но — хотя это и кажется странным — никогда не встречалась с Буниным.

Когда я приглашала ее, она, узнав, что он будет у нас, очень обрадовалась:

— Я так давно хочу с ним познакомиться.

Она приехала к нам одной из первых, нарядная, надушенная, замысловато причесанная «в честь Бунина», как она смеясь созналась мне.

Бунин, как всегда, сильно запаздывал, и Лулу начала волноваться, боясь, что он вовсе не приедет. Я успокоила ее:

— Раз обещал — придет. Вот и Вера Николаевна — она уже здесь — сказала, что он придет.

И Бунин действительно пришел, но лучше бы он в тот день не приходил вовсе.

Войдя в гостиную и поздоровавшись со мной, Бунин, явно сознавая, что его все здесь ждут с нетерпением — без него за стол не сядут — направился прямо к расположившейся на диване Тэффи, поклонился ей и громко произнес, целуя обе ее руки:

— Надежда Александровна! Целую ручки и прочие штучки.

На что Тэффи, не задумываясь, радостно и звонко воскликнула:

— Ах, спасибо, Иван Алексеевич, спасибо! Спасибо за штучки. Их давно уже никто не целовал!

И в эту самую минуту, не давая Бунину времени сообразить, как поостроумнее ответить, возле него оказалась Лулу и быстро и взволнованно заговорила:

— Я так счастлива, Иван Алексеевич. Наконец-то я могу вам выразить, как мне понравился, в какой восторг меня привел ваш рассказ «Цыганка». Я его еще во время войны читала. Сколько лет ждала, чтобы сказать вам, как он мне понравился!

Бунин оглядел ее с головы до ног, прищурившись, и холодно и высокомерно произнес, отчеканивая каждое слово:

— То, что вам, сударыня, понравился мой рассказ, свидетельствует о том, что у вас хороший вкус. Но не понимаю, почему вам так хотелось довести это до моего сведения?

И он, отойдя от Тэффи, стал здороваться со всеми присутствовавшими.

Лулу осталась стоять посреди гостиной.

Я подошла к ней.

— Я ни минуты здесь не останусь,— прошептала она. Ее губы дрожали и все лицо дергалось.— Нет, нет, не уговаривайте. Не могу остаться. Не могу!

Я проводила ее в прихожую и помогла ей надеть пальто, стараясь ее утешить. Она заплакала:

— Господи! Какой он злой, скверный! А я столько лет мечтала, как скажу ему... И вот... За что?

Я сама чуть не плакала. Закрыв за ней дверь, я вернулась в гостиную. Бунин весело разговаривал с Тэффи и Алдановым.

— Иван Алексеевич, за что вы обидели Лулу? Ведь вы...

— Ну, знаете,— перебил он меня,— женщину, которая носит имя Лулу, и обидеть не грех. Экая пошлость!

Мадам Лулу в своем углу
В шезлонге звонко хохочет,—

как поет эта идиотка Иза Кремер. Напрасно вы таких Лулу-Глуглу к себе пускаете, да еще со мной знакомить хотите! Я с Надеждой Александровной обмениваюсь любезностью, а она, как подворотная шавка: «Тяф! тяф! тяф!» — на меня накинулась. Вот я ее и взгрел. И поделом. Не лезь, шавка.

— Бога побойтесь! — перебила его Тэффи.— Ведь это Лулу Канегиссер. Сестра Канегиссера, убившего Урицкого!

Бунин уставился на нее:

— Сестра того Канегиссера! — И уже Алданову: — Марк Александрович, неужели правда?

Алданов горестно и смущенно кивает:

— Да, Иван Алексеевич, к сожалению, сущая правда. Елизавета Акимовна, Лулу — сестра Лени Канегиссера, на редкость умная и обаятельная, совершенно исключительная женщина.

— Так чего вы меня не предупредили? — набросился Бунин на меня: — Откуда я знать мог, кто она? Вы во всем виноваты. Если бы вы меня предупредили, что это сестра Канегиссера...

Я даже не пыталась защищаться.

Алданов горестно вздыхал. Он действительно очень любил и ценил Лулу. Он советовался с нею о характере своей героини Муси Кременецкой. Она же давала ему сведения об улицах, кондитерских и театрах Петербурга для его романов. Лулу была коренной петербуржанкой, Алданов же лишь изредка, на несколько дней приезжал в Петербург из Киева или из-за границы.

— Вы во всем виноваты,— продолжал яростно упрекать меня Бунин.— Вы одна. Из-за вас я оскорбил сестру героя. Я вам этого никогда не прощу!

Тэффи сочувственно закивала:

— Правильно, Иван Алексеевич! Так ее, хорошенько. Кройте ее! Рвите ее на куски! Обидела вас, бедненького, злодейка Одоевцева!

Бунин, взглянув на Тэффи, вдруг неожиданно рассмеялся:

— Я, кажется, правда, хватил через край,— и, переменив тон, мне: — Приношу извинения или, как говорят в Одессе, «извиняюсь, мадам». Но мне действительно очень обидно. Не знаю, как исправить...

— Исправлять никогда ничего не следует,— сентенциозно заявила Тэффи.— Даст Бог, со временем, а может быть и ранее, вы еще встретитесь где-нибудь с Лулу Канегиссер и вам удастся очаровать ее. Ведь вы на это мастер.

Но ни «со временем, ни ранее» очаровать Бунину Лулу Канегиссер не удалось. Больше они нигде не встречались. Происходило это поздней весной 1939 года перед самой войной. А в 1941 году Лулу была арестована гестаповцами в Ницце и увезена в Германию, где и погибла в газовой камере. А была она действительно на редкость умна, мила и прелестна.

Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности мне никогда не приходилось видеть в Бунине. Напротив — он был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по-настоящему щедр. Так, он в 1930 году, прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал его и заботился о его литературной карьере, хотя пребывание Зурова в его семье принесло Бунину много огорчений и неприятностей.

Но, кроме Леонида Зурова, у Буниных в Грассе часто гостил и Николай Рощин, по прозванию «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел много радости — и полное отсутствие благодарности.

Гостили в Грассе и другие, несмотря на то, что, по определению самого Ивана Алексеевича, в те времена — до получения Нобелевской премии, в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день». Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими учениками и последователями, и часто

появлялся в Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки прозвали ее «бунинским крепостным балетом».

Бунин был способен на почти героические поступки, что он не раз доказал во время оккупации, когда, рискуя жизнью, укрывал у себя евреев.

Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванные трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же, его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервность он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью.

«От хорошей жизни не полетишь»,— утверждал Горбунов.

С крепкими здоровыми нервами не станешь русским писателем. Французским,— почему бы и нет,— но не русским. Здоровые с крепкими нервами русские становились инженерами, докторами, юристами, в худшем случае — журналистами и критиками.

Но писателями — никогда. Для них в этой области места не находилось. Обостренные, расстроенные, разбитые нервы — часто, как Достоевский или Гоголь — почти клинические случаи. Но ни в ком, как в них, не горела так ярко искра Божия, никто не поднимался на такую духовную высоту, как они, никто не возвеличил так литературу, как они,— никто не принес столько утешения читателям.

А ведь и Достоевский и Гоголь очень часто бывали нетерпимы не только с чужими, но и в собственной семье.

Бунин же в кругу близких и домашних отличался покладистостью и добродушием. Он, хотя и ссорился с домашними, легко и быстро мирился с ними, прощая настоящие или вымышленные обиды. И сам сознавался, что он порой чересчур обидчив.

День нашего приезда в Жуан-ле-Пэн в октябре 1947 года. Ослепительный золотой и синий тревожный день. Мистраль сухо шуршит в саду листьями одинокой пальмы. Под ней кусты пышных белых зимних роз. За домом тянутся рядами оливковые, апельсиновые и лимонные деревья. С балкона нашей комнаты видны снежные вершины Альп.

После завтрака мы с Георгием Ивановым идем к морю. Он постоянно на ходу сочиняет забавные экспромты и тут же их забывает. Но я стараюсь их запомнить и даже иногда, вернувшись домой, записываю.

Вот и сейчас он, глядя на мои ноги, осторожно ступающие по кочкам и камням, рассыпанным по скату пригорка, спускающегося от «Русского дома» к железнодорожному полотну, говорит:

Шагайте смело, в добрый час,
Хорошенькие ножки!
Шагать придется вам не раз
По этой вот дорожке.

Конечно, «не раз», а «еще много, много раз» мне придется спускаться и подниматься «по этой вот дорожке». Ведь мы приехали сюда на полгода.

Мы проходим мимо отеля «Провансаль», похожего на пряничный замок какой-то южно-морской феи. Сейчас он заколочен на зиму. Сосны, окружающие его,— от них и название Жуан-ле-Пэн,— меланхолично перешептываются и вздыхают. Нет, не от мистраля, а от одиночества, заброшенности и солнечной тоски.

И вот — море. Я давно не видела моря. Я смотрю на него и, как всегда после долгой разлуки с тем, что очень любишь, чувствую разочарование.

Может быть, Брюсов прав:

Создал я в тайных мечтах
Мир идеальной природы.
Что перед ним этот прах...

Нет. «Мир», созданный мною в «тайных мечтах», гораздо скромнее и бледнее, чем тот великолепный «прах», что расстилается сейчас передо мной. Но мой мир до каждой песчинки, каждой капли морской, каждого дуновения ветра переполнен грацией, легкостью, нежностью и чем-то еще, что до боли отзывается во мне и роднит меня с ним.

А здесь, на «лазурном берегу», я чувствую свою отчужденность от всей этой грандиозной, подавляющей, фантастической красоты. Я здесь не на своем месте. Все слишком великолепно. Бескрайнее, сияющее море. Бескрайнее, сияющее небо. Все бескрайно.

Мне кажется, что время здесь тоже бескрайно и пусто. Будто время переходит в пространство, в это синее, сияющее море, в это синее, сияющее пустое небо. Мне кажется, что бескрайнее время своей пустотой и тяжестью уже ложится мне на плечи. Все эти синие, сияющие средиземноморские дни, такие длинные, высокие и глубокие — и пустые. До чего пустые! Их все придется прожить. Каждый день, каждый час, каждую минуту отдельно, до конца. Нестерпимый блеск, золотисто-синее сияние,— что мне делать со всей этой чуждой мне красотой?

Сердце сжимает «золотая забота, как мне времени бремя избыть». «Золотая забота» или, попросту — страх скуки.

Да, я боюсь, что мне здесь будет скучно, очень скучно. Я уже готова вздохнуть:

— Ах, зачем я приехала сюда?..

Я стою рядом с Георгием Ивановым. Он, как и я, смотрит на это море и на это небо. Но он чувствует совсем не то, что я. Для него сейчас ничего лучшего не могло случиться, чем вместе

со мной снова стоять у любимого Средиземного моря. И оттого, что мне нельзя громко сказать: «Мы напрасно приехали сюда!» — ведь это огорчит его,— мне становится очень грустно.

Но я в тот первый день ошиблась. Ошиблась, как уже много раз ошибалась, думая о своем будущем.

Я совсем не скучала в Жуан-ле-Пэн. Напротив — месяцы, проведенные мною там, были одними из самых замечательных и незабываемых за все мои эмигрантские годы.

Ведь там, в «Русском доме», мне удалось по-настоящему узнать Ивана Алексеевича Бунина.

В эту ночь я плохо спала из-за мистраля, буйствовавшего в саду и хлопавшего сорванными с петель ставнями.

Успокоился он только под самое утро и то не надолго. Я проснулась от грохота, шума и хлопанья уже дверей, а не ставен. Казалось, мистралю надоело буйствовать в саду, и он после короткой передышки, набравшись новых сил, ворвался в дом и бесчинствует в нем.

Я наскоро одеваюсь и выхожу на площадку узнать в чем дело. Снизу доносятся голоса. Перегибаясь через перила, я вижу красного, взъерошенного, растрепанного Роговского, директора «Русского дома», неистово жестикулирующего. Отсюда сверху он похож на ветряную мельницу: сверху мне не видны его длинные, тонкие ноги, а только его почти квадратное туловище с крутящимися, как крылья мельницы, руками.

Тут же слуга-казачок, повар и две женщины в передниках. Все они суетятся вокруг Роговского, яростно отдающего им приказания охрипшим от крика голосом.

Все это необычайно и странно — Роговский никогда не появляется в «Русском доме» в такой ранний час. Он приезжает из Ниццы, предупредив предварительно по телефону, под вечер к обеду, который в этот день в его честь обильнее и вкуснее, чем всегда. Приезды его носят праздничный характер. Роговский — он сам себя считает «шармером» [1] — старается очаровать всех обитателей, а особенно обитательниц «Русского дома», расточая комплименты, улыбки и поклоны с чисто польской преувеличенной галантностью.

Мне никогда не приходилось видеть его таким неистовствующим, таким непохожим на себя.

Я кричу ему сверху:

— Евгений Францевич, что случилось?

Он поднимает голову и уставляется на меня шалыми глазами. Обыкновенно, увидев меня, он исполняет целый ряд церемонных приветствий, состоящих из низких поклонов, радостных улыбок и какого-то балетного расшаркивания. Но сейчас он даже не здоровается со мной, даже не меняет грубого тона, отвечая мне:

---

[1] очарование, обаяние (от *фр.* charme).

— Спятить можно! Бунин завтра приезжает. Как снег на голову! Прислал телеграмму! А я его только через неделю ждал! — и уже не мне, а казачку и повару: — Дармоеды, лентяи, грязь повсюду развели! Всех выгоню! Навощить ступеньки! Живо!

Я решаю вернуться в нашу комнату и предупредить Георгия Иванова о завтрашнем приезде Бунина. Но Роговский машет мне рукой:

— Постойте, подождите! — и, забыв о своем больном сердце, заставляющем его всегда медленно с остановками подниматься по лестнице, летит ко мне, перепрыгивая через три ступеньки. И вот уже он стоит передо мной и, задыхаясь, не давая себе времени справиться с одышкой, бормочет:

— Я хочу вас просить!.. Пожалуйста!.. Ведь вы понимаете... Бунину нельзя отказать. Если он захочет. Вы уж уступите...

— Что уступить? Нашу комнату? Нет, не уступлю. Я заплатила за нее за шесть месяцев вперед из аванса за свой французский роман. Именно за нее, а не за другую и не переелу из нее ни за что...

— Да кто вам о комнате говорит? — перебивает он меня.— Комнаты Иван Алексеевич еще летом себе выбрал. Они его ждут. Я о столе... о столе, который у вас. Его к вам по ошибке поставили. Я не подумал. Вдруг Иван Алексеевич пожелает его взять к себе. Уж вы его уступите, пожалуйста, ему. Я вам за него второе кресло дам.

Стол, большой кухонный стол, выкрашенный черным лаком, Георгию Иванову и мне очень нравится. Мы оба сразу, сидя за ним, можем писать, не мешая друг другу. Отдавать его мне очень жаль. Но я все же говорю:

— Хорошо. Но только если Бунин мне сам скажет, что ему нужен наш стол.

Роговский шумно вздыхает:

— Ух, гора с плеч! Ведь Иван Алексеевич такой требовательный. Чуть что — обижается. Отказов не переносит.

Дверь в комнату наискосок от нашей открыта. В ней казачок щеткой моет красный кирпичный пол. Комната маленькая, на север — с камином. Очень невзрачная. Рядом такая же для Веры Николаевны.

Я удивлена. Странно, что Бунин выбрал такие мрачные комнаты. Наша гораздо лучше.

Роговский кивает:

— Безусловно. А вот Иван Алексеевич именно эти две требует. И в письме опять требует — других не желаю! Его не убедишь, что другие лучше. Господи, только бы успеть! Просто голова кругом идет. Еще окна вымыть. Ковер разостлать.

— Как к высочайшему посещению готовимся! — вдруг насмешливо заявляет казачок и протяжно свистит.— Подумаешь, какой царь-государь едет!

Роговский свирепо обрушивается на него:

— Молчать! Не рассуждать! Тащите матрацы! Зовите Мари

сюда. Просто сердце лопнет от волнения.— Он хватается за грудь, вытирает платком вспотевший лоб, а я, посоветовав ему не волноваться — ведь ему вредно,— отправляюсь к себе сообщить Георгию Иванову сенсационную новость.

На следующий день мы с Георгием Ивановым стоим и ждем на крыльце «Русского дома» приезда Буниных — за ними Роговский отправился на такси.

Бунин, несмотря на скудость средств, всегда путешествует в train bleu [1], в первом классе. Вера Николаевна не разделяет его вкусов — она предпочла бы третий класс обыкновенного поезда. Но она всегда и во всем подчиняется Бунину и уступила ему на этот раз.

Мы ждем долго. Уже четверть второго, а их все нет.

— Что же мы тут до вечера торчать будем на ветру? — негодует Георгий Иванов.— Простудимся. Холодно. Ветер ледяной.

Действительно холодно и ветрено. И солнце прячется за тучами. Серый, скучный день. Совсем не подходящий для торжественного приезда. Скорее для отъезда.

— Есть хочется,— жалуется Георгий Иванов,— что за идиотство заставлять всех голодать в ожидании Буниных? Как будто мы не могли, как всегда, в двенадцать позавтракать, а они бы уже потом.

Но Роговский решил, что общий завтрак с парадно накрытыми столами в до блеска вычищенной столовой необходим для торжественной встречи.

— Ты как хочешь, а я войду в дом, простуживаться не намерен. И тебе не советую. Как будто они без нас не могут приехать. Очень им нужно, чтобы мы их встречали, подумаешь!

— Конечно, очень нужно! Я по себе знаю, как важно, чтобы были встречающие. Совсем иначе себя чувствуешь, когда встречают,— объясняю ему я.

— Ты бы еще цветы купила, с букетом их встречала,— насмешливо говорит он.— Но раз это так необходимо, постоим здесь еще — авось не простудимся.

И вот наконец в сад через ворота, трубя и пыхтя, въезжает старый автомобиль и останавливается перед подъездом. Из него кубарем выкатывается казачок, захваченный Роговским «на всякий непредвиденный случай», за ним, с несвойственной ему поспешностью, Роговский. И вот они оба, как даме или тяжелобольному, стараются помочь Бунину выбраться из автомобиля.

Но Бунин резко отстраняет их широким жестом — не мешайте! Сам могу! — и уже легко поднимается на крыльцо, хмурясь и брезгливо морщась.

— Дрянь погода! Черт знает что. Я говорил — не стоило приезжать,— произносит он сквозь зубы. Увидя меня и Георгия Иванова: — А, и вы здесь? Пррриехали! Ну здррравствуйте! Здррравствуйте,— передразнивая меня.— И вы — Болгарин —

[1] синий вагон *(фр.)*.

здравствуйте. Наверное, тоже жалеете, что приехали сюда? Чертовски скучаете, а?

Веру Николаевну никто не высаживает. Казачок и Роговский всецело заняты разгрузкой багажа. Она с трудом выбирается из автомобиля и, подняв с земли один из многочисленных чемоданов, усталой походкой направляется к крыльцу.

Георгий Иванов сбегает к ней вниз.

— Вера Николаевна, позвольте мне.

Но она не хочет отдавать ему чемодан.

— Нет, спасибо. Он не такой уж тяжелый, я сама могу. Я привыкла.

Но он настаивает, и она уступает.

— Спасибо. Я правда очень устала.

Она поднимается, держась за перила. Я смотрю на нее. Как она изменилась, как постарела! Она и раньше была бледна, бледна какой-то мраморной белизной статуи, а теперь она кажется совершенно бескровной. Голова ее трясется мелкой, беспрерывной дрожью.

Она целует меня.

— Как хорошо, что вы тут. Яну будет веселей.

Бунин раздраженно фыркает.

— Веселей? Скажешь тоже. Меня ничто и никто развеселить не может.

Мы входим в дом в сопровождении Роговского.

В холле на пороге столовой выстроились все пансионеры.

Но Бунин, не удостаивая их взглядом, не то что кивком головы, проходит мимо них к внутренней лестнице. Мы за ним.

— Иван Алексеевич,— растерянно объясняет Роговский,— мы вас ждали с завтраком. Может быть, сначала закусим?..

Бунин морщится и продолжает подниматься.

— Избавьте от завтрака. Лечь хочу. Лечь! Утомился. Понимаете?

На верхней площадке он останавливается, разворачивает длинный пестрый шарф, закутывающий его шею, и расстегивает пальто, зашпиленное сверху большой английской булавкой.

Эта английская булавка — без нее он и в Париже не обходится зимой — всегда удивляла меня. Ведь Бунин очень занят своей наружностью и элегантностью.

— Слыхали, конечно, слыхали,— обращается он к нам с Георгием Ивановым,— травят меня! Со свету сживают! Я, видите ли, большевикам продался. В посольстве советском за Сталина водку пил, икру жрал! А я, как только посол предложил тост за Сталина, сразу поставил рюмку на стол и положил бутерброд. Только успел надкусить его. Не стал я есть их икру и пить их водку. Это все гнусные сплетни, выдумки.

Вера Николаевна уже успела пройти в комнаты и устраивается в них с помощью казачка и Роговского.

— Ян, Ян,— зовет она.— Тебе надо лечь. Иди скорее. Успеешь им все рассказать. Успеешь...

Да, Вера Николаевна оказалась права. «Все рассказать» — и не раз — Бунин действительно нам успел.

В тот же вечер Вера Николаевна постучалась к нам.

— Ян просит вас к себе. Ненадолго, он очень устал и ослабел с дороги. И, пожалуйста, Георгий Владимирович, не спорьте с ним, не заводите разговоров о поэзии, о Блоке или Есенине. Ведь Ян так нервен. Вот если вы бы похвалили его стихи...

Но похвалить стихи Бунина, несмотря на то, что он всегда всячески старается угодить Вере Николаевне, Георгий Иванов не обещает.

И она, мелко тряся головой, прибавляет, обращаясь уже к нам обоим:

— Вы представить себе не можете, как мне теперь тяжело с Яном. Он сам изводится и меня изводит. Так помните, будьте с ним осторожны, соглашайтесь с ним, не противоречьте ни в чем. Я очень надеюсь, что вы развлечете его. Он сам послал меня за вами.

И вот мы у Бунина в его маленькой, жарко натопленной комнате.

Бунин сидит в кресле перед камином, в длинном халате из верблюжьей шерсти, в ночных туфлях и... широкополой синей полотняной шляпе.

Я еще никогда не видела его в таком виде и, боясь выдать свое удивление, отвожу глаза и смотрю в огонь.

Халат и туфли — хотя только восемь часов вечера, куда бы ни шло, но эта нелепая шляпа!..

Я знаю, что Анатоль Франс и Андре Жид в старости тоже увлекались «головными уборами». У них обоих были целые коллекции беретов — шелковых, бархатных и фетровых для домашнего обихода. Были у них, судя по фотографиям, и всякие другие «домашние шляпы».

Но шляпа Бунина все же бьет все рекорды нелепости. Она похожа на птицу, распустившую крылья, на птицу, присевшую на его голову перед дальнейшим полетом. На синюю птицу.

В памяти моей вдруг начинает звенеть песенка Митиля и Тиль-Тиля:

Мы пойдем за синей птицей, птицей, птицей.

Нет, мы никуда не пойдем. Мы чинно усаживаемся на пододвинутые нам Верой Николаевной стулья, а она достает из одного из стоящих на полу чемоданов коробку конфет и протягивает ее мне.

— Нилус принес ее на вокзал,— объясняет она.— Он нас провожал. И Леня...

— Не берите,— перебивает ее Бунин,— дрянь конфеты. Проглотить нельзя. Я тоже взял и выплюнул. Выбросить их надо, а не угощать ими.

Но я все-таки беру конфету, и она оказывается превкусная. Теперь ведь еще конфеты в редкость, и отказываться от них,

даже чтобы угодить Бунину, я не в силах, и беру еще вторую и третью.

Но Бунин не обращает на это внимания. Он снова говорит о своих «врагах и гонителях», о тех, что в Париже, о тех, что шлют ему письма из Америки.

— Со света меня сживают! В гроб живым заколачивают! — негодует он.

Вера Николаевна, мелко тряся головой, еще более бледная, чем утром, старается его успокоить:

— Перестань, Ян. Брось! Не надо о них. Тебе вредно волноваться.

Но он, не слушая ее, продолжает:

— А читали вы, что про меня этот мерзавец Ширяев...

Вера Николаевна взглядом, взывающим о помощи, молча смотрит на Георгия Иванова и на меня.

— Ну знаете, Иван Алексеевич, о таком негодяе вам и вспоминать стыдно. Собака лает — ветер носит. А он хуже самой паршивой собаки. Плюньте на него. Забудьте. «Повесим их в молчаньи,— как учила Зинаида Гиппиус,— всех их повесим в молчаньи».

— Легко советы подавать,— запальчиво отрезает Бунин.— В ярость меня приводят всякие «Я бы на вашем месте, Иван Алексеевич... Надо быть выше этого...» и так далее. Вот ваш Адамович меня все поучал мудрости и долготерпению, а теперь и вы вздумали. Только напрасно. Напрасно стараетесь!..

Да, конечно, напрасно. Никакие уговоры и советы не помогут, но успокоить его все же необходимо. И я, уносимая жертвенным порывом, вдруг говорю:

— А не нужен ли вам, Иван Алексеевич, стол?

Бунин поворачивает ко мне искаженное злобой лицо.

— Стол? При чем тут стол? Какой стол?

— Стол,— торопливо объясняю я.— Вроде письменного. Отличный стол. Очень большой, метра два длины. Очень удобный — и, как будто это главное достоинство стола, прибавляю,— черным лаком отлакированный. Черный стол.

Бунин, все еще недоумевая, смотрит на меня, а я продолжаю быстро и сбивчиво:

— Он пока что стоит у нас. Но мы его вам с удовольствием, с радостью отдадим, если вы хотите. Очень хороший. Черный стол.

— Черный стол? — переспрашивает Бунин, прищуриваясь.— Метра в два длины? То есть такой, как в похоронном бюро, чтобы покойников на него класть? Вы его мне изволите предлагать? Так ли я вас понял? Так ли?

Я растеряна. Мне казалось, что я, отдавая ему стол, который мне и Георгию Иванову очень удобен и нужен, совершаю добрый поступок. Против такого подарка, конечно, ни злоба, ни раздражение устоять не могут. А он смотрит на меня, саркастически

кривя губы. Улыбка? Нет, не улыбка. Скорее волчий, хищный оскал зубов.

— Так ли я вас понял? — повторяет он.— Вы хотите, чтобы сюда, в мою комнату поставили черный погребальный стол.— Пауза. И он продолжает, не дождавшись моего ответа: — Да я бы, если бы этот ваш черный стол очутился здесь у меня, изрубил бы его топором и выбросил бы его в окно. Ни за что на свете я бы не лег спать в комнате, где стоит погребальный черный стол. Мне бы казалось, что он только и ждет — вот я умру и меня положат на него.

Я растеряна. Я знаю, что Бунин панически боится смерти и всего, что хоть смутно напоминает о ней. Как-то весной, в Париже, еще до войны, я посоветовала ему пойти на Елисейские поля.

— Там сейчас так прелестно цветут каштаны.

— Прелестно? — переспросил он насмешливо.— А я бы, будь на то моя воля,— все эти проклятые цветущие каштаны с их похоронными свечами вырубить велел. Ненавижу их. Вы бы еще для развлечения посоветовали мне прогулку в морг!

Почему цветущие каштаны напоминали ему похоронные свечи, я тогда не решилась его спросить. Я знаю, что Бунин поставил себе правилом никогда не ходить ни на чьи похороны. Даже на похоронах своей матери,— а он ее обожал,— он не присутствовал. Правда, по ее собственному желанию — она понимала, что это было бы ему нестерпимо тяжело.

И все же он однажды изменил этому правилу. Было это, кажется, в 1929 году. Мы с Георгием Ивановым решили провести рождественские праздники и встретить Новый год в Ницце.

Грасс и дача Бельведер, где тогда жили Бунины, близко от Ниццы, и Георгий Иванов захотел навестить их.

Он отправился в Грасс один, а я предпочла пойти с друзьями танцевать в казино.

Приехав в Грасс и отыскав Бельведер, он застал там, как почти всегда при неожиданном посещении Буниных, атмосферу неблагополучия и надвигающейся катастрофы.

На этот раз Вера Николаевна и Галина Кузнецова обе были сильно взволнованы и огорчены тем, что Бунин, не слушая их уговоров, отправился в Ментону поклониться праху только что скончавшегося великого князя Николая Николаевича.

— Я так боюсь,— вздыхала Вера Николаевна.— Ведь Ян не выносит вида покойников. Это потрясет его. Он заболеет. Он может там в обморок упасть. Боже мой, Боже мой, даже подумать страшно. Но он такой упрямый. Его не уговоришь.

Георгий Иванов, видя, что приехал не вовремя, хотел поскорее покинуть Грасс. Но Вера Николаевна и Галина Кузнецова обе наперерыв стали его упрашивать дождаться возвращения Бунина.

— Он наверное будет страшно расстроен и подавлен. Вы развлечете его, расскажете ему парижские новости и сплетни. Останьтесь, пожалуйста. Останьтесь.

Георгий Иванов скрепя сердце остался ждать Бунина. А Бунин вопреки всем страхам вернулся в прекраснейшем настроении, на редкость бодрый и веселый.

Правда, его там приняли с большим почетом и уважением, к чему он был очень чувствителен. Но и вид мертвого великого князя Николая Николаевича не только не потряс его ужасом, а восхитил.

— Лежит в гробу, длинный, тощий, рыжий. Грудка как у цыпленка. А кулачище — во! И в кулачище, как дубина, кипарисовый крест зажат. Красота! Царственный покойник,— в восторге рассказывал он.

Кстати, то, как он ездил поклониться праху великого князя, он описал потом в «Жизни Арсеньева»...

— Нет,— говорит Бунин,— держите ваш черный стол у себя на здоровье. А меня от него избавьте, прошу.

Я еще больше теряюсь и молча оглядываюсь на Георгия Иванова — ведь он так находчив, так остроумен, он умеет одним брошенным вскользь замечанием дать разговору другое направление, разрядить тягостное настроение, прекратить спор, готовый перейти в ссору. Но он как назло молчит, зорко наблюдая за Буниным.

Я чувствую, что гибну, и бормочу в отчаянии:

— Ради Бога, простите, Иван Алексеевич. Не сердитесь. Я не хотела, не думала...

Бунин наклоняется вперед. Широкополая шляпа, вздрагивая, как птица, готовящаяся сняться с места, перемещает тени на его лице. Лицо его постепенно светлеет, теряет озлобленное выражение. И вот уже что-то похожее на улыбку заменяет волчий оскал зубов. Он протягивает руку и кладет ее мне на плечо.

— Ну, ну, бросьте. Я не сержусь,— говорит он мягко.— У вас такой грустный вид, того и гляди — расплачетесь. И тогда не вам, а мне придется просить прощения. А я этого терпеть не могу. Предоставляю вашему любимому Достоевскому униженно и восторженно умолять о прощении. И каяться истерически. Мне это не к лицу.

— Как и Толстому,— неожиданно произносит Георгий Иванов,— Толстой, хоть и каялся, но очень неубедительно, и, кажется, никогда не просил ни у кого прощения.

— И отлично делал! Да и у кого бы, спрашивается, Лев Толстой мог просить прощения. И за что? — подхватывает Бунин, оживившись. Одно упоминание имени Толстого магически действует на него. Толстого он боготворит и способен часами говорить о нем.

А Георгий Иванов — хотя он читал книгу Бунина о Толстом и слышал все бунинские рассказы о нем,— спрашивает с невинным видом любознательного простачка.

— Вы ведь, Иван Алексеевич, если не ошибаюсь, и сами толстовцем были когда-то.

Бунин кивает.

— Как же, как же, был.

— И, наверное, очень хорошо его лично знали?

Бунин качает головой:

— Нет, к сожалению, знал очень мало, вернее, совсем не знал. Всего один раз осмелился пойти к нему и раз говорил с ним на улице.

И Бунин с увлечением начинает подробно описывать свои встречи с Толстым, забыв, что он уже не раз вспоминал о них при нас.

Но мы трое — особенно Вера Николаевна — слушаем, будто все это для нас ново и чрезвычайно интересно.

Я очень довольна. Лишнее доказательство того, что добрые дела идут прежде всего на пользу совершающим их. Добро, как, впрочем, и зло, обладает свойством бумеранга — возвращается к бросившему его. Стол останется у нас.

Георгий Иванов наклоняется над большим открытым чемоданом, набитым книгами. Сверху лежит «Анна Каренина».

— Зачем вы, Иван Алексеевич, столько книг с собой привезли?

— А как же! Мне они все необходимы.

Но Георгий Иванов не унимается.

— Все, даже Толстой? Ведь здесь в библиотеке Дома...

— Терпеть не могу библиотечных книг,— перебивает его Бунин.— Предпочитаю читать собственные. А без Толстого мне невозможно. Сколько раз перечитываю и всегда, как впервые. Заметили ли вы, что произведения великих писателей — таких, как Толстой, Шекспир, Гете и даже их французский Бальзак, старятся вместе с читателями? Автору их всегда тот же возраст, как и читателю. Молодому кажется, что это написано молодым, что только в молодости и можно так чувствовать и понимать жизнь, человек средних лет находит в них опыт и зрелость, свойственную его возрасту, ну а старик, вроде меня, открывает в них глубину и мудрость старости, которой он прежде в них не видел. Это исключительная черта гениев. А остальные писатели, даже очень хорошие, пишут по своему возрасту и для читателей своего возраста. Поэтому многое, что я с увлечением читал в молодости, сейчас перечитывать не могу. А последний «Новый журнал» вы видели? — перебивая себя, спрашивает он Георгия Иванова.— Там у меня их несколько номеров в чемодане. Возьмите почитайте. Не люблю одалживать своих книг, но вам так и быть. Дайте-ка мне вот этот номер. Последний, сверху.— Он берет «Новый журнал».— Неужели вы еще не читали рассказа нашей знаменитости? Подождите. Я вам сейчас презабавное место найду, поучительное — пример, как не следует писать.— И он, отыскав нужную страницу, начинает читать вслух.

Читает он как никто из писателей. С ним мог сравниться только Ремизов, хотя их манеры чтения резко отличались друг

от друга. Сейчас Бунин с комическим пафосом издевательски выделяет некоторые выражения и фразы. И это делает трагический текст таким комичным, что мы с Георгием Ивановым хохочем, будто он нам читает рассказ Тэффи или Зощенко.

Вера Николаевна сидит на кровати, устало сложив руки на коленях. Пока Бунин неистовствовал и бранился, у нее был мучительно напряженный вид. Теперь она, распустив нервы и мускулы, отдыхает.

Она поворачивает посветлевшее лицо ко мне и выразительно смотрит на часы. Я понимаю — пора уходить. Бунин закрывает книгу. Он улыбается. Он доволен произведенным на нас впечатлением.

— Конечно,— говорит он,— не все молодые так пишут. Есть молодые и замечательные. Ну хотя бы Сирин. Тоже штукарит. А не поспоришь — хорошо. Победителей не судят.

Я встаю. Но Бунин не хочет нас еще отпускать.

— Что вы, с курицами здесь ложитесь? Посидите еще.

— Нет, надо уходить.

Сейчас он, слава Богу, пришел в хорошее настроение. Лучше всего уйти, пока он не вспомнит снова об американском письме или о чем-нибудь подобном.

— Спокойной ночи, Иван Алексеевич,— говорю я решительно.— Спокойной ночи, Вера Николаевна.

Он церемонно встает, прощаясь с нами.

— До завтра. Ведь мы теперь, хотите не хотите, а будем каждый день видеться.

У нас в комнате Георгий Иванов шумно вздыхает.

— Утомительное зрелище. Но и поучительное. Нам дано присутствовать при гибельных предпоследних днях великого писателя русской земли,— и, как всегда перескакивая с одной темы на другую,— русской земли, как написал Тургенев, хотя все почему-то говорят «земли русской». Так им красовитее, должно быть, кажется. А Бунина и особенно Веру Николаевну мне ужасно жаль. Он долго не протянет.

— Вздор,— говорю я.— Он ведь ничем серьезно не болен и еще долго будет жить — очень долго и...

— Если бы он был буржуй, а не писатель — пожалуй,— перебивает он меня.— От чего умирают писатели и поэты? Отчего умер Блок? Оттого, что ему, как он сам сказал о Пушкине, не хватило воздуха. Бунину, разве ты не видишь, тоже не хватает воздуха. Он задыхается, он мог бы сказать о себе:

Да, я дышу еще мучительно и трудно.
Могу дышать, но жить уж не могу.

Разве ты не видишь, что он обречен? Как, впрочем, и все мы, поэты и писатели эмиграции. Нас убивает отсутствие воздуха. И любви. Невнимание и безразличие. Ему бы следовало вернуться в Россию. Но никогда не говори с ним об этом. Никогда.

В «Русском доме» Бунин зажил странно, на удивление и огорчение его обитателей. Приезд Бунина был для них большим событием. Подумать только — жить с «самим» Буниным под одной крышей, завтракать и обедать с ним в одной столовой, может быть, даже за тем же столом, постоянно встречаться с ним и — даже — почему бы и нет? — подружиться с Нобелевским лауреатом!

Но их ждало разочарование — Бунин сиднем засел в своих комнатах, выходя из них только на прогулку или для редчайших поездок в Ниццу. Даже к завтраку и обеду он не спускался. Вера Николаевна по своей чрезмерной доброте, не желая давать казачку лишней работы, сама носила на второй этаж тяжелый поднос с судками и тарелками.

У себя Бунин, кроме Роговского и приезжавших изредка из Ниццы М. А. Алданова, Клягина и нас с Георгием Ивановым, никого не принимал.

Он проводил весь день в жарко натопленной комнате, в халате и в ночных туфлях. Одевался и брился он только перед прогулкой, а вернувшись, сразу же снова облачался в халат и водружал себе на голову вышитую тюбетейку или полотняную широкополую шляпу.

Мы жили на одной площадке,— и Бунин заходил к нам в «домашнем виде».

Обыкновенно он являлся после завтрака и усаживался в наше единственное кресло лицом к окну.

— Из-за этого окна,— объяснял он нам,— я, главным образом, так часто и хожу к вам. Из моего окна, как и из окна Веры Николаевны, одинаковый вид — скрюченные, похожие на корчащегося в муках грешника в аду, оливковые деревья, коза на веревке, щиплющая серую, жесткую траву, забор и пыльная проезжая дорога — будничный, тоскливый, безнадежный вид. А у вас в окне — розы и пальма и вдали сияющие снежные Альпы. Как будто переезжаешь в праздничную счастливую страну. Да, из-за этого окна я и хожу к вам.

Это, конечно, было не очень лестно для нас. И не совсем правда. Ходил Бунин к нам не только из-за «праздничного окна» (кто, спрашивается, заставил его выбрать для себя безнадежный, тоскливый вид в окне?), а оттого, что ему были необходимы собеседники и, главное, слушатели.

Усевшись поудобнее, он начинал долго и монотонно жаловаться и брюзжать. Все всегда было не то и не так. Все раздражало его.

Георгий Иванов не выдерживал и часто, ссылаясь на то, что ему надо купить папиросы или отослать письмо, покидал нас.

Я же терпеливо выслушивала все жалобы Бунина, не прерывая его. Я знала, что это только еще больше раздражит его: нужно было ждать, пока пройдет его приступ «пищеварительного раздражения», как Георгий Иванов называл скверное настроение Бунина, обычное после завтрака.

— И как ты можешь это выносить? — удивлялся Георгий Иванов.— Каждый день одно и то же. Как тебе не скучно?

Нет, скучно мне никогда с Буниным не было. Тяжело, неприятно бывало, но скучно — никогда. В его присутствии нельзя было скучать. Я, во всяком случае, не могла.

Он, как никто, умел заставлять слушающего переживать вместе с ним все его чувства и мысли, видеть его глазами, слышать его ушами. Он делился со слушателем своей радостью, своим горем, делал его участником своей жизни, до такой степени приобщая его к своим переживаниям, что тому часто казалось, что дело идет о нем самом, а не о Бунине. Граница, отделяющая Бунина от его слушателя, как бы исчезала.

— Это какая-то магия, гипноз,— рассказывал мне один очень нервный и впечатлительный поклонник Бунина.— Я просто боюсь его. Мы как-то ехали с ним в поезде, одни в купе. Бунин был очень взволнован, жаловался на свою судьбу. А я слушал и все с ним вместе переживал. И так же, как он, волновался. И вдруг он говорит — рука затекла, болит. И я чувствую, что и у меня болит рука — его рука у меня болит, понимаете? Я встал, вышел в коридор. Так всю дорогу и простоял. Мне страшно было. Я будто потерял себя...

По раз навсегда заведенному ритуалу, покончив с брюзжанием, Бунин доставал из кармана табак и методично и аккуратно скручивал папиросу. Своим искусством скручивать папиросы он гордился и был недоволен, что Георгий Иванов не высказывал желания обучиться ему.

— И дешевле, и лучше готовых папирос,— убеждал он его.

Я ставила перед ним на подоконник пепельницу, и он молча выкуривал первую папиросу, понемногу забывая о том, что только что так сердило его, начиная с увлечением говорить на всевозможные темы.

Он тогда недавно издал «Темные аллеи» и возмущался, что их недооценивают и даже осмеливаются осуждать.

— Я считаю «Темные аллеи» лучшим, что я написал,— заявлял он запальчиво,— а они, идиоты, считают, что это порнография и к тому же старческое бессильное сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это новое слово в искусстве, новый подход к жизни!

Мне нравятся «Темные аллеи». Но меня удивляло количество самоубийств и убийств в них. Мне кажется, что это какое-то юношеское, чересчур романтическое понимание любви. Чуть что — ах! и она вешается, или он стреляется, или убивает ее. Я говорю ему об этом очень осторожно.

Он сердито пожимает плечами:

— Вот как? По-вашему, незрело, романтично? Ну, значит, вы никогда не любили по-настоящему. Понятия о любви у вас нет. Неужели вы еще не знаете, что в семнадцать и семьдесят лет любят одинаково? Неужели вы еще не поняли, что любовь и смерть связаны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал лю-

бовную катастрофу — а их, этих любовных катастроф, было немало в моей жизни, вернее почти каждая моя любовь была катастрофой,— я был близок к самоубийству. Даже когда никакой катастрофы не было, а просто очередная размолвка или разлука. Я хотел покончить с собой из-за Варвары Панченко. Из-за Ани, моей первой жены, тоже, хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами. Днем и ночью думал о смерти. Даже с Верой Николаевной... Ведь я был все еще женат, и моя первая жена мне назло не желала со мной разводиться. Я боялся, что Вера Николаевна откажется. Не решится соединить свою жизнь со мной. Ведь это было еще до первой мировой войны. Светские условности и предрассудки «Анны Карениной» были еще живы. А она — Муромцева, дочь известного профессора, племянница председателя I Думы. Но жизнь без нее я себе не представлял. Если бы она не решилась, отказала мне, я бы непременно...— он замолкает на минуту, глядя в окно.— И теперь еще,— голос его звучит устало и грустно.— Совсем недавно. Вы же знаете...

Да, я знаю. Хотя «недавно» я это назвать не могу. Пятнадцать лет для меня очень большой срок.

— Скажите, Иван Алексеевич,— спрашиваю я.— Неужели вы действительно, серьезно, по-настоящему хотели?.. Или только так, в мыслях, в мечтах? Вы когда-нибудь решились на самом деле? Окончательно? Вы действительно покушались на самоубийство? Стрелялись?.. Или как-нибудь там иначе?.. Вешались?.. Топились?..

Он снова умолкает и молчит довольно долго. Нет, мне не следовало задавать ему такой бестактный вопрос. Надо было слушать и ни о чем не спрашивать. Он, наверное, рассердился. Обиделся.

Сейчас он, как делал уже не раз в спорах о поэзии, о Блоке или Достоевском с Георгием Ивановым, молча встанет и, подобрав обеими руками длинные полы своего халата, мелкой старческой походкой заспешит к двери. Молча. И никакими объяснениями, извинениями и просьбами его не удержишь тогда.

Георгий Иванов называет это «толстовским уходом».

Серьезных последствий, впрочем, «толстовские уходы» не ведут за собой. Бунин очень отходчив. Обыкновенно он через какие-нибудь четверть часа снова тут или посылает за нами Веру Николаевну — как будто ничего не было.

Но на меня Бунин, слава Богу, еще ни разу не обижался. Неужели и я сегодня обидела его? Этого я себе не прощу.

Я сижу за нашим «погребальным» столом, слева от окна. Мне виден только затылок Бунина. Я не знаю, какое у него выражение лица. Я не решаюсь встать, подойти к нему, заглянуть в его глаза, я не решаюсь даже сказать:

— Иван Алексеевич, простите. Я не хотела. Не сердитесь...

Но он поворачивается ко мне, задумчиво смотрит на меня. И вдруг улыбается своей чуть насмешливой улыбкой.

— Оказывается — только в мечтах,— говорит он, разводя руками.— Вот я себя проверил. Все случаи до одного. И вижу, нет, я никогда не мог застрелиться. Хотя тогда был уверен — могу. А теперь вижу — нет, последней жажды смерти у меня никогда не было. Я всегда откладывал на потом. Нетерпения — скорее, скорее покончить со всем этим — не было. Всегда хотелось еще немного, хоть день, хоть ночь прожить еще. Я слишком страстно люблю жизнь и всегда любил.

Он снова достает табак из кармана халата, аккуратно скручивает папироску и, закурив, продолжает, глядя на меня, а не в окно:

— В сущности, я был очень несчастен в ранней молодости. Хотя я, как редко кто, расположен к счастью. Казалось бы, как в молодости не быть счастливым? Но столько противоречивых страстей терзали, просто рвали меня на куски. К тому же бедность. И характер у меня тяжелый. Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко. А «vivre loin de moi-même» [1], как жил, по его словам, Анатоль Франс,— не могу, не научился. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я все-таки, хотя вы с Болгарином и не признаете моих стихов, прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик.

Он смотрит на меня с вызовом и явно готов отпарировать какой-нибудь выпад вроде: «Нет, я не согласна. Вы — прозаик. И стихи ваши — стихи прозаика. Ведь и Тургенев писал стихи. И неплохо. Хотя бы «Утро туманное».

Но мы уже не раз спорили об этом. Я молчу. И он, сделав паузу и убедившись, что возражений не будет, продолжает:

— Вот я говорю по трафарету — поэту полагается быть несчастным. Вздор, совсем не полагается, совсем не обязательно. Даже напротив. Счастье тоже может вести к поэзии. И к святости. Я в этом глубоко уверен. Ведь — опять же по трафарету — одни страдания ведут к святости. Надо как-то оправдать и облагородить, украсить страдания — вот и делают их лестницей, по которой поднимаешься на небо к поэзии и святости. А мне иногда до слез жаль, что длительно счастлив я никогда не был. Только вспышками. Минутами. Гете говорил, что он за всю жизнь был счастлив всего лишь семь минут. Я все-таки, пожалуй, наберу, наберу счастливых минут на полчаса — если с детства считать. Ведь я очень, до страсти, любил свою мать.

— А когда вы получили Нобелевскую премию? Неужели вы и тогда?..

— Ах, нет! — перебивает он меня, болезненно морщась.— Совсем нет. Секунду одну. Когда в кинематографе, в темноте, вспыхнул фонарик и я услышал: «Звонили из Стокгольма!» Ведь столько мучительного, с ума сводящего ожидания, столько бессонных ночей!.. А когда я понял, поверил, осознал, сразу будто пусто внутри стало. И даже на скуку похоже, и на разочарование.

---

[1] жить далеко от самого себя *(фр.)*.

И вся эта утомительная возня, морока с поездкой в Стокгольм. Только милый Яша Цвибак меня и развлекал — всегда веселый, энергичный. И как ловко он со всем справлялся. Без него бы я пропал. Меня ничего не радовало, все утомляло и злило. Потом, конечно, приятно было вспомнить. Да и лестно. Я ведь честолюбив. Не скрываю — очень честолюбив.

Бунин выходил на прогулку только на закате, хотя Вера Николаевна и доктор старались убедить его, что это безумие — он каждый раз рискует простудиться.

Предсказания и предупреждения их, кстати, сбылись: в результате этих прогулок Бунин болел воспалением легких не только в тот раз, но и в следующем году, когда он снова приезжал с Верой Николаевной в Жуан-ле-Пэн.

Упрямства его никто победить не мог, даже он сам. Ведь он прекрасно знал, что этот закат, что «этот блеск — есть смерть»,— и все же ежедневно подвергал себя риску заболеть, только бы еще раз увидеть великолепный, торжественный средиземноморский закат.

Обыкновенно он гулял один.

— Терпеть не могу, не переношу,— объясняет он свое пристрастие к одиночеству,— чтобы со мной рядом этакий ротозей порол всякую чепуху или, что еще хуже, восхищался идиотски: «Ах, какое фантастическое облако! А нарисовать — ведь не поверят!» А если шагает молча и смотрит, как корова на новые ворота,— тоже противно, тоже злит меня. Значит, брюхом всю эту красоту переживает. Сдерживаюсь, чтобы не послать его ко всем чертям в преисподнюю, где ему уже место заготовлено. И уж какое тут наслаждение возможно!..

Наслаждение. Да, как ни удивительно, Бунин всегда наслаждался каждым, даже мимолетным общением с природой. Каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, надвигающаяся гроза, перемена освещения — все регистрировалось им мгновенно, волновало и радовало.

Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась им иногда не только как радость, но и как мучение — настолько была она самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.

Зрение, слух и обоняние были у него развиты несравненно сильнее, чем у обыкновенных людей.

— У меня в молодости было настолько острое зрение,— рассказывал он,— что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный — я слышал за несколько верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние — я знал запах любого цветка, и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.

Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей первой женой, Аней, к ее друзьям, на дачу под Одессой. Выхожу

в сад вечером и чувствую — тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой.

— А у вас тут и резеда,— говорю хозяйке. А она меня на смех подняла:

— Никакой резеды нет. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника.

— Пари,— предлагаю,— на 500 рублей.

Жена возмущена:

— Ведь проиграешь!

Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах — а их было много — искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости. Что вы смотрите на меня? Не верите? Думаете, вру? — в голове его уже звенит раздражение.

Я чувствую, что краснею.

— Неужели действительно плакали?

— Действительно. Я ведь вообще легко плачу,— это у меня наследственное — романтическая певучесть и слезоточивость сердца,— от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам — от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука.

Я не могу скрыть удивления. Нет, я никак не ожидала. Я бы не поверила, если бы мне сказали, что Бунин плакал. Мне трудно представить себе, что из его зорких, холодных глаз могут течь слезы.

— Не вяжется с вашим представлением обо мне — свирепый эгоист, эгоцентрик, мнящий себя солью земли? Так ведь? А о моей душе вы не подумали? У меня ведь душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я все в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди, и горе, и счастье, и радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да, даже и сейчас, на восьмом десятке. Хотя какое же у меня теперь счастье? Конец жизни похож на начало. Нищенская, грустная юность, нищенская, тяжелая старость. Сколько унижения, оскорблений! С протянутой рукой — парлэ ву франсэ, шпрехен зи дейч? Подайте великому писателю, Нобелевскому лауреату! Это при моей-то гордости,— ведь я нечеловечески, я дьявольски горд, и почести и поклонения принимал всегда как должное. Представляете себе, каково мне теперь? А?.. Представляете?..

После завтрака мы с Георгием Ивановым поднимаемся к себе наверх.

Он ложится на кровать с новым, только что купленным, желтым томиком Агаты Кристи. Как и Зинаида Гиппиус, он читает по детективному роману в день — для успокоения.

— Пойдем гулять,— предлагаю я.— Такой чудный день, тепло, как летом. Успеешь провести с Агатой Кристи вечер.

Но он не соглашается. Нет, с Агатой Кристи ему сейчас расстаться трудно.

— Тогда я одна пойду.

Но и это его не устраивает.

— Лучше подожди немного. Я только дочитаю эту главу. Через полчаса пойдем вместе.

Через полчаса, знаю по опыту, книга выпадет у него из рук, и он заснет с очками на носу.

— Лежи, лежи, читай,— говорю я примирительно.— Я только спущусь, похожу по саду и вернусь.

На это он соглашается.

— Только, пожалуйста, не уходи никуда одна. И возвращайся скорее. Ты ведь знаешь, как я всегда беспокоюсь, когда тебя нет.

Да, он всегда беспокоится. Слишком много и часто беспокоится. По всякой причине и без всякой причины.

— Я обойду три раза сад и вернусь,— говорю я уже с порога и осторожно закрываю за собой дверь.

После завтрака полагается «соблюдать полную тишину» — большинство обитателей дома спит. «Полную тишину» нарушает один лишь Бунин. Он переговаривается из комнаты в комнату с глуховатой Верой Николаевной так громко, что и этажом ниже слышно каждое его слово, хлопает дверьми и с треском выдвигает и задвигает ящики комода. Но на то он и «сам Бунин» — для него закон не писан.

Я, стараясь не шуметь, спускаюсь по лестнице и выхожу в сад.

День действительно чудесный. Еще лучше, чем казался из окна нашей комнаты.

Я останавливаюсь под пальмой. Под ней, во время своих одиноких прогулок часто стоит Бунин, глядя вдаль на снежные вершины Альп.

Как странно, я столько лет знакома с Буниным, а теперь мне кажется, что я только месяц тому назад, здесь в Жуан-ле-Пэн, познакомилась с ним. Он центр здешнего маленького мирка. Все вертится вокруг него. Верчусь и я. И мне это приятно.

Он занял такое огромное место в моей жизни, что я просто не представляю себе, что бы я стала здесь делать без него.

Вот и сейчас — я в саду оттого, что он вчера сказал, прощаясь:

— Завтра попробую поработать. А то с приезда ни строчки. Только проклятые письма пишу и рву. Попробую. Так что завтра вы меня весь день не увидите.

Этот «весь день» без Бунина кажется мне очень длинным. И пустым.

Я медленно обхожу дом. За домом — вид из окна Бунина — оливковые деревья тянутся правильными рядами, невысокие,

мучительно изогнутые от беспрерывного ветра. Они, Бунин прав, напоминают грешников, корчащихся в аду.

Я вспоминаю иллюстрации Густава Дорэ к «Божественной комедии» — большая, толстая, черная книга с золотым обрезом, стоявшая на книжной полке в моей детской. Я ее очень боялась. Особенно по ночам.

Дальше за серыми оливковыми «грешниками» апельсиновые и лимонные деревья, уже нежно осыпанные легкими белыми лепестками.

Все это — вид из окна Бунина, того, второго слева, во втором этаже. Почему он кажется ему таким безнадежным? У забора молодое прелестное дерево мимозы, все в солнечно-золотых мохнатых шариках. Трава совсем не жесткая и серая, как он говорит, а такая, как я себе представляла ирландскую траву — шелковистая изумрудно-зеленая. И воздух легкий, тонкий, лоснящийся от ветра и солнечного света.

Какой очаровательный день, какой очаровательный сад. И как все цветет и дышит, и полно одной и той же опьяняющей жизнью. Какая гармония во всем. Будто все вокруг составляет одно восхитительное целое, и оливковые грешники совсем не нарушают его. Все на своем месте.

Даже коза. Коза, привязанная к одному из апельсиновых деревьев толстой веревкой. Она смотрит на меня коричневато-лиловыми глазами, беспрерывно двигает носом и губами, трясет бородкой, будто хочет мне что-то сказать.

Я смотрю на козу и вдруг чувствую, что понимаю не только козу, но и все вокруг — и деревья, и траву, и облака. Я чувствую такую близость ко всему, такое родство со всем, будто и я тоже часть этого сада, будто я сама по себе не существую, или, вернее, существую во всем здесь, и в цветах апельсинового дерева, и в перистом облаке, проплывающем над садом, и в мимозах, и в птичке, усевшейся на крышу дома. И в козе. Да, больше всего в козе. Она, все так же двигая носом, протяжно заблеяла. Я понимаю — она полна нежности и дружбы ко мне. Я подхожу к ней с чувством не только дружбы, но и родства. Я протягиваю руку, чтобы ее погладить.

Но коза, нагнув рогатую голову, делает большой скачок и предательски бросается на меня. Я еле успеваю отпрыгнуть назад. Веревка натягивается и скрипит. Коза яростно блеет.

Так вот она какая! А я думала — милая, бедная, нежная. Так вот же она какая!

Я сразу чувствую себя выброшенной из всей гармонии сада. Родственная связь не только с козой, но и с деревьями, ветром, облаками и птицами порвана. Я сама по себе. Я чужая этому саду. Мне здесь все чуждо. Минутное ощущение дружбы и родства исчезло.

Коза просто глупое, злое животное. И все вокруг совсем уж не так прелестно, как мне только что казалось. Что я так расчувствовалась?

Пора возвращаться. Жорж, должно быть, уже проснулся. Я в последний раз медленно обхожу сад и поднимаюсь на крыльцо. Но на пороге вдруг появляется Бунин.

Именно — вдруг, неожиданно. Ведь он никогда не выходит из дома раньше четырех.

— Что, не ожидали? Удивлены? — спрашивает он.— Это я для вас. Видел в окно, как вас коза чуть не забодала. Ну, и поспешил вам на помощь. Ах вы, неразумная горожанка! Не знаете разве, что «коза рогатая, бодатая, на молоко богатая»? Можно ли подходить к ней так близко? Непременно боднет и с ног собьет.

— Я хотела ее погладить. Она так жалобно блеяла. Мне казалось, что козы ласковые.

— И мурлычут, как котята, когда их гладят,— заканчивает он.— Видно, что вы в деревне не жили. Всякие там Павловски, Териоки и Кисловодски. А о русской деревне у вас и понятия нет.

Неправда. Я в детстве часто проводила лето в имениях, а во время революции даже жила в крестьянской избе на Званке. Но я не спорю. О русской деревне у меня действительно довольно смутное понятие. А с козами мне близко встречаться никогда еще не приходилось.

— Я боялся, что вы уйдете гулять без меня. Что вы все на месте топтались?

— Я обещала Жоржу не выходить из сада. Мне пора домой. Он ждет меня...

— Вздор. Мы пойдем гулять. Вы не можете меня сейчас бросить. Ведь я для вас так торопился одеться. А я терпеть не могу торопиться. Я и работу свою оставил для вас. Мне страшно хотелось вдруг, в изъятие из правил — сделать большую прогулку. В Антибы пойти. С вами.

— Подождите минутку, Иван Алексеевич, пожалуйста,— прошу я.— Я сбегаю наверх предупредить Жоржа. И сейчас же вернусь.

— Никаких минуток! — отрезает он.— Или идем или не идем. Решайте!

Он уже начинает раздражаться и смотрит на меня насмешливо прищурившись.

— Подумаешь, какая подбашмачная жена выискалась. Спит ваш Болгарин. Спит и даже не заметит, что вы не вернулись.

Нет, конечно заметит. И, конечно, будет беспокоиться — куда я делась? Но прогулка с Буниным слишком большой соблазн. Если откажусь, буду потом жалеть. И как еще!

Я киваю, решившись.

— Хорошо, Иван Алексеевич. Идем!

Мы спускаемся с горки, на которой стоит наш дом.

Мимо нас, вниз по каменной дороге, мчится на велосипеде совсем молодой монашек. От встречного ветра рукава его черной рясы развеваются, из широкого ворота торчит тонкая мальчишеская шея. Круглая, коротко остриженная голова откинута назад.

На его бледном лице, в широко открытых глазах, в судорожно сжатых губах — выражение упоения, блаженства и ужаса.

— Какое у него странное лицо,— говорю я.

— А, вы тоже заметили? Будто он в первый раз в жизни целует любимую девушку. Но ведь ему, бедному, этого нельзя. Вот он и заменяет любовь опасностью сломать шею. И упивается, наслаждается этим. Ведь очень страшно так по камням с горы мчаться, дух захватывает. Ах, бедный, бедный.

Я слежу взглядом за исчезающим велосипедистом.

— Он уже на дороге внизу. Слава Богу, не сломал себе шеи.

Бунин пожимает плечами.

— Бога славить тут, пожалуй, нечего. Может быть, лучше ему бы разбиться, прахом рассыпаться. Трах — и конец. Ужас и блаженство. А какая тяжелая, грустная жизнь его ждет — если, конечно, он правоверный католик. Но в молодости почти все веруют. И мучатся. Потом, конечно, с годами многие монахи живут весело, блудно и пьяно. Но в молодости редко кто из них не аскет. И как мне жаль их.

Я смотрю на Бунина. Он шагает энергично, уверенно и широко. У него эластичная ритмическая походка. С ним легко идти в ногу.

Он совсем не похож на себя, того домашнего, в халате, в ночных туфлях и в одном из своих умопомрачительных «головных уборов». От старческой сутулости, суетливости не осталось и следа. Он держится очень прямо, высоко и гордо подняв голову. Каракулевая круглая шапка, надвинутая на лоб, молодит его худощавое, породистое лицо.

Сейчас его нельзя назвать не только старым, но даже пожилым, столько в нем жизни, так ясно и предприимчиво смотрят его зоркие глаза.

Возраст Бунина. Я, сидя с ним около его камина, или перед окном нашей комнаты, часто удивляюсь, как меняется его внешность. В продолжение какого-нибудь часа он будто проходит разные эпохи жизни. То он кажется старым-престарым старцем, то человеком средних лет, то молодым. Его выразительное лицо меняется невероятно быстро, преображается под влиянием настроения, чувств и мыслей.

Мы пересекаем железнодорожную насыпь.

— Рельсы,— говорит Бунин,— всегда будят во мне мою ненасытную страсть к путешествиям. Ведь больше всего на свете я люблю путешествия. И воспоминания о них. Я объездил чуть ли не весь мир. В одном Константинополе был тринадцать раз. А вот Японии и Китая так и не удалось увидеть. Я и сейчас жалею об этом.

Он с чисто восточной роскошью и богатством образов, сведений и деталей рассказывает об Африке, о Цейлоне, об Индии.

Я иду рядом с ним, слушаю его и снова, как всегда, изумляюсь тому, как он умеет показывать то, о чем говорит. Я уже чувствую себя в Дакаре, в Египте, на берегах Ганга.

Но он вдруг прерывает свои описания, поворачивается ко мне и смотрит не на меня, а поверх меня вдаль.

— Как давно я так, как с вами, вспоминая прошлое, не гулял. Как давно меня так, как вы сейчас, никто не слушал.

Оживление медленно сходит с его лица и голос его звучит приглушенно и грустно.

— Только с ней когда-то. Мы с ней вдвоем постоянно гуляли, исходили все дороги, объездили все окрестности. И как это было чудесно. Она мало говорила, но как она умела слушать. И понимать меня. Раз, когда мы с ней возвращались домой, до того усталые, что с трудом передвигали ноги, я подумал — как хорошо было бы сейчас лечь здесь, под шуршащим тополем, обняться и уснуть вместе. И — ведь мысль о смерти всегда присутствует в любви — мне вдруг мучительно захотелось не только уснуть, но умереть вместе с нею. Умереть с нею. Не сейчас, конечно. А когда придет мой час. Я пожелал это с такой силой, что почувствовал боль в горле. Но я не сказал ей: я хочу умереть вместе с тобой. Нет, ведь она на столько лет моложе меня. Она, конечно, переживет меня и будет еще долго жить после моей смерти. Я сдержался. Я не сказал ничего. И все-таки она почувствовала. Она поняла. Ее нежные, прелестные пальцы вздрогнули в моей руке. В ответ. Будто выражая согласие и готовность исполнить и это мое желание.— Он молчит с минуту, потом говорит срывающимся голосом.— И все-таки она меня бросила, бесчеловечно бросила. Бросила, зная, что это убьет меня.

Убьет? Но ведь он жив. Он не умер. Он пережил.

Как же так? Ведь он произнес «убьет» так убежденно, с таким отчаянием.

Мы проходим по площади мимо безобразного «памятника павшим героям последней войны».

— Какой отвратительный памятник, оскорбительный для памяти бедных убитых солдат,— говорю я первое попавшееся, только чтобы отвлечь внимание Бунина от его любовной драмы.

Он кивает, брезгливо морщась.

— Да, меня просто тошнит от вида этих каменных экскрементов. Я всегда обхожу их стороной. Мне кажется, что они воняют. А ведь бараны — отцы города — с ослом-мэром одобрили его. И стоил он дорого, наверно. Но меня удивляет, что и вы понимаете, какая это гнусность. Ведь вам нравятся разные Пикассо и всякие там Элюары.

И он разражается длинной тирадой, уничтожающей современное искусство.

Взгляды Бунина на футуристов, декадентов и абстракционистов — он всех их валит в одну кучу — мне давно и хорошо известны.

Я не спорю, не подаю реплик, даже на удар не в бровь, а прямо в глаз:

— Хорош ваш Блок! Просто эстрадный фигляр. В ночном кабаке после цыган — отчего же — послушать можно. Но к поэ-

зии это никак не относится. Решительно никак. Эти — пусть музыкальные вирши — даже не спуск в преисподнюю, в ад, а в грязное подполье, в подвал «Бродячей собаки», где «пьяницы с глазами кроликов — in vino veritas [1] кричат», кричат, как в цирке: «Браво, рыжий. Браво, Блок!» Ведь ваш Блок просто рыжий из цирка, просто клоун, шут балаганный, из своего же собственного позорного «Балаганчика».

Я даже не стараюсь объяснить, что Блок терпеть не мог «Бродячей собаки» и никогда в ней не бывал.

Я ничего не возражаю. Должно быть, моя необычайная кротость приятно удивляет Бунина. Обыкновенно, особенно если поэтический спор происходит в присутствии Георгия Иванова, не обходится без того, чтобы не «грянул бой, Полтавский бой».

Георгий Иванов необычайно вежлив и выдержан, но в литературных спорах часто теряет не только меру, но и самообладание.

Так он без всякого стеснения объясняет Бунину, что не считает его поэтом и что Гумилев и все аполлоновцы возмущались, когда такая высококвалифицированная типография, как «Голике», отпечатала его «Листопад».

Мне еще там, на берегах Невы, внушали презрение к стихам Бунина. Я робко призналась, что мне очень нравилось стихотворение Бунина «Ночь печальна, как мечты мои», положенное — не помню кем — на музыку. Его пела моя мать. Гумилев издевательски заметил:

— А вот я так плакал навзрыд, когда моя мать мне пела: «У кота воркота была мачеха лиха». И понятно: «те песни, что певала мать», нас всегда восхищали, оттого что она их пела.

То, что я даже не защищаю Блока, застает Бунина врасплох. Он удивлен. Он спрашивает:

— Вы что? Устали? Уморились?

Я смотрю на часы на руке.

— Уже четверть четвертого. Жорж будет беспокоиться — куда я пропала.

Он кивает.

— Конечно, будет. Как не беспокоиться, когда он так вас любит, слишком сильно любит. Толку от такой любви никакого. Ни вам, ни ему. Одно беспокойство и мученье. Знаю. И как еще знаю — по опыту. А поделать ничего нельзя — приходится терпеть. Теперь он, конечно, с ума сходит, а вернетесь вы — закатит вам скандал. И еще какой! Все как полагается. Это и есть великая любовь, посланная богами смертным, как наказание и лютая казнь. Самая неподдельная, великая любовь.

— А Веру Николаевну вы тоже так любите? — неожиданно спрашиваю я и, смутившись от собственной бестактности,

[1] истина в вине *(лат.)*.

чувствую, что краснею. Ведь меня с детства учили: «No personal questions or remarks» [1]. А это ли не «personal question»?

Но у Бунина, должно быть, другое представление о бестактности. Он с полной готовностью отвечает:

— Веру Николаевну? Нет. Совсем другое дело. Даже сравнивать дико. Люблю ли я ее? Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу, или лиши меня воздуха — я изойду кровью, задохнусь — умру.

«Умру» — он вторично сегодня произносит это слово. Но сейчас — на житейском плане, где смерть предел существования.

— Да, без нее я вряд ли могу жить. Но сказать, что я ее люблю,— он недоумевающе разводит руками.— Нет, или, вернее, люблю, как себя, не замечая этого. Ведь о том, что я люблю себя, я не помню и даже рассержусь, если кто-нибудь назовет меня «самолюбцем». Возможно, что это и есть самый высокий, правильный род любви — по завету Христа: «Люби ближнего, как самого себя». Без преувеличений, трагедий и мук. Не замечая своей любви. Она часть меня, составная, неотъемлемая часть меня. Яснее я объяснить не могу. Но с ней разлуку мне бы пережить не удалось.— И, помолчав, заканчивает.— Всегда благодарю Бога, до последнего моего вздоха благодарить Его буду за то, что он послал мне Веру Николаевну.

Мы выходим на набережную. Бунин указывает широким жестом на море.

— Ну, как бы вы описали это волшебство, вы — нелюбительница описаний природы? — спрашивает он меня.

Я смотрю на легкие золотисто-розовые облака, тающие в голубом небе, и говорю первое, что пришло мне в голову, сознавая всю банальность моих слов:

— Закатные облака похожи на ангелов, пролетающих над морем, чтобы утешить чаек, рыб и рыбаков, попрощаться с ними, перед тем как вернуться к себе домой, в рай.

Он, внимательно выслушав про моих утешающих рыб и чаек облаков-ангелов, неодобрительно качает головой.

— Ну, конечно, конечно. Без ангелов у вас всех не обходится. Ангелы у вас всех, особенно у Смоленского, какая-то домашняя птица, вроде курицы, под всяческими соусами подаются. Жареные, вареные, свежеощипанные — ведь и перья из ангельских крыльев на поэтическую потребу идут. А уж о лире и не говорю. Кому только ангелы ее не протягивали. Даже Ходасевичу, помните: «Мне ангел лиру подает...» — На, играй на ней райские песни! Сладкозвучничай!

Возразить на это мне нечего. Да, правда. У меня и у самой неоспоримое пристрастие к ангелам — недаром я назвала свой первый роман «Ангел смерти». Но вдруг я, не дослушав, прерываю его.

---

[1] Без интимных вопросов или замечаний *(англ.)*.

— Нет, Иван Алексеевич, простите. Нет, я бы не стала об ангелах. Я ошиблась. Я сказала бы,— я протягиваю руку и указываю на яхту вдали,— я сказала бы только:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

Больше ничего.

Лицо его освещается улыбкой.

— Вот это вы действительно ловко. Это действительно хорошо и умно. Лучше не скажешь. И как этот «Парус» меня всегда потрясает. Каждый раз по-новому, каждый раз иначе. Иногда грустью. Иногда вдохновеньем. Иногда счастьем — до боли. И какой торжественный, волшебный конец. Одни из самых изумительных строк во всей русской поэзии:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.

Мне всегда кажется, что это обо мне сказано.— Он взмахивает рукой и повторяет: — А он, мятежный, просит бури...

И вдруг со свойственными ему резкими переходами из одной тональности в другую:

— Что вы гримасничаете? Что вам не понравилось?

— У меня глаза ломит от солнца. Я забыла взять свои черные очки.

— А на что они? Я вот могу прямо на солнце смотреть,— и он действительно уставляется на огненный шар солнца, нестерпимо пылающий на горизонте.— Как орел смотрю на солнце! А вам очки подавай!

— Видно, я не орлиной породы,— соглашаюсь я.— Я и орлов терпеть не могу. Как и всех хищных птиц. Терпеть не могу. И даже боюсь.

Но моя боязнь птиц нисколько не интересует его. Он вряд ли слышал, что я сказала. Он смотрит вдаль и, кажется, весь поглощен тем, что видит и что чувствует. Он медленно говорит:

— Как мне хочется хоть раз еще все увидеть. И Грасс, и Бельведер. Там, где я был счастлив. И несчастен. Но даже в самые черные, несчастные минуты я всегда чувствовал всю эту красоту и как-то краешком сознания наслаждался ею. А ведь большинство людей вовсе не замечают ее.— Он замолкает на минуту.

— Подумать только,— продолжает он,— что мадам де Севинье жалела свою дочь за то, что она живет в отвратительном Провансе, безобразнее которого ничего на свете нет. А Мишле считал Тулон и окрестности Тулона адом. Ведь до Руссо никто не любовался видами природы и даже не замечал захода солнца. Их просто не существовало. Только на картинах, а в жизни, в действительности, их не было. Потом, по Уайльду, «природа стала подражать искусству», и тогда их увидели и начали ими восхищаться. Это у французов, но и у нас, русских, не лучше было...

На обратном пути Бунин непременно хочет зайти в кафе выпить вина. Я отказываюсь.

— Вы же знаете, Иван Алексеевич,— я не могу, меня Жорж ждет.

Но он и слышать не желает.

— Зайти в кабачок совершенно необходимо. Без этого прогулка не прогулка. Ведь это мой первый и, наверно, единственный большой выход. Я обыкновенно обогну раза три сад, выгляну за калитку и назад в свою конуру. Сил нет. Устаю. А сегодня сколько мы с вами отмахали. Почти как в далекие прошлые годы. Неужели вы так жестокосердны и захотите все испортить?

Я не даю ему договорить. Раз для него это так важно, я согласна.

Перед кафе на деревянной стойке — корзины с устрицами.

Рыжеволосый, веснушчатый парень, в розовой рубашке, открывает устрицы кривым ножом и укладывает их на блюдо со льдом.

— Ишь как ловко работает. Молодец! — восхищается Бунин.— А ведь это нелегко. Я пробовал открыть устрицу. Никак не мог. А он — раз и готово! Без промаха, без осечки.

Парень, понимая, что иностранный господин заинтересовался им, особенно быстро и щеголевато работает ножом.

— Две дюжины,— заказывает ему Бунин.— Самых крупных.

Парень широко улыбается и, взглянув на нас зеленовато-серыми, влажными глазами, с еще большей энергией начинает орудовать ножом.

— Вы заметили,— говорит Бунин, входя в кафе,— что у него глаза похожи на устриц?

— А ведь правда, на устриц,— соглашаюсь я радостно.— Такие странные, будто скользкие, неприятные. Как я сразу не догадалась? На устриц! Будто нарочно у продавца устриц глаза, как две устрицы.

— Запомните,— советует он.— Может пригодиться для рассказа. Я вам дарю эти «глаза, как устрицы». Берите, берите. Я царски богат. Мне не жалко.

За соседним столиком три молодых человека с жаром обсуждают вчерашний футбольный матч, усиленно жестикулируя.

— Посмотрите, как они руками машут, кажется, сейчас заедут друг другу в морду, и как отчаянно горланят. А они просто дружески беседуют. Что значит южный темперамент! А вино совсем приличное и устрицы великолепные. Не хуже, чем в Париже у Прюнье. Пейте... Ведь приятно, когда устанешь, посидеть так в кабачке. А вы артачились.

Внимание его опять занято соседями по столику.

— Мне часто хотелось написать о таких вот французских парнях. Но по-настоящему я не чувствую их, не понимаю до конца... Между нами, русскими, и ими пропасть, они другие, чем мы. Непонятные нам. Мы так же не понимаем их, как и они нас.

Одна âme slave [1], приписываемая нам, чего стоит. И все же они по-своему правы — в душах как раз главная разница. В наших и в их душах. У нас души православные, у них души католические,— главное различие между ними и нами — религия, вера. У католиков совсем иное мироощущение, чем у православных. Они все чувствуют по-другому, чем мы. Наши древние иконы действительно окна в рай. У католиков все до ужаса реально, чувственно. На их снятие с креста смотреть нельзя, не содрогаясь. И пылающее, исходящее кровью сердце Христа, и прелестные женственные Мадонны, все это земное, полное земной прелести, земной реальности и земного ужаса и страдания. Даже монахини — подумать только — для них жених, супруг Христос. Терпеть не могу Вячеслава Иванова, а он правильно о монашках сказал: «И каждая с грешной жаждой целует Его в уста», или как там у него, не помню. Но он правильно понял. Он недаром и сам в католичество перешел. Теперь кардинал при Папе в Ватикане, или что-то в этом роде, шут с ним совсем.

Он наливает себе и мне по новому стакану вина, подвигает ко мне самые большие устрицы.

— Но ведь не все французы правоверные католики,— говорю я.— Сколько среди них протестантов. И атеистов.

Он качает головой.

— Ничего не значит. Это у них в крови, прирожденное, наследственное. Они воображают себя свободомыслящими — ни в Бога, ни в черта — не крестят своих детей, не венчаются в церкви. Но ведь души-то их слагались столетиями. Готические соборы недаром возникли таинственным образом во Франции, а не в какой-нибудь другой стране. И крестовые походы, и религиозные столкновения, всякие там Нантские эдикты и прочее. А Варфоломеевская ночь чего стоит. Безбожнику французу только кажется, что он безбожник, душа у него глубоко религиозная и к тому же католическая, расчетливая, меркантильная, веселая, чувственная. А наши русские православные души лиричны, аскетичны, мрачны и сумасбродны. Напрасно считают французов легкомысленными. Мы гораздо легкомысленнее их, только русское легкомыслие принимает мрачные, а не веселые формы. Я и сам очень долго, лет до тридцати, был способен на самые сумасбродные поступки. А как я жил. Угла собственного у меня никогда не было. Скитался из города в город, часто без гроша в кармане. Был способен по шпалам пешком идти, только бы не оставаться на одном месте. Будто меня кто гнал. О будущем я совсем не думал, ни на какую работу способен не был. Верил, слепо верил в свой талант, в свою звезду, и что когда-нибудь прославлюсь на весь мир.

— Но ведь вы и прославились,— прерываю я его.— На весь мир прославились.

Он разводит руками.

---

[1] славянская душа *(фр.)*.

— Ну и что из того? Если бы в своей стране. А то здесь. Что мне эта Нобелевская премия — а сколько я о ней мечтал — принесла? Чертовы черепки какие-то. И разве иностранцы оценили меня? Вот я написал лучшую свою книгу «Темные аллеи», а ее ни один французский издатель брать не желает.

Да, я знаю. Не только «Темные аллеи», но и «Лика», хотя Бунин уже давно подписал контракт с Грассе или Галимаром — все еще не появляется.

Мы приехали в Жуан-ле-Пэн на аванс, полученный мною за «Laisse toute espérance» [1]. Но Вера Николаевна, о чем мне не преминули сообщить, только горестно трясла головой: «Бедненькая Ирина! Она воображает, что ее роман действительно будет напечатан. Мне ее очень жаль. Ведь контракт и аванс ровно ничего не значат. Контракт контрактом, а книга так и не выйдет никогда. Раз даже книги Яна не выходят»...

— Да,— говорит Бунин, снова вспоминая «Темные аллеи», в который уже раз,— это лучшее, что я за всю мою жизнь написал. А разве кто понимает? В Нью-Йорке даже несколько рассказов не решились целиком напечатать — почтительно просят удалить «слишком соленое». Ненавижу, когда меня до сих пор называют автором «Деревни».

Он все сильнее волнуется, щурит глаза и сдвигает брови.

— До чего мне обидно! Значит, между мной и читателями пропасть. Полное непонимание...

Какое у него сейчас бледное трагическое лицо на черном фоне окна. Черном? Но ведь оно только что было красным. Я смотрю на свои часы. Боже мой, уже без четверти шесть!

Я быстро встаю со стула.

— Нет, теперь действительно пора идти. Я ни минуты больше не могу...

— Неужели пора? неужели ни минуты? — разочарованно переспрашивает он.— Ведь вы все равно так опоздали — семи бедам не бывать, а одной не миновать. Посидим еще немножко, возьмем еще вина.

Но видя, что я решительно не согласна, он подзывает хозяина и расплачивается.

— А жаль, что уже и конец.

Он оглядывается с порога и кивает, будто прощается не только с хозяином, но и со всем кабачком.

— Да, жаль, очень жаль,— повторяет он грустно.— Вряд ли нам с вами удастся еще раз так погулять. Вряд ли эта прогулка повторится.

И она действительно не повторилась...

Мы сидим перед печкой.

Бунин простудился и второй день не выходит из своей жарко натопленной комнаты. Сидя в кресле, высоко закинув

[1] «Оставь надежду навсегда» *(фр.)*.

ногу на ногу, поминутно раздраженно, с брезгливым выражением лица запахивает полы своего верблюжьего халата. На голове у него, в изъятие из правил,— не шляпа и не кепка, а каракулевая шапка, которую он надевает — идя на прогулку.

— Я в собачьем настроении,— запальчиво заявляет он мне, как будто это и так не ясно.

Я молчу. Я по опыту знаю, что, когда он «в собачьем настроении», говорить не следует. Все, что ни скажешь, только рассердит его. Я чувствую себя неловко.

Может быть, мне лучше всего уйти? Молча? Не попрощавшись с ним? Но я не решаюсь встать.

Он смотрит в огонь отсутствующим взглядом и медленно и задумчиво произносит, будто говорит сам с собой.

— Какая у меня отвратительная, мерзкая старость! Но и молодость была не лучше. Сколько тяжелого. Дикое одиночество. И нищенская бедность. Я о всем этом потом просто и вспоминать не хотел. Вычеркнул из памяти. А теперь нет, нет, да и вспомнится. И так ясно, будто это все вчера было, будто я из молодости прямо перешагнул в старость. А всего остального и не существовало.

Он наклоняется, берет кочергу и начинает поправлять дрова в печке. Медленно и осторожно, а не разбрасывает их яростно, так что искры вылетают во все стороны. Одна из таких искр недавно прожгла мою юбку.

Значит, он не сердится. И значит — за месяц нашего совместного пребывания в Жуан-ле-Пэн я успела изучить переходы его настроений и привычки — он, по всей вероятности, собирается говорить о себе, «погружается в свое прошлое». Пауза. Я жду. И он снова, так же задумчиво продолжает:

— Вот все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Но я о многом, об очень многом, о самом тяжелом не писал. «Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни. В ней много подтасовано и подтушевано. А ведь никто не верит. И мне это неприятно.

Он поворачивается ко мне, этим движением производя меня в слушателя и даже в собеседника.

И я спрашиваю, осмелев:

— Почему бы вам, Иван Алексеевич, не написать комментариев к «Жизни Арсеньева» и все поставить на свое место?

Он морщится.

— Ну нет. Ни к чему это. И не удалось бы мне. Я пробовал писать о себе правду. Не удавалось. Должно быть, от душевной застенчивости. Я ведь болезненно стыдлив, целомудрен и застенчив внутренне — хотя никто не верит. Мне как-то стыдно писать о себе правду.

— А в ваших письмах? Ведь вы такие изумительные письма пишете.

Он снова морщится.

— Ну, уж о письмах и говорить не стоит. Кто когда писал

правду о себе и о других в письмах? Всегда надо считаться с тем, кому и когда они написаны, учитывать, сколько в них фальши, желания польстить тому, кому они адресованы, или, напротив, самохвальства. И чисто литературной красивости. Ведь я всегда помню, что мои письма всеми сохраняются и рискуют быть напечатанными после моей смерти. Хотя вот уже сколько лет прошу и завещаю, чтобы все мои письма — до последнего — сожгли. Разве кто-нибудь в письмах до конца честен, правдив и откровенен? В особенности писатели? В жизни можно быть честным, в письмах нельзя.

Он замолкает на минуту.

— Нет, сам я о себе написать не могу. А что у меня нет, и не будет хорошей биографии, мне иногда жаль.

— Но, может быть, о вас еще и напишут замечательно? И здесь. И в России.

Он упрямо трясет головой.

— Вздор. Никто не напишет. И главное, написать не сможет. Ведь чтобы правильно написать о человеке, надо не только его знать, но и быть равным ему, если не во всем, то все же во многом. Главное — по таланту и уму. А кто — совсем между нами,— скажите, в эмиграции равен Бунину? Кругом одни пигмеи, какие-то раздувающиеся лягушки. Одна фанаберия, «головное воображение о себе». Я говорю о старых писателях, тех, кто — с хорошим, кто — с неважным именем прибыли сюда. Разве среди них кто-нибудь равен Бунину? Или среди новых?

И в России — теперь там мной интересоваться начинают — никто по-настоящему написать не может. «По материалам» — да ведь это мертвечина и отдает трупным запахом. Статистика с картпостальными иллюстрациями. Нет. Никто никогда. Правильно сказал Мережковский, хоть я его и терпеть не могу,— «каждая новая книга о Наполеоне камнем падает на его могилу и еще больше мешает понять и увидеть Наполеона». Так и со мной, конечно, будет. Лучше никто и не писал бы. Ничего, никогда.

Но я не согласна. Я протестую:

— Нет, совсем не надо быть равным писателю, чтобы правильно описать его. Это особая способность, иногда отсутствующая даже у гениальных писателей и встречающаяся хотя бы у Зинаиды Гиппиус в ее «Живых лицах». А ведь проза Гиппиус не очень хороша. Она — поэт, она — критик. Но прозаик слабый. Исключение — «Живые лица».

Я напрасно упомянула о Зинаиде Николаевне. Бунин, успев высказать все, что хотел о биографиях, больше о них слышать не хочет. Я всячески стараюсь вернуть его к прежней теме. Но он начинает изображать, как Зинаида Николаевна однажды в его обществе покупала ленточку и бантики в Ницце, в «Галери лафайет». Он передразнивает ее забавно и правдиво, капризно тянет французские слова и подносит грациозным жестом воображаемую лорнетку к прищуренным глазам.

— В эти минуты у нее,— говорит он,— как у стрекозы, две пары глаз — она, несмотря на свою подслеповатость, все видела и впивалась взглядом в ленточки,— в те, что лежат перед ней, и в те, что сбоку, и в те, что сзади, на другом прилавке. Кто не покупал ленточек и бантиков с Зинаидой Николаевной — не поймет ее. Это поучительное зрелище. Жаль, что вам так и не пришлось сопровождать ее в охоте за бантиками, земля ей пухом!

Я смеюсь, и он тоже начинает смеяться.

— Разве я уж так смешно ее изображаю?

Да, так смешно, что сейчас, через много лет, я, вспоминая о том, как Бунин изображал Зинаиду Гиппиус, покупающую бантики, смеюсь. Через двадцать два года смеюсь. Но тогда, двадцать два года тому назад, в тот февральский средиземноморский день, я все же спросила:

— А мне, Иван Алексеевич, если мне когда-нибудь очень захочется, можно будет написать о вас?

Он внимательно оглядывает меня с головы до ног, будто видит меня впервые.

— Да ведь вы же только стихи и романы пишете?

— Я на всякий случай осведомляюсь. Мало ли что бывает, вдруг захочу... Не сейчас. А потом, на старости лет...

— После моей смерти? — Он задумывается: — Что вам ответить? Если я даже запрещу, вы, как, впрочем, и другие, не послушаетесь. Так уж лучше я вам разрешу. Тем более, что я совсем не вижу вас в роли очкастой мемуаристки, записывающей в книжечку, ежеминутно вынимаемую из сумки, мелким почерком, все, что видит и слышит. Мемуаристы ведь совсем особая порода, как и переводчики. Для них чужое ближе своего. А поэты — лирики. Они что бы ни писали, всегда «обо мне и о себе». И вы ведь, как и я, прежде всего поэт. Впрочем, слушать вы действительно умеете. И это мне в вас нравится. Это хорошо.

Еще бы! Неужели бы Бунин проводил со мною столько времени, если бы я не умела его слушать? Ведь для него, как и для Белого когда-то, лучший собеседник — слушатель. «Активный слушатель», по определению Белого.

Бунин снова поправляет поленья в печке и осторожно и аккуратно ворошит угли.

— Вот вы спрашиваете, разрешу ли я вам писать о себе,— выдержав паузу, продолжает он.— Не только разрешаю, но буду рад, если вы когда-нибудь это сделаете.

Он смотрит на меня торжествующе, нисколько не сомневаясь, что я, осчастливленная его монаршей милостью, чувствую себя на седьмом небе.

И я, сознавая, что он ждет от меня верноподданнической благодарности, говорю:

— Спасибо, Иван Алексеевич, сегодя же вечером начну дневник. Буду все записывать о вас.

Он кивает.

— Вот это умно. Непременно заведите дневник. Увидите, как он вам потом пригодится. Поможет вам меня по-настоящему понять. Не только меня, но и себя понять и узнать. Ведь вы, наверно, как большинство, воображаете себя совсем другой, чем вы на самом деле,— и, помолчав,— а вот я действительно «познал самого себя». Не хуже самого Сократа... Так непременно заведите дневник.

Но я так и не завела дневника. Я тогда совсем не собиралась писать о Бунине. Ни о Бунине, ни о ком другом. Я была слишком занята своею собственной жизнью.

Но как знать? Не будь тогда этого разговора, я, может быть, не решилась бы так подробно рассказывать о моих немногочисленных встречах с Буниным.

Нет, я не надеюсь показать «живого Бунина». Это вряд ли кому удастся — слишком уж он многогранен, не укладывается ни в какие рамки, не поддается измерению.

Но, может быть, все же эти страницы о нем помогут хоть смутно, как сквозь туман, увидеть его, услышать его голос, на минуту почувствовать его присутствие тем, кому не было дано встретиться с Буниным.

— Я теперь постоянно о смерти думаю,— говорит Бунин.— Какой-то перелом во мне произошел. Я как будто не только умом, но и всем телом понял, что я, как и Кай, смертен. Смерть как будто вошла в меня — в мою голову, в сердце, в кровь. Правда, я только минутами, но все чаще чувствую ее в себе. И это тяжело. И страшно. Ведь как ни крути — восьмой десяток, жить осталось совсем мало.

— Ну что вы, Иван Алексеевич! — перебиваю я его.— Вы всех нас переживете. До ста лет, а то и больше проживете.

Я уверена, что именно этих слов он ждет от меня.

Но он отмахивается от них раздраженным жестом.

— Вздор! Помру через год-два, много пять лет. Устал я и ослабел. И все так мерзко. Началось с этой гнусности. Как волка меня травят. Но я еще, слава Богу, не только огрызаться, но и задрать могу. Из последних сил могу. Вот утром опять письмо пришло...

Он протягивает руку и берет со стола длинный конверт с трехцветной каемкой и американской маркой. Сейчас он начнет мне читать злосчастное письмо. С соответствующими, полновесными, трехэтажными комментариями. И тогда уже мне никак не удастся развлечь его. Эта «волчья» тема, пожалуй, еще хуже темы о смерти. А ведь я обещала Вере Николаевне, ушедшей за покупками, привести Бунина в хорошее настроение к ее возвращению домой.

Я, как за спасательный круг, хватаюсь за мелькнувшую в моей голове мысль. Скорей, пока он еще не начал читать письмо.

— Иван Алексеевич, я все думаю о «Лике». Только, пожалуйста, не сердитесь. Обещайте не сердиться.

Он сразу настораживается и высоко поднимает голову. И вот уже его худое, морщинистое лицо выражает не злость, а высокомерие.

— Позвольте узнать, сударыня, что вы думаете о «Лике»? Что-нибудь очень обидное, раз вы просите не сердиться,— издевательски произносит он.

Злосчастный конверт, слава Богу, выпал из центра его внимания. И даже из его руки. Он упал на пол и голубеет длинным узким четырехугольником у его ног. Но Бунин не наклоняется за ним. Через минуту он может вспомнить о нем. Надо воспользоваться этой минутой, и я говорю:

— Вы знаете, сколько раз я перечитывала «Лику»...

Да, я не лгу. Я действительно много раз перечитывала «Лику» после того, как написала роман по-французски. Я боялась, что французский стиль, так не похожий на русский, помешает мне хорошо писать на родном языке. И я принялась за изучение «Лики». У кого же лучший язык, чем у Бунина?

Он нетерпеливо морщится и холодно смотрит на меня.

— К делу. Без вступлений. Что вам в ней не нравится?

Я растерянно мигаю, не зная, как найти нужные слова.

— Почти в самом конце... Такое волшебное описание...

Я лечу, как с горы. Сейчас упаду, разобьюсь, навсегда погибну для Бунина. «Критиковать меня вздумали!» Нет, этого он при его самолюбии мне не простит.

Бунин сердито сдвигает брови.

— Чем же вам «почти конец» «Лики» не угодил? — насмешливо спрашивает он.

И я говорю правду.

— Уксусные деревья...— и перевожу дыхание.— Все так прелестно и поэтично, все, как продолжение сна. Так чудесно, «точно по воздуху пошел». И вдруг эта аллея уксусных деревьев.

Эти уксусные деревья действительно каждый раз, когда я перечитывала сон о давно умершей Лике, портили мне все очарование. Какие такие уксусные деревья? Я их никогда не видела, я не могла себе их представить, но чувствовала, что у меня от них сводит рот, будто я глотнула уксуса.

Я опускаю голову. Я боюсь взглянуть на него, увидеть его негодующее лицо.

Но он не негодует, не сердится. Он говорит задумчиво:

— Знаете, пожалуй, вы и правы. Это мне и в голову не приходило. Для меня уксусное дерево все равно что тополь или кипарис — обыкновенное дерево. А для вас, северян, оно не сливается с пейзажем, а назойливо торчит этаким вопросительным знаком, о который разбивается ваше внимание.— И добавляет, помолчав: — Вполне дельное замечание. А что вы так любите «Лику» — мне приятно, я и сам люблю ее больше всего в «Жизни Арсеньева».

Он закидывает ногу на ногу. У него узкие, аристократические ноги, и он, как он сам не раз признавался, гордится ими. «По рукам и ногам порода видна».

— Да,— говорит он, глядя в огонь,— вот вам, я знаю, не нравится обилие описаний природы у меня. Вам они скучны. А ведь нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение воздуха — движение нашей собственной жизни. Мы слиты с природой, мы часть ее. Это надо чувствовать. Если не любить природы, не можешь любить и понимать человека. А тогда и писать не о чем и незачем. Мало ли какие приятные занятия можно кроме писания найти. Да и писание совсем не приятное занятие, а изнурительный труд. И мука.

Я не прерываю его, и он, помолчав и по-старчески пожевав губами, продолжает:

— Знаете, какой главный недостаток ваших писаний? — Он делает паузу и произносит веско: — Слишком интересно. Слишком динамично, будто одним дыханием. Да, представьте себе! Вы изумлены, вам кажется, что это ваше главное достоинство, а выходит наоборот. Вы как вцепитесь в читателя, так и катаете его в лифте вверх и вниз, не давая ему отдохнуть, прийти в себя, отложить книгу, пойти по своим делам. Где уж там! Если начнешь читать вечером, так и будешь читать до вторых петухов. Вам кажется, что так и надо, что это хорошо? Вы этого и добиваетесь?

Он смотрит на меня насмешливо.

— Напрасно, сударыня! Пушкин говорил: поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. А я говорю — проза, прости Господи, должна быть скучновата. Настоящая, великая проза. Сколько в «Анне Карениной» скучных страниц, а в «Войне и мире»! Но они необходимы, они прекрасны. Вот у вашего Достоевского скучных страниц нет. Нет их и в бульварных, и в детективных романах. Я не читал, но был такой роман — я видел объявление в газете «Сегодня»: «Только факты, сэр!» Лучшего названия не найти.

И вдруг, раздражаясь, отчеканивает:

— Я бы сжег эти «Только факты, сэр!» вместе с автором, тут, в печке.

— И меня тоже? — спрашиваю я.

Он поворачивается ко мне и смотрит на меня улыбаясь.

— Нет, я к вам чудно отношусь — правда. Я хочу вам добра, оттого и учу уму-разуму.

— Так не сожжете меня? — добиваюсь я, смеясь.

— Нет. И вообще никого не только не сожгу, а и сжигать не хочу. Злости во мне, настоящей, веселой злости, как в молодости, больше ни на грош. А ведь она писателю необходима. Так, брюзжу еще, но больше по привычке. По-настоящему я уже не могу прийти в ярость. Должно быть, мысль о смерти мешает. Ведь о смерти я теперь постоянно...

Он опять о смерти. Что же мне делать?

— А кто сегодня ночью,— перебиваю я его, стараясь заставить свой голос звучать весело,— кто так яростно бушевал, что всех в доме разбудил?

Он удивленно смотрит на меня и вдруг начинает смеяться.

— Разбудил? Неужели? Вера Николаевна куда-то засунула мои ночные туфли. У нее страсть все прятать. А я, если стану босиком на холодный пол, сразу простужусь. Вот я и спрашивал ее через стену. Она ведь глухая, не слышит. Но разве уж я так яростно орал?

Я подтверждаю.

— Да, орали яростно и бранились еще яростнее. Во всеуслышанье.

— А меня, представьте себе, никто даже упрекнуть не посмел. Что значит быть Нобелевским лауреатом.

Он самодовольно улыбается. Улыбка его ширится, поднимается вверх, захватывает глаза, мешочки под глазами и лоб, разгоняя на нем морщины. Все лицо его на минуту становится веселым, дерзким. И молодым.

Меня всегда поражает в Бунине то, что я при каждой встрече с ним как бы вижу его в разные эпохи его жизни.

Вот сейчас он совсем молодой. Глаза его полны отвагой и желанием все себе подчинить, и ясно, что он чувствует себя центром мира. Но ведь только что он так устало опускал лиловато-серые тяжелые веки над подпухшими зоркими, безнадежно грустными, старческими глазами и беспомощно жевал губами.

Он слегка наклоняет голову. Я больше не вижу его глаз. Лицо его, освещенное двойным светом средиземноморского заката за окном и пылающей печки, медленно теряет свое юношеское веселое и злое сверкание, становится матовым, не молодым и не старым, умным лицом, вне возраста.

— Меня всегда, как ни странно, тянуло к кладбищам,— заявляет он, и неожиданный переход от Нобелевского лауреата к кладбищам слегка сбивает меня с толку. И пугает. Неужели он опять начнет о смерти?

Но он продолжает деловито:

— Сколько я их на своем веку перевидал. И даже писал о них. Помните, мой рассказ о могиле Терезы-Анжелики Обри — богини Разума?

— Да, я помню. Я ходила на Монмартрское кладбище и отыскала ее, прочитав ваш рассказ.

— Вот это хорошо,— одобряет он.— Если даже не ходили, а только сейчас выдумали, чтобы доставить мне удовольствие, то и это хорошо.

— Нет. Честное слово, ходила.

Он кивает.

— Что ж, верю.— И, сделав паузу: — А страсть к кладбищам русская, национальная черта. Страсть к кладбищам очень русская черта. В праздничные дни провинциальный город — ведь вы, и как это жаль, совсем не знаете русской провинции — велико-

державный Санкт-Петербург — как будто все в нем одном. На праздниках на кладбище фабричные всей семьей отправлялись — пикником — с самоваром, закусками, ну и, конечно, с водочкой. Помянуть дорогого покойничка, вместе с ним провести светлый праздник. Все начиналось чинно и степенно, ну, а потом, раз, как известно, веселие Руси есть пити, напивались, плясали, горланили песни. Иной раз и до драки и поножовщины доходили, до того даже, что кладбище неожиданно украшалось преждевременной могилой в результате такого праздничного визита к дорогому покойничку.

Он смотрит на часы.

— Скоро обедать пора. Что это Вера Николаевна не идет? Вам небось давно бежать хочется. Надоело со мной сидеть.

— Что вы, Иван Алексеевич, я так люблю...

— Скучать с вами,— заканчивает он.— Знаю, знаю, не сомневаюсь ничуть. Интересно и поучительно. И всякому лестно.

Он иронически прищуривается, встает, подобрав полы халата, и мелкой шаркающей походкой идет в комнату Веры Николаевны. Я за ним.

— Не могу долго сидеть на одном месте, хоть в другую комнату, такую же поганую, перейти, все же не так тоскливо. Будто легче дышать.

Он садится в обитое пестрым ситцем кресло около окна.

— Я ведь бродник. Что, никогда не слыхали такого слова? Это такие казаки бродники бывали. Не могли усидеть на месте, все их тянуло бродить. Таков и я всю жизнь был. Ведь я почти весь мир объездил. Где только я не был? — он вздыхает и закрывает глаза: — А теперь вот сиднем сижу, выйду на полчаса и обратно в свою конуру. Устал.

Он вздыхает и закрывает глаза. Да. У него очень усталый вид. Голова его опускается на грудь. Он, должно быть, задремал. Я встаю и, стараясь не шуметь, на носках пробираюсь к двери. Но он резко откидывает голову на спинку кресла и смотрит на меня холодными и зоркими, внимательными глазами. Смотрит, злорадствуя и торжествуя, будто поймал меня на месте преступления.

— Что? Бежать?.. Думаете, заснул старикан. Как бы не так! — Но видя мое смущение, объясняет дружелюбно: — Я все утро вспоминаю всевозможные рассказы — те рассказы, которые я хотел написать и не написал. И вот сейчас вспомнил одну удивительную историю. Кладбищенскую, как раз продолжение нашего разговора.— И уже почти весело, тоном, не терпящим возражений: — Садитесь! Расскажу. А вам спешить, слава Богу, некуда. Да и чтобы меня послушать, можно и важное дело отложить. Не так ли?

— Не только можно, но нельзя не отложить,— говорю я, снова усаживаясь против него.

Он оживленно начинает рассказывать. А я вся превращаюсь в слух.

— Было это с одним моим приятелем, довольно красивым, стройным и статным парнем. Таким же бродником, как и я. Приехал он в какой-то украинский городок просто так, без всякого дела, взглянуть на него — и дальше, как и я в молодости часто делал. Днем все, что полагается, осмотрел, хотя, в сущности, и осматривать было нечего. Поужинал в трактире. И стало ему скучно и тоскливо. Не стоило приезжать сюда, зря только последние деньги истратил. Ведь у него, как и у меня, деньги всегда были последние. Вышел он из трактира, а ночь такая лунная, таинственная, по Гоголю: «Знаете ли вы украинскую ночь? — Нет, вы не знаете украинской ночи». К тому же — весна, в садах вишни в цвету, среди них белые дома. Все, как снег, сверкает. В огромном пустом небе высокая одинокая луна катится. Такая тишина. Такое одиночество. Будто он один в этом чужом, спящем городе.

А в небе облака, похожие на снежные сугробы. Высокая, круглая голубая луна то проваливается в них, то снова выплывает на бескрайнюю синюю гладь. Ночь такая прекрасная, пустая, одинокая и грустная — под стать ему. И все кругом так странно в своем ночном совершенстве, бесцельно-сияющее, полное ожидания. Улицы пустые. И такая тишина. Такое одиночество. На душе у него тревожно, будто он ждет чего-то, сам не зная чего.

И вдруг совсем близко виолончелью запела калитка. Из душистого белого сада на улицу вышла молодая женщина. От луны ли и неожиданности, или действительно она была так уж хороша, но его сразу неудержимо потянуло к ней.

Она остановилась у калитки и вскинула на него сияющую черноту своих глаз, неопределенно улыбнулась, сверкнув белыми зубами. Под ловким, туго перехваченным в талии черным платьем угадывалось ее молодое, легкое, гибкое тело. Кружевная косынка обрисовывала маленькие, круглые груди.

Он тоже остановился, а она подняла руку и поманила его — догоняй, мол, меня. Пошла вперед, тонкая, стройная, перебирая на ходу крутыми бедрами, вихляя юбкой, все ускоряя шаг. Он за ней. Вот она обернулась, убедилась, что он идет за ней, и снова улыбнулась, уже по-новому — радостно.

Он нагнал ее. Снял шляпу и поклонился ей, не зная, что сказать от смущения. Она тоже смутилась, видно, еще не привыкла к ночным приключениям.

— Вы приезжий? — спрашивает.

Он ей объяснил, что он здесь проездом, уезжает завтра утром и очень хотел бы с ней провести этот вечер, если можно.

— Вот это хорошо,— обрадованно сказала она и взяла его под руку.— Можно. Даже очень можно.

Пошли вместе. Но разговор не клеится. Она отвечает односложно — «да» и «нет» и, хотя продолжает улыбаться, кажется озабоченной.

— Зайдемте ко мне в гостиницу,— осмелев, предлагает он,— выпьем вина, посидим в моем номере.

— Нет, в гостиницу мне идти не с руки,— отвечает она.— Меня тут каждая собака знает. Но, вот увидите — мы прекрасно и без гостиницы, без вашего номера обойдемся! — И она рассмеялась, как ему почудилось, щекочущим, русалочьим смехом. И стала еще прелестней.

Он порывисто обнял и поцеловал ее в горячую нежную шею, упоительно пахнущую чем-то женским. Она не оттолкнула его, но как-то деловито заторопилась:

— Идем, идем! — и снова, взяв его властно под руку, зашагала еще быстрее, дробно стуча своими подкованными полусапожками.

— Куда вы меня ведете? — все же осведомился он, хотя ему было безразлично, куда она его ведет, лишь бы чувствовать ее горячую руку сквозь рукав пиджака, лишь бы шагать с ней в ногу и любоваться ее прелестным лицом, освещенным луной.

Они прошли молча несколько пустых улиц, завернули в какой-то переулок. Он вдруг увидел кладбище и испуганно попятился.

— Здесь нам никто не помешает. Здесь нам будет хорошо,— горячо и страстно зашептала она,—увидишь, как будет хорошо!..

Ворота кладбища были открыты, и он, не рассуждая, чувствуя, что уже весь в ее власти, пошел с ней мимо могил. На узких аллеях пестрели пятна света и теней. Кресты и памятники сахарно белели между черными пирамидальными тополями, уходящими к звездам. Тишина кладбища странно мешалась с лунным светом, тоже заколдованным и неподвижным. Он шел рядом с ней, уже ничего не сознавая, кроме ее близости.

Она остановилась перед одной могилой. На ней туманно белел огромный венок с широкой красной лентой.

Он вдохнул запах свежей земли и отвратительно-сладкий, удушливый, тлетворный запах тубероз.

— Тут нам будет хорошо,— снова зашептала она,— увидите, как хорошо!

Она стала торопливо стаскивать тяжелый венок с могильного холма.

— Помогите же мне,— отрывисто произнесла она,— мне одной не под силу. Тащите его! Тащите!

Но у него так дрожали руки от страха и страсти, что он скорее мешал, чем помогал ей. Наконец она справилась с венком и не то со вздохом, не то со стоном упала плашмя на могильный холм. Уже лежа, потянула его за руку.

— Иди ко мне!

Он мельком увидел белизну ее колен и с помутившейся головой бросился на нее, ощупью нашел ее горячие губы и в смертельной истоме жадно припал к ним. Она исступленно обняла его.

Он чувствовал, что что-то страшное и дивное свершается в его жизни. Подобного счастья он еще никогда не испытывал. Ему казалось, что до этой минуты он не знал ни любви, ни страсти. Она была его первой женщиной. Та, с которой он навеки должен

был соединиться в самой тайной, блаженной, смертельной близости. Эта близость ничем в мире уже расторгнута быть не могла. Они навеки неразрывно связаны. Сразу же в его отуманенной голове стал возникать план остаться в этом украинском городе навсегда. Или увезти ее с собой в Москву. Жениться на ней. И никогда, до самой смерти не расставаться с ней.

Она — он это чувствовал — делила его восторг, вся извивалась и дико и самозабвенно вскрикивала:

— Ах, хорошо, хорошо! Еще! Еще!

Потом, после изнурительно-страстных объятий, они долго лежали, тесно обнявшись.

Кругом была заколдованно-светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями крестов и тополей. Они оба молчали, будто боясь нарушить лунное очарование безмолвья. Ведь и без слов все было раз и навсегда понятно теперь, когда они нашли друг друга и уже не смогут расстаться.

Он, чувствуя восторг и благодарность, осторожно целовал ее маленькие круглые груди с крохотными сосками.— «Да ведь она еще совсем девочка»,— с мучительной нежностью думал он.

Она была бледна какой-то серебристой, лунной бледностью. Чернота ее глаз и волос стала еще черней. Никогда ни на чьем лице он не видел такого выражения блаженства.

Она счастливо и устало вздыхала и вдруг вся вытянулась, выскользнула из его объятий, ловким, гибким движением вскочила на ноги и принялась стряхивать со своего измятого платья прилипшие к нему комья земли.

Он тоже поднялся и во все возрастающем порыве восторга и благодарности стал на колени, покрывая поцелуями ее маленькие тупоносые козловые полусапожки, остро пахнувшие свежей землей и ваксой.

— Ой, что вы делаете? — вскрикнула она.— Встаньте! Я тороплюсь. Не мешайте мне. Не ровен час свекровь меня хватится.

Она торопливо застегнула пуговицы лифа на груди и, держа шпильки в белых зубах, высоко подняв тонкие руки, оплела голову своей великолепной разметавшейся косой.

Он, сбитый с толку, молча стоял перед ней, следя за тем, как она поспешно приводила себя в порядок.

— Два года мечтала — вот сдохнешь, гад, а я на твоей могиле... И дождалась-таки! — вдруг свистящим, яростным шепотом произнесла она.

Он так и оторопел.

— Чья это могила?

— Чья? — звонко переспросила она и залилась своим щекочущим русалочьим смехом.— Мужа моего, вестимо! А то чья же еще? Вчера только его, старого урода, схоронили. Я уже давеча выходила, до самого рассвета гуляла. Да, обида какая, никого подходящего не встретила,— охотно и радостно объяснила она.—

А вас, голубчик, мне просто Бог послал. Молодой, пригожий, ласковый, да к тому же не из наших мест. Ох, как мне хорошо теперь. Спать как я сегодня чудесно буду! — и она сладко и протяжно зевнула.

— Вы,— спросил он, заикаясь, холодея от страха,— вы помогли ему умереть?

Углы ее улыбающегося рта дрогнули. Тень сожаления скользнула по ее сияющему счастьем лицу.

— Нет. Какое там! Сам сдох, шелудивый пес. Опился. На чердак полез и с лестницы кубарем. Спину сломал. А я все мечтала, как я его грибками угощу осенью. Ну, да и так хорошо. Жалеть не стоит.— Она снова засмеялась своим щекочущим русалочьим смехом.— Вы-то свое сполна получили, а обо мне и говорить нечего — я сейчас как в раю.

Он все еще стоял перед ней, бессмысленно глядя на нее. Она взяла его руку своей маленькой горячей рукой и крепко пожала:

— Спасибо, голубчик! До чего же вы мне угодили! Как по заказу! Ну, я пошла. Дорогу в гостиницу сами легко найдете — все прямо по этой аллее, а как выйдете за ворота, свернете налево, так сразу и наткнетесь на нее. Не собьетесь.

Она аккуратно оправила складки платья и вдруг, низко нагнувшись над могильным камнем, отчетливо, с каким-то яростным восторгом произнесла отборное национальное ругательство и звонко плюнула на могилу.

— Получай, гад!

Потом сразу выпрямилась, закинула голову и залила его сиянием своих счастливых черных глаз.

— Ну, прощайте, голубчик! Не поминайте лихом,— и, кивнув ему, быстро пошла своей легкой походкой по узорчатой от игры света и теней аллее, то попадая в полосу света, то пропадая в тени.

Пройдя уже довольно далеко, она, не останавливаясь, обернулась и, приложив руки рупором к губам, крикнула:

— А звать-то вас как?

— Андрей! — голос его прозвучал так странно и хрипло, будто не он, а кто-то другой ответил за него.

— Даже имечко у вас красивое! Это я, чтобы за здравие ваше подавать. Век буду молиться за вас, Андрюша! — донеслось до него. И все смолкло.

Он долго бессмысленно и бездумно стоял, глядя на опустевшую аллею. Потом, опомнившись, со всех ног бросился вон с кладбища. Уже почти добежав до своей гостиницы, он почувствовал ветер в волосах и смутно вспомнил, что его новая поярковая шляпа осталась там, на могиле. Она стоила очень дорого, но он даже не пожалел о ней...

— Вот вам рассказ моего приятеля, вот вам украинская ночь — не по Гоголю,— заканчивает Бунин, сдвигая свою каракулевую шапку на затылок и закуривая.

Я слушала молча, ни разу не перебивая. Как он рассказывает! Я никогда не думала, что можно так рассказывать — так живо, красочно, образно, заставляя слушателя все видеть.

— А он? Что с ним потом было? — спрашиваю я.

— Ну, он, конечно, потрясся до самого основания, долго не мог в себя прийти. Чуть не заболел нервным расстройством. Но, слава Богу, оправился. Но ее никогда забыть не мог.

— Скажите, Иван Алексеевич, а это действительно с вашим приятелем произошло, а не с вами? — спрашиваю я.

Он разводит руками.

— Ах вы, Фома неверующий! Стал бы я выдумывать? Но клясться не намерен.— И, помолчав, продолжает:— Я хотел этот случай в «Темные аллеи» включить, да раздумал. Он бы детонировал. Слишком уж «макаберно», возмутил бы святош — осквернение могилы. Заклевали бы меня за него.— Бунин произносит «макаберно» так, будто ставит его в кавычки. Он умеет ставить слова в кавычки, произнося их особым образом.

— А по-моему, вы непременно должны написать этот рассказ...

Шаги в коридоре. Дверь открывается. Вера Николаевна входит с немного виноватым видом. Она долго отсутствовала.

— Разве долго? А я и не заметил.

У Веры Николаевны сразу меняется выражение лица. Она пожимает мне руку.

— А ветчину не забыла купить? — накидывается на нее Бунин.

Она протянула ему сверток, и он торопливо разворачивает его и шумно одобряет ветчину:

— Отличная! Сочная! Чуть с жирком, как я люблю. Молодец, Вера!

Она улыбается и за его спиной кивает мне заговорщически. Мы обе понимаем. Ветчина хороша оттого, что Бунин пришел в хорошее настроение. А мог бы и пробурчать: «Дрянь. Покупать не умеешь. Зря деньги тратишь. Не стану есть!» Что, впрочем, не помешало бы ему съесть ее всю, до последнего кусочка.

С ветчиной у Бунина сложные отношения и счеты. Еще до войны доктор однажды предписал ему есть ветчину за утренним завтраком. Прислугу Бунины никогда не держали, и Вера Николаевна, чтобы не ходить с раннего утра за ветчиной, решила покупать ее с вечера. Но Бунин просыпался ночью, шел на кухню и съедал ветчину. Так продолжалось с неделю, Вера Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места — то в кастрюле, то в книжном шкафу. Но Бунин постоянно находил ее и съедал. Как-то ей все же удалось спрятать ее так, что он не мог ее найти. Но толку из этого не получилось. Бунин разбудил Веру Николаевну среди ночи: «Вера, где ветчина? Черт знает что такое! Полтора часа ищу»,— и Вера Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из укромного места за рамой картины и безропотно отдала ее Бунину.

А со следующего же утра стала вставать на полчаса раньше, чтобы успеть купить ветчину к пробуждению Бунина.

После завтрака Бунин, как он это часто делает, громко стучит в дверь нашей комнаты и сразу входит, не дожидаясь ответа.

Я встаю из-за черного «погребального стола» и спешу ему навстречу. Он, как всегда, церемонно целует мою руку, не снимая при этом широкополой шляпы, и мелкой старческой, шаркающей походкой направляется к креслу у окна, подбирая полы длинного, верблюжьего халата.

Он тяжело опускается в кресло. Я смотрю на него. В «ярком, беспощадном свете дня» средиземноморского, ослепительного зимнего дня, он кажется очень усталым. И очень старым.

В его по-прежнему зорких, внимательных и холодных глазах появилось несвойственное им выражение терпения и покорности. Синеватые мешки под глазами, горькие морщины по углам тонких, брезгливо сжатых губ, аскетически худые щеки. Нет, никогда он не казался мне таким смертельно усталым и несчастным. И как он бледен. Уж не болен ли он?

Я ставлю перед ним на подоконник пепельницу и осторожно спрашиваю:

— Вы себя хорошо чувствуете сегодня, Иван Алексеевич?

Он возмущенно пожимает плечами.

— Что за дикий вопрос! Я уже забыл, когда я себя хорошо чувствовал. Отвратительно — вот как я, изволите ли видеть, себя чувствую. От-вра-ти-тельно!

Он резко и раздраженно выхватывает пакет табаку из кармана халата и начинает сворачивать папиросу, но вместо того чтобы закурить, кладет ее в пепельницу рядом с коробкой спичек и говорит, глядя прямо в окно:

— Неужели ни одна добрая душа не вспомнит обо мне? Если бы вы еще любили меня, то не могли бы видеть без негодования ту бесславную жизнь, которой я теперь живу.

К кому он обращается? К небу, к пальме в саду или к Альпам на горизонте. Во всяком случае, не ко мне.

Я молча снова усаживаюсь за свой черный стол и жду. Он поворачивает голову и вскидывает на меня глаза.

— Думаете, это я? А это опять же Макиавель. Все он как будто за меня говорит.

Он на минуту задумывается.

— Вот я, читая, оторваться не мог,— продолжает он.— А дочитав, что ж? и хорошо и плохо. «Теза и антитеза», по выражению самого Мережковского. Недостает убедительности в разговорах и размышлениях. И утомительно и растянуто. Следовало бы навести стиль, подчистить и сократить. И, хотя это и замечательно интересно, а все-таки только прикладное искусство — к настоящей, высокой литературе никак не относится. Написать рассказ о жизни обыкновенных людей Мережковский не в состоянии. Ему подавай героев, святых, королей, знаменитостей. За блеском их имен он прячет свое творческое бес-

силие. И правильно делает. Набрел на интересную тему «на историческое» — и прекрасно с ней справился. До него ведь у нас настоящих исторических романов не было. Все эти Загоскины, Салиасы и Соловьевы — чтение для юношества. А у него серьезный подход к событиям. И знаний много.

Впрочем, и тут он иногда увлекается. Например, с Джиокондой. Ведь она одна из немногих загадок истории, вроде «Железной маски». Ведь Джиоконда — миф. Неизвестно даже, чей это портрет — женщины или юноши. А у него и она и ее роман с Леонардо да Винчи протокольно описан и доведен до ее смерти. Да и в остальном много безудержной и безвкусной фантазии.

Вот с ведьмами, с шабашем, тут уж сомневаться не приходится. В ведьмах кто-кто, а уж он, муж Зинаиды Гиппиус, толк знал. Недаром ее Белой Дьяволицей прозвали. Она ведь с ним и с Философовым всякие мистерии, радения и «Тайны трех» разыгрывала, свое собственное кощунственное неохристианство с чертовщинкой изобретала. Меня, Бог миловал, они не соблазняли и не приглашали ни духовно, ни телесно соединиться с ними. Но многих они соблазнили. Гиппиус у них своего рода Хлыстовской Богородицей была. Впрочем, что они там проделывали, я толком не знаю. Не интересовался. Я душевно брезглив.

Он наконец закуривает и говорит, следя за дымом папиросы:

— Терпеть не могу Мережковского и его писаний, а тут даже симпатию к нему почувствовал. И засомневался — прав ли я? Не слишком ли строго сужу его? Все-таки «Леонардо да Винчи», да и вся трилогия замечательна. Этого одного достаточно, чтобы прославить писателя.

А все, что он тут в эмиграции настрочил, следовало бы для его посмертной славы попросту уничтожить.

Тут уж я не могу не протестовать:

— Ну нет. Вряд ли Мережковского радовала бы такая посмертная слава. Ведь он считал, что перерос себя, из писателя превратился в пророка. Его все последние годы интересовало только «Царство духа», и он стремился достичь его, воплотить его в своих писаниях. Исторические романы казались ему чем-то мелким, ненужным по сравнению с грандиозной задачей, которую он задал себе.

Бунин пожимает плечами.

— Что ж из этого? Писатели редко судят правильно о себе. Вздор, что «ты сам свой высший суд». Со стороны судят гораздо правильней.

— А вы ведь уверены, что правильно судите о себе? Не так ли, Иван Алексеевич? — задаю я коварный вопрос.

Он надменно щурится.

— Представьте себе, сударыня, совершенно уверен и убежден, что не ошибаюсь. Поэтому-то я, что бы вы там со слов вашего Гумилева не говорили, и ценю так свои стихи. Больше всего. И «Темные аллеи». Я, не в пример Мережковскому, написал в

старости лучшее в своей жизни, а он чем дальше, тем все хуже писал — стиль у него стал совсем невозможный.

— Но ведь он не придавал никакого значения стилю,— протестую я снова,— он хотел только высказать свои мысли, безразлично как. Для него было важно не как, а что он хотел, чтобы читатели его поняли. Он спешил, не отделывая фраз и...

— Напрасно так спешно и так много писал,— насмешливо перебивает меня Бунин.— Поспешность нужна только при ловле блох. И такое трудолюбие, ежедневно покрывать страницы за страницами, тоже совсем ни к чему. Дает печальные результаты.

— Но ведь вы же не считаете Мережковского графоманом?

— Что за вздор! Я считаю его большим писателем, под старость лет сбившимся с пути и вообразившим себя — не без помощи той же Зинаиды Николаевны — Мудрецом и Проповедником с большой буквы. У него много ценного было и кроме трилогии. Хотя бы его замечательный «Гоголь и черт». Да и «Вечные спутники». Только вот его «Толстой и Достоевский» совсем плох. Никуда не годится. Ни в одном, ни в другом он ровно ничего не понял. Достоевским он был ушиблен раз навсегда, превозносил его, молился ему, а ведь Достоевский...

Но мнение Бунина о Достоевском, его презрение и ненависть к нему мне уж слишком хорошо известны. Мне не хочется в который раз слышать, как он издевается над ним, и я, чтобы переменить тему, спрашиваю:

— А помните, Иван Алексеевич, ваше посещение Мережковских после возвращения из Стокгольма?

Переход от Достоевского, на которого Бунин уже готов громоподобно обрушить свою ненависть и презрение, к событиям двадцатитрехлетней давности так неожидан, что заставляет его недоуменно сдвинуть брови.

— О чем вы это? После Стокгольма? Постойте, постойте,— и вдруг, оживившись:— Не о моем ли последнем визите на рю Колонель Боннэ? Когда Зинаида Николаевна, как оса, старалась меня побольней и полюбезней ужалить, а художник Х. вошел и, не заметив меня, воздел руки к потолку и гаркнул на всю столовую:

— Дожили! Позор! Позор! Нобелевскую премию Бунину дали!

Он высоко поднимает руки и сразу весь преображается. И вот уже передо мной не Бунин, а художник Х., с расширенными от ужаса глазами уставившийся на меня. Мгновение — и он, не меняя выражения лица, срывающимся истерически-восторженным голосом взвизгивает:

— Иван Алексеевич! Дорогой! Поздравляю, от всего сердца поздравляю! Счастлив за вас, за всех нас! За Россию! Простите, не успел лично прийти засвидетельствовать...

Сходство так изумительно и сцена так неподражаемо великолепно разыграна, вернее — восстановлена, что я смеюсь. Смеюсь до слез.

А он, полюбовавшись впечатлением, произведенным на меня его актерским талантом (он втайне гордится им, несмотря на свою враждебность к театру и отрицание его), уже снова хмурится.

И уже совсем не похож на художника X.

Март 1948 года.

Все тот же дом в Жуан-ле-Пэн.

Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты. В окне «дальний закат, как персидская шаль». На фоне его четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали.

Он говорит:

— Я почти с самого детства, как только стал сознательно читать и понимать, очень много думал о героях и героинях романов. О героинях больше, чем о героях, и это меня удивляло. Женщины были мне как-то ближе, понятнее, их образы для меня полнее воплощались. Они как будто жили перед моими глазами, и я не только сочувствовал их горестям и радостям, но и соучаствовал в их жизни. Я влюблялся в героинь романов. Они снились мне. Даже днем иногда я чувствовал их присутствие. Сижу, бывало, за столом у себя и зубрю немецкие вокабулы — когда меня взяли из гимназии, со мной брат Юлий занимался и очень налегал на иностранные языки — и вдруг чувствую, что кто-то стоит за моей спиной, наклоняется надо мной, кладет мне руку на плечо, и легкая душистая прядь волос касается моей щеки. Я оглядывался — никого. Комната пуста и дверь плотно закрыта — меня охватывает такая тоска. Такое одиночество. Хоть о стенку головой.

Он вздыхает и, помолчав, продолжает:

— Да, все эти женщины и девушки из романов, в которых я поочередно был фантастически влюблен, играли большую роль в моем тогдашнем диком одиночестве. Я жалел, что мне никогда не придется встретиться с ними. Как я жалел, да еще и сейчас жалею, что никогда не встречался с Анночкой.

— С Анночкой? — удивленно переспрашиваю я.— С какой Анночкой?

— С Анной Карениной, конечно. Для меня не существует более пленительного женского образа. Я никогда не мог и теперь еще не могу без волнения вспоминать о ней. И о моей влюбленности в нее.

— А Наташа Ростова? Для меня Наташа...

Но он не дает мне договорить.

— Ну уж нет, простите. Никакого сравнения между ними быть не может. В начале Наташа, конечно, прелестна и обаятельна. Но ведь вся эта прелесть, все это обаяние превращается в родильную машину. В конце Наташа просто отвратительна. Неряшливая, простоволосая, в капоте с засранной пеленкой в руках. И вечно или беременная или кормящая грудью очередного ново-

рожденного. Мне беременность и все, что с нею связано, всегда внушали отвращение. Не понимаю, как можно восхищаться женщиной, которая «ступает непроворно, неся сосуд нерукотворный, в который небо снизошло» — как пышно выразился Брюсов. Страсть Толстого к детопроизводству — ведь у него самого было семнадцать детей,— я никак, несмотря на все мое преклонение перед ним, понять не могу. Во мне она вызывает только брезгливость. Как, впрочем, я уверен, в большинстве мужчин. А вот женщины, те действительно часто одержимы ею.

Была у моих родителей кухарка, отличная стряпуха. Таких пирогов, как она пекла, я никогда нигде не ел. И нрава прекрасного — работает не покладая рук, веселая, зубы скалит и песнями заливается с утра до ночи. Только иногда на нее тоска находила. Сидит, бывало, под окошком, пригорюнившись, и жалобно вздыхает: «Родонуть бы мне!» Протомится так с месяц, все хозяйство запустит. И лишь как снова забеременеет, снова развеселится, поет, пироги печет. А как родит дите, свезет его в «шпитательный» — незамужняя была. Через год, много два — затомится, затоскует и опять: «Родонуть бы мне!» — стонет.

Он с такой чисто бабьей исступленной страстностью произносит это «родонуть бы мне», что я смеюсь, безудержно раскатисто смеюсь.

— Родонуть бы мне,— повторяю я сквозь смех.

— Прошла охота хохотать? — спрашивает он, неодобрительно глядя на меня,— а веселиться абсолютно нечего. Не только мне, да и вам, насколько мне известно. Ведь и ваши дела-то не ахти как хороши. А мои просто хуже не бывает.

И он начинает жаловаться.

— Разве это жалкое прозябанье на земле можно назвать жизнью? А? Как по-вашему?

Я обрываю смех и растерянно молчу. Да и что я могу ему сказать? Ведь я уже столько раз слышала все эти жалобы.

Он поворачивается к окну и смотрит на великолепный, триумфальный феерический закат. Смотрит долго, не отрываясь. И вдруг говорит задумчиво, как бы про себя:

— Какая красота! Господи, какая красота.

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное закатным светом.

— Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру.

Я смотрю на его освещенное закатом лицо. И мне кажется, что оно окружено сияньем, как лики святых на иконах.

Пауза, и он продолжает, уже без вдохновения, без полета, тихим матовым голосом:

— Зато как тяжело потом, когда снова придешь в себя и посмотришь с холодным вниманьем вокруг... Но нет, вы ошиблись, Михаил Юрьевич, жизнь не пустая и глупая штука, а дьявольская ловушка, издевательство. А все-таки... ведь не всегда смотришь с холодным вниманьем... И за эти минуты все можно простить.

Вести беседу с Буниным и легко и трудно. Трудно потому, что ему скоро надоедает обычное общепринятое перебрасывание пустых фраз о здоровье, текущих домашних делах и прочем, и он не стесняясь начинает зевать, проявляя зевотой скуку. Легко потому, что, предложив ему интересную тему, можно спокойно слушать, как он ее развивает, зная, что он всегда говорит с удовольствием, увлекаясь собственными мыслями и уменьем их высказывать просто и ясно.

Я говорю:

— У вас много описаний природы. Для вас природа...

— Да,— перебивает он меня, не дослушав.— Вам кажется, что я слишком много пишу о природе, знаю, знаю,— напрасно. Я скорее слишком мало, а не слишком много пишу о природе. Для меня природа так же важна, как человек. Если не важнее. И всегда так было. Вот я недавно перечитал свои юношеские записки. Ведь я писал их только для себя. Мне и в голову не приходило их показывать кому-нибудь, даже брату Юлию. А сколько описаний ветра, облаков, травы, леса, столько в них встреч с природой! Я писал о природе гораздо больше, чем о людях, с которыми сталкивался. Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром.

Я мучился, не умея этого высказать словами. Я выходил утром страстно взволнованный и шел в лес, как идут на любовное свидание. Как остро я любил жизнь и все живое. До страсти. Пастернак назвал свой сборник стихов «Сестра моя жизнь». Но для меня жизнь была не только сестра, а сестра и мать и любовница и жена — вечная женственность.

Мне хочется спросить: «Вечная женственность» — разве природы? Ведь у Соловьева она «София Мудрость».

Но я не спрашиваю. Я боюсь прервать его. Я слушаю.

— Писатели, не чувствующие природу, скверные, никчемные писатели. Глухие слепые кроты. Сколько раз я повторяю это, а в вашу голову вбить не могу. Ваш Достоевский — вот кого бы надо было, как когда-то футуристы намеривались Пушкина — «сбросить с корабля современности». Сбросить с палубы в океан, чтобы его акулы сожрали. Вы ведь никогда не видели акул? Как они за пароходом стаей плывут в ожидании добычи и головы на аршин из воды высовывают. У них пасть низко помещена. Значительное зрелище, вроде балета. Я их в Тихом океане наблюдал. Вот бы им вашего Достоевского со всеми его без-

дарными романами бросить. Он-то уже о природе никогда не писал. У него всегда дождь, слякоть, туман и на лестницах воняет кошками. У него ведь нет описаний природы — от бездарности.

— Ну, а Чехова? — прерываю я его, чтобы в который раз не слышать, как он поносит «своего врага Достоевского».

Он разводит руками.

— Это уже особь статья. Победителя не судят. Чехов умеет — он один — показать в капле воды океан, в песчинке пустыню Сахару, в одной фразе целый пейзаж дать. Но ведь и он был постоянно занят природой, носил с собой книжечку, в которой записывал наблюдения над ней. И так чудесно у него ночью клочья тумана, как призраки, гуляют. А вот о дворянах он напрасно брался писать. Не знал он ни дворян, ни дворянского быта. Никаких вишневых садов в России не существовало. И пьесы его все чепуха, чушь, как бы их ни раздували. Никакой он не драматург.

Я не выдерживаю:

— А весь мир восхищается именно его пьесами. Вот когда в Биаррице был американский университет, я в нем слушала лекции и была знакома с большинством профессоров. Один из них мне как-то сказал, что считает лучшими драматическими произведениями всего мира и всех времен «Бурю» Шекспира и «Вишневый сад» Чехова. И, видя, что я с ним не согласна, воскликнул: «Как? Вы не считаете «Бурю» величайшим произведением?» То, что я могу не считать «Вишневый сад» величайшим произведением, он даже и допустить не мог.

Бунин пожимает плечами.

— Ну и что из этого? Что это доказывает? Что ваш американский профессор болван и баран, как большинство профессоров — американских и других. Напрасно трудились мне это сообщить — я и без вас знаю и знал.

И неожиданно спрашивает:

— А Теннисона вы, конечно, не любите?

Я киваю:

— Не люблю. Но когда-то в детстве любила и даже очень.

— В моем переводе читали?

— Нет. В подлиннике. Тогда нравилось, а теперь нет.

Он хмурится и вдруг делает нелестный для меня вывод:

— Это доказывает — изволите ли видеть,— что в детстве вы были умнее и больше понимали в поэзии, чем теперь. Только и всего.

Он встает и отвешивает мне насмешливый поклон.

— Честь имею кланяться. Вера Николаевна, должно быть, давно вернулась,— и уже в дверях: — Скажите поклон Болгарину. Пойду прилягу — наговорился до упаду.

В «Русском доме» я успела насколько возможно изучить сложный, сотканный из противоречий характер Бунина. Пускаясь на «военные хитрости», я умела почти всегда удержать его у себя, когда мне этого хотелось. Научилась я также вести с ним беседы,

развлекающие его. Интересующие Бунина «спасительные темы» — за них я хватаюсь, когда мне хочется его развлечь: его детство и юность. Путешествия. О любви. О природе. О его семье.

О его семье у меня смутное представление, основанное на отрывочных сведениях. Только в 1958 году, прочитав книгу Веры Николаевны Буниной, я составила себе более или менее верное понятие о семье Бунина. Странная это была семья. Даже очень странная. Впрочем, по рассказам Бунина я уже поняла, что семья была не без странностей, но очаровательной. Особенно отец, казавшийся Ивану Алексеевичу воплощением барства.

— Вот,— не раз говорил он,— все думают, что «Жизнь Арсеньева» моя автобиография. Какой вздор! Я все и всех — и себя в том числе, изменил почти до неузнаваемости. Только мой отец, пожалуй, не подвергся ломке и переделке и остался в романе таким, каким был в жизни. А был он удивительный. Совсем по-особому талантливый, физически талантливый. И здоровый. Умственно, духовно здоровый. Уравновешенный, веселый. Отчаянно легкомысленный. Добрый. У него было совсем особенное романтическое «певучее» сердце.

Этот отец, которым так восхищался Бунин, не только пустил своих детей по миру, прожил состояние жены, не дал младшим детям — ни Ивану Алексеевичу, ни сестре его Маше — никакого образования, но был алкоголиком, допившимся до белой горячки и стрелявшим в свою несчастную жену, от страха забравшуюся на дерево и спасшуюся только тем, что упала с дерева раньше, чем он успел в нее выстрелить.

О нем Иван Алексеевич всегда говорил с любовью и почти с восторгом, восхищался его талантливым, легким, веселым нравом. И ни разу при мне не осудил его. Отца он идеализировал и не мог говорить о нем без волнения.

— Ах, какой это был чудесный, талантливый человек! — часто повторял он.

Мать свою он обожал. Мать его действительно была своего рода святой. Мученицей. Но как мог он ни в чем не упрекнуть отца и даже с юмором описывать сцену — мать карабкается ловко, как белка, на дерево, а отец вроде охотника стреляет в нее.

Брата его Евгения, «крепостника в душе», крестьяне ненавидели и чуть не убили в 1905 году. Бунин с большим вкусом описывал спасение Жени собаками:

— Если бы умные псы не налетели на мужика и не стали бы срывать с него портки,— ведь мужик уже за нож схватился и хотел всадить Жене нож в брюхо. А тут пустился наутек, и псы за ним. Он еле от них отбился. Вся деревня гоготала — бежит, разорванные штаны как флаг развеваются, и псы, скаля зубы и ворча, скачут за ним.

Об отце Бунин говорил:

— Редко можно себе представить более очаровательного человека. Барин, дворянин, аристократ с головы до ног, до конца ногтей на ногах. И какой талантливый, просто физически талант-

ливый. Как он на гитаре играл и пел! Как о Севастополе рассказывал! Прелесть!

Даже о легкомыслии отца он отзывался с похвалой. Даже оно казалось ему достоинством, а не недостатком. И никогда ни одного упрека.

— Я, признаюсь, унаследовал от отца,— говорил он,— легкомыслие. Но к нему, к сожалению, примешалась меланхолия и грусть моей матери, отчего у меня такой сложный, трудный характер. Отец был солнечный, ясный, веселый, не то что я.

«Слава Богу, что вы не пошли в него,— хочется мне сказать.— Жалеть об этом нечего». Но конечно, я этого не говорю.

О своей сестре Маше он тоже охотно рассказывал и отвечал на мои вопросы о ней.

— Она была миловидной, мечтательной, нежной, грациозной девушкой. Нет, не красавицей, но очень привлекательной, стройной, с лучистыми глазами. Шестнадцать лет, а кругом никого, кто бы мог влюбиться в нее, в кого она могла бы влюбиться. Ведь это драма. Она часами расчесывала волосы перед зеркалом и смотрелась в него. Повязывала голову пестрым шарфом, надевала кружевные блузки, сквозь которые просвечивала ее молодая, высокая грудь. Она улыбалась мне, строила мне глазки и наивно кокетничала со мной, больше решительно ведь не с кем было. Я хвалил ее прически и бархатку на шее, это радовало ее. Она приходила в восторг, когда я приглашал ее пойти гулять со мной или просил ее спеть под гитару старинный романс. И так мило краснела от моих похвал и комплиментов! Мои стихи она выучивала наизусть, но кроме них ничего не читала. Меня она считала вторым Пушкиным — ничуть не хуже Пушкина. Впрочем, о существовании других поэтов у нее были самые смутные понятия. Я хотел познакомить ее с Лермонтовым и Тютчевым, но вскоре убедился, что это бесполезно. Кроме меня и Пушкина для нее не существовало поэта. Я для нее был не только поэтом, но чем-то вроде божества. Как это ни удивительно, но она, несмотря на свою необразованность, была прелестной романтической русской девушкой. Не только чувствовала мои стихи, но и совсем не глупо о них судила. У нее был врожденный вкус. До своего брака. Ведь она вышла замуж за простого стрелочника — какой позорный брак,— конечно. Потом на нее было грустно смотреть,— хотя ее муж казался очень порядочным, честным человеком,— так она изменилась! А я, когда ей было шестнадцать лет, был даже слегка влюблен — как Гете, как Шатобриан, как Байрон,— в свою сестру, следуя романтической традиции, о которой я, впрочем, тогда еще и не слыхал.

Это было смутное неожиданное влечение. Возможно, если бы я не прочел биографий Гете и Шатобриана, мне бы и сейчас в голову не пришло, что моя любовь к Маше напоминала влюбленность. А прочитав, я даже стал гордиться общей чертой с великими писателями. И уже почти поверил, что и я «питал к сестре противоестественные чувства». Хотя на самом деле чувства мои

были совершенно естественны — всего только окрашенная романтизмом братская нежность, похожая на влюбленность.

Еще один из моих разговоров с Буниным в ту же зиму в Жуан-ле-Пэн.

— А вы, Иван Алексеевич, рано начали писать стихи? — спрашиваю я. Ведь Бунин считает себя прежде всего поэтом, и мой неожиданный необоснованный интерес к его стихам ему наверное будет приятен.

Я не ошибаюсь. Вопрос мой ему явно доставляет удовольствие. Он кивает.

— Очень. Даже слишком рано. С самого младенчества. Как только научился читать и писать. Чуть ли не первыми моими книгами были валявшиеся у нас на чердаке «Одиссея» и толстый том «Английские поэты». Я как-то сразу стал писать и прозой и стихами. Сочинять стихи — правда, очень плохо — стало для меня привычным делом. Печататься начал в шестнадцать лет. В «Родине». Стихотворение, которое я туда послал, выбрал мой брат Юлий. Мне оно нравилось меньше других. О деревенском нищем. Но Юлий был революционер. «Сейте разумное, доброе, вечное», чтобы русский народ мог сказать вам, то есть мне, «спасибо сердечное». Иначе поэзия ни к чему. У меня уже тогда были совсем другие взгляды, и народного спасибо я не искал, но я послушался его. И хорошо сделал. Стихи мои действительно появились. Правда, с задержкой. Сколько я мучился, ожидая их появления. У меня дрожали руки, когда я разворачивал новый номер «Родины». Опять ничего. Прошло несколько месяцев, я уже отчаялся — не приняли. Надеяться больше не на что. И вдруг в мае они появились. Когда я впервые увидел свое имя «Ив. Бунин» напечатанным, я почувствовал спазм в сердце и головокружение до тошноты. Зато потом я был невероятно счастлив и горд. Это был один из счастливейших дней моей молодости. С того дня и в моей семье никто не сомневался, что я поэт. А сам я уже был уверен, что добьюсь всероссийской славы.

— И не ошиблись,— говорю я.— Не только всероссийской, но и всемирной славы.

Он смотрит на меня прищурившись.

— «Польсти, польсти!» Хоть я и знаю, что вы неискренни, а все-таки приятно. Люблю лесть. Даже самую грубую, неприкрытую, вот как ваша. Но тонкая лесть, конечно, еще приятнее. В лавке Суханова спрашиваю приказчика как-то, хороши ли вновь полученные консервы из налимьей печенки, а он отвечает почтительно:

— Кто их знает, Иван Алексеевич. Не пробывал-с. «Темные аллеи». А вот чайную колбасу могу рекомендовать. Прелесть. «Митина любовь», да и только-с!

Вот как польстить сумел. А вы? Так я вам и поверил, что вы интересуетесь моими стихами.

Мне становится неловко. Ведь он прав, я совсем не интересуюсь его стихами. Мне просто хочется доставить ему удоволь-

ствие — у него сегодня опять такой несчастный вид. «У него несчастный вид». А не «он выглядит несчастным». Боже упаси сказать при Бунине «выглядит». Я даже, думая о нем, заменяю привычное ненавистное ему «выглядит несчастным» не нравящимся мне «у него несчастный вид».

Я спрашиваю:

— После первого триумфа вы, наверно, много печатались в «Родине»?

Он качает головой:

— Представьте себе, нет. После моего первого ошеломившего меня появления в печати я больше туда стихов не посылал, хотя и писал их с утра до вечера и с вечера до утра. Как князь Курбский — прочтет, улыбнется и снова прочтет. И снова без отдыха пишет. Просто не мог не писать.

Только через год я решился послать стихи, но уже не в «Родину», а в «Книжки недели», казавшиеся мне не хуже «Вестника Европы». И три мои стихотворения сразу появились в них. Впрочем, это уже не потрясло меня до боли. Такого пронзительного душераздирающего восторга я уже не испытал. Я был рад и горд, но принял это почти как должное. И скоро послал в «Книжки» еще стихи — уже без с ума сводящего волнения. А в «Родине» тогда же появились мои первые рассказы. Очень, правда, слабые. Я понял, что стихами не прокормишься, проза прибыльнее. Стихи — слава. Проза — деньги. Деньги мне были до зареза необходимы. Мы впадали все в большую бедность. Я ведь был настоящим дворянским недорослем, ничего делать не умел, ни на какую службу поступить не мог. Не в писцы же было идти. Вместо писца я стал писателем.

Он умолкает на минуту и вдруг будто с недоумением обращается ко мне.

— Но как, скажите мне, родители мои могли не думать о моем будущем? До чего они — особенно мой отец — были легкомысленны. Ведь если бы я не вытащил счастливый билет, меня попросту в солдаты забрили. Это меня-то, белоручку, барчука. Хорош бы я был. Представляете себе? Вот я все жалуюсь на свою несчастную молодость — а ведь мне иногда дьявольски везло,— не вытяни я тогда счастливого билета, забрили бы мне лоб —и никакого писателя Бунина, академика и «при Нобель» — не было бы. Я бы не вынес казармы и муштровки. Ведь я здоровьем совсем не отличался. Легко простуживался, часто хворал. Нет, мне в жизни иногда безумно везло. Вот и академиком в тридцать лет стал. Как мне вся писательская братия завидовала, как злилась. Особенно Куприн. В голос выл от обиды. Раз, когда мы с ним в ресторане сильно выпили, он весь затрясся, побледнел и вдруг свистящим шепотом сказал: «Уйди от меня. Ненавижу тебя. Уйди, а то задушу!» Встал из-за стола, коренастый, руки длинные, и смотрит на меня с чисто звериной ненавистью. Не человек — медведь разъяренный. Действительно может задушить. Я подозвал лакея, расплатился и, не прощаясь с ним, молча вышел.

Потом мы с ним при встречах отворачивались друг от друга. А через год приблизительно опять сошлись. Он забыл. И все пошло по-старому.

— Неужели он действительно мог вас задушить, Иван Алексеевич?

— А еще бы! Он настоящий зверь, особенно во хмелю. Через несколько лет он первой жене своей, рассердившись на нее, облил одеколоном платье и поджег. Еле затушили. Но я его все-таки любил. И он меня. Только простить мне не мог моего превосходства над ним. И что я академик. Злился даже, что я ему «покровительствовал» и помогал. Но, в общем, мы с ним до конца, до того как его «шкуру дохлого медведя» его вторая жена продавать в Москву повезла, мы с ним дружили. Виделись. Он бывал у меня, правда, редко. Ругался он виртуозно. Как-то пришел он ко мне. Ну, конечно, закусили, выпили. Вы же знаете, какая Вера Николаевна гостеприимная. Он за третьей рюмкой спрашивает: «Дамы-то у тебя приучены?» К ругательству, подразумевается. Отвечаю: «Приучены. Валяй!» Ну и пошел и пошел он валять. Соловьем заливается. Гениально ругался. Бесподобно. Талант и тут проявлялся. Самородок. Я ему даже позавидовал.

Воспоминания Бунина несравненно злее и ядовитее его рассказов. В его рассказах о тех же лицах, несмотря на сарказм и карикатуру, часто проскальзывала добродушная усмешка, симпатия, даже жалость к тем, над кем он издевался, показывая их в кривом, но волшебном зеркале.

О зависти Куприна и о его, пусть только временной ненависти к Бунину, я до этого рассказа Бунина никогда не слышала ни от него, ни от других. Рассказ о том, что Куприн облил свою жену одеколоном и поджег, я слышала и от Петра Пильского — еще в Риге в 1933 году.

В своих воспоминаниях Бунин говорит о Куприне чрезвычайно дружелюбно, как редко о ком, как почти ни о ком. Я сомневалась — надо ли этот его рассказ приводить, но решилась все же привести, он не лишен интереса для будущих литературоведов.

В воспоминаниях же нет ни волшебства, ни жалости. Они как будто написаны старческой желчью. Он читал, я помню, отрывки из них на своем вечере в Русской консерватории в 1947 году.

Мы с Георгием Ивановым, как и все присутствовавшие писатели, сидели на эстраде — в зале все места были заняты. Зал был переполнен. Но после антракта он оказался наполовину пустым. Слушатели, не в силах перенести издевательства над любимыми писателями и шутовского передразнивания их, стали уходить, не дожидаясь конца чтения. В тот вечер Бунин был особенно в ударе, в злом ударе. И наносил беспощадные удары всем, о ком читал, изображая их в лицах. Играл и даже переигрывал, исходя желчью и злобой.

— Как он отвратительно кривляется! Неужели ему не стыдно всех поливать грязью? — слышалось в публике.— Неужели же он ни о ком доброго слова не скажет? Какой он злющий.

Хорошо и тепло он говорил об одном только Рахманинове. И Татьяна Сергеевна Коньюе, дочь Рахманинова, сидевшая в первом ряду, горячо аплодировала ему, не в пример остальным слушателям, еле сдерживавшим негодование.

Меня, тогда же, его воспоминания очень огорчили. Они и теперь огорчают меня. Не оттого, что он несправедлив к тем, кого он так зло высмеивает, а главным образом оттого, что он этими воспоминаниями причинил зло не им, а себе, создав ложное представление о себе, изобразив себя — автора этих воспоминаний — желчным, мелочным, злопамятным и чванным. Он в своих воспоминаниях как бы создал не только их, но и свою карикатуру.

Ведь на самом деле он был совсем не такой. Он был добр, благороден и великодушен и, казалось бы, не мог быть автором таких воспоминаний.

Но обиды, болезнь, бедность и горе плохие советники. «Человек начинается с горя» — строчка поэта Эйснера, ставшего известным именно благодаря этой, часто повторяемой в эмиграции строке.

«Человек начинается с горя». Нет, далеко не всегда. Горе чаще унижает человека, уничтожает в нем все лучшее. И — это уже мое личное наблюдение — чем замечательнее, чем талантливее человек, тем легче он поддается горю, унижающему, уничтожающему его.

Средние люди возможно и «начинаются с горя». Но больших людей горе часто приканчивает, добивает.

А сколько горя Бунин видел в последние годы своей жизни!..

— А детей, хотя у меня и нет «родительской страсти», я все-таки очень люблю,— задумчиво говорит он.— Да, я очень люблю детей. Милых, добрых, умных, как почти все дети. Ведь злые, капризные, глупые дети исключение. Они почти всегда карикатуры своих родителей. В моей семье, хоть нас никак не воспитывали и мы были на редкость свободны, все дети, каждый по-своему, были милы, добры и умны. Должно быть оттого, что у нас были по-настоящему хорошие родители.

Он умолкает на минуту. Сейчас он, по всей вероятности, «погрузится» в детство и расскажет мне какой-нибудь эпизод из жизни своих родителей. О своем очаровательном «непутевом» беспечном отце и о своей матери. Мать свою он боготворит и не может без волнения вспоминать о ней.

Когда-то Гумилев говорил:

— У большого писателя детство обязательно или очень счастливое, или очень несчастное. Никогда не серенькое, среднее, обыкновенное. Никогда не то, что называют «золотым детством».

Ведь такое детство только скучная подготовка к дальнейшей скуке и безобразию существования среднего человека.

Я, как и полагалось мне, его ученице, приняла безоговорочно это утверждение.

Но Бунин заставил меня засомневаться в правильности его. Нет, очень счастливым его детство по всему, что я слышала от него и от Веры Николаевны, я назвать не могу. Но и очень несчастным тоже. Конечно, оно не обыкновенное, не среднее, не серенькое,— в нем столько, с самых первых лет, огромных огорчений и радостей. Скорее сказочное, чем золотое детство. И это все усиливающееся трагическое предчувствие разорения, гибели и катастрофы над его семьей.

Каждый раз, когда Бунин рассказывает о мальчике Ване, каким он когда-то был, я узнаю что-нибудь совершенно новое о нем, о чем я еще не догадывалась, и это помогает мне лучше понять слова и поступки старого Бунина.

Но я ошиблась, ожидая рассказа о его детстве. Он явно совсем не расположен возвращаться сейчас к истокам своей жизни. Он говорит:

— Как это ни странно, мне очень редко приходилось по-настоящему сталкиваться, сближаться с детьми. Их как-то всегда было мало вокруг меня, в моей жизни и в том, что я писал. Детская психология меня особенно не интересовала. А детей, когда мне приходится с ними встретиться по-настоящему, когда они входят в мою жизнь, как вот Олечка,— очень люблю,— я ее как собственную дочку люблю, вы ведь знаете. Но вот своих племянников, детей моей сестры Маши — к ним я был совсем равнодушен. И ничего, кроме жалости, какой-то брезгливой жалости, я не испытывал к ним. Были они заморенные, простонародные, совсем не господские дети, и я удивлялся, глядя на них, что в них текла бунинская голубая кровь. Но ведь отец их, муж Маши, был простым стрелочником. Жили они на станции в доме, похожем на лачугу, и мамочка с ними. Я, впрочем, редко у них бывал.

О том, что сестра Ивана Алексеевича вышла замуж за простого стрелочника, я слышала уже и от него и от Веры Николаевны. И это меня очень удивляло. Ведь она не была толстовкой. Она не влюбилась в стрелочника до умопомешательства, а решилась на такой неравный брак оттого, что у нее, по-видимому, других женихов не предвиделось, из-за полного оскудения и обнищания их дворянского гнезда. А была Маша, по словам Ивана Алексеевича, красивая, статная, привлекательная, как и все Бунины.

Меня удивило, но об этом я, конечно, не говорила ему, и то, что Иван Алексеевич, когда стал известным писателем и хорошо зарабатывал, не позаботился о своей сестре Маше и, главное, о своей матери, жившей в семье Маши, ведшей — с каким трудом — ее грошовое хозяйство и воспитывавшей ее детей.

Он ограничивался только тем, что иногда появлялся — спускался с Олимпа — в их жалкую лачугу, ослепляя и восхи-

щая всю узловую станцию своим блеском и щедростью, широко одаривая племянников, Машу, деверя и свою мать, на несколько дней превращая их жалкое существование в сплошной праздник.

— А вот у Бибиковых, у Панченко, у Варвары Владимировны была замечательно славная дочка Милица — Милка, Милочка,— продолжает он.— Талантливая, чудная девочка. Очень музыкальная. Я на нее смотрел и любовался ею. Она мне напоминала свою мать в молодости. Она могла быть моей дочерью. Но только тогда она была бы, конечно, еще талантливее и прелестнее.

— Дочь вашей Лики? — спрашиваю я.

Он кивает и разводит руками.

— Ну, все-таки не дочь Лики — а дочь Вари Панченко. Она ведь, бросив меня, вышла замуж за Бибикова. Он был самостоятельный, да и во всех отношениях больше годился ей в мужья.

— А с ее дочкой, с Милкой, что стало? — спрашиваю я снова.

Он хмурится.

— Она простудилась. Потом оказалось, что у нее чахотка. Ее послали в санаторию в Швейцарии. Когда война началась, отец приехал за ней. Трудно было тогда путешествовать. Она умерла по дороге домой.— Он вздыхает.— И как я по ней тосковал. Никому, даже Вере Николаевне не сознавался, а по ночам плакал. Будто действительно свою дочку потерял. Пока она была жива, я даже ее особенно не любил. А как умерла, снова все горе с Варей Панченко пережил. Хотя она сама — госпожа Варвара Бибикова — мне совсем разонравилась, и я стал к ней абсолютно равнодушен. Я даже не понимал, как я мог по ней когда-то сходить с ума. А вот смерть Милочки все опять воскресила. Еще и сейчас больно вспоминать.

Он отворачивается к окну и смотрит вдаль, откинув голову на высокую спинку кресла. Я молчу. Я понимаю, что ему очень грустно, очень тяжело.

С какой невероятной силой он переживает прошлое! Будто для него прошлого нет. Будто для него все, что было когда-то, длится, происходит здесь, сегодня, сейчас.

Господи, зачем он вспоминает? Разве ему мало тяжести и грусти этих безрадостных старческих дней?

Мне самой всегда казалось — да и теперь кажется,— что

Тихий вечер жизни — старость
Несет с собою лампу Аладдина,
Рассеивая скуку жалких будней
И ужас неизбежной смерти,
Все превращая в очарованье и торжество.

Но старость Бунина... Нет, она ничего не превращает ни в очарование, ни в торжество. Трудно себе представить более безотрадную старость.

Но мне и в голову не приходит поделиться с ним моим взглядом на старость.

Я прекрасно знаю, что он, как уже не раз делал, презрительно пожмет плечами и процедит сквозь зубы:

— А вы проживите с мое, сударыня, тогда и рассуждайте.— И уже раздражаясь:— Смешно и глупо! Выдумали тоже! Оригинальничать хотите и несете всякий вздор. Старость — отвратительна и позорна. Гнусна!

Нет, мне никак не удастся убедить его, что старость, если только человек здоров, не отвратительна, а прекрасна.

— Да,— говорит он,— дети в моей жизни не играли большой роли. Их было немного. Теперь вот Олечка Жирова. К ней у меня совсем особые чувства — уже не отцовские, а дедовские. Какая прелесть эта Олечка! Никто мне ее заменить не может. Я по ней скучаю, чудная девочка.

Я соглашаюсь:

— Действительно чудесная девочка. Но насчет дедовских чувств, нет, простите, Иван Алексеевич, у вас к ней, по-моему, скорее братские чувства. Когда я увидела, как вы с ней вокруг стола прыгали, я просто глазам своим не поверила. Не дедушка с внучкой, а двое ребят взапуски прыгают.

Да, я помню, я как-то случайно зашла к Буниным. Дверь мне открыла Вера Николаевна.

— Ян с Олечкой в столовой свой новый танец отплясывает, пойдемте полюбуемся на них,— весело предложила она.

И я действительно «полюбовалась», от удивления остановившись на пороге столовой. Надменный гордый Нобелевский лауреат, казалось, превратился в семилетнего мальчика и самозабвенно, восторженно скакал и прыгал вокруг стола с прехорошенькой маленькой девочкой. Увлеченный танцем, он даже не повернулся, чтобы узнать, кто пришел. Должно быть, он даже не слышал звонка. Но Олечка уже бежала ко мне и вежливо, как полагается благовоспитанной девочке, поздоровалась со мной.

— Мы с Ваней танцуем новый танец,— деловито объяснила она.— Он его только сегодня выдумал. Он уже много танцев выдумал,— и она поощрительно, как старшая младшему, улыбнулась ему.— Он у меня умный, Ваня.

И Бунин весь засиял лучистыми морщинами ответной улыбки.

В тот день мне было дано впервые увидеть совсем другого, нового Бунина. Я и не предполагала, что в нем столько детского и такой огромный запас нежности.

С Олечкой он не только играл, исполнял все ее капризы и слушался ее. Рассердившись на него, она ставила его носом в угол, и он покорно простаивал в углу, пока она его не простит. Он писал ей шуточные стихи. Она была строгим критиком и не всегда хвалила их. Однажды она даже обиделась и возмутилась на описание угощения «Из кондитерской Бока» у одних знакомых — стихи эти были напечатаны в «Новом журнале». Олечка

нашла их гадкими, поставила Бунина в угол и прочла ему нотацию.

Но чаще они проводили время в безмятежной дружбе, играли во всевозможные игры, танцевали и рассказывали друг другу сказки.

Вера Николаевна тоже была очень привязана к Олечке. Она и Бунин ревновали друг к другу Олечку.

— А все-таки Олечка любит меня больше, чем Веру Николаевну,— самонадеянно уверял Бунин.— Она умная, тактичная девочка, молчит об этом. Но меня обмануть трудно. Я уверен, что она любит меня больше всех. Даже больше своей матери.

Бунин смотрит на меня с неподдельным удивлением. Я только что поделилась с ним моим огорчением — три дня бьюсь над концом стихотворения и чувствую себя совершенно бездарной.

— Вот так так. Бездарной? — переспрашивает он.— А вы, оказывается, сомневаетесь в себе. Это хорошо. Очень хорошо. Сомневаться в себе, в своем таланте необходимо. Даже Толстой, и тот... Но вот признаваться другим в этом, особенно братьям-писателям, никак не следует,— поучает меня Бунин.— Помните: скромность ничуть не украшает писателя. Пусть же лучше вас считают гордячкой и даже за спиной подсмеиваются над вами. Я сам многим кажусь гордецом, надутым как индейский петух. И ничего против такого мнения не имею. Хотя на самом деле я часто, в особенности теперь, когда до смерти осталось четыре шага, сомневаюсь в себе. Вижу, что я почти ничего не сделал. Мог, должен был сделать гораздо больше. А теперь поздно. Теперь я бессилен. И как это грустно.

Он задумывается, глядя в огонь.

— Почему не сделал? Не знаю. Не могу объяснить. Но иногда мне кажется, что многое, что я писал, совсем не то. И не так.

Он снова замолкает и продолжает после паузы:

— Слава Богу, такие мучительные мысли не часто приходят. Вот ночью, во время бессонницы. А утром вспоминаю, что я совсем недавно написал лучшее во всей моей жизни — «Темные аллеи» — и чувствую гордость. И кто знает — может быть, я еще много лет проживу, окрепну, поздоровею и напишу еще новые «Темные аллеи» — ведь этой темы на десять томов хватит. Я в «Аллеях» ее не исчерпал, а только слегка коснулся, тронул ее. Надо пойти гораздо дальше по «Темным аллеям» в самую глубину их. Без страха и ложного стыда и фарисейства.

Он вдруг обрывает, будто вспомнив обо мне, и продолжает меня учить:

— Нет, никогда никому не говорите, что вы чувствуете себя бесталанной, а то так бесталанной и прослывете. Все с удовольствием вам поверят. И даже пожалеют вас: бедненькая! А как пожалеют — крышка. Надо вызывать зависть, а не жалость.

Запомните! Волки загрызают раненого или больного волка. А в нашем волчьем мире приканчивают друг друга жалостью. И презрением. Никогда не признавайтесь в сомнении в своем таланте,— повторяет он наставительно.— Храните это необходимое сомнение в себе на самом дне сознания. Для себя. Это не только драгоценный совет, а и подарок мой вам.

И вдруг, неизвестно отчего, неизвестно на что раздражившись, он продолжает желчно и саркастично:

— Скромность? Подумаешь, тоже добродетель! Достоинство для писателя? Да я просто не верю, что существуют скромные писатели. Притворство одно! Вот Чехов был деликатным, скромным, как красная девушка,— это мнение Толстого. А на самом деле он на всех свысока смотрел, с братом своим, художником, и с его приятелями разговаривать не желал. Презирал их всех. Кроме разве Левитана. Левитан, хоть и еврей, а шибко в гору шел. Впрочем, и с ним у Чехова дружбы не получилось — описал он его в «Попрыгунье». Об остальных писателях и говорить не стоит — все считали и считают себя гениями. Всех грызет зависть, все волки. Только прикидываются овечками. Всех распирает самомнение.

Я протестую.

— Но ведь вы сами, Иван Алексеевич, мне рассказывали о скромности и деликатности Чехова.

Он взмахивает рукой.

— Ну что же из этого, подумаешь. Я не попугай, чтобы повторять всегда одно и то же, как Толстой правильно говорил. Зарубите на своем коротком носу — нечестолюбивых писателей не существует. Вы-то сами, сознайтесь, ведь ох как честолюбивы.

Я киваю.

— Да, очень. И огорчаюсь отсутствием успеха. Только там, в Петербурге, я и знала...

Но он прерывает меня. Ему совсем не интересны мои петербургские успехи.

— Молодец, что не кривляетесь. А скажите, вы тоже считаете, что я напрасно «угробил» — какое вульгарное слово — Лику?

Я качаю головой.

— Нет, не считаю.

Как-то он с возмущением вспоминал, что одна из парижских дам-меценаток осмелилась сказать ему: «А свою Лику вы, Иван Алексеевич, напрасно угробили. Ведь в действительности эта ваша Панченко, бросив вас, вышла выгодно замуж, устроилась и родила дочь».

— Учить меня вздумала! Нет, какова наглячка!

Я не выдерживаю.

— За что вы ее так? Ведь она, в сущности, ничего страшного не сказала и не сделала. Вспомните, Иван Алексеевич, до чего Чехов был скромен и деликатен — как барышня, по определению Толстого.

— А вы так и поверили? — запальчиво напустился он на меня.— Вы ведь Чехова в глаза даже не видели, а я-то его отлично знал. Чепуха все рассказы о его девичьей скромности! Ложь! Чехов был дьявольски честолюбив, как, впрочем, все писатели. И прекрасно знал себе цену. Вся скромность и деликатность только поза. Он умел ловко притворяться. Скромность шла к его внешности, к его люстриновым пиджакам и пенсне на черной тесемочке. А о дворянах он зря писал. Дворянско-помещичьего быта он совсем не знал. Никогда никаких вишневых садов не существовало. Да он еще этот сад вырубил, хотя вишневые деревья даже на дрова не годятся. Сам все выдумал, и очень неудачно.

О том, что Чехов не знал дворянского быта, я от Бунина не раз уже слыхала, как и о его скромности.

— А вам, Иван Алексеевич, скромность действительно была бы не к лицу.

Он стоит передо мной, держась преувеличенно прямо, гордо закинув голову. Я смотрю на него и вдруг решаюсь сказать то, что давно думаю.

— Но не кажется ли вам, Иван Алексеевич, что и ваша гордость и надменность тоже только поза? Что на самом деле вы гораздо деликатнее и скромнее? И даже немного застенчивы? И только старательно скрываете это?

Он резко поворачивается ко мне.

— То есть позвольте, сударыня. Вы, кажется, тоже начинаете дерзить мне, как та наглячка? С Нобелевским лауреатом следовало бы, пожалуй, попочтительнее.

Я не на шутку пугаюсь. Боже, что я наделала, я обидела его. Теперь он подберет полы своего халата и, шаркая ночными туфлями, уйдет к себе.

— Ради Бога, простите. Я шутила.

Но он, вместо того чтобы совершить один из своих «толстовских уходов», как это называет Георгий Иванов, усаживается в кресло.

— Во всяком случае, мнение преоригинальное,— говорит он медленно,— и, если подумать, не лишенное некоторого основания. Кто его знает. Познать себя, сколько ни старайся, трудно. Но до чего вы меня удивили. А с удивления, по Платону, начинается философия.

На масленицу, как полагается, в «Русском доме» были традиционные блины. Устраивались они в складчину. За пансион в «Русском доме» брали чрезвычайно мало, но зато и кормили впроголодь — без всяких излишеств. Блины, да еще с кетовой икрой, семгой и водкой, в те первые послевоенные годы легко подводились под категорию «излишеств». Бунин ни на какие просьбы и уговоры участвовать в коллективных блинах не поддался и не удостоил своим присутствием масленичный обед.

Все же «блинное повторение», устраиваемое в нашей комнате несколькими «насельниками» «Русского дома», он обещал посетить.

— Но предупреждаю, испорчу вам все. У меня настроение собачье. И есть ничего не стану. И одеваться из-за ваших дурацких блинов не намерен, приду в халате. Но раз вы настаиваете — приду. А там уж пеняйте на себя.

В назначенный день он действительно пришел. Даже раньше назначенного часа, когда хорошенькая Гэдди, подвязав передник, жарила блины на маленькой спиртовке. Он скептически оглядел накрытый белыми листами бумаги вместо скатерти «погребальный» стол и заявил:

— Думаете, удадутся у вас блины? Как бы не так. Бросьте, Гэдди, ничего у вас не получится. Бросьте. Так черт яйцо на печке пек.

Но Гэдди, мило улыбаясь ему, продолжала весело хозяйничать, не обращая внимания на его воркотню.

К Гэдди Бунин был слегка неравнодушен, как, впрочем, ко многим молодым, хорошеньким женщинам. Вера Николаевна не только не ревновала, но даже поощряла его «увлечения».

— Пусть, ведь это хоть немного развлечет его. Яну необходимо общество молодых женщин, которые ему нравятся.— В верность Бунина она верила свято и нерушимо.— Ян даже в мыслях мне ни разу не изменил, хотя Бог знает, что про него злые языки рассказывают,— часто повторяла она.

К Гэдди она относилась очень хорошо и даже приглашала ее поселиться у них, если Гэдди приедет в Париж.

— У нее такой легкий, веселый, ровный характер. И она так женственна! Это как раз то, что больше всего нравится Яну. И она очень хозяйственна, не то, что я,— объясняла она.

Сама Вера Николаевна — она это прекрасно сознавала— была начисто лишена хозяйственных способностей и не умела, да и не стремилась создать у себя дома хоть какое-нибудь подобие уюта. Даже после получения Нобелевской премии, когда средств было достаточно, они остались жить в довольно жалкой меблированной квартире, занимаемой ими и прежде, на 1, рю Оффенбах, превратив ее только из «меблированной» в квартиру по контракту, не сменив мебели и ничем решительно не украсив ее.

Бунин, усевшись в кресло у стола и мешая мне расставлять закуски и рюмки, хмуро следил за нашими с Гэдди и Георгием Ивановым хлопотами.

— Охота вам! Подумаешь, был кот — с печки упал! Бросьте!

Но нам «была охота», и мы продолжали хлопотать. Блины, несмотря на предсказания Бунина, вполне удались. Гости ели и хвалили.

Бунин, сидя в кресле на главном месте перед пустой тарелкой, с брезгливым удивлением наблюдал за тем, как быстро уменьшается стойка блинов, и вдруг, подняв вилку, потянулся к ней, ткнул вилкой в блин и положил его на свою тарелку.

— Э, да так мне не останется ни блина, ни икры, ни водки!

— Подождите, Иван Алексеевич, я вам сейчас свежий спеку, эти уже остыли,— заволновалась Гэдди.

— Свежие второй порцией. И этот отличный.— Бунин, забыв о своем твердом намерении ничего не есть, уже поливает блин маслом, накладывает на него икру и сметану и прикрывает вторым блином.— А ну-ка, налейте!

Я наливаю ему рюмку водки, и он с явным удовольствием принимается за «блинопоглощение».

И неожиданно — для других, а не для меня — ведь я нисколько не сомневалась, что этим и кончится,— он превращается в приятнейшего гостя, радующего меня, хозяйку хлебосольную, отличным аппетитом, очаровывающего всех слушателей несмолкаемыми рассказами.

Он вспомнил масленичную «Вербу», разыграл несколько сценок из нее, изображая всех: и зрителей-зевак, и знатных господ, глазеющих на народное гулянье, и зазывателей балаганов, и продавцов. Все так магически живо, будто мы, сидящие за столом, вдруг очутились на «Вербе» и это нам предлагают увидеть «Александровскую колонну в натуральности своей» и купить умирающую тещу или чертика в коробочке. Так неудачно начавшиеся по вине Бунина блины превратились, благодаря Бунину же, в одно из самых приятных воспоминаний пансионеров «Русского дома». «Блины с Буниным» остались у них надолго в памяти.

Как-то в Нью-Йорке, на моем вечере, когда я в перерыве надписывала свои «На берегах Невы», ко мне подошла пожилая дама и сказала мне:

— А ведь мы с вами знакомы. Мы вместе жили в Жуан-ле-Пэн в «Русском доме». Помните? Ах, как там чудесно было! Помните блины с Буниным?

Из всего «чудесного», пережитого ею в Жуан-ле-Пэн, самым чудесным для нее явно остались эти «блины с Буниным».

То, что Бунин был особенный человек, чувствовали многие, почти все.

Мы с ним однажды зашли купить пирожные в кондитерскую Коклена на углу Пасси, где я бывала довольно часто.

В следующее мое посещение меня спросила, смущаясь, кассирша:

— Простите, пожалуйста, но мне очень хочется узнать, кто этот господин, приходивший с вами позавчера?

Я не без гордости ответила:

— Знаменитый русский писатель.

Но ответ мой не произвел на нее должного впечатления.

— Писатель,— разочарованно повторила она.— А я думала, какой-нибудь гран-дюк. Он такой... такой,— и она, не найдя подходящего определения, характеризующего Бунина, принялась отсчитывать мне сдачу.

Мне часто приходилось замечать, что Бунин притягивал к себе взгляды прохожих на улице.

Однажды, говоря о Бунине с Алдановым, очень любившим его и всегда восхищавшимся им, я спросила, замечал ли он это. Алданов закивал радостно, глядя на меня своими большими прелестными глазами, глазами лани, совсем не подходящими к его слегка обрюзгшему лицу:

— Ну еще бы, еще бы, не раз замечал. Иван Алексеевич, даже когда молчит, всегда попадает в центр, в фокус внимания присутствующих. Разве вы сами не чувствуете магнетических волн, идущих от него? Он обладает какой-то особенной гипнотической силой,— убежденно объяснял Алданов.— Он очаровывает собеседников и заставляет их соглашаться с собой. Этот редко встречающийся дар был присущ и Наполеону. У Наполеона он переходил даже, как вы изволите знать, в своего рода демонизм. Ведь Наполеон мог, когда хотел...

Я осторожно вернула Алданова, уже готового пуститься в историческую экскурсию о Наполеоне, к интересующей меня теме о Бунине.

— А вы, Марк Александрович, на себе испытывали обаяние Бунина?

Мой наивный вопрос даже удивил его.

— Ну конечно. Еще бы. Как же иначе? Для меня, когда Бунин в Париже (разговор наш происходил в 1930 году, когда Бунин большую часть года проводил в Грассе), наступают похожие на праздник «бунинские дни». Да, я их так и называю «бунинские дни». Присутствие Бунина все как-то меняет и украшает. И жить, и дышать становится как-то легче, оттого что он здесь. После каждой встречи, каждого разговора с ним я чувствую себя бодрее, лучше. Будто побывал у моря или в горах. Отдохнул. Помолодел душой. Никто на меня так благотворно не действует, как Иван Алексеевич. У него действительно какая-то магическая власть над душами, умами и сердцами.

Я кивнула соглашаясь, хотя на себе не испытывала магической власти Бунина.

— Вы правы, Марк Александрович.

Ведь Алданов, не только от присутствия Бунина, но просто даже говоря о нем, на моих глазах оживился и помолодел. А за минуту до этого он казался таким усталым и грустным.

Да, я в тот день действительно убедилась в магической власти и очаровании Бунина.

— Мне сегодня так скучно, так безнадежно, дико, отчаянно скучно, как уже давно не было,— вздыхает Бунин.

Разве давно? Ведь и в Париже перед отъездом, и тут, в Жуан-ле-Пэн, он не раз уже жаловался мне на дикую, отчаянную скуку. Но я просто говорю:

— Должно быть, от мистраля. Ведь всю ночь ставни хлопали, не давали спать. Мне тоже...

— И вам спать не давали? — оживившись, перебивает

он.— Мне почему-то казалось, что вас, как говорится, пушками не разбудишь.

Я качаю головой.

— Нет, совсем нет. Я отвратительно сплю с детства.

— Вот бы не думал. Вы совсем не похожи на бессонную страдалицу. Значит, и вы знаете, какое это мучение.

Я вижу, ему приятно, что я плохо сплю, это как будто утешает его.

Может быть, чтобы привести его в хорошее настроение, мне сейчас следовало бы пожаловаться на горькую судьбу и на всяческие, пусть вымышленные, неприятности, обиды и огорчения? Начать с чего-нибудь вроде — я только кажусь такой веселой и беспечной, на самом деле я очень несчастна, дико одинока и мне все отчаянно надоело. Ах, до чего!..

Но вместо этого я спрашиваю:

— А Гэдди уже была у вас сегодня?

Гэдди, милая и миловидная молодая женщина, недавно приглашенная Роговским заведовать «Русским домом». Вера Николаевна сейчас же поняла, что она, как и я, может стать своего рода «громоотводом», то есть отвлекать Бунина от его черных мыслей. И развлекать его.

Бунин морщится недовольно.

— Была. Но убежала через пять минут хлопотать по хозяйству. Ей всегда некогда.

Понятно — в пять минут ей не удалось развлечь его. Но я располагаю целым утром и мне это непременно должно удаться. Ведь я обещала Вере Николаевне.

— Неужели вы действительно страдаете с детства бессонницей? — Бунин недоверчиво смотрит на меня.— Нет, я в детстве отлично спал...— он обрывает и задумывается.

Детство... Детство — прекрасная тема, лучше не найдешь,— чтобы развлечь его.

— Расскажите мне, Иван Алексеевич, какой вы были. Не Алеша Арсеньев, а вы. Ведь вы не совсем такой, как он. У вас, наверное, многое еще в детстве было, о чем вы не писали.

Он кивает.

— Ну, конечно. Я уже говорил вам — «Жизнь Арсеньева» вовсе не моя автобиография. Многое неточно, подтасовано, подчищенно. Я в детстве был очень добр, гораздо добрее Алеши... Но столько было тяжелого и мучительного уже и тогда...

Нет, о тяжелом, о мучительном не надо ему давать вспоминать, и я говорю быстро:

— Расскажите мне о каком-нибудь вашем особенно добром детском поступке. О самом добром, пожалуйста, Иван Алексеевич, расскажите.

— О самом добром? — он берет кочергу и начинает медленно и осторожно поправлять дрова в печке. Это хороший знак.

Я жду и знаю, что он уже готов «погрузиться в прошлое», как когда-то говорил Андрей Белый.

И он действительно не заставляет больше просить себя и начинает рассказывать чудесно, как только он один умеет рассказывать, и с явной охотой:

— Самый добрый? Трудно определить, какой из моих тогдашних детских поступков был самым добрым. Все они были добрые. Добрым было и мое отношение к жизни и ко всему окружающему меня. Я все и всех любил — и родителей, и братьев, и сестру, и слуг, и собак, и лошадей, и каждое дерево в саду, каждую птицу на ветках дерева. Я просто дышал любовью и добротой. И как трудно, как тяжело мне дались мои гимназические годы. Будто гора на меня обрушилась и надолго придавила меня. Будто я попал в тюрьму, нет, и в тюрьме, должно быть, легче. В гимназии мне было все отвратительно — главное, идиотская дисциплина,— ведь в деревне я рос совершенно свободным, я всегда делал то, что хотел. А вот слушайся беспрекословно, сиди сиднем пять часов в классе.

Это было для меня невыносимо и мучительно. Поселили меня у старообрядца-мещанина. И там мне было даже еще хуже, чем в гимназии. Мы хотя и были бедны, но у нас дома все дышало барством и дворянским изяществом. Стол был всегда красиво и как-то даже парадно накрыт. У нас были почтительные старые слуги, всячески старавшиеся мне угодить — ведь я был всеобщим любимцем. А в доме старообрядца-мещанина, куда меня поместили нахлебником, царил мрачный грубый быт: рубцы, от запаха которых меня мутило, подавались на стол прямо в кухонном горшке; я сам должен был чистить свое платье и башмаки и стелить свою постель. Мне казалось, что это унизительно для моего дворянского достоинства. Я знал, что происхожу из знаменитого богатого рода и гордился этим.

В гимназии я ни с кем из товарищей не сходился. Все это были дети разночинцев с хамскими ухватками. Несмотря на свой общительный нрав, я держался особняком. Я страдал от одиночества, к тому же меня мучила тоска по дому и семье.

Он вздыхает:

— Даже вспомнить тяжело, как я тогда тосковал. И тут-то я, пожалуй, и совершил свой самый добрый поступок. Вот как это было:

Однажды зимой, в сретенский лютый мороз, я возвращался из гимназии по почти безлюдным улицам. Градусов пятнадцать ниже нуля — все по домам попрятались, никто без крайней нужды носа на улицу не высунет! И вдруг вижу мальчика-нищего. Стоит он возле обледенелой, в ледяных сосульках водосточной трубы, в рваном, коротком рыжем балахончике, сам рыжий, веснушчатый, лицо бледное до голубизны. Я смотрю на него, и у меня сердце екнуло. Чем-то, не знаю уже чем, напомнил он мне моего любимого теленка Бычка, белого с рыжими пятнами. Ну, совсем мой теленок. А он протянул ко мне тощую, голую до плеча руку и жалобно пропел охрипшим голоском: «Подайте, Христа ради, сиротке копеечку!»

Копеечки у меня не было. Рубль, который я ежемесячно получал от отца, я уже успел истратить. Но так жалко мне его стало, что я, долго не размышляя, бросил ранец на тротуар — тогда еще школьники ранцы на спине носили,— расстегнул торопливо металлические пуговицы, снял шинель и протягиваю ее ему. «На, возьми! Надень скорее! Не то замерзнешь». Он смотрит на меня ошалелыми, голубыми, телячьими глазами, но шинельки не берет. «Да бери же! — кричу я.— Бери! Я тебе дарю! — И сую ему шинель в руки.— Надень!»

Тут только он понял. Схватил шинель, прижал к груди и, даже не поблагодарив, со всех ног бросился бежать. Верно, испугался, что я раздумаю, погонюсь за ним и отберу у него шинель.

А я подхватил свой ранец и пошел дальше. И так хорошо, так радостно у меня на душе, что я даже мороза не чувствовал. Иду и горжусь собой — ведь так поступали святые, о которых мне читала мать. И рыцари тоже отдавали голым нищим свои плащи...

Но тут я вспомнил, что в кармане моей шинели остался мой новый перочинный ножик с четырьмя лезвиями и свисток. И это сразу испортило мою радость. Шинели мне не было жаль по-прежнему, но вот перочинного ножика и свистка ужасно, просто невыносимо жаль.

Мое появление без шинели вызвало в доме хозяина-мещанина переполох. Я весь трясся и, как голодный пес, щелкал зубами. Хозяйка, благодушная, толстая баба заохала и заахала надо мной. Хозяин стал добиваться, почему я без шинели. Я к тому времени уже научился хитрить. Я понял, что он моего поступка не оценит, не поймет. «Мы на улице играли в снежки,— солгал я,— шинель мне мешала. Я ее снял и повесил на забор, а когда кончили играть, ее не оказалось». «Вестимо, сперли,— решил он.— Если бы мой малец не углядел за своей шинелью, я бы его так отхлестал, что он бы неделю сесть не мог»,— мрачно и грозно проговорил он, видимо, жалея, что меня он отхлестать не смеет.

Ночью у меня поднялся жар. Вызвали доктора. Оказалось воспаление легких. Очнулся я только дома. Как сквозь сон помню, что мать не отходила от меня. Я проболел довольно долго и чуть не умер.

Когда я поправился, я рассказал матери, что отдал свою шинель нищему мальчику. Я ждал, что она придет в восторг и станет меня хвалить. О том, что я пожалел — да еще как! — о перочинном ножике и свистке, я промолчал, чтобы не испортить ей удовольствия.

Но она, к моему удивлению, только поцеловала меня, глубоко, горько вздохнула и будто про себя прошептала:

— Бедный мой, добрый мальчик!

Меня из детской переселили в комнату, смежную со спальней родителей. Я лежал на широкой мягкой тахте под голубым

пуховым одеялом. В окне — покрытые снегом, сверкающие от инея ели, будто и не ели, а елки, и все такое праздничное, чудесное, будто сегодня Рождество!

Лежать удивительно приятно, во всем теле блаженство разлито, как всегда, когда выздоравливаешь. А тут еще уверенность, что я заслужил это своим добрым делом, это награда герою. Ведь не отдай я тогда шинели мальчику-нищему, я бы сейчас томился в классе на уроке арифметики или латыни. А сейчас все так восхитительно и чудесно!

За стеной — разговор родителей. Ну, конечно, обо мне. Радуются, конечно, что я поправился. Я прислушиваюсь. Голос отца: «Слава Богу, кончилась морока. Теперь уже скоро можно будет Ваню в город отвезти. Ведь сколько он в гимназии пропустил, догонять ему придется. Не то, не дай Бог, на второй год останется. Дернуло же его! Сколько его идиотская выходка денег нам стоила — доктор, лекарства, а еще и новую шинель ему шить придется. А денег откуда взять? Придется, должно быть, столовое серебро в ломбард заложить». И голос матери: «Ах, Господи! Как все тяжело, как больно! Бедные, бедные, несчастные мы. До какого позора, какого падения... Бедный мой Ванечка, такой добрый...» И снова голос отца: «Не плачь! Перестань. Все как-нибудь да устроится, уладится, увидишь». И уже со свойственным отцу веселым легкомыслием: «Пойду постараюсь зайца подстрелить, Ваня любит, да и я тоже. В сметане, с бурачками. Не плачь! Прошу тебя, не могу видеть. Перестань!»

Дверь спальни хлопнула. Шаги отца в коридоре.

А я весь обомлел. И тут меня осенило. Господи, что я наделал! Ведь я обожал мать. Я в отчаянии спрыгнул с тахты, хотя мне было запрещено вставать, босиком, в одной длинной ночной рубашке ринулся в спальню матери.

Она сидела перед туалетом в красном стеганом капоте с распущенными волосами, держа щетку в руке. Я увидел в туалетном зеркале ее любимое лицо, по которому текли слезы. Она обернулась ко мне, испуганно ахнув. Я бросился к ней, обхватил ее теплую шею руками и отчаянно, исступленно закричал: «Прости меня, мама! Прости! Мама, мама, я больше никогда не буду делать добрых дел! Мама, я больше никогда не буду добрым!»

Бунин вынимает из кармана пакет табаку, аккуратно и методично, как всегда, свертывает папиросу, закуривает об уголек из печки и уже обыкновенным, разговорным тоном говорит:

— Вот я вам и рассказал о самом добром, о последнем добром моем поступке в детстве.— И, помолчав, добавляет:— Никому никогда я этого не рассказывал. Вам первой.

Я потрясена. Мне трудно сдержать слезы от волнения. Мне жаль, мучительно жаль его — его тогдашнего, бедного мальчика, и его сегодняшнего — старого, несчастного. Мне кажется, что я сейчас лучше понимаю его, яснее вижу и чувствую — будто этот рассказ о его детстве — магический ключ к сердцу Бунина.

Магический, да, именно магический — как и весь его рассказ. Оттого-то я так глубоко взволнована и потрясена. И как мне лестно, что он только мне, мне одной...

Он поворачивается ко мне и внимательно смотрит на меня своими зоркими глазами.

— Что, пробрало, прошибло вас? Плакать вам хочется? Глазки-то у вас, знаю, на мокром месте. Что же, поплачьте, это для здоровья полезно. Ведь трогательно,— как тут не заплакать?

Зачем он так холодно, так насмешливо? Я спрашиваю, задыхаясь от волнения:

— А дальше что было? Новую шинель вам сшили?

Он покачал головой:

— Представьте себе, нет. Не сшили.

Я сбита с толку.

— Как так? В чем же вы ходили? Ведь еще была зима.

— Ну, конечно, зима. Лютая зима. Ходил в старой, в той же шинели. Все мои гимназические годы в одной и той же. Ведь мне ее, как полагается, на вырост сшили.

— В старой? Как же так? Раз вы ее отдали? Неужели отобрали у нищего мальчика?

— И этого не пришлось. Хотя, конечно, эффектно бы получилось — по Достоевскому: отыскал нищего мальчика, снял с него шинель, да еще в придачу вздул его за слезы моей матери.

— Я не понимаю,— растерянно сознаюсь я.— Чем же все кончилось?

Он затягивается папиросой и следит за ее дымом.

— Чем кончилось? Да ничем! Ничем не кончилось, как ничем и не начиналось. Ведь ничего этого не было. Не было ни нищего мальчика, похожего на нашего теленка, ни подаренной шинели, ни воспаления легких. Все это я тут же сочинил. В одну минуту, чтобы позабавиться. Вы ведь, конечно, когда просили меня рассказать о моем самом добром детском поступке, вспомнили идиотское petit-jeu [1] Фердыщенко — тьфу, какая гнусная фамилия,— рассказы о самом дурном своем поступке на вечере Настасьи Филипповны. В «Идиоте» — так ведь? Вот я и захотел разыграть вас. Вышло даже еще лучше, чем я ожидал. И совсем по вашему Достоевскому. Вы так трогательно, так самозабвенно, умилительно слушали меня, так наивно, бесхитростно, простодушно поверили моей сахарной, сусальной выдумке, что чем не сцена из вашего Достоевского?

Он вдруг начинает, глядя на меня, громко, самодовольно смеяться.

— Нет, до чего забавно, у вас сейчас, по вашему же Достоевскому, «опрокинутое лицо». А я, как у него и полагается, рассказав о добром поступке, сделал дурной,— и до чего забавный поступок.

---

[1] салонная игра *(фр.)*.

Он продолжает все так же самодовольно смеяться.

— Вывернул перчатку наизнанку. Да заодно и вас. Ведь так?..

Я готова заплакать — уже от обиды. Но сдерживаюсь, кусая губы.

— Нет,— говорю я.— Нет. Вы ошибаетесь. Я очень довольна. Ведь я пришла к вам с целью привести вас в хорошее настроение. Мне это удалось, раз вы смеетесь. Чего же мне еще желать?

И я, гордо кивнув ему, выхожу из комнаты.

* * *

Париж. Лето 1938 года. Послезавтра мы с Георгием Ивановым едем в Биарриц на целых три месяца. К океану. И я уже полна легким радостным волнением.

Сегодня я целый день бегала по магазинам. Я очень устала. И все-таки мне не хочется оставаться дома и провести вечер, читая или слушая радио.

— Пойдем куда-нибудь, Жорж!

Георгий Иванов, как всегда, согласен. Только куда пойти? Все наши друзья и знакомые уже разъехались. Даже на Монпарнасе никого не встретишь.

— Хочешь, пойдем в кинематограф?

— Нет, решительно не хочу. Я сейчас совсем не в состоянии неподвижно сидеть перед экраном.

— А Гингеры? — вдруг вспоминает он.— Они ведь еще в Париже. Сегодня четверг, по четвергам у них «Свидание поэтов». Хочешь, пойдем к ним? Мы бесконечно давно у них не бывали. Они будут очень, очень довольны.

— Больше чем довольны — в восторге. И Гингер, и Присманова — оба,— они так тебя любят. Едем. Но непременно в такси, а не в метро. Туда и обратно в такси. Я страшно устала.

И мы едем.

Дверь нам открывает сам Гингер. Но, к моему удивлению, он не только не выражает восторга от неожиданного появления Георгия Иванова, а скорее смущен и растерян, хотя и старается скрыть это.

— Вот уже кого никак не ждал. Великолепно, чудесно. Спасибо,— отрывчато произносит он, неловко топчась перед нами, укладывая наши шляпы на комод в прихожей, как будто желая задержать нас подольше. И вдруг будто решась:

— А у нас Марина Ивановна. Пришла проститься перед своим отъездом в Москву.

Ах, вот в чем дело — Марина Цветаева здесь. Она терпеть не может ни Георгия Иванова, ни Адамовича, ни меня, считая нас петербургскими снобами-эстетами.

Особенно Георгия Иванова с тех пор, как он — по ошибке — в своих «Петербургских зимах» приписал стихотворение Ман-

дельштама «Как скоро ты смуглянкой стала», посвященное ей, какой-то «хорошенькой, вульгарной зубоврачихе».

Но о романе Цветаевой и Мандельштама никто в Петербурге не слыхал. Сам Мандельштам никогда в разговоре не упоминал ее имени, а о хорошенькой «зубоврачихе», вставившей ему искусственные зубы в кредит, вспоминал с удовольствием довольно часто.

Марина Цветаева сочла себя обобранной, решила огласить свои права на это стихотворение в прессе, в фельетоне, написанном ею для «Последних новостей». Но Милюков не пожелал напечатать его, что глубоко возмутило ее и еще больше восстановило против Георгия Иванова.

Совершенно понятно, что наше неурочное появление обеспокоило бедного Гингера. Ему казалось, что оно может испортить его «последний вечер с Цветаевой».

Впрочем, страх его был неосновательным. Нам нередко приходилось встречаться с Мариной Цветаевой на литературных вечерах и в гостях у «меценатов». Иногда мы даже обменивались несколькими, ничего не значащими словами, хотя она всегда старательно избегала нас, как и мы ее.

Но сейчас пути к отступлению были отрезаны. Гингер вводит нас в комнату, где за столом перед листом бумаги сидит Марина Цветаева. Тут же Софиев, Корвин-Пиотровский, Закович и еще несколько так называемых молодых поэтов.

Присманова кидается нам навстречу. Ей и в голову не приходит, что из-за нас может произойти какое-нибудь недоразумение. Она вообще вряд ли знает о взаимоотношениях своих друзей и знакомых. Это ее не интересует. Она выше всего этого, постоянно витая в заоблачных сферах поэзии.

Георгий Иванов спешно здоровается с ней.

Марина Цветаева смотрит на нас, прищурившись. Она очень близорука, но, казалось бы, из совсем не свойственного ей кокетства — не носит очков.

Наше появление ей явно неприятно. Она гордо выпрямляется и как-то вся ощетинивается, становясь — по своему собственному определению — тем «камчатским медведем без льдины», которого я привыкла видеть в гостях у «меценатов», где она всегда как будто готова принять бой. И сейчас она тоже как будто готовится к бою.

Но Георгий Иванов быстро подходит к ней и целует ее руку, которую она с некоторой задержкой подает ему.

— Марина Ивановна! Как я рад! Я боялся, что мне не удастся проститься с вами перед вашим отъездом.

— Рады? — холодно переспросила она,— вот не ожидала.

— Страшно рад! — горячо подтверждает он,— ведь мы вряд ли скоро увидимся.

— Никогда больше не увидимся. Никогда,— так же холодно отрезает она. И уже мне, чуть потеплевшим голосом:— А вы, скажите, тоже рады?

— Ужасно рада! — совершенно искренне говорю я.

Она пожимает плечами.

— Просто чудеса в решете. Что ж? Я почти готова поверить. А ведь меня теперь большинство прежних знакомых на улице не узнает; не кланяются мне, отворачиваются от меня.

— Мерзавцы! — отчеканивает Гингер.— Повесить бы их всех, буржуев и богачей.

— А мы,— перебивает его Закович, обращаясь к Георгию Иванову,— как раз одному такому буржую, по инициативе Марины Ивановны, сочиняем коллективную просьбу дать деньги на каникулы N. N.

N. N.— милая молодая писательница, только что перенесшая тяжелую болезнь. Ей действительно необходимо отдохнуть где-нибудь в горах или у моря. И мы с Георгием Ивановым с полной готовностью включаемся в «коллективную работу». Ею руководит Марина Цветаева.

— Софиев, прочтите-ка, что мы написали начерно.

Софиев читает:

— Глубокоуважаемый и дорогой...

— Не дорогой, а милый,— поправляет она,— милый — чувствительней,— буржуй ведь сентиментален. Дальше?

Софиев продолжает:

— Мы, зная ваше золотое сердце и то, что вы всегда оказываете щедрую помощь...

— Золотое сердце — это хорошо,— прерывает чтение Марина Цветаева.— Польсти, польсти! Зальем его лестью, пусть захлебнется в ней — авось раскошелится.

— Не беспокойтесь, Марина Ивановна, раскошелится. Мы его как лягушку на эту бумажку поймаем,— и Георгий Иванов указывает на исписанный лист.— Если бы кто-нибудь из нас с глазу на глаз его просил — безусловно отказал бы, но ведь тут гласность, общественность — не отвертится.

Текст бумажки, на которую, как лягушку, поймают скупца-богача, обсуждается фраза за фразой и трижды переделывается. Георгий Иванов острит, как всегда, и смешит всех. Я не думала, что Марина Цветаева может так звонко и весело смеяться. Я никогда не видала ее такой оживленной и дружелюбной. И я вполне очарована ею.

Наконец «бумажка» готова и красиво и четко переписана.

— Теперь подписи. Первым вы, Георгий Владимирович. Очень красиво с росчерком. Ведь вы любимец «Современных записок», не то что я. Мне в них ходу не давали, ни моим стихам, ни прозе. Сколько раз возвращали...

Наконец и с подписями покончено, и даже адрес на конверте каллиграфически выведен.

Марина Цветаева смотрит на часы, висящие на стене.

— Господи! Половина двенадцатого, а Мур еще не ужинал, и завтра мне надо встать в половине шестого!

— Зато,— сентенционно заявляет Пиотровский,— благодаря вам N. N. сможет отдохнуть на берегу моря. Вы совершили доброе дело, Марина Ивановна.

Все шумно и весело прощаются с Присмановой и Гингером. Они оба сияют — такого удачного «свидания поэтов» у них еще не было.

Мы выходим гурьбой на пустынную спящую улицу, залитую лунным светом.

— Проводим Марину Ивановну до метро. Тут все равно такси не найти,— предлагает мне Георгий Иванов.

Мы идем к метро попарно. Впереди Марина Цветаева со мной, остальные — немного отстав от нас.

Она торопится, быстро и легко широко шагает, недовольно морщась.

— Как далеко они живут от метро.

Да, далеко, но я хотела бы, чтобы еще гораздо дальше, чтобы я могла еще долго идти с ней так рядом плечо к плечу.

— С вами удобно ходить. Вы хорошо держите шаг. А мне казалось, что вы на своих высоких каблучках должны ходить неровно, с прискоком, по-дамски. По походке узнаешь человека не меньше, чем по рукопожатию,— говорит она убежденно.

— Марина Ивановна, вы рады, что возвращаетесь в Россию? — задаю я ей вопрос, преследовавший меня весь вечер.— Очень рады?

Она качает головой.

— Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство. Туда бы я хотела — там такие широкие площади и старинные готические здания. А в России все теперь чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая.

Она вздыхает и замедляет шаг.

— Все же я довольна, что покидаю Париж. Я его изжила. Его больше не существует для меня. Сколько горя, сколько обид я в нем перенесла. Нигде я не была так несчастна. А когда-то в Праге — там я очень скучала — я мечтала, как хорошо будет в Париже. А в Париже Прага стала казаться мне чуть ли не потерянным раем. А теперь я еду в Москву. Сыну там будет лучше. Но мне?.. Выперла меня эмиграция.

Она снова вздыхает.

Луна ярко светит. Слишком ярко. В ее свете мне все начинает казаться нереальным. Меня охватывает странное ощущение. Я как будто теряю чувство времени и места. Разве это Париж и лето 1938 года?

И вдруг я, как сквозь сон, вспоминаю, что когда-то совсем такой же теплой, летней, лунной ночью я много лет тому назад шла рядом с Анной Ахматовой по пустым, спящим улицам Петербурга — в первый и в последний раз в жизни... Совсем так, как сейчас иду с Мариной Цветаевой. Да, совсем так — в первый и последний раз в жизни.

Но тогда уезжала не Ахматова, а я — уезжала, полная радостных надежд. А теперь уезжаю не я, а Марина Цветаева, уезжает в безнадежной бездонной тоске.

Я смотрю на ее бледное, усталое, грустное лицо.

У меня сжимается сердце. Мне ее мучительно жаль. И страшно за нее. Нет, нет — ей нельзя ехать туда! Там ее ждет гибель. Там она погибнет, как погиб Мандельштам. И сколько других.

Мне хочется крикнуть ей: «Не уезжайте! Вам нельзя ехать». Но я не решаюсь. И она все равно не послушается меня. Даже если я стану перед ней на колени и буду умолять ее.

Я совершенно беспомощна. Я ничем не могу помочь ей. Но если бы я могла хоть немного утешить ее. И я говорю:

— Марина Ивановна, я хочу, чтобы вы знали, что я всегда страшно любила ваши стихи. Еще в Петербурге Гумилев мне подарил ваш «Вечерний альбом», и я просто бредила им. Он читал мне наизусть ваши чудные стихи Блоку и Ахматовой. Он восхищался ими.

— Правда? — недоверчиво спрашивает она.— Неужели правда? Я почему-то думала, что Гумилев был против меня. И вы все тоже. Цеховая выучка. Отсюда и преследование меня Адамовичем. Хорошо, что вы сказали.— Она слабо улыбается, и лицо ее молодеет.— Мне приятно, что Гумилев любил мои стихи.

И вот уже вход в метро, и надо расставаться. Мне так грустно, что я еле удерживаю слезы.

— А вы совсем другая, чем мне казались. Очень жаль. Значит, еще одной несостоявшейся встречей больше. Сколько их было в моей жизни, этих несостоявшихся встреч! И вот еще одна.

Она протягивает мне руку.

— Прощайте. Прощайте навсегда. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему это мне.

К нам подходят догнавшие нас Георгий Иванов и Пиотровский. Она прощается с Георгием Ивановым. Он несколько раз подряд целует ей руку. Ее серебряные кольца тускло поблескивают.

Я смотрю на нее, стараясь как можно лучше и точнее запомнить ее — всю, во всех подробностях, навсегда сохранить ее в памяти такой, какой я вижу ее сейчас. Ведь я никогда больше не увижу ее. Никогда.

Последние рукопожатия.

— Так не забывайте о нашей несостоявшейся встрече.— Она грустно улыбается.— И меня не забывайте.

Мне хочется ее перекрестить, но я не решаюсь.

И вот она уже спускается по лестнице рядом с Пиотровским. Я смотрю ей вслед. Но она не оборачивается.

И вот ее уже не видно...

Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу.

Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею при их последней встрече со вздохом: «Некуда податься — выживает меня эмиграция».

Она была права — эмиграция действительно «выжила» ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней.

Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от гибельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже скорее толкнули ее на этот пагубный шаг.

Я хотела бы хоть отчасти искупить свой грех.

В том, что Марина Цветаева — прекрасный стилист, теперь согласны все. Не только прекрасный, но, по всей вероятности, лучший стилист нашего времени — лучше Бунина, Белого, Сологуба, Мандельштама.

Особенно хорош ее «Дом у старого Пимена», перепечатанный в «Неизданном» Марины Цветаевой. Этот «Дом у старого Пимена» появился впервые — после каких унизительных хлопот и обидных задержек — в «Современных записках» в 1937 году и очаровал даже скептически относящегося к Марине Цветаевой Адамовича, посвятившего ему целый чрезвычайно хвалебный отзыв в «Последних новостях», вызвавший негодование Милюкова — нашли тоже кого хвалить. А хвалить — и еще как! — ее следовало за ее чудесные воспоминания о Волошине, о Белом, о собственном детстве, за ее несравненное, присущее только ей уменье писать «по-цветаевски», т. е. превращать людей и события в мифы и легенды.

«Повесть о Сонечке» написана также не без мифотворчества, и от нее, как от всего, вышедшего из-под пера Цветаевой, оторваться нельзя.

И все же ее — в некотором смысле — я не решаюсь назвать удачей. В ней Марина Цветаева не достигла поставленной себе цели — прославить молодую актрису Сонечку Голидей и заставить читателя безмерно восхититься ею. Она обращается к ней: «Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились — все мужчины, изревновались к тебе — все жены, исстрадались по тебе — все поэты...»

Этого при напечатании первой части «Повести о Сонечке» в 1938 году в «Русских записках» явно не произошло. В Сонечку тогда, насколько мне известно, никто и не подумал влюбляться, ни один поэт не «исстрадался» по ней. Повесть о ней прошла почти незамеченной.

Своего впечатления о ней, о тогдашнем первом появлении ее, я, к удивлению своему, не помню. Вернее всего, я ее просто не читала.

Теперь же — сознаюсь — Сонечка мне не очень нравится, и я была бы почти равнодушна к повести о ней,— если бы в ней, как в магическом «влюбленном зеркале», сродни зеркалу Кокто,

не отражалась бы необычайно ясно, точно и отчетливо сама молодая Марина Цветаева — совсем непохожая на ту,— безысходно несчастную, обреченную — знакомую нам,— на того «камчатского медведя без льдины», в которого ее превратили годы скитаний, обид и горя. А молодая, торжествующая, победоносная, счастливая, окруженная тройным кольцом влюбленности, поклонения и обожания, принимающая это как должное,— как по праву принадлежащее ей, без ложной скромности, с чудесной, высокой искренностью и силой, она восстанавливает себя, ту — молодую, счастливую и живую.

Благодаря этому «Повесть о Сонечке» не только не неудача, а напротив — блестящая победа — над временем и даже над смертью. В ней живет, продолжает жить молодая Марина Цветаева.

Действие в «Повести о Сонечке» почти отсутствует, что сознает и сама Марина Цветаева,— перечисляя в конце ее действующих лиц и их дальнейшую судьбу, она поясняет:

«Я сказала: «действующие лица». По существу же, действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами».

Прибавлю от себя — была Марина Цветаева и была любовь — сверх-, ультраромантическая, просто чудовищная любовь. «Чудовищная», как мы когда-то говорили на берегах Невы, уверенные, что в слове «чудовищное» всегда, кроме чудовища, присутствует и чудо.

Действительно была «чудо-вищная любовь». Вернее, чудо любви, объектом которого, сама превратившись в чудо, была Марина Цветаева.

Ведь надо помнить — все это происходит в Москве в 1919 году, а он был, как она называет его, «самый чумной, самый черный, самый смертный из всех годов Москвы». Ей, хотя она ни разу не напоминает об этом, не может не житься «черно, чумно и смертно». Она одна — муж ушел воевать против красных, одна с двумя маленькими дочками Алей и Ириной. И все же она умудряется быть счастливой. Любовь, обожание и поклонение заменяют ей хлеб насущный; о нем, об его отсутствии и прочих трудностях и бедствиях ни полслова. Она героически попирает «скудные законы бытия», она не снисходит до мучений холодом и голодом, испытываемых не только ею и ее дочками. Она как будто не замечает окружающего, вознесенная в какие-то фантастические высоты, с которых трудно разглядеть то, что творится внизу на земле. И она счастлива.

Нет, я не знала, что она все же когда-то получила в подарок от судьбы это, пусть эфемерное, счастье, что ей, чего она так страстно желала, поклонялись и молились, как божеству.

И это меня утешает.

Ее упрекали, что в своих «Юношеских стихах» она слишком восхищается собой. Но она на это имеет право, так как сама преклонялась и восхищалась другими поэтами. Вспомним ее див-

ные стихи Блоку и Ахматовой. Кстати, ей казалось, что Ахматова носила ее стихи с собой в сумочке, пока они не рассыпались. Но, к сожалению, этого не было. Ахматова относилась к ней чрезвычайно сдержанно и, кажется, не сумела ее оценить.

Марина Цветаева рассказывала, как она отнесла свои «Юношеские стихи» в Лито и как почти через год ей их вернули с отзывом Брюсова: «Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны».

Трудно поверить, что он действительно думал это. По всей вероятности, он просто мстил ей, так как был «очень против нее».

Стихи эти прелестны, полны подлинной юношеской свежести и непосредственности. Излишне прибавлять, что они свидетельствуют о ее огромном таланте и оригинальности.

Первое стихотворение датировано 1913 годом. И сразу — удар в сердце:

Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб,

и вторые — снова о смерти, о могиле:

Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли,

и еще и еще о смерти. И даже в чудесной просьбе о любви, бывшей ей нужнее воздуха, она не забывает о смерти.

Меня до слез трогает одно из ее ранних стихотворений:

К вам всем (что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?!)
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно
За правду *да* и *нет*,
За то, что мне так часто слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
Послушайте! Еще меня любите
За то, что я умру.

Смерть, смерть, смерть — мысли о ней не покидают ее, но это не мешает ей страстно любить жизнь:

Быть нежной, бешеной и шумной
— Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной,
Прелестной быть,

Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины.
О возмущенье, что в могиле
Мы все равны...

Нельзя без волненья читать эти стихи, они как будто перекликаются с ее трагической гибелью и одновременно дополняют образ молодой, счастливой Марины Цветаевой из «Повести о Сонечке».

* * *

Телефон громко звонит. Нет, только не просыпаться, я так устала. И это, наверно, ошибка. Кто и зачем может нам звонить ночью? Но звонок не унимается, и уже нельзя не проснуться. Я иду в столовую, где все еще звонит телефон, и снимаю трубку.

— Алло?

Задыхающийся, взволнованный голос:

— Это я, Вера Евгеньевна... Наконец, Ирина Владимировна, дорогая, я уже боялась, что вас нет дома, что вы уехали. Мы только что узнали, что умер Юрий Константинович. Люся плачет...

Я ничего не понимаю: никакой Веры Евгеньевны и никакой Люси я не знаю. Какое мне дело, что она плачет. Я говорю:

— Ничего не понимаю. Позвоните завтра утром. Вы меня разбудили.

— Ради Бога, простите. Я звоню из Вашингтона, и я забыла, что у вас другое время в Париже.

Все сразу становится ясным. У меня действительно нет знакомой Веры Евгеньевны. А Люся — не она, а он, Людвиг Леопольдович Домгер, друг детства Терапиано. Вера Евгеньевна — его милая жена. Через Терапиано они стали и моими заокеанскими друзьями. Я бывала у них в Вашингтоне и обоих их не только знаю, но и люблю.

Я рассказываю ей о смерти Юрия Константиновича, подробно отвечаю на все ее вопросы. Она хочет все о нем знать. Нако-

нец мы прощаемся. Я возвращаюсь к себе и ложусь. Но уснуть уже не могу до самого утра, потрясенная, как будто это был звонок не из Вашингтона, а с того света, звонок, все взбаламутивший в моем сознании. То, о чем я только что рассказывала, воскресает передо мной. Воспоминания кружатся с невероятной силой. Я не могу бороться с ними, я теряю себя, тону в них и снова все переживаю, все с самого начала...

Сентябрь 1958 года. 8 часов утра. Холодно. Моросит. Я только что прибыла в Париж, просидев всю ночь в вагоне, и теперь в такси въезжаю в сад Дома отдыха Ганьи.

Я выхожу из такси и быстро вхожу в подъезд. Из окон дома на меня смотрят какие-то старухи с явным любопытством. Значит, они знают, что я должна приехать, и ждут меня.

Да, здесь меня действительно ждут. Сам тогдашний директор Новиков идет со мной в мою комнату на первом этаже. Я вздрагиваю. Комната совсем маленькая, да еще на север. Но тогда не то, что теперь: одиночных комнат в домах почти не было. Претензий высказывать нельзя.

— Завтрак в двенадцать. Если хотите, спуститесь, вам подадут кофе в столовой.

Дверь захлопывается. Я остаюсь одна. Я чувствую себя мышью, попавшей в мышеловку. Снимаю пальто и ложусь на постель. Жизнь моя кончена. Меня прежней нет. Я умерла там, на юге.

Открываю глаза, стараюсь не думать. Но это мне не удается. Прошлое ожило, оно тут, в моей комнате. Нет, это не воспоминания о том, что случилось там когда-то, это живая жизнь. Ее надо прожить, изжить снова, каждый год, каждый день — с самого начала. Это необходимо. Ничего не поделать с тем, что «прошлое пожирает настоящее», по утверждению Бергсона. Раньше я с ним не соглашалась, но теперь убеждаюсь, что это правда.

Мне казалось, когда я въезжала в сад, окружающий Дом Ганьи, что я вижу над воротами черную надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий», что это мое последнее траурное новоселье в этой anti-chambre de la mort [1], как французы называют такие дома, что жизнь моя безнадежно кончилась.

Но я ошиблась, как уже не раз ошибалась, совершенно лишенная дара предвидения и предчувствия.

Нет, в тот день я никак не могла предвидеть, что это не конец, что мне еще предстоит «вписать новую главу в книгу жизни и стихов».

Тогда это мне казалось невозможным, и я не поверила бы, что снова смогу улыбаться и превращать будни в праздник. И этим я обязана главным образом Юрию Терапиано. Не знаю, во

---

[1] прихожая смерти *(фр.)*.

что превратилась бы моя жизнь, если бы я тогда не встретилась с ним. Смогла бы я вынести людскую злобу и злорадство, обрушившиеся на меня тогда, не раздавили ли бы они меня, несмотря на весь мой оптимизм и мою неизбывную жизнерадостность. Я тогда написала для себя:

Нет в мире дружеской руки,
Которая бы удержала
В час огнедышащей тоски
Меня от гибели паденья.

Но, повторяю, я ошибалась: Юрий Терапиано не только поддержал меня, но и вернул в литературу.

Как это ни странно, но мы с Юрием Константиновичем почти не были знакомы до моего переезда в Ганьи — вернее, наше знакомство было чисто шапочное — как говорили в те далекие довоенные годы.

Конечно, мы встречались на литературных вечерах — их тогда бывало очень много, на воскресных чаепитиях у Мережковских и на собраниях «Зеленой лампы», но — в отличие от Георгия Иванова, не пропускавшего ни одного из них,— завсегдатаем их я не являлась. К тому же я всегда была окружена друзьями, а Терапиано к числу их не принадлежал и не бывал у нас. Но я все же чувствовала симпатию к нему за его благородный и безрассудно смелый поступок: в самый разгар вражды Ходасевича и Георгия Иванова он, которому Ходасевич всячески покровительствовал, после появления «Роз» Георгия Иванова прочитал доклад о них. И впервые «провозгласил» Георгия Иванова первым поэтом эмиграции, с чем, впрочем, уже тогда были согласны Зинаида Гиппиус и Мережковский, но публично никто не называл Георгия Иванова первым поэтом. Этим докладом Терапиано заслужил вечную ненависть Ходасевича, отрекшегося от него.

Хотя Ходасевич вскоре и помирился с Георгием Ивановым и даже сблизился с ним, Терапиано он измены не простил до самой своей смерти и старался всюду и всегда мстить ему. Георгий Иванов был на редкость равнодушен к хвале и хуле и даже не поблагодарил его и не защищал его от несправедливых нападок Ходасевича. Так этот акт чистого благородства принес Терапиано — как это, к сожалению, часто бывает — одно зло. Но он все же вызвал мою симпатию к нему, хотя она тогда ничем не проявилась.

То, какую роль ему предстоит сыграть в моей литературной жизни, я тогда не предчувствовала. А роль эта, без преувеличения, оказалась очень большой.

После смерти Георгия Иванова я решила распроститься с литературой раз и навсегда. Решение мое, как мне тогда казалось, было непоколебимым и вызывалось следующими обстоятельствами: в литературных кругах стали распространяться

слухи, что после смерти Георгия Иванова мне придется уйти из литературы, так как писать я не умею, и все романы и стихи за меня писали сначала Гумилев, а потом Георгий Иванов. И я решила действительно замолчать. Об этом решении в первый же день моего переезда в Ганьи я сообщила Терапиано, спросившего меня, что я теперь пишу.

— Ничего не пишу и писать не буду. Кончено! Ни строчки больше не напечатаю! Никогда!

Он тут же стал доказывать невозможность такого категорического опрометчивого решения и уговаривать меня отказаться от него. Но я и слушать его не хотела.

— Перестаньте, а то я рассержусь! Оставьте меня в покое! Не приставайте!

Однако он, не опасаясь моего гнева, все продолжал уговаривать и «приставал» ко мне со все возрастающей настойчивостью.

А время шло. И я в конце концов уступила ему. Ведь это происходило, когда я еще не справилась со своим горем, и у меня просто не хватило сил сопротивляться.

И я опять послала свои стихи в «Новый журнал», а потом начала печататься в «Русской мысли» и понемногу вошла в литературную жизнь.

Терапиано торжествовал и праздновал победу. Но ему и этого казалось мало. Он стал настаивать, чтобы я писала воспоминания. На эту мысль его толкнула моя, помещенная в «Русской мысли», заметка о неожиданно скончавшемся Николае Оцупе.

— Это необходимо! — убеждал он меня.— Просто грех, если вы не напишете воспоминаний о Петербурге того времени. Кроме вас, никто не сможет это сделать.

И я снова уступила ему — Юрию Терапиано. «На берегах Невы» обязаны своим появлением только ему одному. Без его настойчивости я бы их никогда не написала. И, по всей вероятности, как я тогда решила, после смерти Георгия Иванова,— ничего больше никогда не напечатала бы. Ни строчки!

Вся заслуга — если, конечно, это можно считать заслугой,— принадлежит ему. Как я могу не быть ему благодарна?

Так началась наша дружба. За двадцать лет ежедневного общения мы ни разу не поссорились и даже не повздорили.

Моя жизнь в Ганьи была совсем не похожа на прежнюю. Здесь я стала не только снова писательницей, но и журналисткой. До этого я никогда не написала ни одной статьи. Георгий Иванов считал, что работа журналиста «вредит таланту», идет во вред творчеству, в чем он был неправ, как и в «запрете» посещать редакции: «Тебе там не место».

Вернувшись в литературу, я начала писать статьи, ходить в редакцию «Русской мысли» и принимать участие в редакционной жизни. Это новое занятие увлекало меня.

В те годы литературная жизнь, хотя и не цвела так бурно, как до войны, но все же не засохла и не заглохла, как теперь. Поэтических вечеров еще было много, и в большинстве из них участвовал Терапиано.

Ежегодно устраивались и его и мои вечера — с помощью милой Софочки Прегель, бравшей на себя всю материальную сторону по их устройству и предварительной продаже билетов и проявлявшей и тут свои исключительные такт, доброту и энергию. Мы с Терапиано ездили в Париж не менее трех раз в неделю, часто с Верой Васильевной Савицкой. Бывали в кинематографе, потом обедали. Терапиано постоянно навещал своих друзей Рубисовых, с которыми и я вскоре подружилась.

Иногда Терапиано читал лекции и в «Соленом» кружке, учрежденном Озерецковским. После его смерти кружком стала заниматься, взяв его в свои энергичные руки, Евгения Николаевна Берг. Мы с Юрием Константиновичем были на 25-летии кружка, праздновавшемся уже на квартире новой устроительницы. Помню, на тогдашнем юбилее было много писателей и гостей: Софья Юлиевна Прегель, сын Андреева, Игорь Леонидович, Кирилл Дмитриевич Померанцев и другие. Юбилей прошел очень весело и удачно. Процветает кружок и сегодня. В 1981 году состоялся уже его пятидесятилетний юбилей. И я с огорчением вспоминала отсутствующих...

Но и в Ганьи нам жилось хорошо и даже празднично. Превращению будней в праздники помогали мне и Терапиано и Вера Васильевна. Я стала устраивать «междусобойчики», как их по-одесски называла Софочка Прегель. В моей крошечной комнате за столом сидело по 18 человек, и никто не жаловался на тесноту. Адамович, читавший тогда лекции в Манчестере, вернувшись на каникулы в Париж, пришел на один из «междусобойчиков» и только руками развел:

— А я и не знал, мадам, что вы умеете укладывать слона в спичечную коробку!

И с тех пор в свои приезды в Париж он неизменно бывал на наших сборищах.

Вскоре меня перевели в другую, бóльшую комнату, и состав «междусобойчиков» расширился и изменился. Теперь на них стали бывать Е. Ф. и Г. А. Рубисовы, Н. Н. Евсеев, И. И. Махотин, Ренэ Герра, его невеста, русская молодая девушка Екатерина Зербино, и другие.

С Ренэ Герра, молодым литературоведом, я познакомилась в 1967 году, на Пасху, у Бориса Константиновича Зайцева, которого мы с Адамовичем пришли поздравить. Он привез мне фотографию с моего силуэта работы Кругликовой, и я пригласила его в Ганьи. Через несколько дней он действительно приехал и привез мне букет красных роз. Тут он познакомился с Терапиано, и они очаровались друг другом. Так началась их большая дружба. Терапиано наговорил для него целый том воспоминаний об эми-

грантских писателях, о «Зеленой лампе», о Мережковском, Зинаиде Гиппиус и «молодых» поэтах. Герра постоянно ездил к нам. За ним часто приезжала его невеста, а когда он женился, Зайцев был его посаженым отцом, а свидетелем — Юрий Константинович. Венчание их происходило в Соборе Александра Невского, пышно и торжественно, а после венчания был прием в Морском собрании.

После женитьбы Герра вместе с женой поселился в Медоне. У него на квартире стали устраиваться «Медонские вечера». На них присутствовали, кроме гостей, в основном писатели и художники. Все доклады и обсуждения записывались на пленку, и сегодня это интереснейший материал к истории эмигрантской литературы. К сожалению, «вечера» продолжались только три года.

Юрий Константинович был их бессменным председателем и душою. Однажды, когда он был болен и я его заменяла, я предложила начать медонскую «Чукоккалу» — альбом, в котором записывали бы свои стихи и рисовали наброски все члены кружка и его гости. Теперь этих альбомов, успешно продолженных с того вечера, насчитывается больше двадцати четырех. И хотя нет уже «Медонских вечеров», художники и поэты, посещающие Герра, продолжают эту традицию.

Весна 1976 года. Теплая ранняя весна. На деревьях уже зеленеют первые трогательные листочки, и на клумбах робко расцветают нарциссы.

Мы, то есть Юрий Константинович, я и Вера Васильевна Савицкая — наш общий с ним большой друг, живущая с нами в одном доме,— сидим в саду.

С Верой Васильевной он дружит в «общечеловеческом» и в «метафизическом» плане. Она — последовательница учения йогов, бывала в Индии. Он, большой эрудит по всем оккультным вопросам,— если не уезжает в Париж, раскладывает замысловатые пасьянсы. Это занятие я не одобряю и не принимаю участия в нем, считая потерей времени.

— А мне,— уверяет он,— пасьянсы совершенно необходимы. Они проветривают мои мозги, дают мне блаженное ничегонедумание. Я, раскладывая их, просто выключаюсь из жизни. Благодаря им работать легче. Непременно попробуйте,— советует он мне.

Но этому мудрому его совету я так и не последовала.

Весной он всегда чувствует особенный прилив сил и жизнерадостности, и сейчас, улыбаясь, цитирует строки Георгия Иванова:

И вновь мы за счастье готовы платить
Какою угодно ценою.

— Нет, вам, Юрий Константинович, платить за счастье не придется,— говорю я.— Вы и так счастливый человек. Ведь счастлив тот, кто вправе — с полным основанием, без всякого эго-

центричного попустительства — быть довольным собой. А вы вправе не только быть довольным, но даже гордиться собой. Остальное уже не так важно. Хотя и даже «остальное» очень недурно. Вы совершенно здоровы, окружены любовью и почтением, живется вам приятно, и вы еще не собираетесь кончать свою ураганную деятельность. А обыкновенно старый писатель даже в своей стране...

Но он удивленно и обиженно прерывает меня:

— Старый? Почему вы называете меня старым?

Я не могу не рассмеяться:

— Да просто потому, что вам восемьдесят четыре года. Вспомните, что Толстого во время его восьмидесятилетнего юбилея называли «Всероссийским старцем».

Он тоже смеется:

— А вы правы! Я — старый, я — старец, Мафусаил. Но вот никак не чувствую этого. Мне все кажется, что у меня впереди годы и годы. Никакого груза времени не ощущаю, как будто я еще молод.

— Ощущение вечной молодости — еще лишнее доказательство, что вы счастливый человек,— настаиваю я.

Но он протестует:

— Нет, нет и нет. Вы ошибаетесь. Вот вам кажется, что моя литературная карьера удалась. А она вовсе не удалась. И даже напротив, как писал Достоевский. Ведь я прежде всего поэт. Но кто об этом помнит, кто читает мои стихи? Кто?..

Тень огорчения проходит по его улыбающемуся лицу.

Да, правда, поэтическая карьера его не удалась, хотя она и начиналась блестяще. Он занимал одно из видных мест в ряду тогдашних «молодых» поэтов — Довида Кнута, Смоленского, Поплавского, Мамченко, Ладинского, Гингера, Присмановой. Он был первым председателем «Союза молодых поэтов», основанного им самим в 20-е годы. Его второй сборник стихов «Бессонница» распродался целиком, чего ни с одним сборником стихов, кроме «Роз» Георгия Иванова, за рубежом не случалось. Но, став присяжным критиком, он как будто перестал для читателей быть поэтом. Для них, по-видимому, поэзия несовместима с критикой. Или поэт, или критик. А что он критик «Божьей милостью», ни в ком сразу же сомнений не вызывало. Отсутствие интереса к его стихам, непризнание их читателями очень огорчало его. Ведь он сам сознавал, что его стихи становятся с годами все лучше и делаются более глубокими.

Юрий Терапиано — действительно большой поэт. Стихи его — одни из тех, за которыми, как когда-то говорилось в Цехе поэтов, «открываются поля метафизики». Слова в них как бы приобретают новый смысл, созданный мелодией звуков и ритмом, преображающим содержание стихотворения.

Я киваю:

— Да, как поэта вас еще не открыли. Но не сомневайтесь, откроют — и прославят.

И, уже смеясь, цитирую себя:

И зачем вам славу ждать?
И зачем о ней мечтать?
Слава все равно придет,
Не сейчас, так через год,
Или после смерти.

На следующий вечер я ждала его, чтобы вместе с ним ехать в Париж обедать. Он вошел ко мне и сказал:

— Поезжайте одна. Мне что-то нездоровится. Я приму аспирин и лягу — даже пасьянс раскладывать не буду. Извинитесь за меня, объясните и кланяйтесь. Нет, беспокоиться нечего. За ночь все пройдет.

Я беспечно уехала, мне и в голову не пришло, что это начало конца жизни Терапиано.

— Завтра все пройдет,— сказал он. Но назавтра ему стало хуже, и он остался лежать. Домашний доктор не мог определить, что с ним, и отправил его в клинику для исследований. Там выяснилось, что это последствия неудачно сделанной операции — удаления желчного пузыря, через двадцать пять лет неожиданно, с таким опозданием, проявившейся.

«Нет, это не представляет жизненной опасности и не требует новой операции, требуется только серьезное лечение, отдых и уход»,— решили доктора. Он вернулся в Ганьи и стал исполнять предписания врачей — серьезно лечиться и отдыхать, не вставая с кровати. Уход за ним — необычайно тщательный — взяла на себя его большой друг, Аглая Шиманская. С ней он познакомился вскоре после войны, когда она только начинала свою поэтическую карьеру. Он помог ей стать настоящим поэтом, а теперь она, в свою очередь, пришла ему на помощь и даже переехала из Парижа в Ганьи.

Но доктора ошиблись. Время шло, а ему становилось все хуже. К тому же у него появились ежедневные боли. И тут-то начался его мученический, медленный спуск к могиле, длившийся целых четыре года.

Я тогда уже покинула Дом в Ганьи, но часто навещала Терапиано и со все возрастающим огорчением следила за тем, как он слабел. Надежды на его полное выздоровление уже не оставалось. Все же в таком состоянии он мог еще долго жить. Но с Аглаей Шиманской, своими заботами о нем буквально вдыхавшей в него жизнь и удерживавшей его на земле, случилось несчастье. Она упала и сломала ногу. Перелом оказался очень сложным. Ее оперировали, и она долго находилась в клинике.

Без нее, хотя уход за ним был вполне хорош и к нему, несмотря на собственную болезнь, ежедневно приходила и проводила с ним много времени Вера Васильевна,— состояние его здоровья резко ухудшилось. Лечивший его все эти четыре года

врач был на каникулах, а посланный к нему новый доктор не разобрал в чем дело, отправил его в госпиталь. Госпитали он ненавидел.

Я видела его в последний день его жизни. Меня привез в госпиталь Ренэ Герра. Сиделка ввела нас в комнату, в которой лежал, скрестив руки на груди, незнакомый, скелетообразный старик.

— Вы ошиблись,— сказала я ей.— Это не Терапиано.

— Нет, это он,— и она указала на дощечку, приделанную к спинке кровати, с надписью: «Georges Terapiano».

Значит, это действительно он! Но, Господи, как мог он так чудовищно измениться? Ведь я была у него в Ганьи всего лишь две недели тому назад и даже удивлялась его обманчиво здоровому виду. Он казался таким, как прежде, и только похудел, что даже как-то молодило его. Сколько страданий он должен был вынести, чтобы стать таким!

Я наклонилась над ним и позвала его по имени. Но он даже глаз не открыл. С другой стороны кровати стоял Герра и с испуганным изумлением вглядывался в него.

Постояв молча над ним, мы так же молча вышли из комнаты, спустились по лестнице и сели в автомобиль. Герра был очень бледен, отчего его борода казалась еще чернее. Должно быть, он чувствовал то же, что и я. Но как это выразить словами? Так мы и промолчали всю дорогу.

В памяти моей снова всплыли строки из «Эдипа в Колоне»:

И пока свой день последний не увидит тот, кто смертен,
На земле не называйте вы счастливым никого.

И я поняла, как была неправа, называя Терапиано счастливым в тот солнечный день в саду четыре года тому назад.

В тот же вечер — телефонный звонок: Юрий Терапиано скончался в семнадцать часов 3 июля 1980 года.

Похороны на кладбище в Ганьи... Цветы, венки... И вот уже гроб опускают в могилу, и брошенная мной горсть земли с глухим стуком ударяется о крышку гроба...

Но мимо, мимо! Я не хочу, не могу думать о его смерти. Для меня он все еще жив. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его таким, каким он был в тот весенний день в саду, таким, каким он был все двадцать лет, прожитых нами под одной кровлей. Воспоминания всех этих лет кружатся вокруг меня и каждое из них требует, чтобы я снова пережила его. И я наугад останавливаюсь на одном из них.

1970 год. Зимний, будничный день. Мы — Юрий Константинович и я — после завтрака пьем кофе, как обычно бывает, если мы не уезжаем в Париж. Кофе пьется у Евсеевых, в их большой, хорошо обставленной комнате. Они тоже живут в Доме Ганьи, даже на одном этаже со мной. В былые времена мы втроем с Ве-

рой Васильевной отправлялись пить кофе за три километра, в городок Ренси, а теперь ходьба стала их утомлять.

Николай Николаевич Евсеев — казачий поэт, почти из номера в номер печатал свои стихи в «Русской мысли» при Водове. Он — единственный поэт зарубежья, умудрившийся издать сборник своих стихов, да еще «толщиною в целый том», по подписке читателей-почитателей. Он на редкость симпатичен и добродушен, так же, как и его жена, Софья Александровна. Они чрезвычайно гостеприимны. Постоянно устраивают «пиры и приемы», на которых мы неизменно присутствуем. Они большие друзья Ивана Ивановича Махонина, знаменитого и, без преувеличения сказать, гениального изобретателя, волею неисповедимой судьбы заканчивающего свою фантастическую жизнь в Доме Ганьи. Мы с ним в самых лучших отношениях.

Выпив кофе с сухариками, любимыми Юрием Константиновичем (Евсеев специально покупает их для него у Жюльена), и послушав и похвалив его новое стихотворение — стихи он пишет с необычайной легкостью в необычайном количестве,— мы с Терапиано отправляемся «протоптаться», но наша короткая прогулка, как всегда, заканчивается заходом в кафе.

— Я не пью и не курю. Нужен же и мне какой-нибудь порок. Вот я и стал «неумеренным кофепийцем»,— объясняет он.

И сейчас мы, как всегда, снова сидим в кафе.

— Когда мы вернемся домой, я прочту вам свою новую статью,— говорит он.

Я изумлена.

— Неужели вы уже написали ее? — Ведь только вчера вечером в поезде, увозившем нас из Парижа, он сообщил мне, что собирается «заняться Шестовым». И вот она уже готова.— До чего вы трудолюбивы!

Он качает головой:

— Ну нет! Я совсем не трудолюбив. Я даже ленив от природы. Но я просто не могу не исполнить, не сделать немедленно то, что надо, то, что решил. Тут же отвечаю на письма, всегда пишу статьи в срок и даже впрок. Никогда ничего не откладываю на завтра. Никаких «Morgen, Morgen, nur nicht heute» [1]. Этим я обязан своей немецкой фрейлейн Марихен. И как я за это благодарен ей!

Он, склонив голову набок, улыбаясь, смотрит вдаль. По изменившемуся выражению глаз мне ясно, что он готов «нырнуть в прошлое», и я, чтобы облегчить ему этот «нырок», задаю «наводящий вопрос»:

— Вы уже в детстве решили стать поэтом?

Он отвечает с явной охотой:

— Нет. В раннем детстве я хотел стать городовым и управлять уличным движением, а когда подрос, решил, что буду ученым и археологом. Я увлекался древней историей. В мои годы в гимназии уже не преподавали греческого, и я брал частные уроки.

---

[1] «Завтра, завтра, только не сегодня» *(нем.)*.

Я увлекался классической поэзией. У меня была великолепная память, все, что я читал, отпечатывалось в моей голове. А просодия мне далась очень легко. Я стал переводить гекзаметрами древних поэтов. А на выпускном экзамене со мной даже произошел забавный случай...— Он вдруг остановился.— Но вам, должно быть, скучно слушать меня. Вы ведь терпеть не можете воспоминаний о «золотом детстве» или же о «золотой юности».

— Нет, нет, продолжайте! Мне надоедают только скучные, стереотипные воспоминания. А вас я с удовольствием слушаю,— совершенно искренне убеждаю я его. И он, успокоившись, продолжает:

— Так вот, на выпускном экзамене по латыни в присутствии попечителя учебного округа я вытянул билет о Горации и без запинки прочел наизусть его оду «Похвала старости». Попечитель выслушал меня, одобрительно кивая головой: «А теперь переведите то, что вы так хорошо продекламировали». И я прочел мой собственный перевод этой оды. Попечитель кивал все более одобрительно: «Отличный перевод. Чей это? Я что-то не помню».— «Мой»,— отвечал я. «Ваш? Не может быть. Неужели?» — воскликнул он. У него даже пенсне соскочило с носа. Учитель поспешил мне на помощь, рассыпаясь в похвалах своему лучшему за всю его педагогическую карьеру ученику. А попечитель, отпуская меня, торжественно заявил:

— Вы далеко пойдете, молодой человек. Вы затмите самого Гнедича!

Это был мой первый литературный успех. Конечно, я очень гордился им. Но карьера Гнедича и вообще поэзия не соблазняли меня. Поэтом я себя почувствовал только после революции. Я все еще хотел тогда стать археологом. Страсть к археологии мне внушил мой любимый дядя-археолог. Я проводил все свои свободные дни с ним в его особняке, похожем на музей, разглядывая его сокровища, слушая его рассказы о раскопках в Азии, в Греции и мечтая о том времени, когда я смогу их производить вместе с ним.

Мне было шестнадцать лет, когда он неожиданно скончался, оставив мне одному все свое очень большое состояние, чтобы я мог, не заботясь ни о чем, продолжать его дело. Но это, как снег на голову, свалившееся на меня богатство не изменило моей жизни. Я только завел себе собственную лошадь и экипаж и стал ездить, а не ходить в гимназию, да еще ежедневно покупать шоколад и угощать им всех родных и домашних, в том числе и моего тигрового кота, проявлявшего противоестественные вкусы в отношении шоколада. Это был чудо-кот, необычайно умный, даже мудрый, страшно важный, чувствовавший себя хозяином дома. Звали его Васко да Гама. Правда, в начале своего скромного существования на кухне он, как полагается, назывался попросту Васька; но, переселившись в барские хоромы, был переименован мною в Васко да Гама. Я ждал, что он непременно прославится, обогнет каким-то образом мыс Доброй Надежды или совершит

что-нибудь вроде того. Удалось ему это или нет, мне неизвестно. Он остался в России, когда я ее покинул, и вестей мне о себе никогда, «к сожалению», не давал...

Терапиано — великий «котофил», по его собственному определению. О котах он может говорить часами. Даже во мне, довольно равнодушной к ним, что отчасти объясняется тем, что у меня никогда ни одного представителя кошачьего мира, кроме «лукоморного кота», живущего в моих стихах, не было,— он сумел возбудить интерес к ним. Он, как многие поэты и писатели, испытывает страсть к котам и согласен с Колетт, утверждавшей, что в Древнем Египте котов не только считали богами, но что тогда они действительно были богами. По его мнению, в них сохранилось еще и сейчас что-то божественное.

— Они — мистические существа и посланы людям в утешение,— говорит он. И произносит целый панегирик котам.

— А вам известно, что Тэффи писала стихи о котах? — спрашиваю я.

— Ну, еще бы. У нее был целый кошачий эпос. Я особенно люблю ее прелестную «Белолапку»,— и он с увлечением читает мне ее наизусть:

Белолапка-серокошка
Раз уселась на окошко,
А по улице идет
Очень важный тигрокот.
Увидал он белолапку —
Скок! И хвать ее в охапку,
Под себя ее подмял
Тигрокот, ну и нахал!

— Просто чудесно. Какое мастерство! Ни одного лишнего слова. Из-за этой «Белолапки» мне иногда даже кажется, что я был слишком строг, несмотря на ее ужасающие безвкусные «Драгоценные камни» и «Слезы души», к ее стихотворству, раз она смогла так написать. Впрочем, у Тэффи была кошка, и это она ее, должно быть, вдохновляла.— И с грустью добавляет:— До чего мне здесь в Ганьи не хватает кота! — Он встает.— Мне надо идти домой, а то я не успею прочесть вам свою статью до обеда.

И мы уходим...

Теперь, оглядываясь назад, я ясно вижу, что тот день, когда мы втроем сидели в саду, был последним светлым днем жизни Терапиано. Но тогда я не услышала тяжкой поступи надвигающегося на него рока, не увидела гибели, уже стоявшей за его плечами. Прошли годы, но никто мне его не заменил и не заменит.

* * *

В Русской консерватории сегодня мой вечер поэзии. Мы с Юрием Константиновичем Терапиано только что приехали из Ганьи и направляемся к вешалке. Народу в вестибюле собралось порядочно. Терапиано помогает мне снять пальто. В это время ко мне подходит элегантный пожилой господин с маленькой бородкой. «Горбов,— представляется он, поклонившись, и протягивает мне конверт,— Абрам Осипович Гукасов просил меня передать Вам 100 франков». Я отказываюсь: «Я послала ему бесплатный пригласительный билет». Но Горбов настаивает: «Абрам Осипович будет обижен и 100 франков на улице не валяются»,— добавляет он с улыбкой. Приходится согласиться. Да и в самом деле деньги на улице не валяются...

Вечер прошел удачно. Было много аплодисментов и много цветов. Цветы я раздала присутствующим и хотела одну розу подарить Горбову, но в этот вечер его больше не видела.

Так состоялось мое первое знакомство с Яковом Николаевичем. Это было в 1963 году. Никакого предчувствия я в тот вечер не имела и не думала, что эта встреча будет для меня иметь какое-то значение. О существовании русско-французского писателя Горбова я знала, конечно, и раньше, а он позже признался мне, что буквально влюбился в мою «Изольду», написанную в 1929 году. С этой книжкой он не расставался, она побывала с ним даже на фронте, куда он отправился в 1940 году, вступив добровольцем во французскую армию. «Изольда» приняла участие и в одном бою, где Яков Николаевич был ранен, и на ней остались пятна крови...

Через неделю в журнале «Возрождение» появилась лестного содержания заметка о моем вечере, подписанная Горбовым. Я не сочла нужным его за нее поблагодарить. В это время я вела переговоры с Гукасовым о своем вступлении в журнал «Возрождение» в роли «эминанс гриз» [1]. Я хотела, чтобы такой финансово-обеспеченный журнал стоял бы на должной высоте в литературном отношении, чего на самом деле не было. Я предлагала расширить журнал, пригласив сотрудничать таких русских писателей, пишущих по-французски, как Труайя и др., а также русских американцев и освободиться от сотрудников, не представляющих настоящей ценности. Для Гукасова я была настоящей находкой, идеальной сотрудницей. Во-первых, я не требовала вознаграждения (а надо сказать, что Гукасов был сказочно скуп), во-вторых, я знала английский язык, что в его глазах почему-то было большим плюсом. Из этого предприятия, однако, ничего не вышло. Засевшая в журнале братия, боясь перемен, приняла меня в штыки. Воевать с ними я не собиралась и решила отойти. Единственно, кто меня там поддерживал и был на моей сто-

---

[1] тайный советник (*фр.* eminence grise).

роне,— это Яков Николаевич. Я несколько раз с ним завтракала в ресторане, по его любезному приглашению, и мы с ним договорились устроить два вечера русской поэзии, пригласив к участию поэтов из Америки. Конечно, и тут не обошлось без трений. Многие неприглашенные мне этого простить не могли до конца жизни.

Гукасов умер. «Возрождение» закрылось, так как он не оставил средств для его дальнейшего существования. С Горбовым я долго не встречалась. Напомнил о нем Терапиано. Однажды, вернувшись из Шелль, где он навестил разбитого параличом поэта Мамченко, он мне сказал, что встретил там Горбова и ужаснулся его виду. Он осунулся, оброс седой бородой, одет неряшливо в какой-то старый поношенный костюм и ежедневно ездит из Парижа в Шелль. Целыми днями просиживает со своей потерявшей рассудок женой или водит ее под руку по саду... Я содрогнулась, представив себе эту картину, и мне стало страшно жаль Горбова и захотелось ему чем-нибудь помочь. Я думала, что после закрытия «Возрождения» он остался без средств, и хотела устроить его в нашем доме, в Ганьи. Отсюда ему и ближе будет ездить в Шелль к жене, и будет жить на всем готовом. Я поделилась с Оболенским моими планами, но он махнул рукой. «Горбов — конченый человек, он не только ничего не пишет, но совсем одичал, нигде не бывает, кроме как в Шелль, замкнулся в себе...» Я не хотела с этим согласиться и, увидев Горбова в день юбилея Б. К. Зайцева, куда он все-таки зашел, хотела с ним поговорить. Увидев, что мы с Терапиано к нему приближаемся, он буквально шарахнулся в сторону, явно избегая встречи, но мы его остановили, и я ему предложила вернуться с нами к Зайцеву, куда мы направлялись. «Нет, нет... мне надо домой»,— отказался он. Вид его был действительно жалкий. И он мне напомнил в эту минуту героя одного из его романов — отца Транкиля, человека глубоко несчастного и убежденного, что он приносит несчастье и другим. Еще раз, случайно, я встретила Горбова в поезде. Сижу, задумавшись. Вдруг слышу: «А меня не узнают». Оказывается, рядом со мной сидит Горбов. Действительно, его было все труднее и труднее узнать. Вид у него был болезненный, измученный, был он какой-то странный, рассеянный. Я пригласила его приехать ко мне в Ганьи на обед. Он вдруг согласился, и действительно приехал, и на этот раз побритый и прилично одетый. Переехать в наш дом он отказался, сказав, что не бросит своей квартиры, где прожил 35 лет. Я проводила его на вокзал и на этом все кончилось.

Только через полгода у гостеприимного Р. Ю. Герра на вечере, где собиралась творческая эмигрантская элита, я снова столкнулась с Горбовым. С тех пор наши встречи участились. Он стал ежедневно приезжать в Ганьи после визита в Шелль. Мое влияние оказалось благотворным. Он становился теперь неузнаваемым, но в положительном смысле. Снова стал элегантным, следил за своей внешностью. Я теперь, главным обра-

зом, старалась вернуть его к литературной деятельности. По моей просьбе, Терапиано написал о нем две хорошие статьи. А я перевела на русский язык его роман «Мадам Софи». Мы сближались душевно. Он писал мне ежедневно, кроме ежедневных визитов. И как-то раз он открыл мне свои чувства, просил меня заняться им, не бросать его... В конце концов Горбов мне сделал предложение быть его женой. Мысль эта была, конечно, неосуществима, так как жена его была жива и, кроме того, умственно ненормальна, что по существующему закону исключает возможность нового брака, а я, со своей стороны, о браке с Горбовым не помышляла и ответила ему, что если выйду замуж, так только за миллиардера, чтобы пользоваться всеми земными благами... «Тогда мне остается только одно — выброситься из окна»,— сказал Горбов, но в душе, как видно, надежды не терял. Я уже говорила, что Горбов писал мне ежедневно. Одна его фраза мне понравилась и запомнилась: «Сегодня утром я вышел на улицу — день какой восхитительный! И прохожие симпатичные, девочка очаровательная и ведет собачку... Что это со мной? Господи, да это счастье!»

Тогда он действительно чувствовал себя счастливым, помолодел лет на двадцать — он сиял! Для него это было редкостью, так как вообще он был склонен к пессимизму, ожидал всегда каких-то катастроф и любимой его фразой было: «Теперь будет еще хуже...» Эта эйфория продолжалась недолго, хотя чувства его ко мне не слабели. Но пессимизм взял верх. Появились первые признаки недомогания. Во время страшной жары он ходил без шляпы. У него на голове появились черные пятна. Я советовала ему сейчас же обратиться к доктору и надеть шляпу. Но он был чрезвычайно упрям, шляпы не надевал и к доктору не пошел. Его доктор Зернов как раз был в отъезде, а он не любил менять докторов и ходить к другим. Кончилось это все тем, что мне вдруг звонят: Горбова отвезли в клинику в Антони... Я немедленно поехала к нему и стала его регулярно посещать. Он был между жизнью и смертью. Ему сделали операцию — поставили сердечный стимулятор. Мало-помалу он стал поправляться, вышел из клиники. Вскоре умерла его жена, которая последнее время его уже не узнавала. Горбов мне сказал: «Я могу перенести эту потерю оттого, что теперь нет препятствий, чтобы вы стали моей женой. Я буду горд, если вы согласитесь носить мое имя». Мне это показалось совершенно невероятным. Мое имя было связано с именем Георгия Иванова и всем тем, что неотделимо от него: Петербург, поэзия, молодость, все прошлое, далекое, но незабываемое... «Если вы меня оставите, тогда мне конец...» Во мне боролись два чувства. Передо мной был страдающий, опустошенный человек, который тянулся ко мне, как к спасательному кругу. Было бы бесчеловечно его оттолкнуть, и я все еще надеялась, что заставлю его снова писать, спасу его как русского писателя...

Брак состоялся 24 марта 1978 года. Что дала нам совместная жизнь? Писателя Горбова я не смогла вернуть к творческой жизни. Его физическое состояние, как видно, здесь сыграло свою роль. Характеры наши были совершенно противоположны. Яков Николаевич любил тишину, уединение, семейный уют — все то, что наводило на меня нестерпимую скуку. Я, наоборот, любила всегда быть окруженной людьми, у нас не переводились гости, или мы бывали приглашены куда-нибудь. Я тащила Горбова с собой. Он стоически переносил такой образ жизни, хотя это явно его утомляло, но недаром еще в начале нашего сожительства он мне сказал: «Что бы ты ни сделала со мной, я за все тебе скажу спасибо».

Его влюбленное отношение ко мне продолжалось и трогало меня бесконечно. Я дружески заботилась о нем. Он открыл мне всецело свою душу, но один уголок ревниво оберегал, и мне туда доступа не было. Он ни за что не соглашался прочитать мне свои стихи, которые когда-то писал. Надо сказать, что он был страшно самолюбив и не переносил критики, а моя критика, наверное, ему была бы абсолютно неприятна. Его стихи я прочитала только после его смерти. Прожили мы с ним недолго — три года и несколько месяцев. В сентябре 1982 года Я. Н. Горбов скончался. Похоронен на кладбище в Шелль, в одной могиле со своей первой женой...

Что еще нужно сказать о Горбове? Родился он в 1896 году в Пушкино под Москвой. Кроме самого названия места его рождения, как будто ничего не предназначало его к литературе. В Петербурге он закончил Николаевское военное училище...

Но здесь я позволю себе отступление, связанное с моей случайной встречей с Анастасией Цветаевой в Переделкино в 1988 году. Оказывается, она знала Яшу Горбова с детства и любезно предоставила в мое распоряжение несколько страничек воспоминаний об этой поре. Привожу ее свидетельство.

Были в незапамятные времена на открытках и на старинных коробках конфет — картинки: Зимний вечер. На небе — рог месяца, искорки звезд. На снегу алмазная россыпь мороза, круто сверкающая елочным серебром. Домик и в нем — апельсиновым цветом теплится в окне свет, и след от него, рыжий, лежит на снегу. Вот в такой вечер, много десятилетий назад, в старой Москве, я 13-ти лет, подъезжаю с отцом к дому во Власьевском переулке, где жила семья потомственных переводчиков Горбовых, старший из них перевел «Божественную Комедию» Данте (Марина, старшая сестра моя и я с детства знали ее, видя в двух алозолоченых томах рисунков Дорэ).

Мы ехали на 1-й урок танцев, куда два раза в неделю будут съезжаться дети 2-х, 3-х семей. Учить танцевать будет нас для этого приглашенный молодой балетмейстер Большого театра Чудинов (имя и отчество его, увы, канули).

Зала, высокие потолки, лепные. Блеск белой кафельной печи. Люстра. Двери распахнуты в гостиную, где, устав от танцев, будем пить чай и есть яблоки на китайских золоченых тарелочках.

Дети-хозяева встречают детей-гостей.

У Горбовых две дочери и два сына. Соня уже невеста. Катя — на год старше меня. В мои 94 года я туманно их помню. Но старший из мальчиков, Яша! Я вижу его, как сейчас. С меня ростом, на два года меня моложе, он кланяется, как взрослый. Ничего мальчишеского. Передо мной маленький лорд. На нем — матроска, по моде тех лет? Лицо Яши затмевает наряд. Узкое, тонкие черты. Лицо Яши очень правильное. Словно кистью проведенные брови. Длинные сине-стальные, по-взрослому серьезные глаза. Чуть суховатый рот. Но приветливая улыбка воспитанности. Мальчик — сфинкс.

Но вот взмах музыки в воздухе, и мы, дети, впервые друг друга видящие, пристально слушая учителя танцев, подражая ему, сперва каждый отдельно, затем пробно, парами, ритмически, радостно от знакомой мелодии, нас обнявшей, двигаемся по зале не отрывая глаз от Чудинова. Он похож на какого-то персонажа из Гофмана, элегантно-загадочно, плавно жестикулируя и грациозно скользя по паркету, не теряет из глаз ни одной ученицы, ни одного ученика.

Самый младший из нас — брат Яши, Миша, сходный с ним, как маленький грибок со старшим, рядом растущим, но не обладающий тем щемящим холодящим очарованием, которым пронизан брат. У Миши сходство в чертах, но все меньше, неуловимей, по-детски невинней.

Яша через пять лет станет юным красавцем, Миша нежным подростком.

Думается, старшая, Соня, не учится с нами. Но, может быть, разливает с матерью чай, разносит фрукты. Ее годы учения танцам — позади. С нами учится средняя, Катя, старше Яши года на 2—3. Она непохожа на братьев. С ней у меня сразу устанавливаются простые дружеские отношения, она ведет меня по лесенке, в антресоли, похожую на Трехпрудную лесенку, и я с любопытством, с волнением проникаюсь духом их детской — в ней она теперь одна. Так все знакомо по нашему дому, по нашему детству — и столь же иное, чужое, заманчиво-новое. Я точно читаю рассказ о таких детях, как мы, уже не совсем детях, уже чуящих Жизнь — ту, которая придет, закружит и уведет. Но я знаю, что я никогда не забуду их дом, эти вечера, те мелодии, что сопутствовали нашим урокам. Не забуду я Яши мальчика-лорда, улыбающегося и молчащего. Эти стальные синие глаза, полувзрослый поклон — и грацию, с какою он движется в нашем танцевальном параде под светом хрустальной люстры, вежливо, церемонно держа мою руку — мы по росту подходим друг к другу.

Падепатинер. Этот юношеский и девический, почти детский танец! Это воспоминание о коньках, о скольжении по льду — под звуки музыки из «раковины», из мерзнущих на морозе рук!

...Падекатр. Эта сменившая лед ворвавшаяся мелодия, с детства любимая, этот вкрадчивый сладостный мотив. Личико Яши — в нем что-то дрогнуло, оно потеплело, оно о чем-то задумалось... О, мы уже научились танцевать. Мы уже много вечеров уплываем от прозы в поэзию, нас немного, но уже есть среди нас лучшие и немного слабее, но, кажется, доволен нами учитель. И однажды, схватив инфлюэнцу, он попросил своего отца, старого балетмейстера Большого театра, его заменить. Мы с волнением ждали. И — о, сама Классика вошла в тот вечер в старый особняк Горбовых! Стройный седой красавец вошел с мороза, розовый, в зал! Да, мы были дети, никто ни в кого не влюблялся — но мне думается, что все, стар и млад, влюбились в старого балетмейстера! Не скользил он грациозно, как сын его,— это было почти подобие полету, классическая бестелесность балета! Движения рук были крылья полета! Что он преподавал нам в тот день? Не

вальс ли? Как предвестие юности — детям? Боюсь ошибиться и не хочу гадать... Все исчезает в звуках рояля, вспыхнув в памяти, угасает, и надо всем, как видение, стоит личико Яши...

Я ничего не слыхала о нем целую жизнь, но недавно, в мои 94, мне показали испанскую книгу «Los condenados» [1]... Ее автор Яков Горбов. Он переводчик. Испанист? Это название по-французски означает: «Les condamnés» («Осужденные»), не так ли?

«Мучения памяти?» Наша с Мариной мать, переводчица, блестяще знавшая французский, немецкий, английский и итальянский, тридцати семи лет, в последний год своей жизни изучавшая — зная, что умирает! — испанский язык. Я, в ее память, в заключении на Дальнем Востоке (с 10-ю годами срока, после десятичасового труда, а в дни срочных работ и по двое суток без сна), принялась за испанский, достав через в/н (вольнонаемных) часть учебника и увлекшаяся, и, получив от Пастернака и от будущего профессора французской литературы Ирины Лилеевой с воли, в посылке хрестоматию испанского языка, упоенно читала переводы Гоголя переводчицы Luisa Maria Alonso. Через почти полвека держащая в руках труд Яши Горбова (в пожилом возрасте женившегося в Париже на Одоевцевой),— книга ее «На берегах Невы», рядом с Яшиной.

И в то время, как все запутывается, крючок, однако, попадет в ему принадлежащую петлю! Сон воплощается в сон.

Москва, советские годы (60-е), советское учреждение. Я вхожу в него после лет осужденности тюрьмою и ссылками — выправить документ где-то в арбатском районе. Волокита — обычная! Терпение — обычное. Жду. Устав глядеть в одну точку, перевожу глаза на высокие двери... Залы? Лепные украшения потолка. Разве я простудилась? Дрожь. Гулкие головные коридоры. Что это? — «Deja vu» [2]? То, детское ощущение, бредовое, что это уже было когда-то в точности... лепной потолок! Но остатком здравомыслия, через все уцелевшим, говорю себе: Нет, не «Deja vu»! Другое! Быль!.. Это был в незапамятные времена вечер... Картинка: Зимний вечер, на небе золотой рог месяца, искры звезд. На снегу — алмазная россыпь мороза, робким цветом горит окно и теплится на снегу что-то. Уют канувшей жизни? Я в 13 лет подъезжаю с отцом к особняку во Власьевском переулке, где жила семья Горбовых... Их лепной потолок. Двери в гостиную, где чай... яблоки на фруктовых тарелочках с китайским рисунком. Мне оттуда сейчас вынесут документ долгожданный. Pas de quatre под хрустальной люстрой. Церемонно держит руку мою Яша ГОРБОВ, не мальчик, мальчик-лорд!

Анастасия Цветаева
Переделкино, вечер, 20 октября 1988 г.

Как дальше сложилась его судьба?

Участвовал в войне 14 года. Был потом в Добровольческой армии. После отхода из Крыма очутился в конце концов во Франции. Здесь закончил Высшую текстильную школу и один из отделов Католического института. Дипломы, однако, не спасли его от общей эмигрантской участи. Как большинство

---

[1] «Осужденные» *(исп.)*.
[2] Некогда виденное *(фр.)*.

его сверстников по оружию, он меняет саблю на шоферский руль. За рулем он обдумывает свои будущие произведения. В 1947 году выходит его «Les chemins de l'Enfer» [1]. В 1951-м «Le second avènement» [2], в 1955-м — «M-me Sophie» [3]. Сотрудничает в лучших французских журналах, таких, как «Нувель литтерер». Все его романы были восторженно встречены французской критикой, а в 1954 году его роман «Осужденные» («Les condamnês») был награжден премией «четырех жюри», и ему не хватило только одного голоса, чтобы получить высшую французскую литературную премию Гонкуров. В 1961 году он становится редактором журнала «Возрождение», начинает публиковаться на русском языке. Печатает также ценнейшие заметки и отзывы о новых книгах. На русском языке вышли его романы «Все отношения» и «Асунта». Высокую оценку эти романы получили в статьях Зайцева, Завалишина, Терапиано. По характеру своему Яков Николаевич был человеком очень добрым и отзывчивым, но до болезненности самолюбивым. Он совершенно не искал рекламы и, может быть, из-за этого, будучи известен как литератор во французских литературных кругах, был мало известен русскому читателю, даже в эмиграции. До сих пор были переведены на русский язык только два его романа, хочется надеяться, что со временем будут переведены многие из его романов и русские читатели смогут оценить его творчество.

---

[1] «Дороги ада» *(фр.)*.

[2] «Второе пришествие» *(фр.)*.

[3] «Мадам Софи» *(фр.)*.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В этой новой книге «На берегах Сены» я не говорю (за исключением Поплавского) о так называемых «молодых писателях», то есть о тех поэтах и прозаиках, что начали писать уже за пределами родины. А среди них были и есть интересные, талантливые люди. В первую очередь мне хотелось бы написать о поэтах: В. Смоленском, А. Величковском, А. Штейгере, Д. Кнуте... Если Бог даст мне силы осуществить мое желание, я постараюсь оживить перед будущим читателем этих рано ушедших поэтов, обрисовав их индивидуальные личности в житейской обстановке.

СОДЕРЖАНИЕ

Одоевцева И. В.
О-44 На берегах Сены.— М.: Худож. лит., 1989.— 333 с.
ISBN 5-280-01310-2

В книге «На берегах Сены» И. Одоевцева рассказывает о своих встречах с представителями русской литературной и художественной интеллигенции, в основном унесенной волной эмиграции в годы гражданской войны в Европу. Имена И. Бунина, И. Северянина, К. Бальмонта, З. Гиппиус и Д. Мережковского и менее известные Ю. Терапиано, Я. Горбова, Б. Поплавского заинтересуют читателя. Любопытны эпизоды встреч в Берлине и Париже с приезжавшими туда В. Маяковским, С. Есениным, И. Эренбургом, К. Симоновым. Несомненно, интересен для читателя рассказ о жизни и быте «русских за границей».

О $\frac{4702010201-377}{028(01)-89}$ без объявл. **ББК 84Р7**

Ирина Владимировна
ОДОЕВЦЕВА

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

Редакторы В. Лапочкина, И. Сабова

Художественный редактор И. Сальникова

Технический редактор В. Кулагина

Корректоры М. Чупрова, О. Коваль

ИБ № 6018

Сдано в набор 22.06.89. Подписано к печати 23.10.89. А 04297. Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,25. Уч.-изд. л. 23,49. Тираж 500 000 (2-й завод 250 001—500 000) экз. Изд. № III-3284. Заказ 322.
Цена 2 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

БИБЛИОГРАФИЯ.

Издано в СССР:

ДВОР ЧУДЕС. Стихи. Петроград, 1922.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ. Литературные мемуары. Москва, Художественная литература, 1988.

Издано за рубежом:

Романы

АНГЕЛ СМЕРТИ. Париж, 1927.
ИЗОЛЬДА. Париж, 1931.
ЗЕРКАЛО. Париж, 1937.
ГОД ЖИЗНИ. Париж, 1947.
ОСТАВЬ НАДЕЖДУ НАВСЕГДА. Париж, 1948 (на фр. яз.), Нью-Йорк, 1954 (на рус. яз.).

Сборники стихов:

КОНТРАПУНКТ. Париж, 1950.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ. Париж, 1951.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ. Париж, 1961.
ОДИНОЧЕСТВО. Париж, 1965.
ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ. Париж, 1975.
ПОРТРЕТ В РИФМОВАННОЙ РАМЕ. Париж, 1976.

Литературные мемуары:

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ. Нью-Йорк, 1967.
НА БЕРЕГАХ СЕНЫ. Париж, 1983.

Перу И. Одоевцевой принадлежит также ряд пьес, написанных на французском языке.


2 р.